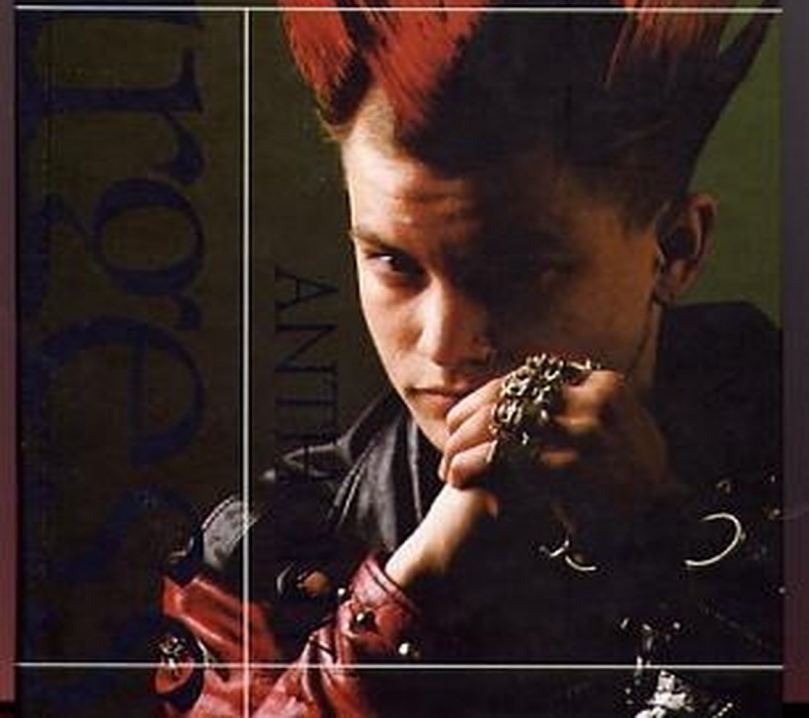
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА XX+I

ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС

Заводной апельсин



Заводной апельсин. Вожделеющее семя

Энтони Берджесс

Аннотация
Энтони Берджес. Заводной апельсин. Вожделеющее семя
Заводной апельсин
  ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Вожделеющее семя
  ЧАСТЬ I
    Глава 1
    Глава 2
    Глава 3
    Глава 4
    Глава 5
    Глава 6
    Глава 7
    Глава 8
    Глава 9
    Глава 10
    Глава 11

Глава 12
Глава 13
ЧАСТЬ II
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
ЧАСТЬ III
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
ЧАСТЬ IV

Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
ЧАСТЬ V
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
ЭПИЛОГ
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4

Аннотация

Всемирную известность роману "Заводной апельсин" английского писателя Энтони Бёрджесса принесла экранизация знаменитого режиссера Стэнли Кубрика. Образ юного преступника Алекса, в душе которого причудливым образом уживаются садизм и насилие и тяга к красоте, стал настоящим откровением для читателей и зрителей. Роман "Вожделеющее семя", вошедший в данный сборник, описывает будущее, когда население планеты увеличилось настолько, что источников пищи уже не хватает, деторождение считается преступлением, а бесплодие и гомосексуализм превратились в добродетели.

Содержание:

Заводной апельсин (пер. Владимир Бошняк)

Вожделеющее семя (Наталья Калинина)

Энтони Берджес
Заводной апельсин. Вожделеющее семя

Заводной апельсин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

— Ну, что же теперь, а?

Компания такая: я, то есть Алекс, и три моих druga, то есть Пит, Джорджик и Тём, причем Тём был и в самом деле парень темный, в смысле glupyi, а сидели мы в молочном баре «Korova», шевеля mozgoi насчет того, куда бы убить вечер — подлый такой, холодный и сумрачный зимний вечер, хотя и сухой. Молочный бар «Korova» — это было zavedenije, где давали «молоко-плюс», хотя вы-то, бллин, небось, уже и запамятовали, что это были за zavedenija: конечно, нынче ведь все так скоро меняется, забывается прямо на глазах, всем plevatt, даже газет нынче толком никто не читает. В общем, подавали там «молоко-плюс» — то есть молоко плюс кое-какая добавка. Разрешения на торговлю спиртным у них не было, но против того, чтобы подмешивать кое-что из новых shtutshek в доброе старое молоко, закона еще не было, и можно было pitt его с велосетом, дренкромом, а то и еще кое с чем из shtutshek, от которых идет тихий baldiozh, и ты минут пятна-

дцать чувствуешь, что сам Господь Бог со всем его святым воинством сидит у тебя в левом ботинке, а сквозь mozg проскакивают искры и фейерверки. Еще можно было pitt «молоко с ножами», как это у нас называлось, от него шел tortsh, и хотелось dratsing, хотелось gasitt кого-нибудь по полной программе, одного всей kodloi, а в тот вечер, с которого я начал свой рассказ, мы как раз это самое и пили.

Карманы у нас ломились от babok, а стало быть, к тому, чтобы сделать в переулке toltshok какому-нибудь старому hanyge, obtriasti его и смотреть, как он плавает в луже крови, пока мы подсчитываем добычу и делим ее на четверых, ничто нас, в общем-то, особенно не понуждало, как ничто не понуждало и к тому, чтобы делать krasting в лавке у какой-нибудь трясущейся старой ptitsy, а потом rvatt kogti с содержимым кассы. Однако недаром говорится, что деньги это еще не все.

Каждый из нас четверых был prikinut по последней моде, что в те времена означало пару черных штанов в облипку со вшитой в шагу железной чашкой, вроде тех, в которых дети пекут из песка куличи, мы ее так песочницей и называли, а пристраивалась она под штаны, как для защиты, так и в качестве украшения, которое

при определенном освещении довольно ясно вырисовывалось, и вот, стало быть, у меня эта штуковина была в форме паука, у Пита был ruker (рука, значит), Джорджик этакую затейливую раздобыл, в форме tsvetujotshka, а Тём додумался присобачить нечто вовсе паскудное, вроде как бы клоунский morder (лицо, значит), — так ведь с Тёма-то какой спрос, он вообще соображал слабо, как по zhizni, так и вообще, ну, темный, в общем, самый темный из всех нас. Потом полагались еще короткие куртки без лацканов, зато с огромными накладными плечами (s myshtsoi, как это у нас называлось), в которых мы делались похожими на карикатурных силачей из комикса. К этому, бллин, полагались еще галстучки, беловатенькие такие, сделанные будто из картофельного пюре с узором, нарисованным вилкой. Волосы мы чересчур длинными не отращивали и башмак носили мощный, типа govnodav, чтобы пинаться.

— Ну, что же теперь, а?

За стойкой рядышком сидели три kisy (девчонки, значит), но нас, patsanov, было четверо, а у нас ведь как — либо одна на всех, либо по одной каждому. Kisy были прикинуты дай Бог — в лиловом, оранжевом и зеленом париках, причем каждый тянул никак не меньше чем

на трех— или четырехнедельную ее зарплату, да и косметика соответствовала (радуги вокруг glazzjev и широко размалеванный rot). В ту пору носили черные платья, длинные и очень строгие, а на grudiah маленькие серебристые значочки с разными мужскими именами — Джо, Майк и так далее. Считалось, что это mallshiki, с которыми они ложились spatt, когда им было меньше четырнадцати. Они все поглядывали в нашу сторону, и я уже чуть было не сказал (тихонько, разумеется, уголком rta), что не лучше ли троим из нас слегка porezvittsia, а бедняга Тём пусть, дескать, отдохнет, поскольку нам всего-то и проблем, что postavitt ему пол-литра беленького с подмешанной туда на сей раз дозой синтемеска, хотя все-таки это было бы не по-товарищески. С виду Тём был весьма и весьма отвратен, имя вполне ему подходило, но в mahatshe ему цены не было, особенно liho он пускал в ход govnodavy.

— Ну, что же теперь, а?

Hanurik, сидевший рядом со мной на длинном бархатном сиденье, идущем по трем стенам помещения, был уже в полном otjezde: glazzja остекленевшие, сидит и какую-то murniu бубнит типа «Работы хрюк-хряк Аристотеля брым-дрым становятся основательно офиговательны».

Hanurik был уже в порядке, вышел, что называется, на орбиту, а я знал, что это такое, сам не раз пробовал, как и все прочие, но в тот вечер мне вдруг подумалось, что это все-таки подлая shtuka, выход для трусов, бллин. Выпьешь это хитрое молочко, свалишься, а в bashke одно: все вокруг bred и hrenovina, и вообще все это уже когда-то было. Видишь все нормально, очень даже ясно видишь — столы, музыкальный автомат, лампы, kisok и malltshikov, — но все это будто где-то вдалеке, в прошлом, а на самом деле ni hrena и нет вовсе. Уставишься при этом на свой башмак или, скажем, на ноготь и смотришь, смотришь, как в трансе, и в то же время чувствуешь, что тебя словно за шкирку взяли и трясут, как котенка. Трясут, пока все из тебя не вытрясут. Твое имя, тело, само твое «я», но тебе plevatt, ты только смотришь и ждешь, пока твой башмак или твой ноготь не начнет желтеть, желтеть, желтеть… Потом перед глазами как пойдет все взрываться — прямо атомная война, — а твой башмак, или ноготь, или, там, грязь на штанине растет, растет, бллин, пухнет, вот уже — весь мир, zaraza, заслонила, и тут ты готов уже идти прямо к Богу в рай. А возвратишься оттуда раскисшим, хныкающим, morder перекошен — уу-ху-ху-хуууу! Нормально,

в общем-то, но трусовато как-то. Не для того мы на белый свет попали, чтобы общаться с Богом. Такое может все силы из парня высосать, все до капли.

— Ну, что же теперь, а?

Радиола играла вовсю, причем стерео, так что golosnia певца как бы перемещалась из одного угла бара в другой, взлетала к потолку, потом снова падала и отскакивала от стены к стене. Это Берти Ласки наяривал одну старую shtuku под названием «Слупи с меня краску». Одна из трех kisok у стойки, та, что была в зеленом парике, то выпячивала живот, то снова его втягивала в такт тому, что у них называлось музыкой. Я почувствовал, как у меня пошел tortsh от ножей в хитром молочишке, и я уже готов был изобразить что-нибудь типа «куча-мала». Я заорал «Ноги-ноги-ноги-ноги!» как зарезанный, треснул отъехавшего hanygu по чану или, как у нас говорят, v tykvu, но тот даже не почувствовал, продолжая бормотать про «телефоническую бармахлюндию и грануляндию, которые всегда тыры-дырбум». Когда с небес возвратится, все почувствует, да еще как!

— А куда? — спросил Джорджик.

— Какая разница, — говорю, — там glianem — может что и подвернется, бллин.

В общем, выкатились мы в зимнюю необъятную notsh и пошли сперва по бульвару Марганита, а потом свернули на Бутбай-авеню и там нашли то, что искали, — маленький toltshok, с которого уже можно было начать вечер. Нам попался ободранный starikashka, немощный такой tshelovek в очках, хватающий разинутым hlebalom холодный ночной воздух. С книгами и задрызганным зонтом подмышкой он вышел из публичной biblio на углу, куда в те времена нормальные люди редко захаживали. Да и вообще, в те дни солидные, что называется, приличные люди не очень-то разгуливали по улицам после наступления темноты — полиции не хватало, зато повсюду шныряли разбитные malltshipaltshiki вроде нас, так что этот stari профессор был единственным на всей улице прохожим. В общем, podrulivajem к нему, все аккуратно, и я говорю: «Извиняюсь, бллин».

Глянул он на нас этак puglovato — еще бы, четверо таких ambalov, да еще откуда ни возьмись, да с ухмылочками, но ничего, отвечает. «Я вас слушаю», — говорит, — «в чем дело?» — причем этак зычно, учительским тоном: пытается, значит, представить, будто он и не puglyi вовсе. Я говорю:

— Вижу вот книжонки у тебя под мышкой,

бллин. Редкостное, можно сказать, удовольствие в наши дни встретить человека, который что-то читает.

— Да ну, — сказал он, весь дрожа. — Неужто? Впрочем, да, да. — А сам все смотрит на нас, на одного, другого, в глаза заглядывает, уже стоя посередине этакого улыбчивого аккуратного квадрата.

— Ага, — говорю. — Очень было бы интересно глянуть, бллин, если разрешишь, конечно, что это у тебя за книжки такие. Больше всего на свете люблю хорошенькие чистенькие книжки.

— Чистенькие? — удивился он. — Хм, чистенькие. — И тут Пит хватъ у него из-под мышки всю его drebedenn и скоренько нам раздал. Каждому по книжке досталось, кроме Тёма. Та, что оказалась в руках у меня, называлась «Введение в кристаллографию», я раскрыл ее и говорю: «Здорово, первый сорт», а сам страницы листаю, листаю. И вдруг говорю таким голосом раздраженным;

— Эт-то еще что такое? Гадкое слово, мне на него и глядеть-то стыдно. Ох, разочаровал ты меня, братец, ох, разочаровал!

— Но где? — засуетился он. — Где? Где?

— Ого, — вступил Джорджик, — вот уж где грязь

так грязь! Вот: одно слово на букву «х», а другое на «п». — У него была книга под названием «Загадки и чудеса снежинок».

— Надо же, — присоединился к нам и balbesina Тём, глядя через плечо Пита и, как всегда, perebarstshivaja. — И впрямь, все как по нотам: и чего куда, и на картинке показано. Слушай, — говорит, — да ты же просто грязный kozlina!

— И это в таком почтенном возрасте, ай-яй-яй, — заговорил снова я, принимаясь рвать попавшую мне в руки книгу пополам, а мои друзья занялись тем же с остальными книгами, а особенно старались Тём с Питом, вдвоем расправляясь с «Ромбоэдрическими структурами». Stari intell сразу в kritsh: «Они не мои! Хулиганство! Вандализм! Это муниципальная собственность!» — или что-то вроде. Попытался даже вроде как вырвать книги у нас из рук, но это уж вовсе была hohma.

— Что ж, придется тебя, братец, проучить, — сказал я. — Достукался. — Причем оказавшийся у меня в руках учебник был переплетен очень крепко, нелегко было устроить ему razdryzg — еще бы, книга была старая, выпущенная во времена, когда все делали очень добротно, вроде как не на один день, но я все же выдирал из нее

страницы, комкал и осыпал ими starikashku, они кружились и летали в воздухе, словно огромные снежинки, при этом мои друзья делали то же самое, и только Тём просто плясал вокруг и кривлялся — клоун и есть клоун.

— Вот тебе, вот тебе, — приговаривал Пит. — Получай под расписку, погань, грязный порнографист!

— Поганое ты otroddje, dadia, — сказал я, и начали мы shustritt. Пит держал его за руки, а Джорджик раскрыл ему пошире pastt, чтобы Тёму удобней было выдрать у него вставные челюсти, верхнюю и нижнюю. Он их швырнул на мостовую, а я поиграл на них в каблучок, хотя тоже довольно крепенькие попались, гады, из какого-то, видимо, новомодного суперпластика. Kashka что-то там нечленораздельное зачмокал — «чак-чук-чок», а Джорджик бросил держать его за gubiohi и сунул ему toltshok кастетом в беззубый rot, отчего kashka взвыл, и хлынула кровь, бллин, красота, да и только. Ну, а потом мы просто раздели его, сняв все до нижней рубахи и кальсон (sfaryh-staryh; Тём чуть bashku себе на них глядя не othohotal), потом Пит laskovo лягнул его в брюхо, и мы оставили его в покое. На заплетающихся ногах он пошел прочь — мы ему не очень-то

сильный toltshok сделали, — только все охал, не понимая, где он и что с ним, а мы похихикали tshutok и прошлись по его карманам, пока Тём выплясывал вокруг с замызганным зонтиком, но в карманах мы мало чего обнаружили. Нашли несколько старых писем, из которых некоторые, написанные еще в шестидесятых, начинались с «милый мой дорогой» и всякой прочей driani, еще нашли связку ключей и старую пачкающуюся авторучку. Старина Тём прервал свою пляску с зонтиком и, конечно же, не выдержал — принялся читать одно из писем вслух, вроде как чтобы показать всей пустой улице, что он умеет читать. «Мой дорогой, — начал он своим писклявым голосом, — пока тебя нет со мной, я буду все время о тебе думать, а ты не забывай, пожалуйста, одевайся потеплее, когда выходишь из дому вечерами». Тут он выдал gromki такой smeh — «ух-ха-ха-ха» — и притворился, будто вытирает этим письмом себе jamu.

— Ну ладно, — сказал я. — Завязываем, бллин.

В карманах брюк у starikashki нашлось немного babok (денег, стало быть) — не больше трех hrustov, так что всю его melotshiovku мы раскидали по улице, потому что все это было курам на смех по сравнению с той капустой, что распирала

наши карманы. Потом мы разломали зонтик, всем тряпкам и одежде устроили razdryzg и разметали их по ветру, бллин, и на том со старым kashkoi-учителем было покончено. Конечно, я понимаю, то был вариант, так сказать, усеченный, но ведь и вечер еще только начинался, так что никаких всяких там иззи-винни-ненний я ни у кого за это не просил. «Молоко с ножами» к тому времени как раз начинало чувствоваться, что называется, budle zdraste.

На очереди стояло сделать смазку, то есть слегка разгрузиться от капусты, тем самым, во-первых, обретя дополнительный стимул, чтобы triahnutt какую-нибудь лавочку, а во-вторых, купив себе заранее алиби, и мы пошли на Эмис-авеню в пивную «Дюк-оф-Нью-Йорк», где не бывало дня, чтобы в закутке не сидели бы три или четыре babusi, lakaja помойное пиво на последние грошовые остатки своих ГП (государственных пособий). Тут мы уже выступали этакими pai-malltshikami, улыбались, делали благовоспитанный zdrasting, хотя старые вешалки все равно от страха были в отпаде, их узловатые, перевитые венами rukery затряслись, расплескивая пиво из стаканов на пол.

— Оставьте нас в покое, ребятки, — сказала

одна из них, вся такая морщинистая, будто ей тысяча лет, — не трогайте бедных старух. — Но мы только зубами блесь-блесь, расселись, позвонили в звонок и стали ждать, когда придет официант. Он явился, нервно вытирая руки о грязный фартук, и мы заказали себе четыре «ветерана», а «ветеран» — это в те времена был такой коктейль очень модный из рома и шерри-бренди, а еще некоторые любили добавить туда сок лайма — тогда это называлось «канадский вариант». А я и говорю официанту:

— А ну-ка, обслужи babushek по полной программе. Всем по двойному виски и еще дай им чего-нибудь взять с собой. — Я вывалил из кармана на стол весь свой запас deng, и трое моих друзей сделали то же самое — ох, времена были! В общем, появились на столе у perepuglyh старых вешалок стаканы с горючкой, а они сидят ни живы, ни мертвы и не знают, чего сказать. Насилу одна из них выдавила: «Спасибо, ребятки», но по ним было видно: смекнули уже, что тут дело нечисто. Ладно, выдали мы им по бутылке «Янк-Дженерал» — коньяка, значит, причем это уже с собой, а я еще дал deng, чтобы им с утречка принесли на дом по дюжине пива, а они, дескать, пусть только свои voniutshije адреса рассыльному

оставят. Потом на оставшуюся капусту мы скупили в zabegalovke все пироги, крекеры, бутерброды, чипсы и шоколадки, и все это тоже для старых кочерыжек. Потом говорим: «Stshias вернемся», и под бормотанье старых куриц — мол, спасибо, ребятки, дай Бог вам здоровья, мальчики — мы уже пошли на выход без единого цента deng в карманах.

— Ну и ну, прям что в самом деле какие-то мы dobery, — сказал Пит. Причем явно наш темный Тём ни в зуб ногой не vjezzhajet, но он помалкивал, чтобы мы не назвали его лишний раз glupym и bezmozgiym. Ну и пошли мы тут же за угол на Эттли-авеню, там в тот час еще работала лавка, где продавали сласти и tsygarki, Мы сюда уже месяца три как не заходили, на улице было тихо, пустынно — ни милисентов с автоматами, ни всяких там патрулей ополчения, которые в те дни все больше по ту сторону реки ошивались. Надели мы маски — тогда это было новшество, чудненькие такие, в самом деле baldiozhno сделаны в виде лиц всяких исторических персонажей (когда покупаешь, тебе в магазине сразу и фамилию его говорят), так что я был Дизраэли, Пит был Элвис Пресли, Джорджик был Генрих VIII, а Тём был поэт по имени П. Б. Шелли; маски были просто otpad: волосы и

всякое такое, и еще специальная пластмассовая штучка приделана — дернешь, и вся fignia тут же скатывается трубочкой, чтобы, когда дело сделано, спрятать в сапог; в общем, надели и втроем вошли. Пит остался снаружи па striome — не то чтобы это так уж нужно было, просто на всякий pozharni. Очутившись в лавке, мы тут же бросились к Слаузу — он там хозяином был, толстый такой kashka с пивным брюхом, который сразу все ponial и кинулся к себе в контору, где у него был телефон, а может даже и хорошо смазанная шестизарядная pushka. Тём лихо перемахнул прилавок, взметнув ворох пачек с куревом, которые с треском ударили в большой плакат, на котором какая-то kisa демонстрировала покупателям zuby и grudi для рекламы очередной марки mahry. Все, что можно было vidett потом, это единый ком, в который сплелись старина Тём и Слауз, покатившиеся за штору в подсобку. Потом можно было только slyshatt хрипы и удары за шторой, грохот падения каких-то vestshei, ругань, а потом звон стекол: дзынь-ля-ля! Мамаша Слауз, жена хозяина, так и замерла, словно примерзла к полу за прилавком. Ясно, что, дай ей волю, она сразу подымет kritsh — убивают, мол, и тому подобный kal, поэтому я скоренько заскочил за прилавок,

sgrabastal ee и тоже смял в ком, ощутив в ноздрях vonn ee парфюмерии, а под руками ee трясущиеся обвислые grudi. Я зажал ей rot своей grablei, чтобы она не bazlala на весь белый свет о том, что ее грабят и убивают, но эта подлая swinka так укусила меня за ладонь, что я сам испустил дикий kritsh, а потом уже и она завопила на всю вселенную, призывая ментов, то есть милисентов. В общем, пришлось выдать ей toltshok гирей от весов, а потом поработать над ней ломиком, которым они ящики распечатывали, и тут уж она как миленькая заплясала под красным флагом. Поваляли мы ее по полу, shmotki, конечно, на ней vrazdryzg, но это уж так, dlia baldy — и slegontsa попинали govnodavami, чтобы прекратила свой kritsh. А когда я увидел, как она лежит, выкатив наружу grudi, я еще подумал, может, заняться, но нет, это у нас было намечено на потом. Взяли мы кассу — очень, кстати, неплохо pripodnialiss — и с несколькими блоками лучших tsygarok, бллин, svalili.

— Ну и тяжелый же хряк-то он оказался, — все повторял Тём.

Вид Тёма мне не понравился: грязный какой-то, взъерошенный, явно после драки, что, конечно, верно, однако истина истиной, а вид будь лю-

безен иметь подобающий. Галстук такой, будто по нему ногами ходили, маска съехала, morder в пыли, и мы втащили Тёма в переулок, где, послюнив платки, chutok его подправили, убрали кое-какую griazz. Чего не сделаешь ради дружбы! Назад в пивную «Дюк-оф-Нью-Йорк» мы возвратились очень скоро, я по часам проверил: нас не было каких-нибудь минут десять. Престарелые babushki все еще сидели, попивая пиво и виски, которое мы им поставили, и я сказал: «Привет, девчата, как житуха?» Они опять за свое: «Спасибо, ребятки, дай Бог вам здоровья, мальчики», а мы позвонили в kolokol, пришел на сей раз другой официант, и мы заказали пива с ромом — ужасно пить, бллин, захотелось; поставили выпивку и старым вешалкам — на их выбор. Потом я сказал babushkam: «Мы ведь никуда отсюда не выходили, правда же? Все время здесь были, верно?» До них все мгновенно doshlo, отвечают:

— Все верно, ребята. Ни на минуту с глаз не отлучались, как Бог свят. Благослови вас Господь, мальчики. — И снова за стаканы взялись.

Впрочем, это вряд ли было так уж важно. Прошло не меньше получаса, прежде чем менты начали проявлять признаки жизни, да и то пришли всего лишь каких-то два молоденьких

мусора, все такие розовенькие под shlemami. Один говорит:

— Эй вы, кодла, вы что-нибудь знаете про то, что случилось только что в лавке Слауза?

— Мы? — невинным тоном спрашиваю я. — А что там такое случилось?

— Грабеж, избиение. Двое госпитализированы. А ваша кодла где была нынче вечером?

— Нечего со мной таким тоном разговаривать, — отвечаю. — Я на эти ваши подколки плевать хотел. Мне, бллин, вообще не нравится ваша манера общения.

— Эти ребята все время здесь были, — вступились за нас старые veshalki. — Дай Бог им здоровья, уж такие парнишки чудные, такие добрые, щедрые! Они все время здесь были, ни на минуту не отлучались. Уж мы-то видели бы, если что не так.

— Мы просто спросили, — примирительно отозвался молоденький мент. — Работа у нас такая, что ж поделаешь. — Однако, уходя, он окинул нас довольно мрачным и подозрительным взглядом. Мы проводили их громким, исполненным на губах, салютом: пыр-дыр-дыр-дыр! Но лично сам я находил события той ночи, да и предыдущих тоже, слегка разочаровывающими. Толком даже

и подраться не с кем. Все просто, как поцелуй в jamu. Впрочем, вечер был весь еще впереди.

2

Выходя из пивной «Дюк-оф-Нью-Йорк», мы сквозь ее широкую витрину zasekli старого hronika, в смысле пьяницу, распевавшего поганые песни своих поганых предков, а в промежутках икавшего и рыгавшего так, будто у него в прогнивших вонючих кишках целый поганый оркестр. Если есть vestsh, которую я не выношу, так это именно такое поведение. Ну не могу я смотреть, когда muzhik грязный, качается, рыгает пьяным своим выхлопом, сколько бы ему лет ни было, однако в особенности, когда он такая старая obrazina, как этот. Он стоял, будто влипнув в стену, в жутком и изгвазданном виде — штаны мятые, на них griazz, kal и Бог знает что еще. Пришлось за него взяться, пару раз хорошенько vrezatt, но все равно он продолжал горланить. Песня была такая:

Будем вместе мы, моя милая,
Хоть ушла ты далеко.

Но когда Тём сделал ему несколько раз toltshok кулаком по поганым его zubbjam, пьяница петь

перестал и заголосил; «Давайте, кончайте меня, трусливые выродки, все равно я не хочу жить, не хочу я жить в таком подлом сволочном мире!» Я велел Тёму слегка tormoznuttsia, потому что иногда мне интересно бывало послушать, что эти старые hanygi имеют сказать насчет жизни и устройства мира. Я сказал: «О! А отчего это мир, по-твоему, такой уж подлый?»

Он выкрикнул: «Это подлый мир, потому что в нем позволяется юнцам вроде вас на стариков нападать, и никакого уже ни закона не осталось, ни порядка». Он орал во всю-мочь, в такт словам размахивал rukerami, однако kishki его продолжали изрыгать все те же блыр-длыр, словно у него внутри что-то крутится или будто сидит в нем какой-то настырный и грубый muzhik, который нарочно его zaglushajet, и starikashke приходится воевать с ним кулаками, продолжая орать: «В этом мире для старого человека нет места, а вас я не боюсь вовсе, потому что я так пьян, что бейте сколько хотите — все равно я боли не почувствую, а убьете, так только рад буду сдохнуть!» Мы похмыкали, похихикали, по ничего ему не отвечали, в он продолжал: «Что это за мир такой, я вас спрашиваю! Человек на Луне, человек вокруг Земли крутится, как эти жуки всякие вокруг

лампы, и при этом никакого уважения нет ни к закону, ни к власти. Давайте, делайте, что задумали, хулиганы проклятые, выродки подлые!» И после этого он выдал нам тот же исполненный на губах салют: пыр-дыр-дыр-дыр! — точно такой же, каким мы проводили молоденьких ментов, и тут же снова запел:

Я за родину кровь проливал
И с победой вернулся домой

— так что пришлось его slegontsa zagasitt, что мы и сделали, веселясь и хохоча, но он все равно продолжал горланить. Тогда мы ему так vrezali, что он повалился навзничь, выхлестнув целое ведро пивной блевотины. Это было так отвратно, что мы, каждый по разу, пнули его сапогом, и уже не песни и не блевотина, а кровь хлынула из его поганой старой pasti. Потом мы отправились своей дорогой.

Только это мы подошли к районной электроподстанции, как появился Биллибой со своими пятью koreshami. Дело тут вот в чем: в те дни, бллин, парни ходили больше четверками и пятерками, вроде как автомобильными командами, поскольку четверо — это как раз экипаж для машины, а шестеро — уже вообще верхний предел.

Временами несколько таких небольших шаек объединялись в одну большую, чтобы получилось что-то вроде армии для ночного сражения, но чаще всего бывало удобней болтаться по городу мелкими группками. Биллибой меня дико раздражал. До тошноты, я просто видеть не мог его толстый ухмыляющийся morder, к тому же от него еще и vonialo словно пережаренным жиром, пусть даже он, как в тот раз, был разодет в лучшие shmotki. Мы zasekli их, они нас, и принялись мы друг за другом по-тихому nabliudatt. Тут-то уж дело намечалось стоящее, будь спок: nozhi, tsepp, britva, а не какие-нибудь там кулачки с каблучками. Биллибой с koreshami tormoznuliss, бросив на полпути задуманное — что-то они там такое собирались делать с плачущей devotshkoi, которой было лет десять, не больше; она у них уже в kritsh пустилась, но платье все еще было на ней, причем Биллибой держал ее за один ruker, а его первый друг Лео — за другой. Они, видимо, занимались как раз матерной частью, а к материальной собирались перейти чуть позже. Увидели на подходе нас и тут же melkuju kisu отпустили: иди-иди, hnykalka, таких, как ты на пятак ведро, и она бросилась прочь, посверкивая в темноте белизной тощих коленок и продолжая

повизгивать: «Ой-ей-ей! Ой-ей-ей!» А я — с такой еще улыбкой, широкой, дружеской — и говорю:

— Кого я вижу! Надо же! Неужто жирный и вонючий, неужто мерзкий наш и подлый Биллибой, koziol и svolotsh! Как поживаешь, ты, kal в горшке, пузырь с касторкой? А ну, иди сюда, оторву тебе beitsy, если они у тебя еще есть, ты евнух drotshenyi! — И с этого началось.

Нас было четверо против шестерых, хотя это я уже говорил, но зато у нас был balbessina Тём, который, при всей своей тупости, один стоил троих по злости и владению всеми подлыми хитростями драки. У Тёма вокруг пояса была дважды обернута увесистая tsepp, он размотал ее и принялся shurovatt ею у недругов перед глазами. У Пита с Джорджиком были замечательные острые nozhi, я же, в свою очередь, не расставался со своей любимой старой очень-очень опасной britvoi, с которой управлялся в ту пору артистически. И пошла у нас zaruba в потемках — старушка Луна с людьми на ней только-только еще вставала над горизонтом, а звезды посверкивали, будто nozhi, которым тоже хочется vstriatt в наш dratsing. Одному из друзей Биллибоя я ухитрился бритвой вспороть спереди всю одежду, аккуратненький такой razrez сделал, даже не коснувшись под

shmotkami тела. В драке этот приятель Биллибоя не сразу обнаружил, что бегает весь нараспашку, как лопнувший стручок, сверкая голым животом и болтая beitsami, а когда заметил, вышел из себя настолько, что Тём с легкостью до него добрался — ш-ш-ш-асть его tseppju по glazzjam, и покатился, болезный, кубарем, вопя и завывая. Успех явно сопутствовал нам, и вскоре мы уже взяли главного помощника Биллибоя в каблучки: ослепленный ударом цепи Тёма, он ползал и выл, как животное, но получив, наконец, хороший toltshok по tykve, замолк.

Из нас четверых вид, как обычно, хуже всех был у Тёма: лицо в крови, шмотки грязным комом, зато остальные были в полном порядке. Осталось мне только добраться до вонючки Биллибоя, вокруг которого я плясал со своей britvoi в руке, как какой-нибудь корабельный парикмахер в очень бурную погоду, — вот-вот popishu его по грязной его поганой hare. У Биллибоя был nozh — длинный такой выдвижной клинок, но он tshutok отставал с ним от событий и особого вреда никому причинить не мог. Да, бллин, истинное было для меня наслаждение выплясывать этот вальсок — левая, два-три, правая, два-три — и чиркать его по левой щечке, по правой щечке,

чтобы как две кровавые занавески вдруг разом задергивались при свете звезд по обеим сторонам его пакостной жирной физиономии. Вот уже льется кровь, бежит, бежит, но Биллибой явно ни figa не чувствует, по-прежнему топчется со своим дурацким nozhom, как разжиревший voniutshi медведь, а достать меня не может.

Тут послышались сирены — на подходе были менты с пушками наготове, выставленными во все окна полицейской машины. Та hnykalka, должно быть, уже projabedala — будка для вызова мусоров была неподалеку, сразу за районной электроподстанцией.

— Ладно, не бойсь, — крикнул я напоследок, — koziol вонючий. Я тебе еще beitsy поотрезаю.

С тем они и побежали прочь — все, кроме главного их molotily по имени Лео, который посапывал, лежа на земле, — медленно, отдуваясь, побежали они к северу, в сторону реки, а мы пошли в противоположном направлении. Как раз за следующим поворотом обнаружился переулок, пустой и темный и с обоих концов открытый для отхода, и там мы передохнули, сперва быстро-быстро хватая воздух, потом все спокойнее и, наконец, стали дышать нормально. Было это подобно отдыху между подножиями двух ужаса-

ющих огромных гор, чьи роли отводились двум многоквартирным корпусам, во всех окнах которых плясали быстрые голубоватые сполохи. Все смотрели telik. В тот день происходило то, что у них называлось всемирным вещанием — одну и ту же программу передавали по всему миру, кому угодно, а угодно главным образом бывало людишкам средних лет и среднего достатка. Выступал обычно либо какой-нибудь дурацкий знаменитый клоун, либо певец-негр, и всю эту volynku ловили в космосе специальные телевизионные спутники и отбрасывали обратно на Землю. Подождали мы, попыхтели, слышим — менты с сиренами катят на восток, — ну, все, значит, пронесло, как говорится. Один balbesina Тём не радовался, все глядел вверх на звезды, на планеты, на Луну эту самую, причем с таким открытым rotom, будто он ребенок и никогда ничего подобного прежде не видывал; глядел-глядел да и выдал:

— Интересно, есть там на них что-нибудь? Вообще, что там наверху может быть?

Я сильно ткнул ему в бок, сказав:

— Ну, ты, глупый ubludok! Не твоего ума дело. Скорей всего там такая же zhiznn, как здесь: одни режут, а другие подставляют брюхо под nozh.

А сейчас, пока еще не вечер, пойдем-ка, бллин, дальше.

Ребята посмеялись, но balbesina Тём поглядел на меня серьезно, а потом снова уставился на звезды и на Луну. И мы пошли по переулку дальше, под голубоватыми сполохами этого самого всемирного вещания с обеих сторон. Теперь нам требовалось заполучить машину, и мы, выйдя из переулка, свернули влево, где раскинулась площадь Пристли-плейс, как мы определили по сразу же бросившейся в глаза большой бронзовой статуе какого-то старого поэта с обезьяной верхней губой и всунутой в немощный дряхлый rot трубой. Шагая к северу, мы вышли к старому замызганному Фильмодрому — облупившейся развалюхе, пришедшей в полный упадок, потому что туда ходили разве что malltshiki вроде меня и моих дружков, да и то лишь для того, чтобы сделать кому-нибудь toltshok или razrez либо заняться в темноте добрым старым sunn-vynn. Судя по закрывавшему фасад Фильмодрома рекламному щиту, где, кроме всего прочего, имелось два-три засиженных мухами кадра из предлагавшейся картины, фильм, по обыкновению, был ковбойским боевиком, причем на стороне шерифа там, естественно, дерутся сплошные ангелы,

которые со страшной силой лупят из револьверов по мерзавцам противникам — этакая долбежно-напыщенная vestsh, из тех, что, по милости Госфильма, во множестве наводняли в те времена экраны. Машины, припаркованные у киношки, в большинстве своем были, прямо скажем, не подарок, дряхлые и разболтанные, однако одна была поновее — «дюранго» 95-го года, и я решил, что эта подойдет. У Джорджика на связке с ключами имелись и отмычки, дубль-диезы, как они тогда назывались, и вскоре мы были уже в машине — Тём с Питом сели сзади, начальственно попыхивая tsygarkami, а я включил зажигание, завел, и машина недурственно затарахтела, пробуждая в кишках приятное такое, теплое трепетанье. Ногу на педаль, со стоянки задним ходом, и понеслась — только нас и видели.

Мы немножко покрутились по задворкам, на переходах распугивая starikashek и babushek, зигзагами гоняясь за кошками и так далее. Потом мы свернули к западу. Движения на дороге было немного, и я знай себе давил педаль до упора, так что «дюранго» заглатывал дорогу, как спагетти. Вскоре мимо побежали зимние деревья, стало темно, как бывает только за городом, а в одном месте я переехал что-то большое, с ощеренным

зубастым rotom, мелькнувшим в свете фар, после чего это что-то заверещало, хрустнув под колесами, и старина Тём на заднем сиденье чуть себе bashku напрочь не отхохотал. Потом попался нам молоденький парнишка, который obzhimalsia со своей подружкой под деревом, мы остановились, поулюлюкали tshutok, потом немножко их для порядку potuzili, дождались, когда они поднимут kritsh, и уехали. У нас была задумана операция «незваный гость». Вот где можно будет от души повеселиться, размять кости и pobestshinstvovatt. Наконец приехали в какой-то поселок, на краю которого был маленький коттеджик — торчит себе на отшибе, и маленький садик при нем.

Луна стояла уже высоко, коттеджик виднелся очень явственно, я подкатил, поставил машину на тормоз и, покуда остальные трое хихикали, как bezumni, я разглядел на воротах надпись «ДОМ» — мрачноватое, надо сказать, название для усадьбы. Я вышел из машины, приказав koresham вести себя потише и притвориться серьезными, потом открыл калитку и подошел к двери. Вежливо и тихонько постучал, но никто не появился, тогда я постучал tshutok сильней, и на этот раз услышал, что кто-то подошел, щелкнул замок, дверь на дюйм-другой приотворилась,

вижу, смотрит на меня glaz, а дверь на цепочке. «Да? Кто там?» По голосу женщина, скорее даже kisa, поэтому я заговорил очень вежливо, тоном настоящего джентльмена:

— Пардон, мадам, простите, что побеспокоил, но мы вот гуляли тут с приятелем, и вдруг с ним что-то такое произошло, по-моему, с ним плохо, он там на дороге — упал и лежит, стонет и встать не может. Не будете ли так добры, не позволите ли мне воспользоваться вашим телефоном, чтобы вызвать «скорую»?

— У нас нет телефона, — сказала kisa. — Сожалею, но телефона у нас нет. Придется вам зайти к кому-нибудь другому. — А изнутри коттеджика все «тра-та-та» да «тра-та-та» — кто-то на машинке печатает, и вдруг машинка смолкла и донесся мужской голос:

— Дорогая, что там стряслось?

— Гм, — начал я по новой, — не будете ли вы так добры, не пустите ли его выпить стакан воды? С ним, похоже, обморок, понимаете? Похоже, он отключился, вроде как в обморок выпал.

Девушка чуть поколебалась и говорит: «Подождите-ка». После чего куда-то пошла, а трое моих дружков тихонько вылезли из машины, крадучись подобрались поближе, на ходу надевая

маски, я свою тоже надел, а шаловливую ручонку шасть в щель, цепочку-то и скинул — kisu я своим приличным голосом так umaslil, что, уходя, она дверь не заперла снова, как это подобает, когда имеешь дело с подозрительными типами вроде нас, да еще ночью. Вчетвером мы с ревом ворвались: Тём, как всегда, прыгал и выплясывал, изрыгая грязнейшую брань, а коттеджик маленький был, это уж точно. Мы с хохотом ввалились в комнату, где горел свет, а там эта kisa вся съежилась — а так из себя ничего вообще, симпатичная, и grudi что надо, а рядом с ней ее muzh, тоже такой довольно-таки моложавый tshelovek в больших очках, а на столе пишущая машинка, везде разные бумаги разбросаны и одна стопочка у машинки — ее он, видимо, только что напечатал, так что перед нами, стало быть, опять intell, книжник наподобие того, с которым мы пошустрили пару часов назад, только на сей раз это был не читатель, а писатель. В общем, он говорит:

— Что такое? Кто вы? Как вы смеете врываться без разрешения в мой дом? — А у самого и голос дрожит, и руки тоже. А я ему в ответ:

— Не бойсь. Пусть страх покинет твое сердце, брат мой, забудь о нем и не трясись от страха

никогда. — Тём временем Джорджик и Пит отправились искать кухню, а старина Тём стоял рядом со мной, разинув rot, и ждал приказаний. — Кстати, что это такое? — сказал я, берясь за стопку напечатанных листочков на столе, а очкастый muzh в крайнем смятении отвечает:

— Вот именно, я у вас хотел бы спросить: что это такое? Что вам нужно? Убирайтесь вон, пока я вас отсюда не вышвырнул! — Старина Тём под маской П. Б. Шелли прямо так и зашелся от хохота, заревел, как медведь.

— Это какая-то книга, — сказал я. — Похоже, вы книжку какую-то пишете! — Говоря это, я сделал свой голос хриплым и дрожащим. — С самого детства я преклоняюсь перед этими, которые книжки писать могут. — Потом я поглядел на верхнюю страницу с заглавием — «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» — и говорю: — Фу, до чего глупое название. Слыханное дело — заводной апельсин? — А потом зачитал немножко оттуда громким и высоким таким голосом, как у святоши: «Эта попытка навлечь на человека, существо естественное и склонное к доброте, всем существом своим тянущееся к устам Господа, попытка навлечь на него законы и установления, свойственные лишь миру механизмов, и заставляет меня взяться за перо,

единственное мое оружие...» — Тут Тём произвел губами все ту же музыку — пыр-дыр-дыр-дыр, а я не выдержал и усмехнулся. Потом я начал рвать страницы, разбрасывая обрывки по всему полу, а этот самый muzh-писатель, как bezumni, кинулся на меня, ощерив стиснутые желтоватые zubbja и выставив вперед руки, как лапы с когтями. Стало быть, настала очередь Тёма, который осклабился и, повторяя «э-э-э», а затем «во-во-во», принялся расшибать intellu hlebalo — хрясь, хрясь, с левой, с правой, так что из бедняги потекло что-то красное, вроде вина, снова того же самого вина, что и везде, словно им снабжает нас какая-то единая всеобщая корпорация, — потекло, капая на чистенький новый ковер и на обрывки книжки, которую я продолжал неутомимо раздирать — razdryzg! razdryzg! Все это время kisa, эта его любящая верная жена, стояла, замерев у камина, и сперва вообще будто окаменела, а потом принялась испускать malennkije kritshki, словно аккомпанируя работе кулаков Тёма. Потом из кухни появились Джорджик с Питом, что-то дожевывая, однако все-таки в масках — в этих масках можно было даже есть, и ничего страшного, причем Джорджик держал в одной grable копченый окорок или что-то вроде, в другой кра-

юху хлеба со здоровенным шматом масла, а Пит побалтывал в бутылке пиво, держа в другой руке изрядный кусище торта. «Ха-ха-ха», — загоготали они оба, видя, как Тём, пританцовывая, лупит писателя, и наконец, тот взвыл, зарыдав что-то типа того, будто рушится дело всей его жизни, заухал чего-то там сквозь окровавленный rot, а эти хохотали, но, правда, приглушенно, потому что с набитыми ртами, и было видно, как вылетают и падают крошки. Такого я не любил — это грязно и неопрятно, а потому сказал:

— Бросьте zhratshku! Я вам этого еще не разрешал. Давайте-ка, лучше подержите его как следует, чтобы он все видел и не вырвался. — Они, стало быть, отложили свои припасы и взялись за писателя, у которого очки были уже треснутые, но все еще кое-как держались, а старина Тём продолжал прыгать и скакать, отчего на полочке подпрыгивали всякие безделушки (потом я их все смахнул на пол, чтобы они не тряслись там zria, пакость этакая), в общем. Тём, прыгая, продолжал шустрить с автором «ЗАВОДНОГО АПЕЛЬСИНА», украшая его morder сиреневыми разводами и вышибая у него из ноздрей вкусно чавкающий черный sok.

— Ладно, horosh. Тём, — сказал я. — Теперь сле-

дующий номер, с Bogom. — Тём навалился на kisu, которая все еще поскуливала, лихо взял ее в переплет, скрутил руки сзади, а я срывал с нее triapku за triapkoi, те двое похохатывали, и, наконец, на меня вылупились своими розовыми glazzjami две очень даже tshudnennkije grudi — да, бллин, а я, готовясь, уже razdergivalsia. Vjehav, услышал крик боли, а этот писатель hrenov вообще чуть не вырвался, завопил как bezumni, изрыгая ругательства самые страшные из всех, которые были мне известны и даже придумывая на ходу совершенно новые. После меня была очередь Тёма, и он в обычной своей skotskoi манере с задачей справился, не снимая бесстрастную маску П. Б. Шелли, а я покуда держал kisu. Потом смена составов: мы с Тёмом держим уже ослабевшего и почти не сопротивляющегося писателя, у которого сил только и оставалось, что бормотать nevniatitsu, будто он нахлебался молока с ножами, а Пит с Джорджиком shustriat c kisoi. В общем, мы вроде как otstrelialiss, а все равно, ну вроде как кипит в нас такая ненависть, такая ненависть, и мы пошли все ломать, что было можно, — машинку, торшер, стулья, а Тём (в своем репертуаре) otlil, загасив огонь в камине, и приготовился наделать кучу на ковер, тем более бумажек хватало, но я

сказал «нет».

— Ноги-ноги-ноги! — скомандовал я. Писателя и его жены вроде как уже и не было в этом мире, они лежали все в кровище, растерзанные, но звуки подавали. Жить будут.

В общем, залезли мы в поджидавшую нас машину, я, чувствуя себя не совсем в норме, уступил очередь за рулем Джорджику, и мы понеслись обратно в город, давя по дороге всяких визжащих и скулящих мелких zveriuh.

3

Мы почти доехали до города, бллин, уже вот-вот должна была показаться Kanava, которая тогда называлась «Индустриальный канал», и вдруг смотрим: стрелка указателя топлива вроде как zdohla, подобно тому, как свалились к нулю те стрелки, что указывали желание каждого из нас продолжать хохотать и веселиться; двигатель машины забарахлил — kashl-kashl-kashl. Нет, ну ничего страшного, конечно, — неподалеку вспыхивали и гасли, вспыхивали и гасли голубые огни железнодорожной станции, причем совсем рядом. Оставалось решить, бросить ли машину, чтобы ее потом подобрали менты, или, как повелевала нам ненависть и желание

крушить и убивать, спихнуть ее в мутные воды и насладиться тем, как она там bullknet, и тем самым завершить вечер. Решили, пусть bullknet, вышли, отпустили тормоз, вчетвером подкатили ее к краю канавы, где чуть не вровень с краями плавали griazz и kal, потом toltshok — и полетела, родимая. Нам пришлось отскочить, чтобы одежду не забрызгало грязью, но она ничего, нормально пошла: ххрррясь-буль-буль-буль! «Прощай, ненаглядная!» — выкрикнул Джорджик, а Тём присовокупил к этому свой клоунский хохоток. Потом двинулись на станцию — всего-то одна остановка до центра и оставалась. Мы, как raimalltshiki, купили билеты, дисциплинированно подождали на платформе, где было полно игральных автоматов, с которыми shustril Тём (у него карманы вечно были битком набиты мелочью и всякими шоколадками, чтобы при необходимости umaslivatt бедных и неимущих, хотя таковых на горизонте что-то не наблюдалось), а потом с грохотом подкатил старый «экспресс-рапидо», и мы вошли в вагон поезда, в котором народу ехало очень мало. Чтобы не терять времени даром, все три минуты, за которые поезд доехал до центра, мы shustrili с обивкой кресел (было в те времена такое: кресла, да еще и с мягкой

обивкой) — сделали ей полный razdryzg с выпусканием внутренностей, а старина Тём долго лупил по окну tseppju, пока стекло не треснуло, разлетевшись на зимнем ветру, но что-то мы притомились, приутихли и скисли — удалось все же, бллин, кое-какую энергию порастрясти за вечер, и только из Тёма, клоуна неуемного, радость так и перла, хоть и был он весь грязный, а уж потом от него разило за версту — тоже, между прочим, черта, которая мне в нем не нравилась.

В центре мы вышли и медленно двинулись к бару «Korova», уже slegontsa позе-о-о-о-вывая, показывая луне, звездам и уличным фонарям коренные зубы с пломбами: все-таки мы были еще подростки, malltshi-palltshiki, и с утра нам надо было в школу, — а когда зашли в «Korovu», народу там было еще больше, чем когда мы выходили оттуда ранним вечером. Но тот hanurik, который в полном otrube что-то лопотал, накачавшись синтемеском или чем там он накачался, все еще был на месте и продолжал бормотать: «У дурмопсов туда-сюда инкстинкт обоняние брым дырыдум…» Это, видимо, у него был третий или четвертый otpad за вечер, потому что он уже приобрел некую нечеловеческую бледность, вроде как стал vesthju, и его лицо было словно изваяно из мела.

Вообще-то, если уж захотелось ему так долго болтаться на орбите, надо было сразу занять один из маленьких кабинетиков за перегородкой, а не сидеть в общем зале, потому что здесь кое-кому из malltshikov может прийти в голову slegontsa poshustritt с ним, хотя и не всерьез, поскольку во внутренних помещениях бара всегда сидят здоровенные вышибалы, которые запросто сумеют прекратить любую серьезную zavaruhu. В общем, Тём сел рядом с этим hanurikom, едва втиснув под стол свою клоунскую песочницу, скрывавшую его хозяйство, и изо всех сил треснул того по ноге своим грязным govnodavorn. Однако hanurik, бллин, ни черта не почувствовал, потому что слишком он витал в облаках.

Кругом большинство были nadtsatyje — shustrili и баловались молочком со всяческой durrju (nadtsatyje — это те, кто раньше назывался тинэйджерами), однако были некоторые и постарше, как veki, так и kisy (но только не буржуи, этих ни одного), сидели у стойки, разговаривали и смеялись. По их стрижкам, да и по одежде (в основном толстые вязаные свитера), было ясно, что это все народ с телевидения — они там за углом на студии что-то репетировали. У kis в их компании лица были очень оживленные, большеротые,

ярко накрашенные, kisy весело смеялись, сверкая множеством zubbjev и ясно показывая, что на весь окружающий мир им plevatt. Потом был такой момент, когда диск на автоматическом проигрывателе закончился и пошел на замену (то была Джонни Живаго, русская koshka со своей песенкой «Только через день»), и в этом промежутке, в коротком затишье, перед тем как вступит следующая пластинка, одна из тех женщин, kisa лет этак тридцати с большим gakom (белые волосы, rot до ushei) вдруг запела; она и спела-то немножко, всего такта полтора, как бы для примера в связи с тем, о чем они между собой говорили, но мне на миг показалось, бллин, будто в бар залетела огромная птица, и все мельчайшие волоски у меня на tele встали дыбом, мурашки побежали вниз и опять вверх, как маленькие ящерки. Потому что музыку я узнал. Она была из оперы Фридриха Гиттерфенстера «Das Betfzeug» — то место, где героиня с перерезанным горлом испускает дух и говорит что-то типа «может быть, так будет лучше». В общем, меня аж передернуло.

Однако паршивец Тём, сглотнув фрагмент арии, будто ломтик горячей сосиски, опять выдал одну из своих пакостей, что на сей раз выразилось в том, что, сделав пыр-дыр-дыр-дыр губами,

он по-собачьи взвыл и дважды ткнул двумя растопыренными пальцами в воздух и разразился дурацким смехом. Меня от его вульгарности прямо в дрожь бросило, кровь кинулась в голову, и я сказал: «Svolotsh! Дубина грязная, vyrodok невоспитанный!» Потом я, перегнувшись через Джорджика, сидевшего между мной и Тёмом, резко ткнул Тёма кулаком в zubbja. Тёма это чрезвычайно удивило, он даже rot разинул, вытер рукой с губы кровь и с изумлением стал глядеть то на окровавленную руку, то на меня.

— Ты чего это, а? — спросил он с совершенно дурацким видом. Того, что произошло, почти никто не видел, а кто видел, не обратили внимания. Проигрыватель опять вовсю играл, причем какой-то zhutki электронно-эстрадный kal. Я говорю:

— А того, что ты guboshliop паршивый, не умеющий себя вести и не способный прилично держать себя в обществе, бллин.

Тём напустил на себя злокозненный вид и сказал:

— Ну так и мне, знаешь ли, не всегда нравится то, что ты проделываешь. И я отныне тебе не друг и никогда им не буду.

Он вынул из кармана огромный obsoplivienni

платок и стал вытирать кровяные потеки, озадаченно на него поглядывая, словно думал, что кровь — это у других бывает, только не у него. Он изливал кровь, словно во искупление pakosti, которую сделал, когда та kisa вдруг излила на нас музыку. Но та kisa уже вовсю хохотала со своими koreshami у стойки, сверкая zubbjami и всем своим зазывно размалеванным litsom, явно не заметив допущенной Тёмом грязной вульгарности. Оказывается, это только мне Тём сделал пакость. Я сказал:

— Что ж, если я тебе не нравлюсь, а подчиняться ты не хочешь, тогда ты знаешь, что надо делать, druzhistshe.

Но Джорджик довольно резко, так, что я даже обернулся к нему, проговорил:

— Ладно вам. Kontshiaite.

— А это уж личное дело Тёма, — возразил я. — Не хочет, видите ли, всю жизнь ходить у меня shesterkoi. — И я твердо взглянул на Джорджика. Тём, у которого кровь течь уже переставала, продолжал ворчать:

— Интересно, кто дал ему право приказывать и делать мне toltshok, когда ему вздумается? Я ему beitsy оторву, glazzja tseppju вышибу, тогда будет знать.

— Осторожнее, — сказал я как можно тише, лишь бы слышно было сквозь уханье стереопроигрывателя, которое било в ushi, отдаваясь ото всех стен и потолка; да еще этот, который в otpade, начал пошумливать: «Искра приближается, бутлитыкбум...» И еще я сказал: — Когда хотят жить, такими словами не бросаются, имей в виду!

— Hren тебе, — проговорил Тём, осклабясь. — Большой такой tolsti тебе hren. Не следовало тебе делать то, что ты сделал. В следующий раз выходи лучше с tseppju или britvoi, больше я от тебя такого не стерплю.

— Что ж, popishemsia, когда скажешь, точи nozh, — рявкнул я в ответ. Тут и Пит подал голос:

— Ну ладно, хватит, заткнитесь оба. Друзья мы или нет, а? Нехорошо, когда друзья начинают tsapattsia. Гляньте, вон patsany какие-то на нас скалятся, прямо rty до ushei. Нельзя так ронять себя.

— Нельзя, — согласился я. — Но Тём должен знать свое mesto. Верно?

— Постой-ка, — удивился Джорджик. — Ну-ка, отсюда поподробнее! Что-то я впервые слышу насчет того, чтобы кому-то нужно было знать свое mesto.

— По правде говоря, Алекс, — поддержал его

Пит, — не следовало тебе давать Тёму этот совершенно незаслуженный toltshok. Это сказал я и повторять не буду. Я говорю это с полным уважением, но если бы это мне он от тебя достался, тебе пришлось бы отвечать. Больше ничего говорить не буду. — И он опустил litso к стакану с молоком.

Я чувствовал, как внутри все вскипает, однако, стараясь скрыть это, заговорил спокойно:

— Кто-то должен быть во главе. Дисциплина необходима. Так или нет? — Никто на это не сказал ни слова, даже не кивнул. Внутренне я вскипел еще больше и еще спокойнее стал внешне. — Признаться, — сказал я, — что-то я давненько уже руковожу вами. Верно? Так или нет? — Они все слегка покивали, довольно-таки нехотя. Тём отирал последние следы крови. Он теперь и заговорил:

— Ладно, ладно, zamniom. Тарабумбия, сижу на тумбе я. С устатку мы все, видать, немножко oborzeli. Больше не говорим об этом. — Меня удивило, даже, пожалуй, слегка испугало то, что Тём заговорил так мудро. А он продолжал: — Щас лучше всего в теплую кроватку, а потому айда по домам. Правильно? — Меня все это до крайности удивляло. Двое других согласно закивали, мол,

правильно, правильно. Я говорю:

— Про тот toltshok. Тём, ты пойми меня правильно. Это все музыка, понимаешь? Я становлюсь как bezumni, когда какая-нибудь kisa поет, а ей мешают. Из-за этого и получилось.

— Ладно, все, идем домой, маленькая spiatshka, — сказал Тём. — Большим мальчикам надо много спать. Правильно? — «Правильно, правильно», — закивали остальные двое. Я сказал:

— Что ж, я думаю, это лучшее, что мы можем придумать. Тём нам правильную идею podkinul. Если не встретимся днем, бллин, что ж, тогда завтра в тот же час и в том же месте?

— Конечно — сказал Джорджик. — Zamiotano.

— Я, может быть, немного опоздаю, — предупредил Тём. — Но в том же месте, это уж точно. Может, только чуть позже. — Он все еще притрагивался время от времени к губе, хотя крови на ней уже не было. — И будем надеяться, что тут больше всякие kisy не будут упражняться в пении. — И он издал свой коронный, так знакомый нам всем клоунский ухающий хохоток: «Ух-ха-ха-ха». Я решил, что он настолько темный, что и обидеться как следует не способен.

В общем, разошлись мы каждый в свою сто-

рону, я шел и все время рыгал от холодной duri, которой наглотался. Бритву держал наготове на случай, если вдруг какие-нибудь дружки Биллибоя окажутся поблизости от моего подъезда, да, кстати, и другие bandy, shaiki и gruppy тоже время от времени набегали повоевать друг с дружкой. Жил я с mamoi и papoi в микрорайоне муниципальной застройки между Кингсли-авеню и шоссе Вильсонвей, в доме 18а. К двери подъезда я добрался без приключений, хотя пришлось-таки миновать какого-то malltshika, который лежал в канаве, корчился и стонал, весь порезанный, и под фонарем видны были следы крови, будто это сама ночь, poshustriv, напоследок расписалась в своих проделках. А еще совсем рядом с домом 18а я видел пару девчоночьих nizhnih, явно грубо сдернутых в пылу схватки. Короче, вхожу. Стены в коридоре еще при постройке были разрисованы картинами: tsheloveki и kisy при всех своих pritshindalah, очень подробно выписанных, с достоинством трудятся — кто у станка, кто еще как, причем — я повторяю — совершенно безо всякой одежды на их местами очень даже vypukiuh телах. Ну и, конечно же, кое-кто из mallishikov, живущих в доме, на славу потрудился над ними, где карандашом, где шариковой ручкой

приукрасив и дополнив упомянутые картины подрисованными к ним всякими торчащими shtutshkami, volosnioi и площадными словами, на манер комиксов якобы вырывающимися изо ртов этих вполне респектабельно трудящихся нагих vekov и zhenstshin. Я подошел к лифту, но нажимать кнопку, чтобы понять, работает ли он, не потребовалось, потому что лифту кто-то только что дал izriadni toltshok, даже двери выворотил в приступе какой-то поистине недюжинной силы, поэтому мне пришлось все десять этажей топать пешком. Пыхтя и ругаясь, я лез наверх, весьма утомленный физически, хотя голова работала четко. В тот вечер я страшно соскучился по настоящей музыке — может быть, из-за той kisy в баре «Korova». Перед тем, как на въезде в зону сна мне проштемпелюют паспорт и приподнимут полосатый shest, мне хотелось еще успеть как следует ею насладиться.

Своим ключом я отпер дверь квартиры 10-8, в маленькой передней меня встретила тишина, па и ма уже оба десятый сон видели, но перед сном мама оставила мне на столе ужин — пару ломтиков дрянной консервной ветчины и хлеб с маслом, а также стакан доброго старого холодного молока. О-хо-хо, молоко-молочишко,

без ножей, без синтемеска и дренкрома! До чего же злокозненным будет всегда теперь казаться мне обычное безобидное молоко! Однако я выпил его и яростно все sozhral — оказывается, я был куда голоднее, чем самому казалось; из хлебницы достал фруктовый пирог и, отрывая от него куски, принялся запихивать их в свой ненасытный rot. Потом я почистил зубы и, цокая языком, чтобы добыть остатки zhratshki из дыр в zubbjah, поплелся в свою комнатуху, на ходу раздеваясь. Здесь была моя кровать и стереоустановка, гордость и отрада моей zhizni, здесь хранились в шкафу мои диски, на стенах красовались плакаты и флаги, напоминавшие о жизни в исправительной школе, куда я попал одиннадцати лет, — да, бллин, — и на каждом какая-нибудь надпись, какая-нибудь памятная цифирь: «ЮГ-4»; «ГОЛУБАЯ ДИВИЗИЯ ГЛАВНОЙ ИСПРАВШКОЛЫ»; «ОТЛИЧНИКУ УЧЕБЫ». Портативные динамики моей установки расположены были по всей комнате: на стенах, на потолке, на полу, так что, слушая в постели музыку, я словно витал посреди оркестра. Первое, что мне в ту ночь придумалось, это послушать новый концерт для скрипки с оркестром Джефри Плаутуса в исполнении Одиссеуса Чурилоса с филармоническим

оркестром штата Джорджия; я достал пластинку с полки, где они у меня аккуратно хранились, включил и подождал.

Вот оно, бллин, вот где настоящий prihod! Блаженство, истинное небесное блаженство. Обнаженный, я лежал поверх одеяла, заложив руки за голову, закрыв глаза, блаженно приоткрыв rot, и слушал, как плывут божественные звуки. Само великолепие в них обретало plott, становилось телесным и осязаемым. Золотые струи изливались из тромбонов под кроватью; где-то за головой, трехструйные, искрились пламенные трубы; у двери рокотали ударные, прокатываясь прямо по мне, по всему нутру, и снова отдаляясь, треща, как игрушечный гром. О, чудо из чудес! И вот, как птица, вытканная из неземных, тончайших серебристых нитей, или как серебристое вино, льющееся из космической ракеты, вступила, отрицая всякую гравитацию, скрипка соло, сразу возвысившись над всеми другими струнными, которые будто шелковой сетью сплелись над моей кроватью. Потом ворвались флейта с гобоем, ввинтились, словно платиновые черви в сладчайшую изобильную plott из золота и серебра. Невероятнейшее наслаждение, бллин. Па и ма в своей спальне по соседству уже привыкли

и отучились стучать мне в стенку, жалуясь на то, что у них называлось «шум». Я их хорошо вымуштровал. Сейчас они примут снотворное. А может, зная о моем пристрастии к музыке по ночам, они его уже приняли. Слушая, я держал glazzja плотно закрытыми, чтобы не spugnutt наслаждение, которое было куда слаще всякого там Бога, рая, синтемеска и всего прочего, — такие меня при этом посещали видения. Я видел, как veki и kisy, молодые и старые, валяются на земле, моля о пощаде, а я в ответ лишь смеюсь всем rotom и kurotshu сапогом их litsa. Вдоль стен — devotshki, растерзанные и плачущие, а я zasazhivaju в одну, в другую, и, конечно же, когда музыка в первой части концерта взмыла к вершине высочайшей башни, я, как был, лежа на спине с закинутыми за голову руками и плотно прикрытыми glazzjami, не выдержал и с криком «а-а-а-ах» выбрызнул из себя наслаждение. Потом прекрасная музыка, подступая все ближе, пошла плавно снижаться. После этого был чудный Моцарт, «Юпитер», и снова разные картины, litsa, которые я терзал и kurotshil, а уже затем надумалось поставить напоследок, на самой границе сна, завершающий диск, что-нибудь мощное, старое и zaboinoje, и я вынул И. С. Баха, «Бранденбургский концерт» для

альта и виолончели. Слушая его с наслаждением теперь совсем другого рода, я вновь увидел то название на листе, которому я сделал razdryzg нынче вечером, уже, казалось, давным-давно, в коттеджике под названием «ДОМ». Что-то про заводной апельсин. Под звуки И. С. Баха я стал гораздо лучше ponimatt, что это название значит; коричневая, охряная роскошь аккордов старого мастера раскрыла мне глаза на то, что мне бы следовало их обоих toltshoknutt куда серьезней, разорвать их на части и растоптать в пыль на полу их же собственного дома.

4

Наутро я проснулся еле-еле — о-хо-хо, бллин, восемь часов уже! — проснулся, чувствуя себя так, будто меня били, колотили и не давали опомниться; glazzja неодолимо слипались, и я решил в школу не ходить. Решил malennko понежиться в постели — скажем, часик-другой, потом с ленцой одеться, поплескавшись, быть может, сперва в ванне, поджарить себе тосты, послушать радио или почитать газету в полном своем odinotshestve. А уж потом, если возникнет такое мое желание, после большой перемены можно и в школу наведаться, глянуть, что там prohodiat

в великом храме бессмысленного учения. Мне было слышно, как возится, ворчит и шаркает в прихожей папа, уходя работать на свой химзавод, а потом подала голос мама; очень вежливым тоном, который она усвоила с тех пор, как я стал большой и сильный, она напомнила:

— Уже девятый час, сынок. Ты ведь не хочешь снова опаздывать?

Я ей в ответ:

— Что-то голова побаливает. Посплю tshutok — может, пройдет, а после полдника точно пойду, как shtyk. — Послышался ее вздох и тихий голос:

— Завтрак на плите. Мне самой уже идти надо.

Что верно, то верно, особенно в связи с законом о том, чтобы каждый взрослый здоровый гражданин трудился на благо общества. Мама у меня работала в одном из так называемых госмагов, где она расставляла на полках консервированные супы, овощи и всякий прочий kal. Короче, я слушал, как она звякнула кастрюлей, ставя ее в духовку газовой плиты, потом надевала туфли, снимала с вешалки за дверью пальто, и, снова вздохнув, она сказала: «Все, ухожу, сынок». Но тут я отплыл обратно в страну снов и vydryhsia, надо сказать, отменно, причем снился мне очень странный и явственный сон, почему-то про моего

друга Джорджика. Во сне он был гораздо старше, был очень строг, суров, говорил о дисциплине и послушании, требовал, чтобы все подчиненные ему malltshiki беспрекословно повиновались приказам и отдавали честь, как в армии, а я стоял с остальными вместе в одном строю и отвечал «да, сэр» и «нет, сэр», а потом заметил, что у Джорджика на плечах звезды и он вроде как генерал. Потом по его вызову появился balbesina Тём с хлыстом в руке, Тём тоже был какой-то старый и седой, у него даже несколько zubbjev не хватало (я заметил это, когда он, увидев меня, усмехнулся), и тут Джорджик, мой старый drug Джорджик, сказал, указывая на меня: «У этого veka на одежде грязь и kal», и это было правдой. Тогда я закричал: «Не бейте меня, bratsy, пожалуйста, не бейте» и бросился бежать. Я бегал от них как-то кругами, Тём настигал, хохоча во всю глотку и щелкая своим хлыстом, удар которого прожигал меня каждый раз до нутра, и одновременно еще раздавался какой-то звон, словно электрического звонка — ззынь-зынь-зынь, — и этот звон тоже отдавался болью.

Потом я внезапно проснулся, сердце в груди бухало, и, конечно же, действительно звонил звонок — дрррррр, это звонили в дверь. Я сделал

вид, будто никого нет дома, но этот дрррррр не унимался, а потом сквозь дверь донесся голос: «Давай-давай, вылазь, нечего, я знаю, что ты в кровати». Голос я сразу же узнал. Это был П. Р. Дельтоид (из мусоров, и притом durenn), он был назначен моим «наставником по перевоспитанию» — заезженный такой kashka, у которого таких, как я, было несколько сот. Я закричал «да-да-да», голосом как бы больным, вылез из кровати и привел себя в порядок. Халатец у меня был — это, бллин, vastshe! — натурального шелка и такими еще узорами изукрашен наподобие городских пейзажей. Сунул ноги в удобные войлочные тапочки, причесал роскошные кудри и тогда уже впустил П. Р. Дельтоида. Открыл дверь, и он вошел, весь какой-то потрепанный, походка шаркающая, на голове бесформенная shlapa, плащ грязный.

— Ах, Алекс, Алекс, — заговорил он. — Кстати, я по дороге встретил твою мать. Она сказала, что у тебя вроде болит что-то. Стало быть, в школу не пошел?

— Ужасная, непереносимая головная боль, koresh, то есть сэр, — сказал я своим самым вежливым тоном. — Думаю, к обеду, может, пройдет.

— А к вечеру так уж просто непременно, — ото-

звался П. Р. Дельтоид. — Вечер — замечательное время, не правда ли, Алекс? Садись, — сказал он, — садись, садись, — словно он был у себя дома, а я у него в гостях. Сам уселся в старое отцовское кресло-качалку и принялся раскачиваться, словно за этим только и пришел. Я говорю:

— Может, potshifiriajem? В смысле, чашечку чаю, сэр?

— Я спешу, — ответил он. И продолжал качаться, посверкивая на меня глазами из-под нахмуренных бровей, словно в запасе у него целая вечность. — Я спешу, — повторил этот durenn, — хотя давай. — Я поставил на плиту чайник. Потом говорю:

— Чем я обязан столь редкостному удовольствию? Что-нибудь случилось, сэр?

— Случилось? — каким-то коварным тоном чересчур быстро переспросил он, глядя на меня исподлобья, но продолжая качаться. Потом ему на глаза попалась реклама в газете, лежавшей на столе, — симпатичная молоденькая kisa глядела, усмехаясь и вывесив на всеобщее обозрение свои grudi, символизирующие прелести югославских пляжей. Потом, словно бы pozhrav ее в два приема, он продолжал: — А почему ты думаешь, что непременно что-нибудь случилось? Сотворил

что-нибудь или как?

— Да это я так просто, из вежливости, — сказал я. И добавил: — Сэр.

— Гм, — промычал П. Р. Дельтоид. — А я вот из вежливости предупреждаю тебя, Алекс, чтобы ты поостерегся, потому что следующий раз тебе уже не исправительная школа светит. За решетку попадешь, и вся моя работа насмарку. Если тебе на себя, паршивца, плевать, мог бы хоть обо мне немного подумать, ведь столько сил в тебя вбито! Мне за каждое поражение большую черную отметину ставят (это я тебе по секрету говорю) — за каждого, кто кончит в тюряге.

— Я ничего такого не сделал, сэр, — ответил я. — У милисентов на меня ничего нет, koresh, то есть в смысле сэр.

— Ты мне это брось, насчет милисентов, — устало процедил П. Р. Дельтоид, продолжая раскачиваться. — То, что тебя давно не задерживала полиция, еще не значит, как ты сам прекрасно знаешь, что ты никаких гадостей не устраивал. Вчера вот драчка какая-то была, так или нет? С ножами, велосипедными цепями и так далее. Один приятель некоего толстого парня госпитализирован, его подобрала «скорая» около подстанции, весьма и весьма пакостно

обработанного ножами, н-да. Поминали тебя. До меня это по обычным каналам дошло. Кое-кого из твоих дружков тоже упоминали. Вообще вчера вечером совершено довольно много отборных пакостей. Ну, естественно, никто ни о ком ничего толком доказать не может, это как обычно. Но я предупреждаю тебя, Алекс, малыш, как добрый друг тебя предупреждаю, как единственный в этом подлом и гнилом районе человек, который хочет спасти тебя от тебя самого.

— Я ценю вашу заботу, сэр, — сказал я, — честно, очень ценю.

— Ага, ты ценишь, конечно. — На его лице появилось подобие ухмылки. — Смотри у меня, смотри в оба… н-да. Мы знаем больше, чем ты думаешь, Алекс. — Потом он сказал тоном глубочайшего страдания, но все еще продолжая качаться: — И что на вас на всех нашло? Мы эту проблему изучаем, изучаем, уже чуть ли не целый век изучаем, н-да, но ни к чему все это изучение не приводит. У тебя здоровая обстановка в семье, хорошие любящие родители, да и с мозгами вроде бы все в порядке. В тебя что, бес вселился, что ли?

— Ни у кого на меня ничего нет, сэр, — повторил я. — К милисентам я давно не попадал.

— Это меня и беспокоит, — вздохнул П. Р. Дельтоид. — Слишком давно, не к добру это. Сейчас бы как раз самое время. Потому я и предупреждаю тебя, Алекс, чтобы ты держал свой юный миловидный хоботок подальше от всякой мути… н-да. Я достаточно ясно выразился?

— Как ясное незамутненное озеро, сэр, — сказал я. — Как лазурное небо ясным днем в разгар лета. Вы можете на меня положиться, сэр. — И я одарил его любезнейшей zubastoi улыбкой.

Но когда он встал, чтобы уйти, а я как раз заваривал крепкий чай, я даже усмехнулся себе под нос над тем, какая glupostt волнует П. Р. Дельтоида и всю его дельтовидную ratt. Ну, хорошо, я плохой, я делаю весь этот toltshoking, krasting, britvoi балуюсь и добрым старым sunn-vynn, так что, если меня поймают, мало мне не покажется, бллин, ибо, ясное дело, нельзя допускать, чтобы каждый вел себя по ночам, как я. В общем, если меня поймают (сперва три месяца, потом шесть, и наконец, как дружески предупредил П. Р. Дельтоид, несмотря на блаженное малолетство, долгая-долгая propiska в клетке поганейшего зверинца), ничего, ладно, я им скажу тогда: «Все правильно, начальнички, а все ж таки помилосердствуйте, потому что жить взаперти я просто не способен».

Зато в будущем, которое потом когда-нибудь все равно ведь раскроет мне свои снежно-белые лилейные объятья (пока не наткнусь на nozh или не взметнется последним судорожным выбрызгом кровь среди искореженного металла и битого стекла на шоссе), в этом прекрасном будущем все мои усилия, все старания будут направлены на одно: только бы больше не vlipnutt. И это будет как минимум честно. Но больше всего веселило меня, бллин, то усердие, с которым они, грызя ногти на пальцах ног, пытаются докопаться до причины того, почему я такой плохой. Почему люди хорошие, они дознаться не пытаются, а тут такое рвение! Хорошие люди те, которым это нравится, причем я никоим образом не лишаю их этого удовольствия, и точно так же насчет плохих. У тех своя компания, у этих своя. Более того, когда человек плохой, это просто свойство его натуры, его личности — моей, твоей, его, каждого в своем odinotshestve, — а натуру эту сотворил Бог, или Gog, или кто угодно в великом акте радостного творения. Неличность не может смириться с тем, что у кого-то эта самая личность плохая, в том смысле, что правительство, судьи и школы не могут позволить нам быть плохими, потому что они не могут позволить нам быть

личностями. Да и не вся ли наша современная история, бллин, это история борьбы маленьких храбрых личностей против огромной машины? Я это серьезно, бллин, совершенно серьезно. Но то, что я делаю, я делаю потому, что мне нравится это делать.

И вот теперь, улыбчивым зимним утром, я пью крепчайший tshai с молоком, добавляя туда ложку за ложкой сахар (люблю сладенькое), а потом вытаскиваю из духовки завтрак, который моя бедная старушка мама мне сготовила. Она оставила яичницу из одного яйца — всего-навсего, — но я поджарил себе тост и съел яичницу с тостом и джемом, чавкая и причмокивая над газетой, которую заодно читал. Газета была, по обыкновению, полна описаний всевозможного насилия, ограблений банков, забастовок, упоминалось также о том, что футболисты повергли всех в шок, пригрозив отменить матч в следующую субботу, если им не прибавят жалование — экие ведь противные huligantshiki! Еще там говорилось о новых полетах в космос, увеличении экранов стерео ТВ и о том, что если пришлешь им сколько-то там этикеток от жестянок с супами, то получишь бесплатно пакет мыльных хлопьев — поразительная щедрость, от которой меня

разобрал смех. Дальше шла большая статья о современной молодежи (обо мне, значит, и я даже отвесил газете поклон, ухмыляясь, как bezumni); статью написал какой-то умный лысый papik. Я внимательно ее читал, прихлебывая tshajok, чашку за чашкой, и хрустя ломтиками черного тоста, намазанного джемом и накрытого яичницей. Этот ученый papik ничего нового не говорил, все как обычно: об отсутствии родительской дисциплины (его термин), нехватке приличных нормальных учителей, которые вышибли бы дурь из неразумных недорослей, заставив их, рыдая, просить прощения. Все это была сплошная murnia, от которой меня разбирал смех, однако приятно было знать, что мы продолжаем быть притчей во языцех, бллин. Каждый день в газете было что-нибудь про современную молодежь, но лучшую vestsh написал какой-то старый pop в воротнике наподобие собачьего ошейника, причем писал он, якобы все обдумав, да еще и как человек Божий: ДЬЯВОЛ ПРИХОДИТ ИЗВНЕ, извне он внедряется в наших невинных юношей, а ответственность за это несет мир взрослых — войны, бомбы и всякий прочий kal. Что ж, это нормально. Видимо, он знает, что говорит, этот человек Божий. Стало быть, нас, юных невинных

mallishipalltshikov, и винить нельзя. Это хорошо, это правильно. Пару раз с детской непосредственностью сыто икнув, я принялся вынимать из шкафа свой будничный костюм, предварительно включив радио. Передавали музыку, очень даже приличный струнный квартет Клаудиуса Бердмана, vestsh, которую я хорошо знал. Не выдержав, я еще раз усмехнулся по поводу того, что прочитал в одной из таких статей про современную молодежь — насчет того, что эта самая молодежь была бы куда как лучше, если бы ей прививался живой интерес к искусствам. Великая Музыка, говорилось в ней, и Великая Поэзия усмирила бы современную молодежь, сделав ее более цивилизованной. Цивилизуй мои сифилизованные beitsy. Что касается музыки, то она как раз все во мне всегда обостряла, давала мне почувствовать себя равным Богу, готовым метать громы и молнии, терзая kis и vekov, рыдающих в моей — ха-ха-ха — безраздельной власти. А потом, слегка плеснув водой в litso и на руки и одевшись (будничный мой костюм был чисто ученического толка: синенькие брючата и свитер с буквой А, потому что Алекс), я подумал, что наконец-то у меня есть время сходить в магазин пластинок (кстати, не только время: babok в карманах пол-

но), чтобы спросить насчет давно обещанной и давно заказанной пластинки с записью Девятой (она же хоральная) симфонии Бетховена (фирма «Мастерстроук», дирижер Л. Мухайвир). Туда я и отправился.

Днем все не так, как вечером и ночью. Ночь принадлежит мне, моим koresham и всем прочим nadtsatym, а всякие старые буржуи в это время прячутся по домам, baldejut под глупый telik, зато днем вылезают, день — время starikashek, да и ментов днем на улицах куда больше. Я сел на углу в автобус, доехал до центра, а потом чуть вернулся к Тэйлор-плейс, где находился любезный моему утонченному сердцу магазин грампластинок. Н-да. Название у него было глуповатое: «Melodija», но дело там знали, работали быстро, и там, как правило, проще всего было доставать новые записи. Войдя, я увидел, что покупателей в магазине почти нет, за исключением двух юненьких kisok, которые, не переставая лизать мороженое (это зимой-то, в такую холодину, бррр!), копались в каталоге новинок поп-музыки — Джонни Берневей, Стас Крох, «Зе Миксерз», «Полежи чуток с Эдиком», Ид Молотов и тому подобный kal. Kiskam было лет по десять, не больше; они, видать, тоже, вроде меня, решили школу в тот день zadvinutt.

Самим себе они виделись вполне взрослыми девушками, это было заметно: крутеж porami при виде вашего покорного слуги, поддельные grudi и намазанные красным gubiohi. Я подошел к стойке, лучезарно улыбнулся старине Энди, который в тот день стоял за прилавком (obaldenni был тип, кстати: сам всегда вежливый, всегда поможет, очень хороший vek, разве что лысый и дико тощ). Он заговорил первым:

— А! Кажется, знаю, чего ты хочешь. Могу порадовать, получили. — И, отмахивая своими дирижерскими ручищами такт шагам, пошел в подсобку. Две мелкие kiski принялись хихикать, как у них в этом возрасте принято, а я окинул их холодным взглядом. Энди мигом вернулся, поигрывая глянцевым белым конвертом с Девятой, а на конверте-то, бллин, еще и портрет — хмурое, с яростно сдвинутыми бровями лицо самого Людвига вана.

— Вот, — сказал Энди. — Дорожку проверять будем? — Но мне хотелось поскорей унести ее домой, поставить на свой аппарат и в odinotshestve слушать, упиваясь каждым звуком. Я вынул deng заплатить, и тут одна из kisk сказала:

— И кто это к нам пришел? И чем это он обарахлился? — У мелких kisk была своя манера

govoriting. — Кто у тебя в прихвате, папик? «Хевен Севентин»? Люк Стерн? «Гоголь-Моголь»? — И обе захихикали, вихляя popami. Тут вдруг мне пришла идея, я прямо что чуть в осадок не выпал от пронзительного предвкушения, да, бллин, я аж дохнуть не мог секунд десять. Пришел в себя, ощерил свои недавно чищенные zubbja и говорю:

— Что, сестрички, оттягиваетесь пилить диск на скрипучей телеге? — А я уже заметил, что пластинки, которые они накупили, сплошь был всяческий nadtsatyi kal. — Наверняка же у вас какие-нибудь портативные fuflovyje крутилки. — В ответ на это они только горестно выпятили нижние губки. — Дядя щас добрый, — сказал я, — дядя даст вам их послушать putiom. Услышите ангельские трубы и дьявольские тромбоны. Вас приглашают. — Я вроде как поклонился. Они опять похихикали, а одна сказала:

— Да-а, а мы е-есть хотим! Сперва хотим где-нибудь покушать!

Вторая жеманно присовокупила:

— Хи, ей бы только zhratt, смотри не лопни!

А я в ответ:

— Дядя dobberi, дядя накормит. Куда пойдем?

Тут они вообразили себя светскими дамами, что выглядело довольно-таки жалко, и принялись

поминать манерными голосишками названия типа «Ритц», «Бристоль», «Хилтон», а также «Иль Ристоранте Гран-Турко». Это я быстренько пресек, сказав: «Слушаться дядю, пошли!» и привел их в соседнюю пиццерию, где они принялись otjedatt свои юные щечки, поглощая спагетти, сосиски, крем-брюле, сушеные бананы и шоколадный мусс, пока меня уже чуть не затошнило от этого зрелища: я-то ведь, бллин, позавтракал едва-едва, всего каким-нибудь кусочком ветчины с кетчупом да яичницей. Две эти kiski были очень друг на дружку похожи, хотя и не сестры. Одинаковые мысли (вернее, отсутствие таковых), одинаковые волосы — что-то вроде крашеной соломы. Что ж, сегодня им предстоит здорово повзрослеть. Ох, vezuha! Нет, ну, конечно, никакой школы сегодня в помине быть не может, а вот ученье будет, причем Алекс выступит учителем. Назвались они Марточкой и Сонеточкой, что было, разумеется, чистой brehnioi, зато звучало в их детском воображении diko элегантно. Я им говорю:

— Ладно, Марточка-Сонеточка, horosh питаться. Пошли, крутнем диски. Ноги-ноги-ноги!

Выйдя на холодную улицу, они решили, что автобус — это им не в kaif, им нужна tatshka, так что пришлось оказать им такую честь, внутренне

при этом diko потешаясь. Я подозвал такси со стоянки на площади. Шофер, stari усатый kashka в замызганном костюме, предупредил:

— Только чтоб сиденья не драли. Они у меня новые, только что обивку менял. — Я развеял его глупые страхи, и покатили мы в сторону дома, причем храбрые kiski непрестанно хихикали и шептались. Короче, прибыли, я шел по лестнице впереди, они, пыхтя и похихикивая, спешили за мной, потом их обуяла жажда, в комнате я отпер один хитрый ящичек и налил своим десятилетним невестам по изрядной порции виски, хотя и разбавленного должным образом содовой шипучкой. Они сидели на моей кровати (все еще неубранной), болтали ногами и тянули свои коктейли, пока я прокручивал им на своем стерео жалкое их fuflo. Крутить на нем такое — это было все равно что хлебать сладковатую кашицу детского питания из драгоценных, прекрасной работы золотых кубков. Однако они ахали, baldeli и только выдыхали временами «pisets», или «montana», или еще какое-нибудь из идиотских словечек, которые тогда были в моде у этой возрастной группы. Проигрывая для них этот kal, я то и дело напоминал им, чтобы пили, наливал еще, и они, бллин, надо сказать, не отказывались.

Так что к тому времени, когда их жалкенькие пластиночки прокрутились каждая по два раза (а их всего было две: «Медонос» Айка Ярда и «Ночь за днем и день за ночью», с которой блеяли какие-то два одноялцевых евнухоида, чьих имен я не помню), — в общем, к этому моменту kiski мои были уже в состоянии буйного восторга — прыгали и катались по кровати, и я вместе с ними.

Что в тот день у меня с ними было, об этом, блин, так нетрудно догадаться, так что описывать не стану. Обе вмиг оказались razdety; заходились от хохота, находя необычайно забавным вид дяди Алекса, который стоял голый и торчащий со шприцем в руке, как какой-нибудь доктор, а потом, выбрызнув из шприца тонкую струйку, вколол себе в предплечье хорошенькую дозу вытяжки из мартовского вопля камышового кота. Потом вынул из конверта несравненную Девятую, так что Людвиг ван теперь тоже стал nagoi, и поставил адаптер на начало последней части, которая была сплошное наслаждение. Вот виолончели, заговорили прямо у меня из-под кровати, отзываясь оркестру, а потом вступил человеческий голос, мужской, он призывал к радости, и тут потекла та самая блаженная мелодия, в которой радость сверкала божественной искрой

с небес, и, наконец, во мне проснулся тигр, он прыгнул, и я прыгнул на своих мелких kisk. В этом они уже не нашли ничего забавного, прекратили свои радостные вопли, но пришлось им подчиниться, бллин, этаким престранным и роковым желаниям Александра Огромного, удесятеренным Девятой и подкожным впрыском, желаниям мощным и tshudesnym, zametshatellnym и неуемным. Но так как обе они были очень и очень пьяны, то вряд ли сами много почувствовали.

Когда эта последняя часть докручивалась по второму разу со всеми ее выплесками и выкриками о Радости, Радости, Радости, две моих маленьких kiski уже не играли во взрослых опытных dam. Они вроде как мало-помалу otshuhivaliss, начиная ponimatt, что с ними маленькими, с ними бедненькими только что проделали. Начали проситься домой и говорить, что я зверь и тому подобное. Вид у них был такой, будто они побывали в настоящем сражении, которое, вообще-то, и в самом деле имело место; они сидели надутые, все в синяках. Что ж, в школу ходить не хотят, но ведь учиться-то надо? Ох, я и поучил их! Надевая платьица, они уже вовсю плакали — ыа-ыа-ыа, — пытались тыкать в меня своими крошечными кулачками, тогда как я лежал

на кровати перепачканный, голый и выжатый как лимон. Основной kritsh издавала Сонеточка: «Зверь! Отвратительное животное! Грязная гадина!» Я велел им собрать shmotjo и валить подобру-поздорову, что они и сделали, бормоча, что напустят на меня ментов и всякий прочий kal в том же духе. Не успели они спуститься по лестнице, как я уже крепко спал, прямо под звуки сталкивающихся и переплетающихся призывов к Радости, Радости, Радости…

Проснулся я, однако, несколько поздновато (на моих часах было около полвосьмого), что, с моей стороны, было, как оказалось, не слишком умно. Дело в том, что в этом svolotshnom мире все идет в счет. Надо учитывать, что всегда одно цепляется и тянет за собой другое. Так-так-так-так. Проигрыватель уже не пел ни о Радости, ни о том, чтобы обнялись миллионы, а это значило, что какой-то vek нажал на «выкл.», и скорее всего то был па или ма — родители уже вернулись с работы, судя по доносящемуся из столовой позвякиванию посуды и причмокиванию, с которым они тянули горячий чай из чашек: усталый обед двух trudiastshihsia после рабочего дня у одного на фабрике, у другой в магазине. Бедные kashki. Жалкая старость. Я надел халат и, прикинувшись

смиренным tshadom, выглянул со словами:

— Привет-привет-привет! Вот, отдохнул хорошенько, и все прошло. Готов теперь вечерок поработать — надо ведь и зарабатывать хоть чуть-чуть! — Дело в том, что, по их сведениям, именно этим я вечерами последнее время занимался. — Ням-ням, мамочка. Хочу ням-ням. — На столе был какой-то stylyi пудинг, который она разморозила, подогрела, и в результате он не слишком-то аппетитно выглядел, но ничего не поделаешь. Отец не очень радостно и как-то даже подозрительно посмотрел на меня, но ничего не сказал, зная, что связываться не следует, а мать чуть озарилась подобием усталой улыбки типа «сыночек, дитятко мое, кровиночка!». Я зарулил в ванную, наскоро принял душ — я и в самом деле чувствовал себя липким и грязным, — потом вернулся в свою berlogu переодеться в вечернее. Потом, сияющий, причесанный, чистый и блистающий, сел пообедать ломтиком пудинга. Заговорил рара:

— Пойми меня правильно, сын, я не хочу лезть в твои дела, но хотелось бы знать, где именно ты вечерами работаешь?

— Ну, в общем-то, — с набитым ртом прочавкал я, — по мелочам, на подхвате. То там, то здесь,

где придется. — Я бросил на него резкий jadovityi взгляд, как бы говоря: не лезь ко мне, и я к тебе не полезу. — Я ведь денег у вас не прошу, правда же? Ни на развлечения, ни на тряпки, верно? Ну, так и чего же ты тогда спрашиваешь?

Отец смущенно похмыкал, покашлял и говорит:

— Ты прости меня, сын, но иногда я за тебя беспокоюсь. Сны всякие снятся. Ты, конечно, можешь сколько хочешь смеяться, но, бывает, такое приснится! Вот и вчера тоже видел тебя во сне, и совсем мне тот сон не понравился.

— Да ну? — Мне даже интересно стало, что же он такое про меня увидел. Мне тоже что-то вроде бы снилось, но я никак не мог вспомнить, что именно. — Расскажи.

— Причем так явственно! — начал отец. — Вижу, ты лежишь на мостовой, избитый другими мальчишками. Ну, вроде тех, с которыми ты хороводился, перед тем как последний раз попасть в исправительную школу.

— Да ну? — Внутренне я посмеивался над незадачливым своим paroi, который верил или думал, что верит, будто я там действительно исправился. И тут я вспомнил свой собственный сон, который мне как раз в то утро приснился, — где был Джор-

джик, который по-генеральски распоряжался, и Тём со своей беззубой ухмылкой и обжигающим хлыстом. Однако сны, как мне когда-то говорили, сбываются с точностью до наоборот. — Отец, отец, не изволь беспокоиться за единственного своего сына и наследника, — сказал я. — Оставь пустые страхи. Он сможет сам за себя постоять, и с большим успехом.

— И еще, — продолжал отец, — мне виделось, будто ты весь в крови, обессилел и не можешь им сопротивляться. — Вот уж действительно все наоборот; я снова не мог внутренне не усмехнуться, а потом я вынул весь свой deng из карманов и хлопнул его на скатерть.

— Вот, папа; здесь немного, конечно. Это все, что я заработал вчера вечером. Но, может быть, этого хватит, чтобы вы с мамой сходили куда-нибудь, посидели, выпили по рюмочке хорошего виски.

— Спасибо, сын, — ответил он. — Мы редко теперь куда-либо ходим. Да ведь и опасно стало — на улицах сам знаешь, что творится. Всякие малолетние хулиганы и так далее. Все же спасибо. Завтра я куплю на них бутылочку, и мы с мамой посидим дома. — С этими словами он сгреб мои netrudovyje babki и сунул их в карман брюк, а мать пошла на кухню мыть посуду. И я ушел, со

всех сторон обласканный улыбками.

Дойдя до нижней лестничной площадки, я, прямо скажем, удивился. Удивился — это даже не то слово. Застыл, можно сказать, с открытым rotom. Меня, понимаете ли, пришли встречать. Стояли на фоне всех этих iskariabannyh стенных росписей, которым полагалось воплощать величие подвига во имя трудовой славы, увековечивать его в виде голых vekov и kis, сурово приникших к рычагам индустрии, изрыгая при этом скабрезности, пририсованные к их rotam хулиганистыми мальчишками. У Тёма в руке был тюбик черной масляной краски, и он как раз обводил очередное ругательство большим овалом, как всегда одновременно похохатывая — ух-ха-ха-ха. Но когда Пит и Джорджик со мной поздоровались, вовсю щеголяя ощеренными в дружеских улыбках zubbjami, он завопил во всю глотку: «Наконец-то, их величество прибыли, ур-ра!» и сделал что-то не вполне понятное на манер салюта с прищелкиванием каблуками.

— Мы беспокоились, — сказал Джорджик. — Сидим-сидим, пьем tshiortovo молоко с ножами, а потом думаем, вдруг на тебя нападут или еще чего-нибудь, вот и пришли на подмогу. Как, Пит, я правильно излагаю?

— Верно, верно, — ухмыльнулся Пит. — Иззивинни-нитте, — осторожно проговорил я. — У меня немножко tykva разболелась, пришлось это дело zaspatt. А родители не разбудили меня, когда я им велел. Что ж, мы собрались, тем не менее, и вместе возьмем то, что нам предложит старушка notsh… н-да. — Я поймал себя на том, что подхватил это дурацкое лишнее «н-да» у П. Р. Дельтоида, моего наставника по перевоспитанию. Очень странно.

— Насчет tykvy — сочувствую, — сказал Джорджик как-то даже чересчур участливо. — Много думаешь, не иначе. Приказы, дисциплина, то, се… Но она прошла, ты уверен? Уверен, что тебе не захочется снова пойти прилечь? — И все они эдак подленько zaostsherialiss.

— Постой, — проговорил я. — Давай-ка проясним обстановку. Этот сарказм, если я правильно понял вашу интонацию, не идет вам, о дружина и братие. Возможно, вы устроили маленький такой sgovoriting за моей спиной, потешились на славу, отпуская шуточки и тому подобный kal. Однако в качестве вашего друга и предводителя я, видимо, имею все-таки право знать, что происходит, или как? Ну-ка, давай, Тём, выкладывай, что означает эта твоя дурацкая обезьянья ухмылка? — Я это

не случайно по Тёму проехался — он как раз стоял с открытым rotom и вид являл совершенно bezumni. Тут внезапно встрял Джорджик:

— Ладно, Тёма больше не задираем, приятель. Это теперь у нас будет такой новый курс.

— Новый курс? — удивился я. — Что еще такое за новый курс? Я смотрю, вы успели основательно все обсудить за моей сонной спиной. Ну-ка, давайте подробнее! — С этими словами я скрестил rukery на груди и поудобнее прислонился к изломанному поручню лестницы, все еще стоя тремя ступеньками выше этих моих так называемых друзей.

— Не обижайся, Алекс, — сказал Пит, — но мы хотим, чтобы и у нас была кое-какая демократия. А не так, чтобы ты все время говорил, что делать и чего не делать. Но ты не обижайся.

Джорджик поддержал его:

— Обиды тут вообще никакой быть не может. Все дело в том, у кого есть идеи, а у кого их нет. Что он нам всю дорогу предлагал? — И Джорджик очень прямо взглянул мне в лицо храбрыми своими glazzjami. — Мелочевку, ерунду всякую, вроде как прошлой ночью. Но мы-то растем!

— Так, дальше, — процедил я, не двинувшись. — Слушаю, слушаю.

— Что ж, — продолжал Джорджик. — Хочешь выслушать до конца — слушай. Мы, понимаешь ли, по задворкам ходим, трясем мелкие лавчонки, а в результате мелочью в карманах звякаем. Притом, что в кафе «Масклмэн» есть такой Билл Англичанин, и вот он говорит, что способен narisovatt нам такой krasting, о котором каждый malltshik только мечтать может. Настоящее дело может оформить — briuliki, — говорил Джорджик, не сводя с меня взгляда холодных глаз. — Это пахнет большими, очень большими деньгами — вот что говорит Билл Англичанин.

— Так, — протянул я небрежно, хотя и diko razdrazh внутри. — С каких это пор ты снюхался с Биллом Англичанином?

— Знаешь, — ответствовал Джорджик, — я ведь, бывает, и сам по себе туда-сюда похаживаю. Ну, вот хоть в прошлый shabbat. Могу я иметь какую-то личную zhiznn, нет?

На его личную жизнь мне было natshatt это уж точно.

— А что, интересно, ты делать-то будешь с этими большими-пребольшими babkami, или деньгами, как ты их столь почтительно именуешь? Тебе что, не хватает чего-нибудь? Нужна tatshka — срываешь ее прямо с дерева. Нужен

кайф — его тоже lovish. Да или нет? Чего это тебе вдруг так захотелось стать жирным капиталистом?

— А-а, — махнул рукой Джорджик, — ты иногда думаешь и говоришь, как маленький ребенок. — Тут Тём снова заухал филином — «ух-ха-ха-ха!» — Сегодня, — заявил Джорджик, — сделаем взрослый krasting.

Стало быть, сон был все-таки в руку. Джорджик стал генералом, говорит, что делать и чего не делать, а Тём, этот ухмыляющийся безмозглый бульдог, того и гляди вытащит хлыст. Однако я разыграл свою роль как по нотам, очень осторожно разыграл, улыбчивый, со всем согласный:

— Ладно. Tshudnennko. Кто долго ждет своего часа, тот дождется. Я многому научил вас, други мои. Но, может, ты хоть посвятишь меня в свои планы, Джорджик?

— Ну, — с хитрецой ухмыльнулся Джорджик, — что ж планы… любимое молоко-плюс — видимо, так, а? Надо сперва взбодриться, всем надо, а тебе особенно у тебя сегодня трудный день.

— Ты прямо будто мои мысли читаешь! — Я изобразил улыбку. — Как раз хотел предложить наведаться в добрую старую «Korovu». Чудно-чудно-чудно. Ну, веди нас, Джорджик! — И я выдал

ему вроде как низкий поклон, улыбаясь, как bezumni, но при этом лихорадочно соображая. Однако когда мы вышли на улицу, я понял: думает glupi, а umni действует по озарению, как Бог на душу положит. И снова мне помогла прекрасная музыка. Мимо проехала машина, в не работало радио, до меня донесся всего лишь такт или полтора, но то был Людвиг ван, Скрипичный концерт заключительная часть, и я сразу понял, что от меня требуется. Хриплым голосом говорю: «Ну, Джорджик, давай!» и выхватываю свою britvu. Джорджик от неожиданности как-то так ухнул, но очень даже быстренько — шшшасть! — выщелкнул из рукояти клинок nozha, и мы кинулись друг на друга. Старина Тём говорит «Ну нет, так дело не пойдет», и начал отматывать с талии tsepp, но Пит удержал его, схватив за руку: «Оставь их. Так надо». В результате Джорджик и ваш покорный слуга, как коты, заходили друг возле друга, выжидая мгновенье, когда противник otkrojetsia, причем оба друг друга назубок знали, слишком даже хорошо знали; Джорджик время от времени шасть-шасть сверкающим своим клинком, но все впустую. То и дело мимо шли люди, видели все это, но не совались — надо полагать, такого рода зрелища им давно примелькались. Потом я ска-

зал себе: «Раз, два, три!» и бросился хак-хак-хак бритвой, — правда, не в лицо и не по glazzjam, а нацеливаясь на руку, в которой у Джорджика был nozh, и он его, бллин, все же выронил. Да, бллин. Выронил, и nozh дзынь-блям на зимний звонкий тротуар. Я лишь слегка мазнул Джорджика по пальцам britvoi, а он стоит и смотрит, как набухают под фонарем капельки крови.

— А ну! — повернулся я к Тёму (причем теперь начинал я первый, потому что Пит перед этим дал Тёму soviet не разматывать tsepp, и Тём внял ему). — Ну, Тём, теперь с тобой разберемся, ладненько? — Тём, как какой-то большой bezumni зверь, с криком «Гхаааааа» мгновенно размотал опоясывавшую его tsepp, да так ловко, obaldett можно. Тут правильной тактикой для меня было держаться как можно ниже, прыгая по-лягушачьи, чтобы защитить лицо и glazzja, и я так и делал, бллин, что беднягу Тёма изрядно изумило — он-то привык хлестать по открытой morder — хлесь-хлесь-хлесь! Однако он, надо признать, здорово влепил мне по спине, меня аж до нутра прожгло, но эта боль только побудила меня скорей с ним разделаться. Ну, я и мазнул его britvoi по левой ноге через штанину — штанина тесная, разом на пару дюймов разъехалась, и брызнуло

немножко крови, отчего Тём стал вообще как bezumni. И тут, пока он завывал вау-вау-вау собачьим голосом, я провел с ним тот же прием, что и с Джорджиком, вложив все в одно движение — вверх, вбок, вжжик, — и почувствовал, как britva вошла в мякоть его запястья, отчего он выронил змеиную свою tserp и заверещал, как ребенок. Потом попытался всосать всю лишнюю кровь с запястья, одновременно не переставая верещать, но крови было слишком много, и он захлебнулся ею — бупль-бупль, — а кровь хлестанула фонтаном, хотя и ненадолго. Я говорю: — Ну что, други, вам все ясно? Ты как, Пит?

— А я разве чего говорил? — отозвался Пит. — Я и не говорил ничего! Слушай, как бы Тём до смерти не истек кровью!

— Не sdohnet, — сказал я. — Sdohnutt можно только один раз. А Тём sdoh еще до рожденья. Вся эта кровища сейчас перестанет. — Я знал, что главные кабели у него целы. Вынул свой чистый платок из кармана, чтобы обернуть ruker бедному умирающему Тёму, который вопил и стенал, и кровь действительно вскоре остановилась — да и куда бы она делась-то! Будут теперь знать, кто истинный vozhdd и хозяин, бараны tshiortovy, подумал я.

Довольно быстро я обоих раненых бойцов успокоил в уюте бара «Дюк-оф-Нью-Йорк», поставив перед ними двойные бренди (купленные на их же babki, поскольку свои я все отдал отцу) и сделав пару примочек из пропитанных водой носовых платков. Старые veshalki, к которым мы в предыдущий вечер отнеслись с такой заботой, снова были тут как тут и наперебой твердили: «Спасибо, ребятки», «Дай Бог вам здоровья, мальчики», прямо удержу на них не было, хотя мы вовсе не собирались вновь расшибаться перед ними в lepioshku. Однако Пит сказал: «Что будем пить, девушки?» и принес им пивка s pritsepom, как будто у него денег куры не клюют, и тут уж их совсем зациклило: «Уж как мы вам рады, как рады, мальчики», «Никогда не заложим вас, ребятишки», «Вы самые лучшие в мире ребятки, вот вы кто!» Наконец я говорю Джорджику:

— Ну что, возвратимся туда, откуда начали, да? Ссоры забыты, все как было, правильно?

— Во-во-во! — сказал Джорджик. Однако старина Тём все еще смотрел несколько ошалело и даже так высказался: «А я ведь достал бы гада, ну, как ее, этой — tseppju, просто мне какой-то vek под локоть попался», — словно он все еще продолжал dratsing, причем даже не со мной, а с

каким-то другим противником. Я говорю:

— Ладно, Джорджибой, так что там у тебя на уме-то было?

— Да ну, — отмахнулся Джорджик, — не сегодня. В эту notsh, видимо, все же не надо.

— Ты большой сильный tshelovec, — сказал я, — так же, как и все мы. Мы ведь не дети, правда, Джорджибой? А посему скажи мне, не томи, что ты надумал в глубине души своей?

— Эх, по glazzjam бы гада tzeppju, — бормотал Тём, а старые sumki все никак не могли уняться со своими благодарностями и благословениями.

— Помнишь, нам один дом попался, — проговорил Джорджик. — Еще два фонаря там у ворот. Название у него какое-то дурацкое, не припомнить.

— Какое дурацкое название?

— Да что-то там, то ли «Усадьба», то ли «Засадьба», — какая-то tshiush. Там живет одна старая ptitsa со своими кошками, и у ней полный дом старинного дорогого добра.

— Например?

— Ну, золото, серебро, а может даже и briuliki. Это мне Билл Англичанин сказал.

— Poni, — сказал я. — Я вас poni. — Я действительно понял, что за дом имелся в виду: в

Олдтауне, сразу за парком Pobedy. Что ж, настоящий предводитель умеет выбрать момент, когда пойти на уступку, сделать широкий жест, чтобы умаслить своих подчиненных. — Очень хорошо, Джорджик, — сказал я. — Идея хорошая, и мы ее примем. Давай-ка, сразу туда и отправимся.

Вслед нам одна из babushek прошептала: «Мы никому не скажем, ребята. Будет считаться, что вы всю дорогу здесь сидели». А я ей в ответ:

— Молодцы, девчонки. Через пару минут вернемся, поставим вам еще выпить, — и с этими словами повел друзей вон из бара, на улицу, навстречу своей судьбе.

5

Когда идешь от бара «Дюк-оф-Нью-Йорк» к востоку, сперва попадаются всяческие конторы, потом старая развалюха biblio, потом большой парк, названный парком Pobedy в честь Победы в какой-то незапамятной военной кампании, а после попадаешь в район старой застройки, который называется Олдтаун. Некоторые старинные дома там действительно попадаются очень даже ничего, бллин, и люди, которые живут там, тоже по большей части старые — тощие, гавкающие по-полковничьи kashki с палками, старые

veshalki вдовы да глухие старые девы, которые прожили век среди своих кошек и никому за всю жизнь ни разу не дали к себе прикоснуться. Там действительно могли сохраниться кое-какие vestshitsy, за которые можно выручить хороший deng у иностранных туристов, — всякие картины, камешки и прочий доисторический kal. В общем, подобрались мы по-тихому к этому дому, над воротами которого была надпись: «Усадьба», а по обеим сторонам на железных стеблях горели шарообразные фонари, стоявшие как часовые, причем внутри дома свет притушен, еле светит, да и то в одной лишь комнате на первом этаже, и мы, держась в тени, подобрались к окошку ближе, чтобы взглянуть, кто там и что. Окно было с решеткой, будто это не дом, а тюрьма какая-то, но сквозь нее было очень даже здорово видно, что там происходит.

А происходило там то, что старая ptitsa, вся седая и с маленьким морщинистым личиком, разливала из бутылки по блюдцам молоко, а потом ставила их на пол, где, видимо, кишмя кишели мяукающие koty и koshki. Нам их тоже было видно, правда, не всех, только двух-трех толстых skotiny, которые вспрыгивали на стол, разевая вопящие рты: вя-вя-вя-вя! Еще было вид-

но, что эта sumka разговаривает с ними, вроде как строго их за что-то отчитывает. На стенах висело множество старых картин и старые очень замысловатого вида часы, кроме того стояли вазы и безделушки, на вид старые и дорогие. Джорджии зашептал мне на ухо:

— Baldiozhno pripodnimemsia, скажи? У Билла Англичанина губа не дура.

А Пит в другое ухо:

— Как влезем-то?

Теперь дело за мной, и соображать надо быстро, пока Джорджик сам не начал объяснять, как влезть.

— Перво-наперво, — зашептал я, — попробуем обычную тактику — типа свободный вход. Я напускаю на себя вид pai-malltshika и этак вежливенько говорю, что один приятель у меня упал на улице в обморок. Когда она откроет, Джорджик притворится, будто еле жив. Потом просим стакан воды или вызвать по телефону доктора. Дальше и вовсе просто.

— Вдруг не откроет? — усомнился Джорджик. А я говорю:

— Попробуем, что мы теряем? — На это он передернул плечом и скривил rot. А я скомандовал Питу и Тёму: — Вы стойте по обе стороны

двери. Понятно? — Они согласно закивали в темноте: ясно-ясно-ясно. — Начали, — сказал я Джорджику и пошел прямо ко входной двери. Там была кнопка звонка, я нажал, и из коридора донеслось «дрррррр-дрррррррр». После этого все в доме замерло, вроде как обратилось в слух, словно и babushka, и все ее koshki при звуках этого дрр-дрр одновременно навострили уши и насторожились. Тогда я позвонил чуть настойчивей, и тут послышалось шарканье ног — шлеп-шлеп, шлеп-шлеп, — бабушка в тапках шла по коридору, причем мне вдруг пришло в голову, что она идет, а под мышками у нее с каждого боку по коту. Потом раздался ее очень такой неожиданно басовитый голос:

— Прочь! Уходите, или я стреляю. — Джорджик это как услышал, чуть не прыснул. А я говорю, причем несчастным таким, просительным голосом:

— Мадам, прошу вас, пожалуйста, помогите! Мой друг очень болен!

— Уходите, — повторила она. — Знаю я ваши подлые штучки: я вам открою, а вы заставите меня купить то, что мне не нужно. Уходите, говорю вам. — Надо же, и ведь встречается же такая поразительная наивность! — Уходите, —

снова заладила она, — а то я напущу на вас своих кошек! — Видать, спятила от своей zhizni в odinotshestve. Тут я глянул вверх и заметил, что повыше двери есть застекленное окно, так что куда быстрей будет, если туда вскарабкаться и влезть через него. Иначе этот спор будет идти всю notsh. И тогда я сказал:

— Хорошо, мадам. Если вы не хотите помочь нам, я поведу моего больного друга куда-нибудь в другое место. — Тут я мигнул друзьям, чтобы они отошли по-тихому, и только я один топал и громко декламировал: — Ничего, друг мой, мы обязательно найдем доброго самаритянина где-нибудь в другом месте. Эту пожилую леди, конечно же, нельзя винить за ее подозрительность, тем более что по ночам разгуливает множество негодяев и подонков. Нет, ее винить нельзя! — Потом мы немного постояли в темноте, подождали, и я прошептал: — Пошли, возвращаемся к двери. Я взберусь Тёму на плечи. Открою то окошко и влезу, бллин. Потом заткну старую ptitsu и впущу вас. Запросто! — Мне было важно показать, вроде как кто среди нас главный, кто подает идеи. — Вон там, — показал я, — видите? Карнизик над дверью засекли? Как раз будет упор для ноги.

Все поглядели, восхитились, видимо, моей на-

ходчивостью и закивали в темноте, зашептали: «Да, да, да, правильно».

На цыпочках обратно к двери. Тём был у нас самым рослым и сильным, поэтому Пит с Джорджиком вскинули меня на его крутые мужские плечи. Благодаря очередной duratskoi передаче всемирного ТВ, а главное благодаря тому, что из-за нехватки полиции люди боялись notshi, за все это время на улице не появилось ни души. Взобравшись на Тёма, я убедился, что карнизик над дверью как раз годится, чтобы на него встать. Подтянулся, уцепился коленом, и готово дело. Окно, как я и ожидал, было заперто, но я вынул бритву, легонько стукнул костяной рукояткой, стекло и треснуло. Снизу доносилось озабоченное сопенье моих друзей. Вынув кусок стекла, я просунул руку, отпер окно, и рама как миленькая поехала вверх. Я осторожно, будто опускаясь в горячую ванну, полез внутрь. А эти, как бараны, стоят, смотрят снизу, аж рты, бллин, пооткрывали.

Я оказался в темноте, ощетинившейся со всех сторон углами каких-то шкафов, кроватей, тяжеленных табуреток, книг в коробах и книг россыпью. На ощупь я стал пробираться к двери, из-под которой сквозь маленькую щелочку

виднелся свет. Дверь сделала «скрииииииип», а дальше был пыльный коридор и опять всякие двери. Этакие хоромы пропадают — в том смысле, что столько комнат и всего для одной старой veshalki с ее koshkami, пусть даже у kotov и koshek разные спальни и отдельная столовая, где их по-королевски кормят сметаной и рыбьими головами. Снизу уже доносился голос ptitsy, которая повторяла: «Да. Да. Да. Верно. Верно…», но это она, видимо, разговаривала со своим мяукающим выводком, громко домогающимся добавки молока. Тут я заметил ступеньки, ведущие в холл нижнего этажа, и решил показать этим безмозглым balbesam, что я один стою их всех вместе взятых. Я все проверну сам, odinoki. Сделаю rasterzats старой ptitse, передушу, если понадобится, всю ее kotovasiju и, набрав полные rukery всего, что покажется полезным, aida в темпе джаза обратно, поливать золотым и серебряным дождем терпеливо ожидающих меня приятелей. Тогда уж они как следует узнают, кто настоящий vozhdd.

Тихонько, мягко ступая, пошел вниз, любуясь по дороге на griazni картины, изображающие старинную жизнь: длинноволосые devotshki в платьях с высокими воротниками; картинки вроде как из деревенской zhizni с деревьями и

лошадьми, бородатый святой vek, весь nagoi, висящий на кресте. В доме стояла жуткая vonn от кошек, от кошачьей рыбы и от старинной пыли, которая здесь пахла совсем по-другому, нежели в блочных многоквартирниках. И вот я уже внизу, вижу свет из той комнаты, где babusia разливала молоко по блюдцам для своей кошачьей братии. Более того, я уже видел множество огромных перекормленных skotin, которые бродили туда и сюда, шевеля хвостами и вроде как притираясь к дверным косякам. На большом деревянном сундуке в темном холле я заметил красивую маленькую статую, сиявшую в отблесках света из комнаты, и я решил ее skrasst и оставить потом для себя — симпатичная такая молодая devotshka, стоящая на одной ноге раскинув руки, а главное — сразу видно, сделана из серебра. Так что она была уже у меня в руках, когда я входил в освещенную комнату со словами: «Привет-привет-привет. Давненько не виделись. Наши краткие переговоры сквозь замочную скважину, пожалуй, нельзя сказать, чтобы так уж удались, не правда ли? Нет-нет, спорить не будем, я сказал — не будем спорить, старая ты поганая voniutshka». От яркого света в комнате, где была старуха, я даже сморгнул. Там кишмя кишели koty и koshki, катались

по ковру, в воздухе летала шерсть, причем эти жирные stervy были всевозможного вида и расцветки — черные и белые, полосатые и рыжие, чуть ли даже не в клеточку и всех возрастов от крошечных котят, которые гонялись и играли друг с другом, до взрослых кошек и еле держащихся на ногах, но зато чрезвычайно зловредных старых кошатин. Их хозяйка, эта старая ptitsa, взглянула на меня в упор, по-мужски, и говорит:

— Как ты сюда забрался? А ну, не подходи, подлый звереныш, или мне придется тебя ударить!

При виде ее клюки, зажатой в испещренной венами старческой grable, меня, понятное дело, разобрал smeh, а она, как ни в чем не бывало, трясет ею, угрожает. Ну, я усмехнулся — блесь-блесь zubbjami — и подбираюсь к ней ближе, не забывая по дороге ее ubaltyvatt, а тут еще вижу вдруг на буфете очень симпатичненькую вещицу, прекраснейшую вещицу, shtuku, которую malltshik вроде меня, понимающий и любящий музыку, может только надеяться увидеть воочию, потому что это была голова и плечи самого Людвига вана — то, что у них называется «бюст»; сделана она была из камня, с каменными длинными волосами, слепыми glazzjami и длинным развевающимся шарфом.

— Ба, — вырвалось у меня, — как здорово, и все это мне! — Как зачарованный на нее уставясь, я шагнул, уже и руку даже к ней протянул, но не заметил на полу блюдца с молоком, vliapalsia в него и вроде как оступился. — Оп-па, — проговорил я, пытаясь удержать равновесие, однако старая sumka с необычайным для ее возраста проворством успела-таки коварно подобраться и принялась — хрясь! хрясь! — лупить меня по голове палкой. В результате вдруг оказалось, что я стою на четвереньках и, пытаясь подняться, повторяю; «О, бллин! О, бллин! О, бллин!» А она опять — хрясь! хрясь! хрясь! — да еще приговаривает: «Клоп ты поганый, трущобное ты отродье, не смей к нормальным людям в дома врываться!» Вся эта igra в хрясь-хрясь не больно-то мне понравилась, я схватил мелькнувший передо мной конец клюки, и тут уже оступилась staruha, схватилась, пытаясь удержаться, за край стола, но скатерть поехала, кувшин с молоком и молочная бутылка на ней сперва заплясали, а потом — бенц! бенц! — на пол, разбрызгивая белое во все стороны, и старуха тоже рухнула не пол с воплем: «Будь ты проклят, мальчишка, ты еще получишь свое!» Все koshki в панике запрыгали, заметались в кошачьем своем испуге и, не разо-

бравшись, в чем дело, принялись наскакивать друг на друга, раздавая злые toltshoki налево и направо — ЯУУУУУУУУУ! вяуууууууу! мяуууууууу! Я встал на ноги, а эта злобная старая погань ерзала в сбившемся набок парике по полу, пытаясь подняться, и я сделай ей маленький toltshok в morder, что ей не очень-то понравилось — она взвыла оееоооооой, и прямо видно было, как в том месте, куда пришлась моя нога, ее веснушчатое, испещренное прожилками litso лиловеет-шмиловеет.

Лягнув ее, я чуть отпрянул и, видимо, наступил на хвост одной из дерущихся вопящих кошатин, потому что услышал gromki мяв и мою ногу оплело что-то меховое и состоящее сплошь из когтей и зубов; в результате я запрыгал на одной ноге, тряся другой и тщетно пытаясь освободиться, при этом в одной руке я держал серебряную статуэтку, а другой силился через старуху дотянуться до милого моему сердцу Людвига вана, хмуро взиравшего на меня каменными глазами. Тут я наступил на другое блюдце, полное отменнейшего молока, и чуть снова не полетел, — да-да, все это и впрямь может показаться забавным, особенно если это не с тобой, если тебе об этом приходится только slushatt. В это время старая vedma, потянувшись через tshehardu дерущихся

кошек, схватила меня за ногу (все еще со своим «оееооооой»), а у меня равновесие-то уже было нарушено, я и хряпнулся на этот раз со всего маху об пол в молочные лужи, на дерущихся кошек, а рядом еще эта старая koloda возится, пытаясь заехать мне кулаком в morder, и вопит: «Бейте его, жука навозного, лупите, царапайте!», имея в виду, что приказ должны исполнять кошки, и действительно, несколько кошек, словно послушавшись старую veddmu, бросились на меня и начали царапаться, как bezumni. Ну, тут я и сам стал как bezumni, бллин, начал их koloshmatitt, а бабка как заорет: «Жук навозный, не тронь моих котяток», да как вцепится мне в litso! Тут и я в kritsh: «Ах ты, старая svolotsh!», взмахнул серебряной статуэткой, да и приложил ей хорошенький toltshok по tykve, отчего она наконец-то прочно успокоилась.

Встав с пола, среди кошачьего визга и воя, что же я слышу? А слышу я отдаленный звук полицейской сирены, и тут до меня доходит, что старая svolotsh разговаривала тогда вовсе не с кошками, а с милисентами по телефону: будучи, видимо, подозрительной от природы, она сразу к нему кинулась после того, как я позвонил в zvonok, якобы обратившись за помощью. Услы-

шав этот пугающий shum ментовозки, я бросился к двери, где мне пришлось изрядно повозиться, прежде чем я отпер все замки, цепочки, засовы и прочий охранительный kal. Ну, открыл наконец и вижу: на пороге стоит Тём, а оба других моих так называемых druga вовсю rvut kogti.

— Атас! — крикнул я Тёму. — Менты! — А Тём в ответ:

— Нет уж, ты останься, поговоришь с ними, ух-ха-ха-ха!

Глядь, в руке у него tsepp, он ею размахнулся да как полоснет — жжжжжжах! — меня ею no glazzjam, одно слово артист, я только и успел, что зажмурить вовремя веки. Я завопил, завертелся, пытаясь хоть что-то vidett сквозь ослепительную боль, а Тём и говорит:

— Мне, знаешь ли, не нравится, как ты себя стал вести, приятель. Не надо было так со мной поступать, ох, не надо было, bratets. — И тут же до меня донеслось буханье его раздолбанных govnodavov: сваливает, гад, со своим «ух-ха-ха-ха» во тьму, а всего секунд семь спустя слышу, подкатил ментовский фургон со своей сиреной, поющей, как какой-нибудь zverr bezumni. Я тоже выл без умолку, кинулся куда-то наугад — не туда! — грохнулся головой об стену, потому что

глаза у меня были зажмурены, а из-под век текло ручьями — diko больно. В общем, когда пришли менты, я вслепую возился в прихожей. Видеть я их, естественно, не видел, зато почуял vonn этих ubludkov — то есть это сперва, а потом я ощутил их остервенелую хватку, когда тебе заламывают руку назад и волокут. Еще я услышал голос одного из ментов, который донесся из комнаты, той самой, полной kotov и koshek: «Досталось ей крепко, но пока дышит», и все время бил по ушам diki кошачий мяв.

— Какое приятное знакомство! — услышал я другой ментовский голос, и меня с размаху зашвырнули в машину. — Коротышка Алекс собственной персоной!

Я выкрикнул в ответ:

— Я ничего не вижу, я ослеп, бога вам в душу matt, pidery грязные!

— Не выражаться, не выражаться, — донесся голос вроде как с усмешкой, и мне кто-то сунул toltshok кастетом в rot. Я за свое:

— Ах вы погань, выродки, вам все равно не жить! Где остальные? Где эти вонючие предатели? Меня один из них, из этих выродков griaznyh, полоснул tseppju по glazzjam. Поймайте их, пока они не сбежали окончательно. Это все они затея-

ли, братцы, поверьте! Я не хотел, меня заставили! Я не виновен, вас покарает Bog!

К этому времени менты потешались надо мной уже всей kodloi, грубо запинав меня в угол фургона, а я все продолжал выкрикивать что-то насчет моих так называемых друзей, пока до меня вдруг не doshlo, что это совершенно без толку, потому что они скорей всего уже сидят в уюте бара «Дюк-оф-Нью-Йорк», поят вонючих старых veshalok, чем ни попадя — от пива до лучшего виски, а те, знай, повторяют: «Спасибо, мальчики, благослови вас Господь, милые. Вы здесь сидели все время, это как Бог свят! Ни на минуточку никуда не отлучались, ей-ей!»

А мы в это время под вой сирены мчались к полицейскому участку, причем меня, стиснутого меж двух ментов, попеременно то пинали, то били в morder эти развеселившиеся kozly. Через некоторое время я обнаружил, что способен слегка разлепить веки и сквозь слезы смутно видеть, как проносится мимо дымный город, и все его огни сливаются, будто липнут друг к другу. Несмотря на резь в глазах, я уже видел двух хохочущих ментов по бокам, видел шофера с тонкой шеей, а рядом с ним быкоподобного vyrodka — того, который с таким сарказмом сказал: «Ну,

коротышка Алекс, теперь нам предстоит чудесный вечерок, ты чуешь?» Я говорю:

— Откуда вы знаете, как меня зовут, паршивые вонючие kozly? Чтоб вам всем провалиться, сгореть к tshiortovoi матери, vyrodki, pidery griaznyje. — Они все над этим похохотали, а потом один из ментов стал крутить мне uho. Толстый, который рядом с водителем, отвечает:

— Дак ведь коротышку Алекса с его дружками кто ж не знает! Довольно большую известность приобрел наш юный коротышка Алекс!

— Это те, другие! — продолжал я kritshing. — Джорджик, Пит и Тём. Они и не друзья мне вовсе, эти zasrantsy.

— Что ж, — произнес толстый, — теперь у тебя целый вечер впереди, все сможешь рассказать и про лихие вылазки этих юных джентльменов, и про то, как они сбивали с пути истинного бедного невинного коротышку Алекса. — В это время послышался звук другой сирены, но проехавшая мимо машина шла в обратном направлении.

— Это за ними, за этими zasrantsami, что ли? — спросил я. — Ваши kozly их уже сцапали?

— Это, — сказал тот, с бычьей шеей, — «скорая помощь». А вызвали ее к твоей жертве, отвратный ты, подлый негодяй.

— Это все они, — vskritshival я, превозмогая резь в glazzjah. — Они пьют сейчас в баре «Дюк-оф-Нью-Йорк». Заберите их, черт бы вас взял, pidery вонючие! — Тут снова раздался смех, и мне еще раз слегка сунули toltshok в rot, о, бллин, бедный мой раскровененный rot! Вскоре мы подъехали к ментовской, пинками и ударами мне помогли выбраться из машины, на ступеньках участка вновь ждал меня изрядный toltshok, и я понял, что ничего похожего на справедливость, на честную игру от этих podlyh gadov, tshiort бы побрал их, не дождешься.

6

Меня втащили волоком в ярко освещенную свежепобеленную kontoru, в которой стояла жуткая vonn, как бы от смеси блевотины с пивом, хлоркой и уборной, а исходила она из зарешеченных камер по соседству. Было слышно, как некоторые из plennyh орут, ругаются в своих камерах, некоторые поют, причем мне показалось, будто я разобрал слова одного из них:

Будем вместе мы, моя милая,
Хоть ушла ты далеко.

Однако тут же раздались голоса ментов, при-

зывающих всех заткнуться, раздался даже тот ни с чем не сравнимый звук, когда кому-то делают strashni toltshok, после чего избитый взвыл: «Аааааааоооооо», и его голос был похож на vskritsh пьяной старой ptitsy, а не мужчины. В kontore со мной было четверо ментов, они шумно прихлебывали tshai, большой чайник с которым стоял посреди стола, и все они чавкали и громко рыгали, поднося ко рту свои огромные мерзкие кружки. Чаю они мне не предложили. А предложили мне всего лишь старое загаженное зеркало, чтоб поглядеться, и я действительно был уже не тот симпатичный юный ваш повествователь, а просто zhutt что такое: распухший pot, красные glazzja, да и нос тоже слегка покалеченный. Они от души веселились, видя мой испуг, а один говорит: «Такой только в пьяном кошмаре приснится!» Потом пришел главный мент, сверкая звездами на погонах, дескать, вот какой я великий-превеликий, увидел меня и сказал: «Гм». Тут все началось по-серьезному. Я говорю:

— Вы не дождетесь от меня ни одного slova, пока я не увижу своего адвоката. Законы я знаю, vyrodki поганые. — Конечно же, это вызвало у всех громкий smeh, а мент со звездами сказал:

— Отлично, отлично, ребята, начнем с того,

чтоб показать ему, что мы, во-первых, тоже законы знаем, а во-вторых, что знание законов это еще не все. — У него был голос светского джентльмена, говорил он с этакой утомленной ленцой и при этом кивнул и дружески улыбнулся тому, похожему на быка толстому ubludku. Толстый снял китель, так что стало еще виднее его пивное брюхо, вразвалку подошел ко мне, и когда он открыл rot в зловещей усмешке, я почувствовал vonn чая с молоком, который он только что пил. Для мента он был не слишком-то хорошо выбрит, на рубашке под мышками виднелись разводья застарелого пота, а когда подошел еще ближе, от него пахнуло чем-то вроде серы из ушей. Потом он сжал в кулак вонючую свою красную ручищу и сунул его мне в poddyh — низость какая! — а все остальные менты, кроме главного, хохотали в свое удовольствие, тогда как главный продолжал только утомленно и скучающе ухмыляться. Меня отбросило к свежепобеленной стене, так что весь мел с нее я собрал на одежду, пытаясь, несмотря на боль, перевести duh, и тут нестерпимо подступило желание выблевать из себя клейкий пудинг, которого я наелся дома перед выходом. Но таких vestshei я не терпел: как это? наблевать по всему полу? Ну, нет; и я сдержался. Потом

вижу, этот жирный молотила обернулся к своим ментовским друзьям, чтобы еще раз хорошенько порадоваться с ними вместе; я мигом размахнулся правой ногой и, пока ему не успели крикнуть, предупредить, треснул его со всех сил по голени. Ах, как он завизжал, как запрыгал!

Но зато после этого они отвели душу, устроили мне piatyi ugol, швыряя от одного к другому, как какой-нибудь изношенный и дырявый мяч, бллин, били меня по beitsam, по morder, били в живот, пинали, и, в конце концов, пришлось все-таки мне блевануть на пол, помню, я даже, как совсем уже bezumni, говорил им: «Простите, братцы, я был не прав, я был очень не прав, простите, простите, простите». Но мне дали обрывки старой gazety и заставили вытирать, потом заставили посыпать опилками. А после чуть ли не дружески предложили сесть и поговорить спокойно и po-tihomu. Потом посмотреть на меня зашел П. Р. Дельтоид, спустился из своего кабинета, который был у него здесь же, в этом же здании. Он выглядел усталым, griaznym, приблизился ко мне и говорит:

— А, достукался, Алекс! Н-да. Впрочем, я так и думал. Ах ты, Боже мой! — Тут он повернулся к ментам со словами: — Привет, инспектор. При-

вет, сержант. Привет, привет всем. Что ж, моя веревочка на этом рвется, н-да. Ах ты, Боже ж мой, что за вид у парня, что за вид! Поглядите, на кого он похож!

— Насилие порождает насилие, — сказал главный мент тоном святоши. — Он оказывал сопротивление аресту.

— Рвется моя веревочка, н-да, — вновь посетовал П. Р. Дельтоид. Глянул на меня своими холоднющими glazzjami так, словно я стал вещью, не был уже избитым, окровавленным и очень усталым tshelovekom. — Похоже, завтра мне придется присутствовать на суде.

— Это не я, koresh, то есть сэр, — проговорил я со слезой в голосе. — Замолвите там за меня словечко, сэр, пожалуйста, я не такой плохой! Меня обманом завлекли мои дружки, сэр.

— Соловьем поет, прямо разливается, — с усмешкой проговорил главный мент. — И песня такая жалостная, того и гляди все растаем.

— Я скажу свое слово, — ледяным тоном пообещал П. Р. Дельтоид. — Завтра буду там, не волнуйся.

— Если хотите ему пару раз врезать, нас не стесняйтесь, — сказал главный мент. — Его подержат. Надо же, как вас опять подвели!

И тут П. Р. Дельтоид сделал то, чего я никак не ожидал от такого человека, как он, от человека, которому положено превращать всяких plohishei вроде меня в pai-malltshikov, особенно при том, что вокруг было полно ментов. Он подошел чуть ближе и плюнул. Да-да, плюнул. Плюнул мне прямо в litso, а потом вытер свой обслюнявленный rot тыльной стороной ладони. А я принялся тереть, тереть, вытирать оплеванное litso кровавым платком, на разные лады повторяя: «Благодарю вас, сэр, спасибо вам большое, сэр, вы очень добры ко мне, сэр, спасибо». После этого П. Р. Дельтоид вышел, не сказав больше ни слова.

Теперь мусора принялись составлять протокол моего допроса, чтобы я его потом подписал, а я подумал, ну и пусть, будь оно все проклято, если эти выродки стоят на стороне Добра, тогда я с удовольствием займу противоположную позицию.

— Ладно, — сказал я им, — ubliudki griaznyje, pidery вонючие. Пишите, пишите все до конца. Я не собираюсь больше ползать тут на briuhe, мерзкие вы гады. Откуда хотите, чтобы я начал, поганые животные? С того момента, когда меня последний раз выпустили из исправительной школы? Хорошо же, начнем оттуда. — И я как пошел, как пошел им выдавать — выкладывал и

выкладывал, а стенографист, тихий человечек с испуганным litsom, совсем не похожий на мента, исписывал страницу за страницей. Я выдал им по полной программе: избиения, krasting, dratsing, делишки с добрым старым sunn-vynn, все в kutshu вплоть до последней vestshi с участием богатой старой ptitsy и ее вопящих kotov и koshek. И уж я постарался, чтобы мои так называемые друзья были замазаны, что называется, po ushi. Когда я закончил, стенографист, казалось, вот-вот свалится в обморок, бедный kashka. Главный мент участливо сказал ему:

— Ну, молодец, сынок, отдохни теперь, попей чайку, потом зажми покрепче нос и перепечатай всю эту грязь и мерзость в трех экземплярах. Потом дадим их нашему симпатичному юному другу на подпись. А тебе, — повернулся он в мою сторону, — сейчас покажут твои апартаменты с водопроводом и всеми удобствами. Ну, взяли, — это он уже обращался к двоим самым здоровущим ментам, причем голос у него стал опять утомленным. — Уберите его.

Меня опять скрутили, поволокли, награждая по дороге пинками и затрещинами, и вбросили в камеру к десяти или двенадцати другим plennym, многие из которых были пьяны. Были среди

них действительно uzhasnyje, звероподобные существа — один с полностью сгнившим носом и ртом, отверстым, как пустая черная дыра, другой валялся на полу и храпел, а изо рта у него непрестанно сочилась какая-то слизь, третий весь свой kal откладывал себе в shtany. Тут же оказались двое, видимо, голубых, которым я вроде как приглянулся, один прыгнул на меня сзади, и пришлось устроить ужасный dratsing — действительно ужасный, потому что от напавшего исходила zhutkaja vonn, как бы смесь гнилого болота с дешевой парфюмерией, такая гадкая, что мне вновь захотелось блевануть, только желудок теперь у меня уже пуст был, бллин. Потом руки распускать стал другой голубой, и между ними разгорелась крикливая свара по поводу того, кому из них достанется моя plott. Поднялся ужасный shum, явились двое ментов с дубинками, слегка обработали ими голубых, и те затихли, спокойно уселись, глядя в пространство, причем no litsu одного из них — кап-кап-кап — стекала каплями кровь. В камере были нары, но мест на них не оказалось. Я залез на верхний ярус (ярусов было четыре) и нашел там храпящего пьяного kashku, заброшенного туда, по всей вероятности, ментами. Короче, скинул я его обратно вниз (он

был не очень тяжелый), и он рухнул на какого-то другого толстого пьяницу, лежавшего на полу; в результате оба проснулись, подняли kritsh и затеяли бессильную и жалкую толкотню друг с другом. А я улегся на вонючие нары и, несмотря на боль во всем теле, забылся тяжелым сном. Однако это получился вроде как и не сон, а какой-то переход в другой, Лучший мир. И в этом другом, Лучшем мире, бллин, я оказался вроде как на широкой поляне среди цветов и деревьев, и там же был вроде как козел с человеческим litsom, играющий вроде как на флейте. И тут, как солнце, восстал сам Людвиг ван с litsom громовержца, с длинными волосами и развевающимся шарфом, и я услышал Девятую, заключительную ее часть, только слова в ней слегка смешались и переменились, причем как-то так сами собой, как, впрочем, и положено во сне. И тут, прежде даже чем он объяснил мне, я понял, в чем дело. Старая ptitsa, разводившая у себя дома целыми выводками kotov и koshek, преставилась в одной из городских больниц, отошла в лучший мир. Я tolshoknul ее чуть сильней, чем надо. Что ж, значит, — все. Мне вспомнились ее koty и koshki, подумалось, как они, небось, мяукают теперь, молока просят, а им fig — во всяком случае, от

старой хозяйки они больше его не получат. Так что — все. Ну, натворил делов. А ведь мне еще только пятнадцать.

Выше огненных созвездий,
Брат, верши жестокий пир,
Всех убей, кто слаб и сир,
Всем по morder — вот возмездье!
В зад пинай voniutshi мир!

Но музыка была та, это я твердо знал, проснувшись через две, а может, через десять минут, а может, через двадцать часов, или дней, или лет — часы у меня давно отняли. Внизу, словно за десятки миль от меня, стоял мент, он тыкал меня длинной палкой с острием на конце и говорил:

— Проснись, сынок. Проснись, красавчик. Проснись, теперь начнутся настоящие неприятности.

— Кто? Что? Почему? Куда? Что такое? — Внутри у меня звучала мелодия «Оды к радости» из Девятой, звучала чисто и мощно. Мент продолжал:

— Спускайся, узнаешь. Тебе тут хорошенькие новостишки подоспели, сынок.

Я кое-как слез, весь затекший, с ломотой в костях и совершенно сонный, так что пока мент, от которого diko несло сыром и луком, выпихивал меня из загаженной храпящей камеры и гнал по

коридорам, внутри у меня все звучала и звучала сверкающая музыка: «Радость, пламя неземное…» Потом мы вошли в какую-то чистенькую контору с машинками и цветами на столах, и там сидел за начальственным столом главный мент, который хмуро смотрел на мое заспанное litso леденящим взором. Я говорю:

— Ну-ну-ну-ну. Что так соскучился по мне, a koresh? Какого figa в этот час, среди тишайшей notshi?

— Даю тебе десять секунд, — сказал он, — чтобы ты убрал с физиономии эту идиотскую ухмылку. Потом выслушаешь.

— Чего-чего? — со смешком проговорил я. — Тебе все мало? Меня избили до полусмерти, плюнули мне в hariu, заставили признаться в стольких преступлениях, что не успевали записывать, а потом бросили среди каких-то bezumtsev и voniutshih piderov в griaznoi камере! У тебя что, новая пытка для меня припасена, ты, выродок!

— Ты сам ее себе припас, — серьезно проговорил он. — Клянусь, мне не хотелось бы, чтобы ты от нее спятил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

— Ну, что же теперь, а?

Ладно, поехали, начинаю самую жалостную, даже трагическую часть своей истории, о братья мои и други единственные, которая разворачивалась в гостюрьме номер 84-ф. Вряд ли вам так уж захотелось бы слушать полностью uzhasni и pogani рассказ о том, какой был у отца припадок, как он бился о стену, богохульствуя и покрывая rukery ссадинами и синяками, о том, как у матери перекосило rot от плача ооооооой-ооооооооой-ооооооой, когда она подняла kritsh о единственном сыне, родной кровиночке, который так всем изгадил zhizni. Потом был суд нижней инстанции, проходивший в старом мрачном здании магистрата, где говорились всякие жесткие слова о вашем друге и скромном повествователе, — это было уже потом, после всех злобных поношений, побоев и плевков, которыми его наградили П. Р. Дельтоид с ментами, будь они все прокляты. Потом его держали в грязной камере среди voniutshih извращенцев и prestupnikov.

Потом суд более высокой инстанции, уже с адвокатами и присяжными, и, надо сказать, там тоже говорились всякие пакости, причем весьма торжественным тоном, а потом — «Виновен!», и после слов «четырнадцать лет» kritsh моей мамы «УУУУУУухуууухуухуууууууу», бллин. И вот я сижу, два года уже сижу с тех пор, как меня пинками, под лязганье запоров впихнули в гостюрьму 84-ф, одетого по последней арестантской моде, то есть в комбинезон цвета kala, да еще и с пришитыми над тикалкой на грудь и на спину номерами, так что как ни повернись, перед вами номер 6655321, а вовсе не Алекс, ваш юный друг. — Ну, что же теперь, а? Ничего облагораживающего в том, чтобы сидеть два года в griaznoi клетке человеческого зверинца, конечно же, не было, а были одни побои, tolshoki со стороны зверюг надзирателей, и было знакомство с миром вонючих злобных заключенных, среди которых оказалось полно настоящих извращенцев, готовых в любой момент наложить лапу на соблазнительного юного мальчика вроде вашего покорного слуги. И была необходимость работать в мастерских, делать спичечные коробки и ходить, ходить, ходить по двору вроде как для разминки, а по вечерам иногда какой-то старый vek, с виду как бы

учитель, читал лекции о жуках или о Млечном Пути, а еще, бывало, на тему «Загадки и чудеса снежинок» — это вообще smeh, потому что сразу вспоминался тот раз, когда мы сделали toltshok kashke, вышедшему из публичной biblio зимней notshju, в те времена, когда мои koresha еще не стали предателями, а я был счастлив и свободен. Об этих своих бывших друзьях я здесь услышал всего один раз, когда навестить меня пришли па и ма и рассказали мне, что Джорджика уже нет. Да, погиб, бллин. Мертв, как собачий kal на дороге. Джорджик привел остальных двоих в дом к какому-то очень богатому veku, они ему сделали toltshok, zagasili и попинали еще на полу, и Джорджик начал делать razdryzg занавесям и подушкам, а старина Тём стал бить какие-то очень дорогие безделушки — статуи и тому подобное, а этот избитый богач взъярился, как bezumni, и бросился на них с тяжелым железным прутом. Razdrazh придал ему какую-то нечеловеческую силу, Тём и Пит выскочили в окно, а Джорджик споткнулся о ковер, и хозяин грохнул его этой кошмарной железиной по tykve, тут и конец пришел хитрюге Джорджику. Старого убийцу оправдали: мол, самооборона, что было совершенно правильно и справедливо. Вообще, то,

что Джорджик убит, хотя и спустя год с лишним, после того как сдал меня ментам, по мне, было правильно, нормально и даже вроде как промысел Божий.

— Ну, что же теперь, а? Дело было в боковой часовне воскресным утром; тюремный свищ наставлял нас в Законе Божием. Моей обязанностью было управляться со стареньким проигрывателем, ставить торжественную музыку перед и после, а также в середине службы, когда полагается петь гимны. Я был во внутреннем приделе боковой часовни (всего их в гостюрьме 84-ф было четыре), неподалеку от того места, где стояли надзиратели и вертухаи с их винтовками и подлейшими синещекими otjekshymi hariami, и мне хорошо было видно слушавших Закон Божий зеков, сидевших внизу в своих комбинезонах цвета kala; от них подымалась особая какая-то грязная vonn, причем не то чтобы они были действительно немытые, не в том дело, это была особая необычайно гадкая vonn, которая исходит только от преступников, бллин, — вроде как пыльный такой, тусклый запах безнадежности. И я подумал, что от меня, видимо, тоже такой запах, поскольку я уже настоящий зек, хотя и очень еще молодой. Так что мне, понятное дело,

очень важно было как можно скорее покинуть этот вонючий griazni зверинец. Впрочем, как вы поймете, если вам не надоест читать, вскоре я его и впрямь покинул.

— Ну, что же теперь, а? — вопросил тюремный свищ в третий раз. — Либо пойдет карусель тюрьма-свобода-тюрьма-свобода, причем для большинства из вас в основном тюрьма и лишь чуть-чуть свободы, либо вы прислушаетесь к Священному писанию и поймете, что нераскаявшихся грешников ждут кары еще и в том, грядущем мире после всех мытарств этого. Сборище отпетых идиотов, вот вы кто (большинство, конечно), продающих первородство за жалкую миску холодной похлебки. Возбуждение, связанное с кражей, с насилием, влечение к легкой жизни — стоит ли эта игра свеч, когда у вас есть веские доказательства — да, да, неопровержимые свидетельства того, что ад существует? Я знаю, знаю, друзья мои, на меня снисходили озарения, и в видениях я познал, что существует место мрачнее любой тюрьмы, жарче любого пламени земного огня, и там души нераскаявшихся преступных грешников вроде вас… и нечего мне тут хихикать, что за смешки, будь вы неладны, прекратить смех!.. Да, вроде вас, говорю, вопят от

бесконечной непереносимой боли, задыхаясь от запаха нечистот, давясь раскаленными экскрементами, при этом кожа их гниет и отпадает, а во чреве бушует огонь, пожирающий лопающиеся кишки. Да, да, да, я знаю!

В этом месте, бллин, какой-то зек в заднем ряду сделал губами пыр-дыр-дыр-дыр, и тут же налетели звери надзиратели, кинулись туда, откуда им послышался этот shum, раздавая направо и налево tolshoki и зуботычины. Они схватили какого-то бледного дрожащего зека, тощего, маленького и довольно старого выволокли его, хотя он и кричал им, не переставая «Это не я, это он, он, смотрите!», но им было все равно. Его жестоко избили и, воющего, вопящего, выволокли из часовни.

— Теперь, — сказал тюремный свищ, — внемлите Слову Господа нашего. — Затем он взял в руки толстую книгу, перелистнул страницы, плюя все время для этого на пальцы — тьфу-тьфу-тьфу. То был огроменный дородный буйвол, очень красный litsom, но он испытывал ко мне слабость, потому что я был молод и очень интересовался его Книгой. Считалось, что для дальнейшего моего образования мне можно читать эту книгу и даже слушать тюремный проигрыватель, пока

читаю. Бллин. И это было, в общем, неплохо. Меня запирали и давали слушать духовную музыку И. С. Баха и Г. Ф. Генделя, пока я читал про всех этих древних видов, которые друг друга убивали, напивались своего еврейского вина и вместо жен тащили в постель их горничных — довольно забавное чтиво. Только оно и помогало мне продержаться, бллин. В последних главах этой книги я не очень-то kopalsia — там все больше шла душеспасительная говорильня, а про войны и всякие там sunn-vynn почти ничего не было. Но однажды свищ сказал мне: «Ах, номер 6655321, пора бы тебе о Страстях Господних подумать. Сосредоточься на них, мой мальчик». При этом от него пахнуло богатым духом хорошего виски, и он удалился в свою kamorku, чтобы выпить еще. Ну, прочитал я про бичевание, про надевание тернового венца, потом еще про крест и всякий прочий kal, и тут до меня дошло, что в этом ведь что-то есть. Проигрыватель играл чудесную музыку Баха, и я, закрыв glazzja, воображал, как я принимаю участие и даже сам командую бичеванием, делаю весь toltshoking и вбиваю гвозди, одетый в тогу по последней римской моде. Так что пребывание в гостюрьме 84-ф проходило для меня не совсем впустую, даже сам комендант был доволен, когда

ему сказали, что я пристрастился к религии, и вот тут-то для меня забрезжила надежда.

В то воскресное утро свищ читал из книги про tshelovekov, которые слушали Slovo и не кинулись тут же очертя голову исполнять его, — будто бы они подобны тому, кто строил свой дом на песке, а тут как раз дождь хлесь-хлесь, гром бабах! и дом развалился. Однако я подумал, что это только очень темный vek будет строить свой дом на песке, а кроме того, еще и все его соседи, и приятели должны быть полными подонками, если не подскажут ему, какой он темный, раз затевает такое строительство. Потом свищ сказал: «Эй, вы там, заканчиваем. Споем сейчас гимн номер 435 из тюремного сборника». Раздался хлоп-тресь-шварк-хлысь-хлысь — это зеки раскрывали, роняли и перелистывали, плюя на пальцы, свои griazni маленькие книжки гимнов, а зверюги вертухаи покрикивали: «А ну, не разговаривать, мерзавцы. Эй, номер 920537, я тебя вижу!» У меня, естественно, пластинка уже была поставлена, и я сразу врубил орган, взревевший УУУУУУУУУУУУУУ. Зеки начали петь, и вот уж это было на самом деле ужасно.

Чтобы чай окреп в стакане,

Не спеши его студить.
Так и мы другими станем
На свободу выходить.

Они выли и горланили эти glupi слова под непрестанные понукания свища: «Громче, будь вы неладны, всем петь как следует!», перемежающиеся рявканьем надзирателей: «Смотри у меня, номер 774922!» или «Ща вот подойду, получишь у меня, дерьмо!» Наконец пение кончилось, свищ сказал: «Да пребудет с вами Святая Троица, да совершит она ваше исправление, аминь», и скрипучая телега тюремного проигрывателя заиграла Симфонию N9 2 Адриана Швайгзельбера, премилый фрагментик, отобранный вашим скромным повествователем, бллин. Что за bydlo, думал я о заключенных, наблюдая со своей позиции у тюремного проигрывателя за тем, как они бредут, шаркают, чего-то там мычат и блеют, как животные, а в меня тычут griaznymi пальцами: «Эй ты, музыкант hrenov!» — потому что, по их мнению, я просто zhutt как высоко вознесся. Когда последний зек, по-обезьяньи ссутулясь и свесив руки, вышел вон, удостоившись напоследок громкого подзатыльника от надзирателя, и проигрыватель у меня уже был выключен, подошел, попыхивая

tsygarkoi, свищ, все еще в богослужебной одежде, белой и украшенной кружевами, как у devtshonki. Подошел и говорит:

— Спасибо, ты меня, как всегда, не подвел, малыш 6655321. Что новенького сегодня расскажешь?

Тут дело в том, что наш свищ, как я уже знал, собирался очень высоко подняться в среде тюремного клира и хотел заработать наилучшие рекомендации от коменданта, которому старался как можно чаще сообщать о всяких там подлых, черных замыслах арестантов, а информацию, всякий такой kal, он вознамерился получать от меня. Обычно я все врал, но иногда говорил и правду, к примеру в тот раз, когда в нашей камере узнали (услышали, как кто-то с кем-то перестукивался по трубам: тук, тук, тукитук, тукитукитукитук, тук, тук), что верзила Гарриман планирует побег. Он собирался, когда пойдет выносить помои, tolchoknutt надзирателя и бежать, переодевшись в его мундир. Потом еще был случай, когда зеки договорились за обедом все вместе выбросить вон мерзкую zhrachku, которой нас кормили, а я узнал об этом и рассказал. Свищ передал дальше и заработал вроде как благодарность от коменданта за Общественную Жилку и Чуткое Ухо. На

сей раз я ему сказал совершеннейшую tshush:

— Вы знаете, сэр, тут по трубам стучали, будто в одну из камер пятого яруса каким-то необычайным способом передали пакет кокаина и он оттуда поползет по всей тюрьме. — Я все это на ходу придумал, как и многие из своих сообщений, однако тюремный свищ diko обрадованно сказал:

— Молодец, молодец. Передам это Самому. — (Это он так называл коменданта.) А я говорю:

— Сэр, я ведь на славу постарался, правда же? — Причем, общаясь с начальством, я всегда строил из себя джентльмена, говорил этаким вежливым и приятным тоном. — Делаю все, что могу, верно?

— Думаю, — проговорил свищ, — что в целом это верно, 6655321. Ты действительно помогаешь мне и, по-моему, выказываешь искреннее желание исправиться. Если так пойдет и дальше, ты без труда заработаешь себе уменьшение срока.

— Я вот о чем, сэр, — продолжал я. — Как насчет новой методы, о которой все только и твердят? Как насчет того вроде как лечения, пройдя которое можно чуть ли не завтра выйти из тюрьмы, причем с гарантией, что больше туда не попадешь в жизни?

— А-а, — каким-то тусклым голосом протянул он. — Где ты об этом услышал? Кто вам такие вещи рассказывает?

— Да так, идут всякие толки, сэр. Может, надзиратели между собой разговаривали, а кто-то случайно услышал. А потом еще кто-то в мастерской нашел кусок газеты, и там тоже об этом говорилось. Как насчет того, чтобы вы устроили мне это дело, сэр, если, конечно, мне позволено просить об этом.

Видели бы вы, как он ломал голову, пыхтя своей tsygarkoi, — никак не мог решить, можно ли и что именно можно мне рассказать о той shtuke, про которую я упомянул. Потом говорит;

— Я так понял, что ты имеешь в виду метод Людовика. — Голос его все еще оставался тусклым.

— Я не знаю, как это называется, сэр, — настаивал я. — Знаю только, что таким образом можно быстро выйти на свободу с гарантией, что обратно не попадешь.

— Это правда, — проговорил он, глядя на меня из-под напряженно сдвинутых бровей. — Это чистейшая правда, номер 6655321. Хотя эта методика пока еще на стадии экспериментальной доводки. Она проста, но действует весьма крепко.

— Но ведь ее применяют здесь, правда же,

сэр? — не унимался я. — Вон в том новом белом здании у южной стены, верно, сэр?

— Пока еще не применяют, — сказал свищ, — во всяком случае в этой тюрьме, номер 6655321. У Самого насчет нее большие сомнения. Должен признаться, что и я его сомнения разделяю. Весь вопрос в том, действительно ли с помощью лечения можно сделать человека добрым. Добро исходит изнутри, номер 6655321. Добро надо избрать. Лишившись возможности выбора, человек перестает быть человеком.

Подобный kal свищ мог извергать часами, он бы еще продолжил, но тут послышались шаги следующей партии зеков — блям-бум, блям-бум спускались они по железным ступеням за своей порцией Религии. Поэтому свищ сказал:

— Вот что. Поболтаем об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас запускай соло на органе.

Пришлось мне опять включать старый проигрыватель, ставить хоральный прелюд «Wachet auf» И. С. Баха, пока в часовню втекал поток griaznyh вонючих выродков, преступников и извращенцев, которые тащились, как побитые обезьяны, а надзиратели и вертухаи пинками и рявканьем подгоняли их. И свищ уже вопрошал: «Ну, что же теперь, а?» И в этот момент начинала

звучать музыка.

В то утро у нас было четыре таких lomtika Тюремной Религии, однако свищ больше ничего не сказал мне про этот самый метод Людовика, в чем бы он ни заключался, бллин. Когда я закончил vozniu с проигрывателем, он лишь кратко поблагодарил меня, а потом меня отвели обратно на шестой ярус, в битком набитую камеру, которая была теперь моим domom. Вертухай на сей раз незлой попался, он по пути не бил меня и в камеру не зашвырнул, а просто сказал: «Пришли, сынок, залазь, давай, в свою берлогу». Здесь я пребывал со своими новыми koreshami, которые все были закоренелыми prestupnikami, но, слава Богу, не приверженными извращениям плоти. На своей полке лежал Зофар, тощий коричневокожий vek, который все время бубнил что-то прокуренным голосом, но слушать его никто не удосуживался. То, что он говорил, звучало примерно так: «Захожу это я в шалман (что бы это ни значило, бллин), и как раз того фраера встречаю, что на бану мне затырил. Ну и что, говорю, да, с кичмана подломил, ну и что? Щас буду коцать!» Он говорил на настоящем воровском жаргоне, но очень старом, который давным-давно отошел. Еще там такой был одноглазый Уолл, он как раз в

честь воскресенья занимался отдиранием кусков ногтей на ногах. Еще был Еврей, вечно потный очень шустрый vek; этот лежал на своей полке ничком, как мертвый. Если кому мало, так были еще Джоджон и Доктор. Джоджон был жилистый, очень резкий и злобный, его специальностью были преступления на сексуальной почве, тогда как Доктор сел за то, что притворялся, будто лечит сифилис и гонорею, но вкалывал простую воду, а кроме того, убил двух devotshek, которым обещал избавить их от нежелательного бремени. Компания мерзкая и griaznaja, их общество нравилось мне не больше чем вам сейчас, о други мои и братие, но вскоре моя судьба должна была перемениться.

Кроме того, хотелось бы заострить ваше внимание на том, что эта камера при строительстве была рассчитана на троих, а сидело нас там шестеро, все друг к другу впритирку, среди вони и пота. То же самое творилось в те дни во всех камерах всех тюрем, бллин, такое паскудство, tsheloveku даже ноги некуда протянуть. К тому же — вы не поверите! — в то воскресенье к нам vpihnuli еще одного арестанта. Мы к тому времени, получив ужасную нашу zhratchku — вонючее варево с клецками, — лежали каждый на своей

полке, мирно покуривали, и тут в этакую толчею vpihnuli еще одного.

Это был kashka с костистым, торчащим вперед подбородком, и сразу же он затеял kritsh, мы еще даже и понять ничего не успели. Он тряс прутья решетки и вопил: «Нарушены мои права, черт бы их драл, здесь и так полно, это произвол, вот что это такое!» Но к нему подошел один из вертухаев и сказал, чтобы тот выкручивался, как умеет, — может, кто его на свою полку пустит, а нет, так спать ему на полу. «Кстати, — добавил охранник, — дальше лучше не будет, а только хуже. Вы же сами такое положение создали, развелось вас как собак нерезаных, ворье паскудное!»

2

В общем, как раз с водворения к нам этого нового зека и началось мое освобождение из Гостюрьмы — из-за его скверного и склочного нрава, грязных помыслов и подлых намерений, которые привели к тому, что неприятности начались в тот же день. Он был очень hvastliv, в упор нас не замечал и разговаривал высокомерным тоном. Дал нам понять, что он единственный во всем зоопарке настоящий prestupnik v zakone, он, дескать, сделал то, он сделал это, одним щелчком

он десять ментов убил, и всякий тому подобный kal. Ни на кого он этим большого впечатления не произвел, бллин. Тогда он стал вязаться ко мне, поскольку я там был самый младший, пытаясь доказать, что это я, как самый младший, должен zaspat на полу, а вовсе не он. Однако остальные за меня вступились, заорали: «Оставь его в покое, ты, выродок baratshni, и тогда он затянул старую-престарую песню про то, что его никто не любит. Короче, в ту же ночь я проснулся оттого, что этот ужасный зек и впрямь улегся ко мне на полку, которая и так была diko узкой (она была в нижнем из трех ярусов), мало того, он еще принялся нашептывать мне какие-то qriaznyje любовные словечки и гладить, гладить, гладить. Ну, тут я стал совсем bezumni и с ходу выдал ему, хоть я и не различал ничего толком, потому что горел только маленький красный свет на площадке. Но я знал, что это он, вонючий kozlina, а когда начался настоящий переполох и включили свет, я увидел его подлую hariu, которая была вся в крови, текущей из губы, рассеченной ударом моего кулака. Дальше все пошло, как всегда, то есть мои сокамерники проснулись и стали присоединяться к драке, шедшей немного nesuraz из-за полутьмы; от шума проснулся чуть

не весь ярус, там и сям послышались kritshi и громыхание жестяными мисками о стену: всем зекам во всех камерах почудилось, будто вот-вот начнется большой бунт. Зажегся свет, набежали, размахивая дубинками, вертухаи в своих кепи и рубашках навыпуск. Стали видны наши разгоряченные hari, мелькающие в воздухе кулаки, стоял kritsh и ругань. Я высказал сбою жалобу, но вертухаи в один голос заявили, что, видимо, это я сам, ваш скромный повествователь, все и затеял, потому что на мне не было ни царапинки, тогда как тот uzhasni зек обливался кровью из разбитого моим кулаком rota. От этого я вконец obezumel. Сказал, что ни одной notshi не стану spatt в этой камере, если тюремная администрация позволяет всякому вонючему pideru приставать ко мне, когда я сплю и не могу постоять за себя. «Жди до утра, — ответили мне. — Или, может, вашему высочеству подавай отдельную комнату с ванной и телевизором? Утром разберемся. А в данный момент, druzhok, хватит выступать, и давай-ка преклони bashku на соломенный тюфяк, да чтоб никаких тут больше zavaruh не затевал. Ты хорошо понял?» С тем они удалились, дав всем напоследок хорошенькую nakatshku; вскоре погасили свет, но я сказал, что весь остаток notshi

проведу сидя, а тому гаду говорю: «Давай, лезь на мою полку, если хочешь. Мне она больше не нравится. Из-за того что такой kal, как ты, к ней прикасался, для меня она теперь опоганена». Но тут вмешались сокамерники. Все еще отирая пот после ночной bitvy, Еврей сказал:

— Нет уж, знаешь ли, так не пойдет, братец. Нечего всяким паскудникам сдавать позиции.

А новенький говорит:

— Ну ты, жид, заплыви govnom, — в том смысле, что заткнись, но так звучало обидней, отчего Еврей тут же изготовился к toltshoku. А Доктор говорит:

— Ну-ну, джентльмены, зачем нам неприятности, что за чушь? — причем тоном этаким светски-небрежным. Однако новенький продолжал нарываться. Явно видел себя zhutt каким крутым громилой, которому при шестерых других сокамерниках спать на полу прямо-таки zapadlo, а лезть на милостиво предложенную койку обидно. В своей издевательской манере он прицепился и к Доктору:

— Аааааа, ты неприяааааатносгей не хочешь, пуууупсик!

Но тут Джоджон, жилистый, резкий и злобный, сказал:

— Если уж не выходит поспать, займемся образованием. Нашему новому другу хочется, чтобы мы преподадим ему урок. — Несмотря на специальность насильника, речь у него была неплохая, он говорил веско и точно. Новый зек презрительно осклабился:

— У-тю-тю-тю-тю, как страшно! — И вот с этого все началось всерьез, причем как-то так по-тихому, никто даже голоса не повысил. Сперва новенький попытался было пискнуть, но Уолл заткнул ему rot, а Еврей держал его прижатым к прутьям решетки, чтобы его было видней в красноватом отсвете лампочки на площадке, и он лишь едва постанывал — оо, оо, оо. Был он не бог весть каким крепышом, отбивался слабенько; видимо, для того он и shumel, для того и хвастался, чтобы возместить свою слабость. Зато я, увидев в красной полутьме красную кровь, почувствовал в kishkah прилив знакомого радостного предвкушения.

— Мне, мне его оставьте, — говорю. — Дайте-ка, братцы, я его поучу.

Еврей поддержал меня:

— Пгавильно, пгавильно, гебята. Вгежь ему, Алекс. — И они все отступили в темноту, предоставив мне свободу действий. Я измолотил его

всего кулаками, обработал ногами (на них у меня были башмаки, хотя и без шнурков), а потом швырнул его — хрясь-хрясь-хрясь — головой об пол. Еще разок я ему хорошенько приложил сапогом по tykve, он всхрапнул, вроде как засыпая, а Доктор сказал:

— Ладно, по-моему, хватит, урок запомнится. — Он сощурился, пытаясь разглядеть распростертого на полу избитого veka. — Пусть ему сон приснится, как он отныне будет паинькой.

Мы все устало расползлись по своим полкам. А во сне, бллин, мне приснилось, будто я сижу в каком-то огромном оркестре, где кроме меня еще сотни и сотни исполнителей, а дирижер вроде как нечто среднее между Людвигом ваном и Г. Ф. Генделем — то есть он и глухой, и слепой, и ему вообще на весь остальной мир plevatt. Я сидел в группе духовых, но играл на каком-то таком розоватом фаготе, который был частью моего тела и рос из середины живота, причем только это я в него дуну, тут же — ха-ха-ха: щекотно, прямо не могу, до чего щекотно, и от этого Людвиг ван весь стал zhutko razdrazh, как bezumni. Подошел ко мне вплотную да как закричит мне в ухо, и я, весь в поту, проснулся. Разбудил меня, конечно же, совсем другой shum — это заверещал тюремный

звонок — зззынь-зззынь-зззынь! Утро, зима, glazzja слипаются, будто там сплошной kal, разлепил их, и сразу безжалостно резанул врубленный на всю тюрьму электрический свет. Вниз глянул, смотрю, новенький лежит на полу в кровище, синий, и до сих пор не пришел в себя. Тут я вспомнил ночные дела и себе под нос uhmyllnulsia.

Однако спустившись с полки и тронув его босой ногой, я ощутил ею нечто твердое и холодное, и тогда я подошел к полке Доктора и стал его трясти, потому что вставал Доктор всегда diko тяжело. Но на сей раз он скоренько соскочил с полки, так же как и остальные, кроме Уолла, который спал, как tshushka.

— Эк-кое невезенье, — сказал Доктор. — Видимо, сердце не выдержало. — Потом добавил, переводя взгляд с одного из нас на другого: — Зря вы его так. И кто только догадался!

Но Джоджон тут же okrysilsia:

— Вот еще. Док. Ты ведь и сам дубасил его за милую душу.

Ко мне повернулся Еврей и говорит:

— Я так скажу: наш Алекс чегесчуг гогяч. Тот последний удаг был очень нехогош.

Тут уже и я взъелся:

— А кто начал-то, кто начал-то, а? Я немножко,

в самом конце добавил, скажешь, нет? — И пальцем на Джоджона: — Это его, его была идея. — Тут Уолл всхрапнул громче обычного, и я сказал: — Разбудите же этого вонючего vyrodka. Это же он ему pastt затыкал, пока Еврей держал у решетки. — А Доктор в ответ:

— Никто не отрицает, все к нему по чуть-чуть приложились — чисто символически, надо ведь учить уму-разуму, — но совершенно очевидно, мой дорогой мальчик, что это именно ты со свойственной юности горячностью и, я бы сказал, неумением соразмерить силу, взял да и замочил беднягу. Жаль, жаль, жаль.

— Предатели! — возмутился я. — Лжецы и предатели! — Вижу, опять, точь-в-точь как два года назад мои так называемые друзья того и гляди сдадут меня со всеми potrohami ментам. Никому, бллин, ну никому на белом свете нельзя верить! Джоджон пошел, разбудил Уолла, и тот сразу же с готовностью подтвердил, что это я, ваш скромный повествователь, совершил весь этот razdryzg и насилие. Когда пришли сперва вертухай, потом начальник охраны, а потом и сам комендант, все мои как бы товарищи по камере, перекрикивая друг друга, бросились наперебой рассказывать, что и как я делал, чтобы ubivatt этого никчемного

извращенца, чей окровавленный труп мешком валялся на полу.

Странный был день, бллин. Мертвую plott утащили, после чего во всей тюрьме всех заперли по камерам до особого распоряжения; zhratshku не выдавали, не разносили даже tshai. По площадкам ярусов расхаживали вертухаи и надзиратели, то и дело покрикивая; «Молчать!» или «Заткни хлебало!», едва только им послышится, что где-то в какой-то камере раздался шепот. Потом около одиннадцати утра движение как-то так напряженно стихло, и в камеру извне начала проникать вроде как vonn страха. А потом мимо нас торопливо прошли комендант, начальник охраны и какой-то очень важного вида tshelovek; при этом они спорили между собой, как bezumni. Похоже, что они дошли до самого конца яруса, потом стало слышно, что они возвращаются, на этот раз медленнее, и уже выделялся голос коменданта, толстенького, вечно потного белобрысенького человечка, который в основном говорил: «Да, сэр!» и «Ну что же тут поделаешь, сэр?» и все в таком духе. Потом вся компашка остановилась у нашей камеры, и начальник охраны отпер дверь. Кто среди них главный, было видно сразу: высоченный такой голубоглазый

diadia в таком роскошном костюме, бллин, каких я в жизни не видывал: солидном и в то же время модном до невозможности. Нас, бедных зеков, он словно в упор не видел, а говорил поставленным, интеллигентным голосом: «Правительство не может больше мириться с совершенно устаревшей, ненаучной пенитенциарной системой. Собирать преступников вместе и смотреть, что получится! Вместо наказания мы создаем полигоны для отработки криминальных методик. Кроме того, все тюрьмы нам скоро понадобятся для политических преступников». Я не очень-то, бллин, poni, но, опять-таки, он ведь не ко мне и обращался. Потом говорит: «А обычный преступный элемент, даже самый отпетый (это он меня, бллин, валил в одну кучу с настоящими prestupnikami и предателями к тому же), лучше всего реформировать на чисто медицинском уровне. Убрать криминальные рефлексы, и дело с концом. За год полная перековка. Наказание для них ничто, сами видите. Им это их так называемое наказание даже нравится. Вот, начинают уже и здесь убивать друг друга». И он обратил жесткий взгляд голубых глаз на меня. А я — храбро так — и говорю:

— При полном к вам уважении, сэр, я категорически возражаю. Я не обычный преступник, к

тому же не отпетый. Другие, может, здесь и есть отпетые, но не я. — При этих моих словах начальник охраны весь стал лиловый, да как закричит:

— А ну, сволочь, заткни свое пакостное хлебало! Не знаешь, что ли, перед кем стоишь?

— Да ладно, ладно, — отмахнулся от него важный vek. Потом обернулся к коменданту и сказал: — Вот его первым в это дело и запустим. Молод, смел, порочен. Бродский с ним завтра займется, а ваше дело сидеть и смотреть, как работает Бродский. Не волнуйтесь, получится. Порочный молодой бандюга изменится так, что вы его не узнаете.

Вот эти-то жесткие слова, бллин, как раз и оказались вроде как началом моего освобождения.

3

Тём же вечером вечно дерущиеся зверюги надзиратели вежливо и любезно препроводили меня в самое сердце тюрьмы, священнейшее и заветнейшее место — кабинет коменданта. Комендант нехотя глянул на меня и сказал:

— Ты, видимо, не знаешь, кто это приходил утром, а, номер 6655321? — И, не ожидая от меня ответа, продолжал: — Это был ни больше ни меньше как министр внутренних дел, новый министр;

что называется, новая метла. В общем, какие-то у них там странные новые идеи в последнее время появились, а я — что ж… мне приказали, я выполнил, хотя, между нами говоря, не одобряю. Самым решительным образом не одобряю. Сказано было: око за око. Если кто-то тебя ударит, ты ведь дашь сдачи, так или нет? Почему же тогда Государство, которому от вас, бандитов и хулиганов, так жестоко достается, не должно с соответствующей жестокостью расправляться с вами? А они вот говорят: не должно. У них теперь такая позиция, чтобы плохих в хороших превращать. Что мне лично кажется грубейшей несправедливостью. Так, нет?

Чтобы не показаться невежливым и упрямым, пришлось сказать: «Да, сэр!», и тут же начальник охраны, стоявший за креслом коменданта, вновь налился краской, и в kritsh:

— Заткни поганое хайло, сволочь!

— Ладно, ладно, — устало поморщился комендант. — Тебя, номер 6655321, приказано исправить. Завтра пойдешь к этому Бродскому. Якобы через две-три недели тебя можно будет снять с госдовольствия. Через две-три недели выйдешь за ворота, и ступай на все четыре стороны уже без всякого номера на груди. Думаю, — тут

он слегка как бы хрюкнул, — такая перспектива тебя радует?

Я ничего не сказал, и снова рявкнул начальник охраны:

— Отвечай, грязная свинья, когда комендант тебя спрашивает!

— Да-да, конечно, сэр, — ответил я. — Большое спасибо, сэр. Я все время старался исправиться, правда, сэр. Я благодарен всем, кто заметил это.

— Ох, не за что, — со вздохом качнул головой комендант. — Это не награда. Далеко не награда. Вот, подпиши бумагу. Здесь говорится, что ты просишь, чтобы остаток срока тебе заменили на то, что тут обозначается как — странное, однако, название! — исправительное лечение. Подпишешь?

— Конечно, обязательно подпишу, сэр, — сказал я. — И большое вам спасибо. — Сразу же мне выдали чернильный карандаш, и я подписал свою фамилию, сделав еще в конце красивый росчерк. Комендант откинулся в кресле.

— Ха-арошо. Ну, собственно, вот и все, наверное.

Опять ожил начальник охраны.

— С ним хочет поговорить тюремный священник, сэр.

Меня вывели вон и повели по коридорам к боковой часовне, причем на этот раз один из вертухаев все время норовил tolshoknul меня то по затылку, то по спине, однако делал это неуверенно, а может, просто ленился. В общем, прошли через зал часовни, поднялись к kontore свища, впихнули меня внутрь. Свищ сидел за столом, распространяя вокруг себя сильную мужскую vonn крепких tsygarok и хорошего виски. Посидел-посидел и говорит;

— Ну, номер 6655321, садись. — И вертухаям: — Подождите в коридоре, ладно? — Они вышли. Тогда он очень серьезно и доверительно заговорил со мной: — Слушай, я хочу, чтобы ты понял одно, малыш: от меня это не исходит никоим образом. Если бы мой протест имел смысл, я бы протестовал, но протестовать смысла нет. Тут дело не только в том, что это бы мне испортило карьеру, но и в том, что мой слабый голос ничего не значит по сравнению с громовым рыком из неких высших политических сфер. Я достаточно ясно выражаюсь? — Мне было как раз ничего не ясно, но я кивнул, дескать, да, да. — Затрагиваются очень трудные этические проблемы, — продолжал он. — Тебя, номер 6655321, собираются превратить в хорошего мальчика. Больше ни-

когда у тебя не возникнет желания совершить акт насилия или нарушить каким бы то ни было образом порядок в Государстве. Я надеюсь, ты понял, о чем речь. Я надеюсь, ты идешь на это, абсолютно ясно все сознавая.

Я отвечаю:

— Ну, ведь приятно же быть хорошим, сэр. — А сам внутри смеюсь-потешаюсь, бллин. А он говорит:

— Может быть, и вовсе не так уж приятно быть хорошим, малыш 6655321. Может быть, просто ужасно быть хорошим. И, говоря это тебе, я понимаю, каким это звучит противоречием. Я знаю, у меня от этого будет много бессонных ночей. Что нужно Господу? Нужно ли ему добро или выбор добра? Быть может, человек, выбравший зло, в чем-то лучше человека доброго, но доброго не по своему выбору? Это глубокие и трудные вопросы, малыш 6655321. Но тебе я хочу сказать сейчас лишь одно: если в будущем настанет такой час, когда ты вспомнишь этот день, вспомнишь меня, нижайшего и скромнейшего из прислужников Божиих, молю тебя, не думай плохо обо мне в сердце своем, не думай, будто я каким-либо образом связан с тем, что должно с тобой случиться. И, кстати, раз уж речь зашла о молениях, я с грустью

понимаю, что и молиться за тебя бессмысленно. Ты уходишь в пространства, где молитва не имеет силы. Ужасная, ужасная штука, если вдуматься. Правда, в некотором смысле, избрав путь, лишающий тебя возможности этического выбора, ты определенным образом и в самом деле совершаешь выбор. Так что мне об этом еще думать и думать. В общем, номер 6655321, я еще буду думать, и да поможет нам всем Господь! — И тут он заплакал. Впрочем, я не обратил на это большого внимания, бллин, я про себя только потешался, потому что видел: свищ zdorovo prilozhilsia к бутылке виски; вот и опять он вынул из ящика стола бутылку и принялся наливать себе изрядную порцию в griazni захватанный стакан. Osushil его и говорит: — Может, все к лучшему, кто знает. Пути Господни неисповедимы, — и запел громким, хорошо поставленным голосом псалом. Затем дверь отворилась, вошли вертухаи, чтобы ottastshitt меня обратно в вонючую камеру, но старый свищ, не прерываясь, продолжал петь свой псалом.

В общем, на следующее утро пришло время прощаться с Гостюрьмой, и мне было даже слегка грустновато, как это всегда бывает, когда покидаешь место, к которому кое-как все ж таки

привык. Но путь мой оказался не далек, бллин. Пинками и затрещинами меня погнали к новому белому зданию на другой стороне двора, в который нас выводили на прогулки. Здание было новехонькое, в нем стоял клейкий такой запах новостройки, от которого даже мурашки бежали по коже. Я стоял в diko огромном пустом вестибюле, привыкая к новым запахам — к ним мой nos очень даже чуток. Пахло вроде как больницей, а человек, которому вертухаи меня передали, был в белом халате — значит, видимо, врач. Он за меня расписался, а один из зверюг вертухаев, которые привели меня, и говорит:

— Вы за ним смотрите, сэр. Он как был мерзавцем и громилой, так и опять им станет, а то, что все время к тюремному капеллану подлизывался да Библию читал, так это притворство! — Но новый tshelovek с красивыми голубыми glazzjami, которые вроде как смеялись, когда он говорил, ответил ему:

— Нет-нет, трудностей у нас не предвидится. Мы ведь будем друзьями, не правда ли? — И он одарил меня такой лучезарной улыбкой, в которой участвовали не только его glazzja, но и красиво очерченный rot, блеснувший белизной zubbjev, — такой улыбкой, что я вроде как

сразу ему поверил. Между тем он передал меня другому человеку в халате — видимо, рангом пониже, хотя и этот был очень вежлив, и меня ввели в чудненькую чистенькую комнатку с занавесками, настольной лампой, кроватью — надо же, это все мне, мне одному! При этом ваш скромный повествователь diko про себя потешался, решив, что все-таки он большой vezuntshik. Мне велели снять ужасную тюремную робу и дали замечательный пижамный костюм, бллин, бледно-зеленый и даже сшитый по последней моде. Кроме того, дали чудесный теплый халат и мягкие тапочки, чтобы не ходить bosikom, так что я подумал: «Ну, Алекс, ну, парень, ну, бывший номер 6655321, четко ты vpisalsia, безошибочно. Здесь прямо не жизнь, а сказка!»

После того как мне дали большую tshashku настоящего хорошего кофе и несколько старых газет и журналов, чтобы мне не скучно было завтракать, пришел первый vek в белом халате — тот, который за меня вроде как расписался, и говорит:

— Ба, вот вы где! — Что, в общем-то, было довольно глупо, но почему-то глупо не прозвучало — настолько этот vek был приветлив. — Меня зовут, — сказал он, — доктор Браном. Я ассистент

доктора Бродского. С вашего разрешения, я бы хотел провести небольшой осмотр — так, на всякий случай, — и вынул из правого кармана старенький стетоскоп. — Надо ведь убедиться, что вы в форме, не правда ли? Надо, а как же! — А я, лежа с задранной на груди пижамой, пока он выслушивал и выстукивал, спрашиваю:

— А что именно, сэр, вы собираетесь со мной здесь делать?

— Ну, — проговорил доктор Браном, прикладывая к моей спине холодный стетоскоп, — в принципе ничего особенного. Просто покажем вам кое-какие фильмы.

— Фильмы? — удивился я. Я не мог поверить собственным usham, бллин, и вы понимаете почему. — Вы имеете в виду, — еще раз переспросил я, — что я буду вроде как в кино ходить?

— Это особые фильмы, — уточнил доктор Браном. — Очень специфические. Первый сеанс будет сегодня после обеда. Да, — произнес он, выпрямляясь, — похоже, вы вполне здоровы и в хорошей форме. Разве что немного потеряли в весе. Из-за тюремной пищи. Можете застегнуть пижаму. После каждой еды один укольчик в руку. Не повредит. — Я почувствовал прилив благодарности к симпатичному доктору Браному.

Спрашиваю:

— Это что будет, сэр, витамины?

— Что-то вроде, — dushevno и дружески улыбаясь, сказал он. — Один укольчик каждый раз после еды. — С этими словами он вышел. А я лежал на кровати, радуясь такой райской zhizni, и читал оставленные мне журналы — «Уорлдспорт», «Синни» (журнал для любителей кино) и «Гоул». Потом я откинулся на подушку, прикрыл glazzja и стал думать о том, до чего же здорово будет выйти на свободу и как днем стану ходить на какую-нибудь непыльную работенку (из школьного-то возраста я уж немного вырос), а там, глядишь, новая shaika подберется для ночных вылазок, и первое наше delo будет изловить старину Тёма с Питом, если до них еще не добрались менты. На этот раз буду smotrett в оба, чтоб не попасться. Мне ведь дают такой шанс — мне, который совершил убийство и все прочее, — так что просто даже нечестно было бы: на меня столько сил потратили, фильмы, от которых я стану pai-malltshikorn, показывали, и после этого взять и снова попасться! Внутренне я diko потешался над наивностью всех этих spetsov, а когда мне принесли завтрак, да еще и на подносе, вообще чуть голову напрочь не othohotal. Как раз тот

самый vek, который провожал меня в палату из вестибюля, его мне и принес, да еще говорит:

— А вы тут, я смотрю, хорошо устроились, это приятно.

Zhratshka, которая была на подносе, оказалась добротной и аппетитной — два-три lomtika горячего ростбифа с картофельным пюре и овощами, мороженое и горячий tshai в красивой tshashke. Прилагалась даже одна tsygarka и коробок с одной спичкой в нем. Так что, похоже, zhiznn мне улыбалась, бллин. Затем, примерно через полчаса, когда я, полусонный, лежал на кровати, вошла медсестра, очень даже симпатичная kisa с большими grudiami (их я не лицезрел уже два года), при ней был поднос со шприцем. Я говорю:

— А, витамины, что ли? — и подмигнул ей, но она не обратила внимания. Сразу же вколола мне иглу в левую руку, и — пшшш — в мышцу пошел витамин. После этого она удалилась — клик-клак, клик-клак туфельками на высоких каблучках. Потом появился тот санитар в белом халате, катя перед собой кресло на колесах. Эта деталь меня слегка удивила. Я говорю:

— Слышь, koresh, это еще зачем? Я и сам дойду, если куда itti надо. — Но он не согласился.

— Лучше, — говорит, — я вас отвезу. — И

впрямь, бллин, спустив ноги с кровати, я обнаружил, что меня слегка пошатывает. Неужто действительно сказывается тюремный nedokorm, о котором говорил доктор Браном? Ничего, витамины после каждой еды быстренько поставят меня tortshkom. Тут и сомневаться нечего.

4

Помещение, куда меня привезли, было вроде кинозала, но такого, каких я прежде не видывал. Одна стена была, как водится, скрыта серебристым экраном, в стене напротив виднелись квадратные отверстия для луча проектора, и по всему помещению — стереодинамики. При этом у правой стены стоял пульт с какими-то маленькими шкалами и циферблатами, а посреди пола, обращенное к экрану, стояло что-то вроде зубоврачебного кресла, все опутанное всевозможными проводами, и мне пришлось на него переползать при поддержке еще одного санитара в белом халате. Потом я заметил, что пониже отверстий для проекторов в стене вроде как окошко с матовым стеклом; мне показалось, что за ним движутся чьи-то тени, и я даже услышал, как кто-то там поперхнулся; kashl-kashl-kashl. Но потом я уже ничего не замечал, всецело поглощенный

тем, до чего я слаб, — обстоятельство, которое я приписал внезапному переходу от скудной тюремной zhratshki к хорошей и калорийной, да еще и к витаминным уколам.

— Отлично, — сказал санитар, привезший меня в кресле. — Я тебя покидаю. Начнут, как только придет доктор Бродский. Надеюсь, тебе понравится. — По правде говоря, бллин, в тот вечер мне вовсе не хотелось смотреть фильм. Как-то настроения не было. Куда больше удовольствия доставила бы мне небольшая такая spiatshka на кровати в тишине, спокойствии и odinotshestve. Какой-то я был вялый.

Потом пошли vestshi и вовсе необычайные; один из medbrattjev пристегнул мне голову ремнем к подголовнику, напевая при этом себе под нос какой-то популярный эстрадный kal.

— Это еще зачем? — говорю. Санитар прервал на секунду свое пение и ответил мне, что это затем, чтобы зафиксировать мне голову и заставить смотреть на экран. — Послушайте, — удивился я. — Я ведь и сам хочу смотреть на экран. Для этого меня сюда притащили, так почему бы мне не посмотреть? — На это второй medbrat (всего их было трое, причем еще была одна kisa, сидевшая у приборного пульта) только усмехнулся. И

пояснил:

— Как знать. Ох, ничего заранее не скажешь! Ты уж поверь нам, приятель. Так будет лучше. — И тут обнаружилось, что они и руки, и ноги мне пристегивают к специальным захватам кресла. Это мне показалось слегка bezumni, но я не стал препятствовать им в том, что они делали. Если через две недели я буду свободным как ветер malltshipaltshikom, то до той поры я готов стерпеть многое, бллин. Одна vestsh мне, правда, здорово не понравилась — это когда мне защемили кожу лба какими-то зажимами, чтобы у меня верхние веки поднялись и не опускались, как бы я ни старался. Попытавшись усмехнуться, я сказал:

— Ничего себе, obaldennyje, vidatt, вы мне фильмы показывать собираетесь, если так настаиваете, чтобы я смотрел их. — На что один из санитаров с улыбкой ответил:

— Obaldennyje? Что ж, ты, брат, прав. Увидишь — обалдеешь, это точно! — И надел мне на голову вроде как шлем со множеством бегущих от него проводочков, а к животу и к тикалке присобачил какие-то присоски, и тоже с проводами. Хлопнула дверь, и вошел, видимо, кто-то очень важный, судя по тому, как замерли его подчиненные в белых халатах. Тут я впервые увидел доктора Брод-

ского. Он был маленького роста, толстенький, с густой шапкой курчавых волос, в толстых очках, сидевших на носу типа kartoshka. Костюм его, распространявший слабый запашок операционной, был, однако, shikarni и diko моднющий. Рядом с Бродским стоял и доктор Браном с улыбкой от уха до уха — видимо, он так старался меня ободрить.

— Все готово? — спросил доктор Бродский одышливым голосом. Какие-то люди отозвались, рапортуя готовность, — сперва в отдалении, потом поближе, а потом послышалось тихое жужжанье, что-то включили, значит. Но вот гаснет свет, и ваш покорный слуга, скромный ваш повествователь, сидит испуганный и odinoki, не в силах ни шевельнуться, ни закрыть glazzja. Наконец под громкий, бьющий по usham и по нервам треск атмосферных помех, начался фильм. На экране возникло изображение, не предваренное ни названием, ни указанием на изготовившую фильм киностудию. Появилась улица, самая обыкновенная, каких сотни в любом городе, время ночное, горят фонари. Снято вроде как профессионально — никаких мельканий, никаких приставших к оптике шерстинок и грязи, которые порой то и дело скачут по экрану на домашнем просмотре у дворового кинолюбителя-

порнографиста. Музыка нарастает, diko зловеще. Затем на улице появляется kashka, очень stari, а на него наскакивают двое модно одетых мальчиков (с моих времен мода несколько изменилась: до сих пор еще носили узкие штаны, но галстуки бабочкой уже отошли, теперь в ходу были галстуки типа seliodka), и эти мальчики начинают с ним shustritt. Слышатся его vskritshi и стоны, очень натуральные, и различается даже пыхтенье и хаканье мальчиков, которые его бьют. Мальчики делают из этого veka настоящую котлету — трах, трах, трах его кулаками, одежду на нем razdryzg, razdryzg, а потом, обнаженного, его еще sapogoi, sapogoi (он лежит уже весь в крови и грязи, сваленный в придорожную канаву), после чего, конечно же, malltshiki скоренько rvut kogti. Потом крупным планом tykva этого избитого veka; красиво струится красная кровь. Забавно, но почему-то в реальности все цвета вроде как не такие яркие и настоящие, как на экране.

Но все время, пока я смотрел, все более и более явственным становилось у меня ощущение недомогания, которое я списывал на тюремный nedokorm и на то, что мой желудок не вполне готов еще к здешней сытной zhratshke и витаминам. Однако я пытался от этого отвлечься,

сосредоточив свое внимание на следующем фильме, который начался сразу же за первым без всякого перерыва. В этот раз на экране сразу появилась молоденькая kisa, с которой проделывали добрый старый sunn-vynn — сперва один мальчик, потом другой, потом третий и четвертый, причем из динамиков несся ее истошный kritsh пополам с печальной и трагической музыкой. Все было очень и очень реалистично, хотя, если как следует вдуматься, то диву дашься, как могут люди соглашаться, чтобы с ними такое проделывали на съемках, более того, даже вообразить трудно, чтобы киностудии типа «Гуд» или «Госфильм» могли такое снимать и не вмешиваться в происходящее. Так что, скорее всего это был очень искусный монтаж или комбинированные съемки, или как там у них подобные vestshi называются. Но сделано было очень реалистично. Так что, когда очередь дошла до шестого или седьмого maltshika, который, ухмыляясь и похохатывая, zasadil, и devotshka зашлась от kritsha, вторя zhutkoi музыке на звуковой дорожке, меня начало подташнивать. По всему телу пошли боли, временами я чувствовал, что вот-вот меня вытошнит, и подступила тоска, бллин, оттого что меня привязали и я не могу шевельнуться в

кресле. Когда эта часть фильма подошла к концу, от пульта управления до меня донесся голос доктора Бродского: «Реакция на уровне двенадцати с половиной? Что ж, это обнадеживает».

Потом без перехода пошел следующий lomtik фильма; на этот раз показывали просто человеческое litso, очень вроде как бледное, которое удерживали неподвижным и делали с ним всякие пакостные vestshi. Меня слегка прошиб пот, в kishkah все болело, ужасно мучила жажда, в голове стучало — бух-бух-бух, и хотелось только одного: не видеть, не видеть этого, иначе стошнит. Но я не мог закрыть глаза, и даже скосив зрачки в сторону, я не мог отвести их с линии огня этого фильма. Так что, хочешь не хочешь, я видел все — все, что делалось с этим лицом, и слышал кошмарные исходящие от него kritshi. Я говорил себе, что это не может быть взаправду, но муки мои не уменьшались. Меня всего корчили спазмы, но стошнить почему-то не удавалось, и я смотрел, как сперва бритвой вырезали глаз, потом полоснули по щеке, потом — вжик-вжик-вжик по всему лицу, и красная кровь брызнула на линзу объектива. Потом плоскогубцами по одному выдергивали зубы, и такой пошел kritsh, такие потоки крови, что это просто немыслимо.

Потом послышался довольный голос доктора Бродского: «Замечательно, великолепно!»

Следующий lomtik фильма посвящался тому, как старую женщину, хозяйку лавки, под громкий смех пинает ногами kodla парней, которые потом громят и поджигают лавку. Показано, как бедная старая ptitsa, вопя и стеная, пытается ползком выбраться из пламени, но malltshiki сломали ей ногу, и она не может двинуться с места. В результате ее охватывает ревущее пламя, ее искаженное страданием, умоляющее litso проглядывает сквозь огонь и исчезает, после чего доносится самый громкий, кошмарный и душераздирающий kritsh, какой только может вырваться из человеческой глотки. Теперь я уже определенно должен был blevanutt, и я закричал:

— Меня тошнит! Пожалуйста, дайте мне стошнить! Ради Бога, принесите мне что-нибудь, во что стошнить!

Но доктор Бродский в ответ:

— Это только твое воображение. Тебе не о чем беспокоиться. Следующий фильм, поехали. — Должно быть, это была какая-то шутка, потому что следом из темноты донесся вроде как смех. После чего меня заставили смотреть отвратительнейшую ленту о японских пытках. Речь шла

о войне 1939–1945 годов, и там солдат прибивали к столбам гвоздями, разводили под ними костры, отрезали им beitsy, а одному отрубили голову мечом, и, пока голова с живыми glazzjami и rotom еще катилась, он продолжал бежать, извергая из шеи фонтан крови, а потом упал, и все это под громкий смех японцев. Резь в животе, головная боль и жажда мучили меня невыносимо, причем все это как бы наваливалось на меня с экрана. Я закричал:

— Остановите! Пожалуйста, остановите фильм! Я не могу больше. — И голос доктора Бродского:

— Остановить? Как ты сказал, остановить? Ну что ты, мы еще только начали. — И он с остальными вместе громко рассмеялся.

5

Я не хочу описывать, бллин, остальные ужасные vestshi, которые меня заставили просмотреть в тот вечер. Все эти головастые докторы Бродские и Браномы и все прочие в белых халатах — вы помните, там ведь была еще и devotshka, которая крутила ручки на приборном пульте, — все они, по-моему, куда гаже и отвратнее любого из prestupnikov в Гостюрьме. Ну, в самом деле: я ведь даже и помыслить не мог бы, чтобы кому-то

пришло в голову делать такие фильмы, которые меня заставляли смотреть привязанным к креслу, да еще с насильно открытыми glazzjami. Все, что я мог делать, это поднимать kritsh, чтобы выключили, выключили, отчасти перекрывая этим шум драк, резни и музыку, которая это сопровождала. Можете себе представить мое облегчение, когда, просмотрев последний отрывок, услышал я голос доктора Бродского, который со скучающим зевком произнес: «Ну, пожалуй, для первого дня довольно, как вы считаете, доктор Браном?» Включили свет, а мою голову все еще распирало буханье словно бы какой-то огромной машины, производящей боль, во рту был kal и сухость, и такое чувство, будто я сейчас vybliuju всю zhratshku, которая съедена мной, бллин, с тех пор как я был младенцем.

— Ладно, — сказал доктор Бродский, — пусть отправляется обратно в постель. — Затем он вроде как потрепал меня по плечу и говорит: — Неплохо, неплохо. Очень многообещающее начало. — И, во весь рот осклабившись, поплелся вон; доктор Браном пошел следом, однако перед уходом одарил меня дружелюбной и участливой улыбкой, словно он со всем происходящим не имеет ничего общего, а втянут в это силком, так

же как я.

В общем, отвязали они меня от кресла, освободили кожу над глазами, чтобы я мог открывать и закрывать их, и я их закрыл — о, бллин, какая боль и буханье было у меня в голове! — а потом меня перевалили в кресло-каталку и повезли в палату, причем medbrat, который меня вез, все время бубнил себе под нос какой-то эстрадный kal, так что я не выдержал и говорю: «Заткнись, ты!» — но он только усмехнулся и ответил: «Брось, ерунда, парень», — и запел еще громче. Ну, положили меня в постель, я чувствовал себя bollnym и разбитым, но спать не мог, однако вскоре почувствовал, что скоро вроде как почувствую, что скоро почувствую себя вроде как чуть лучше, а потом мне принесли чашку свежего горячего tshaja с молоком и с сахаром, и когда я его выпил, пришло ощущение, что этот ужасный кошмар вроде как отошел в прошлое и кончился. А затем пришел улыбчивый и доброжелательный доктор Браном. Он говорит:

— Ну, по моим расчетам вам уже должно стать лучше. Правильно?

— Сэр… — преодолевая слабость, отозвался я. Как-то я не вполне poni, что он имел в виду, говоря о расчетах, потому что когда ты bolen и начи-

наешь чувствовать себя лучше, это твое личное дело, и никакие расчеты тут ни при чем. Он сел, весь такой diko располагающий и дружелюбный, на край кровати и сказал:

— Доктор Бродский вами доволен. У вас очень положительная реакция. Завтра, разумеется, будет два сеанса, утренний и вечерний, так что могу себе представить, какой вы будете к концу дня измотанный. Но нам надо жать на все педали, чтобы вас вылечить. — А я говорю:

— Вы к тому, чтобы мне снова?.. Чтобы я снова смотрел на?.. О нет, — простонал я. — Это ужасно!

— Разумеется, ужасно, — улыбнулся доктор Браном. — Насилие — ужасающая штука. Этому-то вы у нас и учитесь. Ваше тело этому учится.

— Но я все же не понимаю, — проговорил я. — Не понимаю, почему мне так плохо от этого. Раньше мне никогда от этого плохо не делалось. Раньше было как раз наоборот. Я в смысле, что когда я делал это или смотрел на это, я чувствовал себя как раз хорошо. Не понимаю, что такое… почему… какого figa…

— Жизнь — удивительная штука, — сказал Браном тоном святоши. — Процессы жизни, устройство человеческого организма — кому

дано полностью постигнуть эти чудеса? Доктор Бродский, конечно же, выдающийся человек. С вами происходит то, что и должно происходить с каждым нормальным, здоровым человеческим существом, наблюдающим действие сил зла, работу разрушительного начала. Вас делают нормальным, вас делают здоровым.

— Во-первых, мне этого не нужно, — сказал я. — Во-вторых, я вообще не понимаю. Я чувствую себя совершенно больным от того, что вы со мной делаете.

— Разве вы сейчас плохо себя чувствуете? — спросил он со своей дружелюбной улыбкой от uha до uha. — Вы пьете чай, отдыхаете, спокойно беседуете с другом — вам сейчас может быть только хорошо!

Слушая его, я осторожненько попробовал вновь ощутить боль и тошноту в голове и во всем теле, но нет, бллин, действительно я чувствовал себя хорошо и даже проголодался.

— Не могу взять в толк, — сказал я. — Вы, видимо, специально что-то делаете, чтобы мне было так скверно. — И я в раздумье нахмурился.

— Вам только что было плохо, — сказал он, — потому что вы выздоравливаете. Когда человек здоров, он отзывается на зло чувством страха и

дурноты. Вы выздоравливаете, вот и все. Завтра к этому времени вы будете еще здоровее. — Затем он похлопал меня по коленке и вышел, а я задумался, силясь разгадать эту головоломку. Похоже было, что провода и всякие прочие штуки, которые они цепляли к моему телу, заставляли меня чувствовать себя больным, и все это сплошной подвох. Я все еще силился найти разгадку и подумывал уже о том, не лучше ли будет завтра вообще воспротивиться их попыткам привязать меня к креслу и затеять с ними настоящий dratshing — есть же у меня все-таки какие-то права! — когда ко мне вошел еще один человек. Это был улыбчивый starikashka, который назвался представителем комиссии по социальной интеграции бывших заключенных; он принес с собой множество бумажек и бланков.

— Куда, — обратился он ко мне, — вы пойдете, когда окажетесь на свободе?

Я, по правде говоря, как-то даже не думал о таких вещах, и вообще до меня только теперь начало доходить, что очень скоро я буду свободен как вольный ветер, и тут же я осознал, что это произойдет только в том случае, если я буду идти у них на поводу и не стану затевать dratshing, kritshing, не буду ни от чего отказываться и так

далее. Я говорю:

— Ну, домой пойду. Назад к своим predkam.

— К вашим — кому? — Он не очень-то vjezzhal в жаргон nadtsatyh, поэтому я пояснил: — В свой родной дом, к родителям. — Понятно, — отозвался он. — А когда у вас в последний раз с ними было свидание?

— С месяц назад, — сказал я, — или что-то около. Нам отменили потом все свидания из-за того, что какому-то prestupniku удалось протащить в зону durr, которую ему передала его kisa. Этакую подлянку сыграли — чтобы безвинных людей всех из-за одного наказывали! Поэтому я их уже около месяца не видел.

— Понятно, — сказал kashka. — А ваши родители информированы о том, что вас перевели сюда и скоро освободят? — Слово-то какое: освободят, — спятить можно! Я говорю:

— Нет. — И добавил: — Будет им приятный такой сюрприз, а что? Вдруг вхожу в дверь и говорю: «Вот и я, явился не запылился, снова на свободе!» Очень даже neslabo.

— Ладно, — сказал представитель комиссии, — этот вопрос отпал. Раз у вас есть где жить, пускай. Теперь остается проблема работы, верно? — И он показал мне длинный перечень всяких мест, куда

я мог устроиться на работу, но я подумал — вот еще, это дело потерпит. Сперва надо устроить себе небольшой отпуск. А потом всегда можно будет пуститься в krasting и запросто набить полные карманы deng, единственное только, что теперь мне надо будет работать очень осмотрительно и действовать в odinotshestve; никаким так называемым друзьям я уже не верил. Поэтому я предложил ему с этим делом подождать и обсудить как-нибудь потом. «Хорошо-хорошо-хорошо», — сразу же согласился он и поднялся уходить. И тут выяснилось, что он какой-то слегка с приветом, потому что в дверях он хихикнул и говорит:

— А ты не хочешь мне напоследок двинуть в рыло?

Я даже решил, что скорей всего ослышался, и говорю:

— Чего?

— Не хочешь ли ты, — снова хихикнул он, — напоследок вроде как дать мне в морду?

Я озадаченно нахмурился и сказал:

— Зачем?

— Ну, — усмехнулся он, — просто чтобы посмотреть, как ты выздоравливаешь. — И с этими словами он нагнулся, подставляя мне hariu, жир-

ную и расплывшуюся в ухмылке. Я сжал кулак и с размаху двинул, но он проворно отстранился, все еще ухмыляясь, так что мой кулак пронзил пустой воздух. Все это показалось мне очень непонятным, и я нахмурился, а он удалился, хохоча во всю глотку. И тут, бллин, я снова почувствовал тошноту, точь-в-точь как после сеанса, хотя и ненадолго, всего на пару минут. Потом тошнота исчезла, и когда мне принесли обед, оказалось, что аппетит мой не пострадал, и я готов наброситься на жареную курицу. Однако странно — с чего это вдруг starikashke захотелось получить toltshok в litso? И, опять-таки, странно, с чего мне потом стало дурно?

А самое странное случилось, когда я в ту ночь заснул, бллин. Мне приснился кошмар, причем, как вы, вероятно, догадываетесь, на тему одного из фильмов, которые я смотрел перед этим. Кошмарный сон это ведь, в общем-то, тоже всего лишь фильм, который крутится у тебя в голове, только это такой фильм, в который можно войти и стать его персонажем. Это со мной и произошло. Мой кошмар напоминал один из фрагментов, которые мне показывали под конец сеанса, там хохочущие malltshiki резвились с молоденькой kisoi, которая обливалась кровью и kritshala, а

вся ее одежда была vrazdryzg. Я был среди тех, кто с ней shustril, — одетый по последней моде nadtsatyh, я хохотал и был вроде как за главаря. А потом, в разгар dratsinga, меня словно бы парализовало, я почувствовал ужасную дурноту, и все остальные malltshiki принялись надо мной громко потешаться. А потом я дрался с ними и, силясь проснуться, плавал в лужах собственной крови, чуть не утопал в ней, и очутился опять в палате, в своей постели. Меня затошнило, я вылез из кровати и на дрожащих ногах ринулся к двери, потому что туалет был в конце коридора. И — вот те раз, бллин! — дверь была заперта. Я оглянулся и, словно впервые, увидел на окне решетку. Так что, доставая из прикроватной тумбочки какую-то миску, я уже понимал, что деваться некуда. Хуже того, я даже не смел забыться сном. Вскоре я обнаружил, что до рвоты все-таки не дойдет, но для того, чтобы лечь в кровать и вновь заснуть, я уже был слишком puglyi. Однако все равно потом я вдруг заснул, как провалился, и снов больше не видел.

6

— Остановите! остановите! остановите! — кричал я как заведенный. — Выключите, svolotshi

griaznyje, я не могу больше! — То был следующий день, бллин, и я вовсю старался, как утром, так и после обеда, играть по их правилам, во всем потакать им и, пока на экране мелькают всякие ужасы, сидеть на этом пыточном кресле как pai-maltshik со вздернутыми веками и привязанными к захватам кресла руками и ногами, лишенный возможности шевельнуться. На этот раз меня заставляли смотреть vestsh, которая прежде не показалась бы мне чересчур неприятной — всего-навсего crasting: трое или четверо maltshikov обчищают лавку, набивая карманы babkami и одновременно пиная вопящую старую ptitsu, причем довольно-таки лениво, только чтобы пустить красную jushku. Однако буханье и какие-то взрывы — трах-тах-тах-тах в голове, дурнота и ужасная раздирающая сухость во рту были еще хуже, чем вчера. — Хватит, ну хватит же! Так нечестно, вы, kozly voniutshije! — кричал я, пытаясь выпутаться из захватов, но это было невозможно, кресло ко мне как приклеилось.

— Первый класс! — воскликнул доктор Бродский. — Ты у нас прямо молодец. Еще отрывочек, и заканчиваем.

На экране опять возникли картины старинной войны 1939–1945 годов, пленка — вся царапан-

ная, драная и полустершаяся — была заснята немцами. Начиналась она немецким орлом и нацистским флагом с изломанным крестом, который так любят рисовать malltshiki в школах, а потом появились кичливые и надменные немецкие офицеры, они шли по улицам, от которых, кроме пыли, бомбовых воронок и развалин, ничего не осталось. Потом показали, как людей ставят к стенке и расстреливают, а офицеры подают команды, а еще показали ужасные nagije тела, брошенные в канаву — одни ребра и белые костлявые ноги. Потом пошли кадры, где людей куда-то тащат, а они кричат, но на звуковой дорожке их криков не было, бллин, была одна музыка, а людей тащили и по дороге избивали. Тут я сквозь боль и дурноту заметил, что это была за музыка, пробивающаяся сквозь треск и взвизгивание старой пленки: это был Людвиг ван, последняя часть Пятой симфонии, и я закричал как bezymni:

— Стоп! — кричал я. — Прекратите, подлые griaznyje kozly! Это грех, вот что это такое, это самый последний грех, вы, ублюдки! — Остановить они, конечно, не остановили, тем более что пленки оставалось всего минуты на две — как кого-то там избили в кровь, опять дала залп очередная

зондеркоманда, потом нацистский флаг и конец. Однако, когда зажегся свет, передо мной стояли оба — и доктор Бродский, и доктор Браном. Бродский спросил:

— Ну-ка, насчет греха подробнее, а?

— Грех, — сказал я сквозь ужасную дурноту, — грех использовать таким образом Людвига вана. Он никому зла не сделал. Бетховен просто писал музыку. — И тут меня по-настоящему стошнило, так что им пришлось принести тазик, сделанный вроде как в форме почки.

— Музыку, — задумчиво произнес доктор Бродский. — Так ты, стало быть, музыку любишь. Я-то сам в ней ничего не смыслю. Что ж, это удобный эмоциональный стимулянт, и вот тут-то уж я дока. Ну-ну. Что скажете, Браном?

— Ничего не поделаешь, — отозвался доктор Бра-ном. — Каждый убивает то, что любит, как сказал один поэт, сидевший в тюрьме. В этом есть некий элемент наказания. Комендант будет доволен.

— Пить, — простонал я. — Ради Бога!

— Отвяжите его, — приказал доктор Бродский. — И дайте ему графин со льдом. — Санитары принялись за работу, и вскоре я поглощал воду галлон за галлоном — о, как это было божествен-

но! Доктор Бродский говорит:

— Похоже, вы достаточно развитой молодой человек. Да и вкус у вас кое-какой имеется. Вам сейчас показали очередной фрагмент о насилии. Насилие и воровство, воровство как аспект насилия. — Я не отвечал ни слова, бллин, меня все еще тошнило, хотя уже и слегка поменьше. Но день был просто ужасный. — Ну, так вот, — продолжил доктор Бродский, — как вы думаете, что с вами происходит? Скажите, что, по-вашему, мы тут с вами делаем?

— Вы делаете меня больным, я становлюсь больным, когда смотрю эти ваши извращенские фильмы. Но на самом деле это не из-за фильмов. Хотя, когда вы останавливаете фильм, я перестаю чувствовать себя больным.

— Правильно, — сказал доктор Бродский. — Ассоциативный метод, древнейший в мире способ обучения. А на самом деле из-за чего все это?

— Из-за griaznyh kozlinyh vestshei, которые происходят у меня в tykve и в kishkah, — ответил я. — Вот из-за чего.

— Эк ведь загнул, — покачал головой доктор Бродский, улыбаясь одними губами. — Язык племени мумба-юмба. Вам что-нибудь известно о происхождении этого наречия, а, Браном?

— Да так, — пожал плечами доктор Браном, который уже не строил из себя моего закадычного друга. — Видимо, кое-какие остатки старинного рифмующегося арго. Некоторые слова цыганские… Н-да. Но большинство корней славянской природы. Привнесены посредством пропаганды. Подсознательное внедрение.

— Ладненько, ладненько, — потирая ладошки, проговорил доктор Бродский, вроде как в раздумье и совершенно больше мной не интересуясь. — Да, так вот, — спохватился он, — провода тут ни при чем. То что к тебе прикрепляют, служит для другого. Просто мы измеряем с их помощью твои реакции. Что остается, ну?

И тут я сразу понял — конечно же, что я за глупый shut, как я раньше-то не догадался, что были ведь еще и уколы в ruker!

— А! — вскричал я. — А, все понял! Вонючий kal, подлые трюкачи! Предатели, pidery заразные, больше у вас это не пройдет!

— Я рад, что вы заявили протест, — сказал доктор Бродский. — Теперь у нас по этому поводу полная ясность. Но мы ведь можем вводить в ваш организм вакцину Людовика и другими путями. Через пищу, например. Но подкожные инъекции лучше всего. И не надо против этого бороться, я

вас умоляю. Толку от вашего сопротивления не будет. Вы все равно нас не пересилите.

— Грязные vyrodki, — со всхлипом проговорил я. Потом более жестко: — Я не возражаю, пускай будет насилие и всякий прочий kal. С этим я уже смирился. Но насчет музыки это нечестно. Нечестно, чтобы я становился больным, когда слушаю чудесного Людвига вана, Г. Ф. Генделя или еще кого-нибудь. Так делать могут только злобные svolotshi, я никогда вас не прощу за это, kozly!

Оба постояли с видом слегка вроде как задумчивым. Наконец доктор Бродский сказал:

— Разграничение всегда непростое дело. Мир един, жизнь едина. В самом святом и приятном присутствует и некоторая доля насилия — в любовном акте, например; да и в музыке, если уж на то пошло. Нельзя упускать шанс, парень. Выбор ты сделал сам.

Я не понял этой его тирады, но сказал так:

— Вам нет необходимости углублять курс моего лечения, сэр. — Тут я исхитрился и прибавил к своему тону еще толику смирения. — Вы доказали мне, что всякий там dratsing, toltshoking, убийства и тому подобное — вещи нехорошие, очень и очень нехорошие. Я усвоил этот урок, сэр.

Я вижу сейчас то, чего никогда не видел прежде. Я излечился, слава Богу. — И с этими словами я как бы молитвенно воздел glazzja к потолку. Однако оба моих мучителя печально покачали головами, а доктор Бродский сказал:

— Пока вы еще не излечены. Многое еще предстоит сделать. Только тогда, когда ваше тело начнет реагировать мгновенно и действенно на всякое насилие как на змею, причем без какой бы то ни было нашей поддержки, без медикаментозной стимуляции, только тогда…

А я говорю:

— Но, сэр, господа, у меня ведь и соображение какое-то имеется! Насилие — это зло, потому что оно против общества, потому что каждый vek на земле имеет право на zhiznn, право на счастье, на то, чтобы его не били, и не издевались, и не сажали на nozh. Я многому научился, ну правда же, ей-богу! — Но доктор Бродский долго от души над этим смеялся, показывая белые zubbja, а потом говорит: «Ересь эпохи разума» или что-то в этом духе, столь же мудреное.

— Я понимаю, — продолжил он, — что такое добро, и одобряю его, но делаю при этом зло. Нет-нет, мой мальчик, это уж ты предоставь нам. Но ты не унывай. Скоро все кончится. Теперь уже

меньше чем через две недели ты будешь свободным человеком. — И он потрепал меня по плечу.

Меньше чем через две недели. О други мои, о братие, это же целая вечность! Это все равно что время от начала мира до его конца. По сравнению с этими двумя неделями отсидеть в Гостюрьме четырнадцать лет от звонка до звонка было бы сущей чепухой. И каждый день одной то же. Впрочем, через три или четыре дня после того разговора с Бродским и Браномом, когда вошла kisa со шприцем, я сказал:

— Вот уж на fig, — и toltshoknul ее по руке, так что шприц — дзынь-блям — упал на пол. Это я сделал специально, чтобы поглядеть, что они предпримут. А предприняли они то, что ко мне явились четверо или пятеро здоровенных ambalov в белых халатах, они свалили меня на кровать и, смеясь мне в litso, надавали затрещин, а kisa-медсестричка со словами «Вы гадкий, злой хулиган, поняли?» вонзила мне в руку другой шприц и нарочно, чтобы сделать мне больно, изо всех сил нажала на поршень, вгоняя мне под кожу раствор. И опять, обессиленного, меня ввезли на каталке в этот их адский кинозал.

Каждый день, бллин, показывали примерно одно и то же, сплошные пинки, toltshoki и кровь,

кровь красными ручьями, стекающая с lits и tel, забрызгивая объектив камеры. Все те же ухмыляющиеся или хохочущие malltshiki, одетые по последней принятой у nadtsatyh моде, хихикающие японские мастера заплечных дел либо нацистские штурмовики или зондеркоманды. И с каждым днем жесточайшая жажда, желание умереть от нее и от боли — головной, зубной, всевозможной — становилось все сильней и сильней. Пока однажды утром я не попытался победить мучителей тем, что — трах, трах, трах — стал колотиться головой о стену, чтобы упасть без сознания, но результатом была лишь дурнота оттого, что это тоже было насилием, очень похожим на насилие из фильмов; я обессилел, дал сделать себе укол, и меня снова, как и прежде, отвезли в зал.

А потом наступило утро, когда, проснувшись и поедая на завтрак яйца, поджаренную булку с джемом и горячий чай с молоком, я подумал: «Должно быть, уже немного осталось. Уж теперь-то срок, наверное, совсем близок. Я уже настрадался так, что больше страдать просто не способен». Я ждал и ждал, бллин, когда придет та kisa со шприцем, но она так и не пришла. Вместо нее явился санитар в белом и сказал:

— Сегодня, старина, тебе разрешается идти самому.

— Идти? — спросил я. — Куда?

— Да все туда же, — ответил он. — Ну да, не надо смотреть так удивленно. Пойдешь сам смотреть фильмы, в моем сопровождении, конечно. Тебя больше не будут возить в каталке.

— Но, — продолжал недоумевать я, — как же насчет утреннего укола? — Потому что я действительно удивился, бллин, ведь они так неукоснительно всегда следили за тем, чтобы пичкать меня этой вакциной Людовика, как они ее называли. — Неужто мне больше не будут всаживать в бедную мою исколотую руку эту проклятую тошнотную жидкость?

— С этим покончено, — усмехнулся санитар. — Отныне и присно и во веки веков. Аминь. Будешь теперь обходиться без уколов, парень. Сам будешь пешком ходить в камеру ужасов. Но привязывать и насильно заставлять смотреть тебя все равно будут. Пошли, пошли, тигренок.

Пришлось мне надеть халат и tufli и topat по коридору в этот их кинематограф.

На сей раз, бллин, не только тошнота одолевала меня, но и удивление. Опять понеслись все те же драки, насилие, раздробленные черепа, опять

растерзанные kisy сочились кровью, умоляя о пощаде — что называется, жестокость и грязь в частной жизни. Все те же Концлагеря, евреи и серые улицы завоеванных городов, полные танков и солдат в форме, люди, падающие под убийственным автоматным огнем, — так сказать, общественная сторона того же самого. Теперь я не мог списать свое чувство дурноты и жажды, чувство выжженности изнутри ни на что, кроме фильмов, которые меня вынуждали смотреть (веки вздернуты, руки-ноги привязаны к захватам кресла, но никаких проводов, ничего уже не прицеплено ни к голове, ни к телу). Так что же, как не фильмы, которые я смотрю, производит на меня это действие? Правда, не исключено, конечно же, и такое, бллин, что эта жидкость Людовика, действуя на манер прививки, циркулирует у меня в крови и отныне всегда, во веки веков будет заставлять меня заболевать каждый раз, когда я вижу насилие и жестокость. От такой мысли я разинул rot и зарыдал — УУУУУ-хууу-хууууу, — отчего слезы вроде как застлали вид на то, чем мне полагалось во что бы то ни стало любоваться, застлали его благостными каплями бегучего серебра. Но эти svolotshi в белом проворно подоспели с платками и принялись вытирать

мне слезы, приговаривая: «Ну, ну, разнюнился, вакса-плакса!» И снова все чисто у меня перед глазами — немцы подталкивают причитающих и плачущих евреев — vekov, zhenstshin, maltshikov и devotshek — в камеры, где им всем конец от ядовитого газа. «Уууу-хууу-хуууууу!» — снова, не удержавшись, завыл я, и снова ко мне подскочили вытереть слезы, проворно, чтобы я не упустил ни одной детали из того, что мне показывали. То был ужасный и отвратительный день, о други мои и братие.

Вечером после обеда, состоявшего из тушеной баранины, фруктового пирога и мороженого, я лежал в своей палате odinoki и про себя думал: «Будь оно все проклято, последний шанс-это только выбраться отсюда немедленно». Впрочем, оружия нет как нет. Держать при себе бритву мне не разрешалось, каждый день меня брил толстый лысый vek, который приходил ко мне перед завтраком, но при этом каждый раз присутствовали два выродка в белых халатах, чтобы я не выкидывал фокусов и был послушным и сговорчивым maltshikom. Ногти на руках мне коротко подстригали и заравнивали пилкой, чтобы я не мог царапаться. Но быстрота реакции у меня еще осталась, хотя меня и измотали, ослабили,

бллин, до состояния бледной тени того, каким я был когда-то на свободе. И вот слезаю я с кровати, подхожу к запертой двери и начинаю dubasitt ее кулаками, одновременно подняв kritsh: «Помогите, ну помогите же, мне плохо! Пожалуйста! Ну, я умру так! Помогите!» Прямо горло надсадил, пока докричался. Потом слышу: шаги по коридору и вроде как недовольное ворчание; я узнал голос санитара, который приносил мне zhratshku и провожал к моему ежедневному мучению. Он бормотал:

— Что такое? В чем дело? Что ты там такое задумал?

— О, я умираю, — простонал я. — Ужасная боль в боку. Аппендицит, не иначе. Ооооооо!

— Сам ты хуже всякого аппендицита, — проворчал санитар, и тут — о радость! — слышу звяканье ключей. — Если это очередная шутка, приятель, я приведу людей, и мы будем лупцевать тебя весь вечер. — Он отпер замок, и надо мной пронеслось сладостное дуновение предчувствия свободы. Он распахнул дверь, а я стоял за ее открывшейся створкой и при свете коридорной лампочки видел, как он остановился и озадаченно озирается. Тогда я замахнулся двумя руками сразу, чтобы свалить его сокрушительным ударом по шее,

но тут, клянусь, едва я вроде как представил себе: вот он лежит на полу, стонет или вообще vyrubilsia, и только это у меня приятно защекотало в животе, как сразу же волной подкатила к горлу тошнота и ужасный страх, словно я вот-вот умру. Еле доковыляв, я рухнул на койку — блах, блах, блах, — а санитар, который был не в белом, а в обыкновенном домашнем халате, понял, что было у меня на уме, и говорит:

— Что ж, и этот урок на пользу, не правда ли? Век живи, век учись, как говорится. А ну, дружочек, вставай, вставай с кровати и ударь меня. Ну да, ударь, конечно, я серьезно. Врежь мне хорошенько в челюсть. Позарез надо, ну, ей-богу же! — Но я только и мог, что лежать и хныкать — УУУУУ-УУУ-ХУУУУУ! — Подонок, — процедил санитар. — Дерьмо. — Он взял меня за шиворот пижамной куртки и приподнял, причем я обвис в его руке, безвольно и расслабленно; и тут он размахнулся и правой рукой влепил мне полновесный toltshok в litso. — Это, — пояснил он, — за то, что поднял меня с постели, пакость ты мелкая. — После этого он вытер руки одна о другую — шись-шись — и вышел вон. Klutsh-klufsh — щелкнул замок.

Скорей заснуть — скорей, чтобы отделаться от

недостойного и гадостного чувства, будто получить удар лучше, чем ударить самому. Если бы санитар не ушел, я бы еще, чего доброго, подставил другую щеку!

Я не поверил своим usham. Казалось, меня держат в этом поганом meste целую вечность и будут держать еще столько же. Однако вечность целиком уместилась в две недели, и наконец мне сказали, что эти две недели кончаются: «Завтра, дружок, на выход», — да еще большим пальцем этак, словно показывая, где этот самый выход располагается. А потом и санитар, который toltshoknul меня, но продолжал носить мне на подносе zhratshku и провожать на ежедневную пытку, подтвердил:

— Последний тяжелый день тебе остался. Вроде как выпускной экзамен, — и гаденько при этом uchmylialsia.

В то утро я ожидал, что меня, как обычно, в пижаме и тапочках поведут в этот их кинозал. Но нет. В то утро мне вернули мою рубашку, нижнее belljo, боевой костюм и govnodavy, причем все вычищенное, выстиранное и наглаженное. Мне отдали даже опасную бритву, которой я вовсю пользовался во дни веселых выступлений. Так что, одеваясь, я только озадаченно хмурился, но

nedonosok в белом лишь ухмылялся, ничего не объясняя, бллин.

Меня вполне вежливо проводили туда же, куда всегда, но там кое-что изменилось. Киноэкран задернули занавесом, а под отверстиями для проекторов никаких матовых стекол уже не было — их, видимо, подняли или раздвинули в стороны, как дверцы шкафа. Там, где когда-то были только звуки — kashl-kashl-kashl — и неясные тени, теперь открыто восседала публика, и в этой публике кое-какие litsa были мне знакомы. Присутствовал комендант Гостюрьмы, присутствовал капеллан — священник, или свищ, как мы его между собой называли, присутствовал начальник охраны и присутствовал тот самый важный и шикарно одетый vek, который оказался министром то ли внутренних, то ли нутряных дел. Остальных я не знал. Там же были и доктор Бродский с доктором Браномом, правда, уже не в белых халатах; теперь они были одеты так, как и положено одеваться intellam, достаточно преуспевающим, чтобы следить за модой. Доктор Браном стоял молча, а стоявший рядом с ним доктор Бродский, обращаясь к собравшимся, что-то им по-ученому втолковывал. Увидев меня в дверях, он произнес:

— А-аа! Теперь прервемся, джентльмены, чтобы познакомиться с самим объектом. Как вы сами можете убедиться, он здоров и прекрасно выглядит. Он выспался, хорошо позавтракал, наркотиков не получал, гипнотическому воздействию не подвергался. Завтра мы уверенно выпустим его в большой мир, и будет он добр, как самаритянин, всегда готовый прийти на помощь словом и делом. Не правда ли, разительное превращение — из отвратительного громилы, которого Государство приговорило к бессмысленному наказанию около двух лет назад и который за два этих года ничуть не изменился. Не изменился, я сказал? Это не совсем так. Тюрьма научила его фальшивой улыбке, лицемерным ужимкам, сальной льстивой ухмылочке. Она и другим порокам обучила его, а главное — утвердила в тех, которым он предавался прежде. Но, джентльмены, довольно слов. Дела свидетельствуют вернее. А потому — за дело. Смотрите же!

Я был слегка ошеломлен всем этим govoritingom, никак не мог взять в толк, каким боком оно касается меня. Потом везде погас свет и зажглись вроде как два прожектора, светивших из проекционных отверстий, причем один из них осветил вашего скромного многострадального повество-

вателя. А в круг, очерченный другим, вступил какой-то здоровенный dylda, которого я раньше не видел. У него была жирная усталая haria и жиденькие, будто наклеенные волосы на лысеющей голове. На вид ему было что-нибудь лет тридцать, или сорок, или пятьдесят — не важно, одним словом — starikashka. Он двинулся ко мне, и вместе с ним двинулся луч прожектора, пока оба луча не слились в один яркий световой круг. Отвратительно ухмыльнувшись, он сказал мне: «Привет, дерьма кусок. Фуу, да ты, видно, не моешься, судя по запаху!» Потом он, вроде как пританцовывая, отдавил мне ногу — левую, потом правую, потом пальцем щелкнул меня по носу, uzhasno больно, у меня даже слезы на glazzja навернулись, потом крутанул мне uho, будто это телефонный диск. Из публики донеслось хихиканье, а пару раз кто-то даже громко хохотнул. У меня ноги, нос и uho разболелись, как bezumni, и я сказал:

— Зачем ты так делаешь? Я ведь ничего плохого тебе не сделал, koresh!

— Я, — отозвался этот vek, — это делаю, — (тресь-тресь опять меня по носу), — и вот это делаю, — (снова жгучая боль в скрученном uhe), — и вот это, — (бац мне опять каблуком на правую ногу), — потому что ненавижу таких

гадов, как ты. А если хочешь со мной за это посчитаться, давай, начинай!

Я уже знал, что britvu надо выхватить очень быстро, пока не накатила убийственная тошнота, которая превратит радость боя в ощущение близости собственной uzhasnoi кончины. Однако едва лишь моя рука нащупала в кармане briivu, перед моим внутренним оком пронеслась картина того, как этот merzavets, захлебываясь кровью, вопит и просит пощады, и сразу за этой картиной нахлынули ужасная тошнота, сухость в горле и боль, так что мне стало ясно: надо skorennko менять свое отношение к этой skotine, поэтому я похлопал себя по карманам в поисках сигарет или babok, но вот ведь, бллин, — ни того, ни другого. И я плаксивым таким голосом говорю:

— Я бы угостил тебя сигаретой, koresh, да только нету их у меня.

А тот в ответ:

— Ах-ах-ах! Уй-юй-юй! Поплачь, поплачь, сосуночек! — И снова он — тресь-тресь-тресь мне своим поганым черепаховым ногтем по носу, отчего зрители в темном зале, судя по доносящимся звукам, пришли в буйный восторг. А я, уже в полном отчаянии пытаясь умаслить этого отвратительного и настырного veka, со всех сил

старался не дать повода к тому, чтобы нахлынули тошнота и боль.

— Пожалуйста, позволь мне что-нибудь для тебя сделать, — взмолился я, роясь в карманах и не находя там ничего, кроме своей верной britvy, поэтому я вынул ее и, подав ему, проговорил: — Прошу тебя, возьми, пожалуйста, вот это. Маленький презент. Пожалуйста, возьми себе. — На что он ответил:

— Нечего совать мне свои паршивые взятки. Этим ты меня не проведешь. — И он ударил меня по руке, отчего britva полетела на пол. А я говорю:

— Прошу тебя, я обязательно должен что-нибудь для тебя сделать. Можно, я почищу тебе ботинки? — И тут, бллин, — отрежьте мне beitsy, если вру, — я опустился на колени, высунул мили на полторы красный язык и принялся лизать его griaznyje вонючие башмаки. А он на это хрясь мне сапогом в rot, правда не слишком больно. В этот миг мне подумалось, что, может быть, тошнота и боль не настигнут меня, если всего лишь обхватить его как следует руками за лодыжки и дернуть, чтобы этот подлый vyrodok свалился на пол. Так я и поступил, и он, к несказанному своему изумлению, с грохотом рухнул под хохот

всех этих svolotshei, сидевших в зале. Однако, едва лишь я увидел его на полу, сразу ужас и боль охватили меня с новой силой, и в результате я протянул ему руку, чтобы он поскорее встал. После чего он изготовился врезать мне зубодробительный toltshok в litso, но доктор Бродский остановил его:

— Хорошо, спасибо, хватит. — А этот гад вроде как поклонился и танцующей походкой комедианта ушел со сцены, на которой зажегся свет, выставивший меня на всеобщее обозрение в самом пакостном виде: полные слез глаза, перекошенный плаксивый morder и т. д. К публике обратился доктор Бродский:

— Наш объект, как видите, парадоксально понуждается к добру своим собственным стремлением совершить зло. Злое намерение сопровождается сильнейшим ощущением физического страдания. Чтобы совладать с этим последним, объекту приходится переходить к противоположному модусу поведения. Вопросы будут?

— Как насчет выбора? — пророкотал глубокий грудной бас. То был знакомый мне голос тюремного свища. — Ведь он лишен выбора, не так ли? Только что нами виденный чудовищный акт самоуничижения его заставила совершить

боязнь боли и прочие своекорыстные соображения. Явно видна была его неискренность. Он перестает быть опасным для окружающих. Но он также перестает быть существом, наделенным способностью нравственного выбора.

— Это все тонкости, — чуть улыбнулся Бродский. — Мотивациями мы не занимаемся, в высокую этику не вдаемся. Нам главное — сократить преступность и…

— И, — подхватил щеголеватый министр, — разгрузить наши отвратительно переполненные тюрьмы.

— Болтай, болтай… — обронил кто-то вполголоса. Тут разгорелся спор, все заговорили разом, а я стоял, совершенно забытый всеми этими подлыми недоумками, так что пришлось подать голос:

— Э-э-э! А что же со мной? Мне-то теперь как же? Я что теперь, животное какое-нибудь получаюсь, собака? — И от этого все зашумели, в мой адрес полетели всякие раздраженные slova. Я опять в kritsh, еще громче: — Я что, по-вашему, заводной апельсин? — Не знаю, что побудило меня произнести эти слова, бллин, они вроде как сами собой возникли у меня в голове. На минуту-другую воцарилось молчание. Потом встал один тощий профессорского вида kashka с шеей, похожей на

сплетение проводов, передающих энергию от головы к телу, и сказал:

— Тебе не на что жаловаться, мальчик. Ты свой выбор сделал, и все происшедшее лишь следствие этого выбора. Что бы теперь с тобой ни случилось, случится лишь то, что ты сам себе избрал.

И тут же голос тюремного свища:

— О, как трудно в это верится! — Причем комендант тут же бросил на него взгляд, в котором читалось: все, дескать, все твои надежды высоко взлететь на поприще тюремной религии придется тебе похоронить. Шумный спор разгорелся снова, и тюремный свищ кричал наравне со всеми что-то насчет Совершенной Любви, которая Изгоняет Страх и всякий прочий kal. Тут с улыбкой от uha до uha заговорил доктор Бродский:

— Я рад, джентльмены, что вы затронули тему любви. Сейчас мы увидим на практике то поведение в любви, которое считалось невозвратно исчезнувшим еще со времен средневековья. — Тут свет погасили, и опять зажглись прожекторы, один из которых направили на меня, бедного и исстрадавшегося вашего друга и повествователя, а в другой бочком вступила молодая kisa, причем такая, красивее которой — я клянусь — вам в жизни, бллин, не приходилось видеть. То есть,

во-первых, obaldennyje grudi, выставленные прямо напоказ, потому что платье у нее было с таким низким-низким вырезом. Во-вторых, божественные ноги, а походка такая, что прямо в кишках sverbit, и вдобавок litso красивое и детски невинное. Она подошла ко мне в луче прожектора, свет которого показался мне сиянием Благодати Господней, которую, как и весь прочий kal, она вроде как несла с собой, и первой промелькнувшей у меня в голове мыслью было, что не худо было бы ее тут же на полу и оформить по доброй старой схеме sunn-vynn, но сразу же откуда ни возьмись, нахлынула тошнота, будто какой-то подлый мент из-за угла все подглядывал, подглядывал да вдруг как выскочит и сразу тебе руки за спину. Даже vonn ее чудных духов теперь заставляла меня лишь корчиться, подавляя рвотные позывы в желудке, так что пришлось мне постараться подумать о ней как-нибудь по-другому, пока меня окончательно не раздавила вся эта боль, сухость во рту и ужасающая тошнота. В отчаянии я закричал:

— О красивейшая из красивых devotshek, я бросаю к твоим ногам свое сердце, чтобы ты его всласть потоптала. Если бы у меня была роза, я подарил бы ее тебе. Если бы шел дождь и на

земле была сплошная грязь и, kal, я подстелил бы тебе свою одежду, чтобы ты не запачкала изящные ножки. — И вот я говорю все это, а сам чувствую, как дурнота вроде как съеживается, отступает. — Позволь мне, — заходясь в kritshe, продолжал я, — позволь мне поклоняться тебе и быть твоим телохранителем, защищать тебя от этого svolotshnogo мира. — Тут я немного задумался, подыскивая слово, нашел его и, проговорив: — Позволь мне быть твоим верным рыцарем, — вновь пал на колени и стал бить поклоны, чуть не стукаясь лбом об пол.

И вдруг я почувствовал себя shutom каким-то, посмешищем: оказывается, это опять была вроде как игра, потому что вновь загорелся свет, а devotshka улыбнулась и ускакала, поклонившись публике, которая разразилась рукоплесканиями. При этом glazzja у всех этих griaznyh kashek прямо чуть не на лоб вылезли, до того похотливыми взглядами они ее, бллин, провожали.

— Вот вам истинный христианин! — воскликнул доктор Бродский. — Он с готовностью подставит другую щеку; он взойдет на Голгофу, лишь бы не распинать других; при одной мысли о том, чтобы убить муху, ему станет тошно до глубины души. — И он говорил правду, бллин,

потому что, когда он сказал это, я подумал о том, как убивают муху, и сразу почувствовал чуть заметный наплыв тошноты, но тут же справился, оттолкнул и тошноту, и боль тем, что стал думать, как муху кормят кусочками сахара и заботятся о ней, будто это любимый щенок, padla этакая. — Перевоспитан! — восторженно выкрикнул Бродский. — Господи, возрадуются уповающие на тебя!

— Главное, — зычно провозгласил министр внутренних дел, — метод работает!

— Да-а, — протянул тюремный свищ вроде как со вздохом, — ничего не скажешь, работает. Господи, спаси нас всех и помилуй.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

— Ну, что же теперь, а?

Это уже, бллин, я сам себя спрашивал на следующее утро, стоя за воротами белого здания, пристроенного к старой Гостюрьме; светало; одет я был, как тогда, вечером два года назад, в руках держал toshi пакет с немногочисленными пожитками и весьма скромной суммой денег, которыми на первое время милостиво снабдило меня тюремное начальство, будь оно неладно.

Остаток предыдущего дня утомил меня несказанно: пришлось давать бесконечные интервью перед телекамерами и вспышками фоторепортеров — блесь, блесь, блесь — вновь и вновь я должен был показывать, как меня корчит от одного упоминания о mahalovke, нести постыдную tshush и kal. Потом я рухнул в постель и чуть ли не в тот же миг, как мне показалось, меня разбудили и сказали, чтобы я выметался, чтобы шел домой, — они, дескать, не хотят больше видеть вашего скромного повествователя, бллин. Ну и вот, стою тут ни свет ни заря, перебираю в левом

кармане deng, позвякиваю ими и недоуменно соображаю: — Ну, что же теперь, а?

Первым делом я решил пойти куда-нибудь позавтракать — все же с утра маковой росинки во rtu не держал, так меня старались поскорей выпихнуть на свободу. Всего чашку tshaja и выпил. Гостюрьма располагалась в довольно-таки непотребной части города, однако маленьких рабочих stolovok кругом было полно, и вскоре я набрел на одну из них, бллин. Там было мерзко, стояла vonn, с потолка свисала единственная лампочка, засиженная мухами до того, что едва светилась; рабочие по дороге на утреннюю смену rubali здесь жуткого вида сосиски, с чавканьем запивая их tshajem и заглатывая один за другим куски хлеба — хрумп-хрумп-хрумп, — а когда хлеб на столе кончался, требовали еще. Девица, которая их обслуживала, была страшненькая, но с большими grudiami, и некоторые из посетителей то и дело пытались ее с хохотом облапить, она в ответ хихикала, и от одного вида всего этого меня тянуло blevanutt. Однако я очень вежливо, джентльменским голосом заказал поджаренного хлеба с джемом и tshajem, уселся в темном углу и стал есть и пить.

Пока я питался, в заведение вошел продавец

газет, маленький карлик, весь raskhristannyi, грязный, преступного вида парень в толстых очках со стальными дужками, одетый в какое-то тряпье цвета заплесневелого смородинового пудинга. Я купил газету, решив для возвращения в колею нормальной zhizni сперва узнать, что происходит в мире. Оказавшаяся у меня в руках газета, по всей вероятности, была правительственной, потому что единственное, чему посвящалась вся первая страница, это чтобы каждый непременно приложил все силы для переизбрания правительства на новый срок во время всеобщих выборов, до которых вроде бы оставалось недели две или три. Хвастливо расписывалось, как много правительство сделало за последний год, насколько возрос экспорт, какие великие у него успехи на международной арене, как улучшилась социальная защищенность и всякий прочий kal. Но больше всего правительство кичилось тем, как ему за последние полгода удалось якобы сделать улицы безопаснее для всех законопослушных жителей, кому приходится ходить по ним вечерами, а достигнуто это было увеличением жалованья полицейским и более строгим отношением полиции к хулиганствующим юнцам, извращенцам и грабителям, и так

далее, и тому подобный kal. Это уже некоторым образом заинтересовало вашего скромного повествователя. А на второй странице оказалась мутная фотография, с которой смотрел на меня некто очень и очень знакомый; на поверку оказалось, что это я сам и есть. Смотрел я с нее мрачно и вроде как испуганно, но это единственно из-за вспышек, которыми мне — блесь-блесь-блесь — то и дело слепили глаза. Подпись гласила, что это первый выпускник нового Государственного Института Исправления Преступных Элементов, излеченный от криминальных инстинктов всего за две недели и ставший теперь законобоязненным добрым гражданином, и дальше все такой же kal. Чуть дальше здесь же обнаружилась очень хвастливая статья о методе Людовика, о том, какое мудрое у нас правительство и опять всякий kal. Снова фотография; похоже, и этого человека я знаю: конечно, министр внутренних дел. Он беспардоннейшим образом хвастался, что предвидит наступление эры полной победы над преступностью, когда не надо будет опасаться подлых нападений несовершеннолетних хулиганов, извращенцев, грабителей, и снова kal в том же духе. Зарычав от ярости, я швырнул газету на пол, и она накрыла лужицы расплесканного

tshaja, крошки и отвратительные плевки поганых животных, которые посещали эту stolovku.

— Ну, что же теперь, а? А что теперь? Видимо, домой, бллин, пора преподнести сюрприз папане с мамой: сын, дескать, вернулся, снова он в лоне семьи. Потом я лягу на кровать в своем zakutke и, слушая прекрасную музыку, подумаю о том, что теперь делать со своей zhiznnju. За день до того представитель комиссии по социальной интеграции выдал мне длинный перечень mest, куда я мог обратиться в поисках работы, он даже звонил обо мне разным людям, однако у меня, бллин, не было ни малейшего желания прямо сразу начинать vkalyvatt. Сперва следует tshutok отдохнуть, да-да, и спокойно подумать, лежа в кровати под звуки прекрасной музыки.

Так что вперед, автобусом до центра, потом другим автобусом до Кингсли-авеню, а оттуда до нашего квартала рукой подать. Думаю, вы поверите, что сердце у меня от волнения так и стучало — тук-тук, тук-тук, тук-тук! На улицах было пустынно (раннее зимнее утро), и когда я вошел в вестибюль нашего дома, там не было никого, кроме nagih tshelovekov и zhenstshin по стенам, занятых трудовыми подвигами. Что удивило меня, так это чистота — все убрано,

подкрашено, не было даже обведенных овалами всяких слов, накарябанных рядом с rotami славных тружеников; не было подрисованных к их фигурам непристойных частей тела — куда только подевались все похабствующие malltshiki с фломастерами. Еще меня удивило, что лифт работал. Едва я нажал кнопку, он загудел и съехал вниз, причем, зайдя в него, я снова удивился, до чего там внутри было чисто.

Я поднялся на десятый этаж, поглядел на ничуть не изменившуюся дверь под номером 10-8, и у меня даже руки задрожали, когда я вынул из кармана маленький ключик, чтобы отпереть ее. Однако я решительно сунул ключ в скважину, повернул, отворил дверь и вошел, встреченный взглядами трех пар удивленных, почти испуганных glazzjev, две из которых принадлежали па и ма, но был с ними и еще один vek, которого я прежде никогда не видел, — большой, толстый muzhik в рубашке и штанах с подтяжками; расположившись как дома, он прихлебывал tshai с молоком и хрусть-хрусть хрустел поджаренным хлебом с яичницей. Этот незнакомец заговорил первым:

— Ты кто такой, приятель? Откуда у тебя ключ взялся? Вон отсюда, пока я тебе morder не искро-

вянил. Выйди и постучись. И говори, что нужно, да побыстрее!

Мама и папа остолбенело застыли — значит, газету еще не прочли, и тут я вспомнил, что газету ведь доставляют уже после того, как папа уйдет на работу. Но тут голос подала мать:

— Ой! Убежал, удрал! Что же нам делать? Скорее надо звонить в полицию, ой-ей-ей! Ах ты паршивец, гадкий мальчишка, снова ты нас позоришь! — И, провалиться мне на этом самом месте, она как взвоет: — УУУУУ-УУ-УУУУУУ — Но я принялся объяснять, дескать, хотите, можете позвонить в Гостюрьму, проверить, а этот незнакомец сидел и хмурился, глядя на меня так, будто вот-вот двинет меня по morder волосатым своим мясистым кулачищем. А я говорю:

— Может быть, сперва ты ответишь, a koresh? С каких пор ты здесь появился и за каким figom? Мне не нравится тон, которым ты говорил со мной. Смотри у меня! Ну, что скажешь?

Незнакомцу было лет тридцать или сорок — отвратная рабоче-крестьянская rozha, причем сидит, rot разинул и смотрит на меня, не говоря ни слова. Тут заговорил отец:

— Ты нас немножко врасплох застал, сын. Надо было известить заранее. Мы думали, тебе еще

пять или шесть лет сидеть. Но ты не думай, — закончил он уже совсем печально, — что мы не рады видеть тебя на свободе.

— А это еще кто такой? — спросил я. — Почему он не отвечает? В чем дело-то, vastshe?

— Это Джо, — сказала мать. — Квартирант. Мы ему комнату сдаем, понимаешь? — И вновь запричитала: — О Боже, Боже мой!

— Слушай сюда, — сказал этот Джо. — Я про тебя все знаю, парень. Знаю, что ты творил, и знаю, сколько принес горя, как поломал жизнь своим бедным родителям. Вернулся, значит? Будешь опять им кровь портить? Так знай, что это — только через мой труп, потому что они для меня как родные, а я им скорее сын, чем просто жилец.

Раньше я бы на это расхохотался, однако теперь поднявшийся во мне razdrazh вызвал волну тошноты, тем более что этот vek на вид был примерно того же возраста, что и мать с отцом, — и он еще смеет, глядите-ка, этак по-сыновнему приобнимать ее за плечи, мол, защищает, бллин!

— А, вот, значит, как! — проговорил я, чувствуя, что сам вот-вот расплачусь. — Ладно, даю тебе пять минут, и чтобы ты сам, твое shmotjo и весь прочий kal из моей комнаты выметались! — С тем я прямиком шагнул к двери своей комнаты,

пока этот uvalenn не успел остановить меня. Открыл дверь, и у меня сердце прямо чуть на пол не вывалилось, потому что это была уже совсем не моя комната. Вместо развешанных по стенам флагов он всюду поналеплял фотографии боксеров — и поодиночке, и даже целыми командами, где — они стоят и сидят с нагло скрещенными на груди руками, а перед ними серебряный щит с гербом. Потом вижу — еще кое-чего не хватает. Ни проигрывателя, ни стеллажа для дисков, а еще исчезла коробка, где я хранил свои сокровища — бутылки с выпивкой и durrju и два сверкающих чистотой шприца. — Ах ты, гад voniutshi, ну ты и поработал! — вскричал я. — Куда ты дел мои личные вещи, svolotsh поганая? — Это я обращался к Джо, но ответил мне отец:

— Все твои вещи, сын, забрала полиция. Теперь такой закон насчет компенсации жертвам.

Очень трудно было бороться с подступающей дурнотой, голова болела кошмарно, во рту пересохло, я схватил со стола бутылку с молоком и присосался, на что Джо неодобрительно заметил:

— Свинские у тебя манеры, знаешь ли.

А я говорю:

— Но она же умерла. Какая, еще ей компен-

сация?

— Остались ее кошки, сын, — грустно проговорил отец. — Чтобы за ними было кому присматривать, пока не оглашено завещание, пришлось нанимать специального человека. В общем, полиция распродала твои вещи — одежду и все прочее, чтобы оплатить уход за кошками. Таков закон, сын. Ты, правда, никогда особым уважением к законам не отличался.

Я так и сел, а тут еще этот Джо вякает:

— Разрешение надо спрашивать, прежде чем сесть, свинья невоспитанная!

Ну, я ему сразу в ответ:

— Заткни свое жирное hlebalo, боров! — А сам уже еле жив. Решив хоть немного улучшить свое состояние, я после этого стал говорить рассудительно и даже с улыбкой: — Слушай, это все-таки моя комната, разве нет? Это мой дом. Может, вы что-нибудь скажете, па, ма? — Однако они только хмуро на меня поглядывали, у мамы дрожали плечи, ее мокрое от слез litso морщилось, а отец сказал:

— Это надо как следует обдумать, сын. Мы не можем просто так взять и выкинуть Джо на улицу, верно ведь? Я в смысле, что у Джо здесь работа, контракт на два года, и мы с ним договор

заключили, верно, Джо? В смысле, мы думали, тебе еще долго сидеть в тюрьме, а комната пропадает. — Он явно стыдился собственных слов, это бросалось в глаза. Поэтому я улыбнулся, чуть-чуть вроде как кивнул и говорю:

— Все понял. Привыкли жить в мире, да еще и с прикормкой. Такие, значит, дела. А родной сын вам вроде как ненужная помеха. — И тут, хоть ешьте меня, хоть режьте мне beitsy, но поверьте, бллин: от жалости к себе я прямо вроде как расплакался. А отец говорит:

— В общем, видишь ли, сын, Джо заплатил нам за месяц вперед. Я в смысле, что как бы мы ни решили насчет будущего, мы не можем сказать Джо, чтобы он прямо сейчас съехал, правда, Джо? — А этот Джо в ответ:

— К тому же мне ведь надо и о вас заботиться, ведь вы мне как родные. Хорошо ли будет, справедливо ли, если я уйду, бросив вас на милость этого юноши, этого чудовища, которое никогда не было вам настоящим сыном? Вот он сейчас хнычет, но это только уловки его лицемерия. Пусть идет и ищет себе комнату где-нибудь в другом месте. Пусть поймет, насколько пути его неправедны, пусть поймет, что скверный юноша, каким он был всегда, не заслуживает таких чу-

десных родителей, как вы.

— Ладно, — вставая, сказал я, по-прежнему весь в слезах. — Теперь хоть знаю, на каком я свете. Никто не любит меня, никому я не нужен. Я страдал, страдал, страдал, и все хотят, чтобы я продолжал страдать. Я понял.

— Ты заставлял страдать других, — сказал этот Джо. — Это всего лишь справедливо, чтобы ты как следует пострадал сам. Вот здесь, за этим круглым семейным столом, я целыми вечерами слушал рассказы о твоих подвигах, и это было ужасно. Прямо жить после этого не хотелось, ей-богу.

— И зачем только, — проговорил я, — меня выпустили! Сидел бы себе в тюрьме и сидел. Все, ухожу. Вы больше никогда меня не увидите. Как-нибудь сам проживу, спасибо вам за все. Пусть это ляжет грузом на вашу совесть.

— Не надо так воспринимать это, сын, — сказал отец, а мать, некрасиво перекосив rot, снова взвыла — УУУУ-УУ-УУУ — и Джо опять обнял ее за плечи, похлопывая и приговаривая «ну-ну, ну-ну», как bezumni. Я встал и, весь разбитый, еле дотащился до двери — пусть сами, бллин, со своей zhutkoi виной разбираются.

2

Я шел по улице, не зная, куда и зачем иду, все в том же боевом костюме, на который все оборачивались, ежился от холода (был zhutko холодный зимний день), и все, чего я хотел, это уйти от всего этого как можно дальше и по возможности не думать вообще ни о чем. Сел в автобус, доехал до центра, потом пешком к Тэйлор-плейс, а там смотрю — магазин пластинок «Melodija», который я так любил посещать когда-то в прошлом, бллин, причем он совершенно не изменился, и, войдя, я даже ожидал увидеть там старого знакомого Энди — ну, того лысого и diko тощего veka, у которого я всегда покупал диски. Но Энди там теперь не было, бллин, одни визги и вопли nadtsatyh (тинэйджеров, стало быть), которые, пританцовывая, слушали свой излюбленный эстрадный kal, да и сам стоявший за прилавком продавец был вряд ли старше них; он все время щелкал костяшками пальцев и хихикал, как bezumni. Я подошел, выждал, когда он удостоит меня взглядом, и говорю:

— Я бы хотел послушать пластинку с моцартовской Сороковой. — Почему именно это взбрело мне в голову, даже и не знаю, как-то само собой

получилось. Продавец говорит:

— Сороковой — чего?

Я говорю:

— Симфонией. Симфонией номер сорок в соль миноре.

— Хоппа! — выкрикнул один из пританцовывавших nadtsatyh, мальчишка, заросший волосами до самых глаз. — Симфонией! Во дает! А семафории тебе не надо?

Во мне уже начинал вскипать razdrazh, но я старался справляться с ним, поэтому изо всех сил улыбался — и стоявшему за прилавком veku, и приплясывающим шумливым nadtsatym. Продавец сказал:

— Зайди вон в ту кабину, дружище, щас чего-нибудь подберу.

Я вошел в крошечный zakut, где покупателям давали прослушивать пластинки, которые они вознамерились купить, и продавец поставил на проигрыватель диск, но то была не Сороковая Моцарта, а моцартовская «Прага» — он, видимо, взял первую попавшуюся ему на полке пластинку Моцарта, отчего я начал всерьез сердиться, но старался совладать с этим чувством из страха перед тошнотой и болью, однако я совсем забыл то, чего забывать как раз не следовало, и теперь

мне от этого было хоть в петлю. Дело в том, что эти svolotchi доктора устроили так, что любая музыка, которая навевает всякие там чувства, подымала теперь во мне такую же тошноту, что и всякий вид или поползновение к насилию. А все потому, что в фильмах насилие сопровождалось музыкой. Особенно запомнился мне тот uzhasni нацистский фильм с заключительной частью бетховенской Пятой. И вот теперь прекрасный Моцарт превращен в сущий ад. Я выскочил из магазина, за спиной, беснуясь, хохотали nadtsatyje, а продавец кричал: «Эй! Эй! Эй!» Но я не обращал внимания, шел, как пьяный, по улице и свернул за угол к молочному бару «Korova». Я знал, что мне нужно.

Zavedenije было по-утреннему почти пусто. Внутри вид непривычный — какие-то красные коровы по всем стенам, а за прилавком vek тоже какой-то незнакомый. Но когда я сказал; «Молоко-плюс, двойное», — этот длиннолицый, гладко выбритый субъект сразу понял, что требуется. Двойное молоко-плюс я отнес в одну из маленьких кабинок, по всем стенам окаймлявших zavedenije и отгороженных от основного зала вроде как занавесками, там я сел на бархатный стул и принялся прихлебывать. Когда выпил стакан до дна,

почувствовал: действует. На не очень-то аккуратно подметенном полу лежал обрывок серебряной бумажки от пачки с tsygarkami, и у меня glazzja к нему как приклеились. Этот клочок серебра начал расти, расти, расти и стал таким ярким, таким огненным, что пришлось даже сощурить glazzja. Он перерос собой не только кабинку, где я прохлаждался, но и весь бар «Korova», всю улицу, весь город. Потом он перерос целый мир, бллин, заменил собой всю вселенную, стал морем, в котором плавало все, причем не только когда-либо сотворенное, но и существующее в воображении. До моих ушей начали доноситься всякие звуки и слова, которые я сам же и произносил, вроде: «Дорогие лебляблюбледи, дохлопендрики вас промдырляются», и всякий прочий kal. Потом все это серебро пошло как бы волнами, появились цвета, каких никто никогда не видывал, и вроде как в отдалении показалась скульптурная группа, которая придвигалась все ближе и ближе, вся в освещении вроде как ярчайших прожекторов снизу и сверху, бллин. Скульптурная группа изображала Boga или Goga и всех его ангелов и святых, они блестели, как бы отлитые из бронзы, с бородами, большущими крыльями, которые трепыхались вроде как на ветру, так что вряд ли

они были из камня или бронзы, а glazzja у них были живыми и двигались. Огромные фигуры близились, близились, вот-вот сейчас сомнут меня, раздавят, и я услышал свой собственный голос: «Иииииииии!» И уже чувствую: нет у меня больше ничего — ни одежды, ни тела, ни головы, ни имени — ничего; ух, хорошо, прямо божественно! Тут шум поднялся, будто все рушится и валится, а Бог, ангелы и святые принялись вроде как качать мне головами, словно говоря, что сейчас не время, но я должен попытаться снова, а потом все заухмылялись, захихикали и пропали, жаркий всеозаряющий свет стал холодным, и вот я уже снова сижу, как сидел за столом перед пустым стаканом и чуть не плачу оттого, что единственный выход, похоже, это смерть.

Да, понял я, вот оно, вот что мне надо сделать, но как это сделать, я не знал, потому что прежде об этом никогда не думал, бллин. В мешочке с личным имуществом у меня была моя опасная britva, но при первой мысли о том, как я проведу ею по своему телу, вжжжжжик, и хлынет красная-красная кровь, меня охватила ужасная тошнота. Нужно придумать что-нибудь ненасильственное, отчего я просто вроде как мирно усну, и не станет вашего скромного повество-

вателя, не будет он больше никому мешать. Я решил, что, может быть, стоит сходить в публичную biblio за углом да поискать книжку там про какой-нибудь безболезненный способ расстаться с zhiznnju. Я представил себя мертвым, представил, как все меня будут жалеть — па, ма и этот voniutshka Джо, который занял мое mesto, а кроме того, доктор Бродский и доктор Браном, и тот нутряных дел министр и всякие прочие. И хвастливое подлое правительство тоже. С тем я и выкатился на улицу, на зимнюю стужу, а времени было уже за полдень, к двум часам уже — это я понял, увидев большие часы на башне, так что в otklutshke я, оказывается, был дольше, чем мне казалось, — крепенькое мне дали молоко-плюс! Я прошел по бульвару Марганита, свернул на Бутбай-авеню, опять за угол и вот, наконец — biblio. То была поганенькая развалюха, куда я вряд ли заходил хоть раз с тех пор, как мне минуло лет шесть от роду; она делилась на два зала: один — чтобы брать книги на дом, другой — чтобы читать их прямо здесь, весь заваленный газетами и журналами и пропахший старичьем — особой такой vonnju старости и нищеты. Kashki толклись у стеллажей по всей комнате, сопели, рыгали, разговаривали сами с собой, печально

перелистывали газетные страницы либо сидели за столами, притворяясь, будто читают журналы, причем некоторые спали, а кое-кто даже громко храпел. Сперва я вроде как забыл, зачем пришел, а потом меня как стукнуло, что ведь пришел-то я поискать какой-нибудь безболезненный способ сыграть в ящик, и я направился к картотеке. Книг оказалось множество, бллин, но, по названиям судя, вряд ли хоть одна из них годилась в дело. Одну медицинскую книжку я все же выписал, но когда я раскрыл ее, оказалось, что там полно рисунков и фотографий всяких uzhasnyh ран и болезней, и меня опять слегка затошнило. Так что я отложил ее и взял огромный том Библии, решив, что хоть она, может быть, даст мне кое-какое утешение, как бывало в добрые старые времена в Гостюрьме (не такие уж добрые, да и не старые, но теперь мне казалось, что тюремная жизнь была когда-то очень давно), взял и поплелся за стол читать. Однако все, что я там обнаружил, это распри и ругань евреев с евреями да избиения всех до седьмого колена, и мне снова стало тошнехонько. Тут уж я чуть не расплакался, а сидевший напротив меня kashka заметил и говорит:

— Что случилось, сынок? В чем дело?

— Жить не хочу — ответил я. — Надоело, все

надоело. Жизнь эта у меня уже во где сидит!

Мой сосед по столу сказал: «Тшшшшшшшшшш!», не отрываясь от журнала, где он, как bezumni, разглядывал какие-то большие геометрические построения. Что-то в нем показалось мне знакомым. А тот, другой kashka, и говорит:

— Ну-ну, такой молодой! Зачем же, ведь у тебя еще все впереди!

— Ага, — сказал я горестно. — Впереди, как две фальшивых sisski. — Сосед по столу снова сказал: «Тшшшшшшшшш!», на сей раз обернувшись, и нас обоих словно током ударило. Я понял, кто это. А он, и говорит, да так громко:

— Никогда не забываю очертаний, ей-богу! Любые очертания запоминаю накрепко. Даже столь мерзкие, как у твоей свинской рожи, гад, ну наконец-то ты мне попался!

Кристаллография, вот оно что. Та самая книга, которую он тогда нес из biblio. Искусственная челюсть — хрусть-хрусть. Пиджак — хрясь — и в клочья. Книжки его все vrazdryzg, и все по кристаллографии. Ну, думаю, пора отсюда в темпе сматываться, бллин. Однако этот kashka был уже на ногах и поднял bezumni kritsh на весь зал, так что все полудохлые kashki со своими газетами и журналами аж встрепенулись.

— Держите его, — кричит, — это тот самый малолетний подонок, который порвал мне книги по кристаллографии, редкие книги, таких теперь днем с огнем не сыщешь! — Экий ведь shum поднял, прямо bezumni. — Подлый трус, типичный малолетний преступник! — кричит. — Он здесь, он среди нас, теперь никуда не денется! С бандой таких же своих приятелей он избивал меня, пинал и топтал ногами. Раздел меня и разломал мою вставную челюсть! Они хохотали, когда я стонал и истекал кровью! Погнали меня домой голого и растерзанного!

Как вы знаете, все было не совсем так. Кое-какую одежду мы ему оставили, он был не совсем nag.

Я кричу в ответ:

— Это же два года назад было! Меня за это наказали уже! Я теперь научился! Сюда поглядите, вот мой портрет в газете!

— Наказали, говоришь? — сказал один, вроде как из отставных военных. — Да таких, как ты, уничтожать надо. Морить, как крыс! Наказали, как же!

— Ну, хорошо, хорошо, — все еще пытался урезонить их я. — У всех есть право на собственное мнение. Но я прошу вас меня простить, всех про-

шу, а мне идти надо. — И я попытался покинуть это pribezhistshe bezumnyh kashek. Аспирин, вот что мне было нужно. Сто таблеток аспирина съешь, и kranty. Продается в любой аптеке. Но любитель кристаллографии закричал:

— Не упускайте его! Мы ему сейчас покажем «наказали», мерзкая малолетняя скотина! Бейте его! — И хотите верьте, хотите нет, бллин, двое или трое старых истуканов, каждый этак лет под девяносто, схватили меня трясущимися rukerami, причем меня чуть не выворачивало от болезненной старческой voni, которая исходила от этих полутрупов. Любитель кристаллографии повалил меня и пытался давать мне маленькие слабые toltshoki в litso, а я силился высвободиться и смыться, но старческие rukery держали меня крепче, чем можно было себе представить. Потом и другие kashki, отделяясь мало-помалу от стендов с газетами, заковыляли ко мне, чтобы вашему скромному повествователю не показалось мало. И все кричали что-то вроде: «Убей его, топчи его, по зубам его, по роже!» и прочий kal, но меня-то не проведешь, я понимал, в чем дело. Для них это был шанс отыграться за свою старость, отомстить молодости. А другие повторяли: «Бедный старина Джек, он ведь чуть не убил старого Джека, свинья

такая!» и тому подобное, словно это было чуть не вчера. Хотя для них-то это вроде как вчера и было. Я оказался посреди волнующегося моря из старых voniutshih тел, kashki тянулись ко мне слабыми ручонками, норовили зацепить когтем, кричали и пыхтели, а этот мой кристальный drug бился впереди всех, выдавая мне toltshok за toltshokom. А я не осмеливался ничего предпринять, ни единым движением им ответить, бллин, потому что мне лучше было, чтобы меня били и терзали, чем снова испытать ужасную тошноту и боль, хотя, конечно же, сам факт происходящего насилия заставлял тошноту выползать откуда-то из-за угла, как бы в раздумье, то ли наброситься на меня в открытую, то ли скрыться обратно.

Тут появился библиотекарь, довольно молодой еще vek, и закричал:

— Что тут происходит? Прекратите немедленно! Это читальный зал! — Но никто на него не обращал внимания. Тогда библиотекарь сказал: — Ладно, звоню в полицию. — И тогда я заорал что есть мочи, никогда в жизни я так не орал:

— Да! Да! Да! Сделайте это, защитите меня от этих чокнутых стариков!

Я решил, что библиотекарь, который явно не рвался принять участие в избиении, вызволит

меня из когтей этих старых безумцев; он повернулся и ушел в свою конторку или где там у него стоял телефон. Старики к этому моменту уже изрядно выдохлись, и я мог бы левым мизинцем их всех раскидать, но я позволял держать себя, лежал спокойно, с закрытыми глазами, терпел их слабые toltshoki в litso и слушал одышливые старческие голоса: «Мерзавец, малолетний убийца, хулиган, вор, убить его мало!» Потом мне достался такой болезненный toltshok в нос, что, сказав себе «ну вас к черту», я открыл глаза и стал биться по-настоящему, так что вскоре без особого труда вырвался и кинулся в коридор. Но старичье, чуть не помирая от одышки, кинулось толпой следом, грозя вновь поймать вашего скромного повествователя в свои трясущиеся звериные когти. Меня снова свалили на пол и начали пинать, а потом донеслись голоса помоложе: «Хватит вам, ладно, прекратите», — и я понял, что прибыла полиция.

3

Состояние у меня было, бллин, полуобморочное, виделось все нечетко, но мне сразу показалось, что этих ментов я где-то уже видел. Того, что вывел меня, приговаривая «ну-ну, ну-ну», за дверь публичной biblio, я не знал вовсе, мне только

показалось, что для мента он что-то больно уж молод. Зато двое других со спины показались мне смутно знакомыми. Они с явным удовольствием вклинились в толпу kashek и принялись охаживать тех плетками, покрикивая: «А ну, драчуны! А ну, вот, будете знать, как нарушать спокойствие в публичном месте, паршивцы этакие!» Одышливо кашляющих и еле живых kashek они загнали обратно в читальный зал и, все еще хохоча и радуясь представившемуся им развлечению, повернулись ко мне. Старший из двоих сказал:

— Так-так-так-так! Неужто коротышка Алекс? Давненько не виделись, koresh. Как жизнь?

Я был чуть не в обмороке, форма и shlem мешали понять, кто это, но litso и голос казались очень знакомыми. Тогда я поглядел на второго, и тут уж, когда мне бросилась в глаза его идиотская ухмылка, насчет него сомнений не возникло. Тогда, все больше и больше цепенея, я вновь оглянулся на того, который так-такал. Им оказался толстяк Биллибой, мой заклятый враг. А другой был, разумеется, Тём, мой бывший друг и тоже в прошлом враг толстого kozliny Биллибоя, а теперь мент в форме и в шлеме и с хлыстом для поддержания порядка. Я сказал:

— Ой, нет.

— Ага, удивился! — И старина Тём разразился своим ухающим хохотом, который я так хорошо помнил: — Ух-ха-ха-ха!

— Не может быть, — вырвалось у меня. — Этого же не может быть. Я не верю!

— Разуй glazzja! — осклабился Биллибой. — Все без обмана. Ловкость рук и никакого мошенства, koresh. Обычная работа для ребят, которым приспело время где-то работать. Служим вот в полиции.

— Но вы же еще patsany, — возразил я. — Вы слишком молодые. В полицию не берут в нашем возрасте.

— В каком еще таком «нашем»?! — с некоторой обидой проговорил podlyi мент Тём. Я просто ушам не верил, не мог, бллин, поверить, да и только. — Время идет, растем, — пояснил он. — А, кроме того, ты ведь всегда был среди нас младшим. Вот мы, глядишь, и выросли.

— Бред какой-то? — прошептал я. Тём временем Биллибой, мент Биллибой (в голове не укладывается!), обратился к молодому менту, который держал меня и которого я вроде как раньше не знал:

— Пожалуй, — говорит, — будет лучше, Рекс, если мы отдадим ему кое-какой старый должок.

Между нами мальчиками, как говорится. Везти его в участок — только морока лишняя. Ты о нем вряд ли слышал, а я его хорошо знаю, это у него старые заморочки. Нападает на престарелых и беззащитных, ну и нарвался, наконец. Но мы поговорим с ним от имени Государства.

— О чем вы? — промямлил я, не в силах поверить собственным usham. — Ребята, они же сами на меня напали! Ну, скажите, ведь вы не можете быть на их стороне! Ведь это не так. Тём? Там был kashka, с которым мы poshustrili когда-то в прежние времена, и теперь, через столько времени, он решил отомстить мне.

— Лучше поздно, чем никогда, — сказал Тём. — Вообще-то я те времена помню плохо. И, кстати, перестань звать меня «Тём». Зови сержантом.

— Но кое-кого мы все-таки помним, — в тон ему продолжил Биллибой. Он уже не был таким толстяком, как когда-то. — Кое-кого из мальчиков-хулиганчиков, очень лихо управлявшихся с опасной бритвой; к ногтю его, к ногтю! — И они, крепко взявшись, вывели меня на улицу. Там их ждала патрульная машина, а этот самый Рекс оказался шофером. Они забросили меня в фургон, причем я никак не мог отделаться от ощущения, что все это всего лишь шутка, что Тём сейчас

стянет с головы полицейский шлем и захохочет — ух-ха-ха-ха! Но он сидел молча. А я, стараясь рассеять закопошившийся во мне strah, говорю:

— Слушай, а как наш Пит поживает, что с Питом? Про Джорджика я слышал, с Джорджиком это очень печально вышло.

— Пит? Пит, говоришь? — отозвался Тём. — Имя вроде знакомое…

Вижу, машина едет прочь от города. Я говорю:

— Куда это мы едем?

Биллибой со своего места рядом с шофером обернулся и говорит:

— Еще не вечер. Съездим за город, погуляем tshutok; зима, конечно, я понимаю, уныло, однако все ж таки природа. Да и то сказать, вряд ли полезно всему городу видеть, как мы старые долги отдаем. К тому же сорить на тротуарах, тем более бросать на них падаль, негоже, ох, негоже! — И он вновь отвернулся.

— Да ну, — сказал я, — что-то я вас совершенно не понимаю. Прежние времена позади. За то, что я тогда делал, меня уже наказали. Меня вылечили!

— Про это нам читали, — сказал Тём. — Старшой нам все прочитал насчет этого. Оченно, говорит, хороший способ.

— Вам читали, — повторил за ним я, слегка язвительно. — Ты все такой же темный, сам читать так и не выучился?

— Ну, нет, — проговорил Тём очень спокойно и даже как-то удрученно. — Так говорить не стоит. Не советую, дружище. — И он тут же выдал мне bollshoi toltshok прямо в kliuv, так что кровь сразу кап-кап-кап — красная-красная.

— Никогда у меня не было к тебе доверия, — с обидой проговорил я, вытирая нос тыльной стороной ладони. — Всегда я был odinoki.

— Ну вот, годится, — сказал Биллибой. Мы были уже за городом, вокруг голые деревья, птички время от времени чирикают, а вдалеке гудит какая-то сельскохозяйственная машина. Зима была в самом разгаре, смеркалось. Вокруг ни людей, ни животных. Только мы четверо.

— Вылазь, Алекс, — приказал Тём. — Немножко надо подрассчитаться.

Все время, пока они со мной возились, шофер сидел за рулем машины, курил tsygarki и почитывал какую-то книжечку. В кабине у него горел свет, чтобы vidett. На то, что с вашим скромным повествователем делали Биллибой и Тём, он никакого внимания не обращал. Не буду сейчас вдаваться в детали, вспомню только про чири-

канье птичек в голых ветвях, рокот какой-то там сельхозтехники и звуки нескончаемого пыхтенья и ударов. При свете автомобильных фар я видел туман от их дыхания, а в кабине шофер совершенно спокойно переворачивал страницы. Долго они, бллин, меня обрабатывали. Потом Биллибой или Тём, не помню уж который из них, говорит:

— Ладно, хватит, koresh, по-моему, довольно, как ты думаешь? — И они напоследок каждый по разу врезали мне toltshok в litso, я повалился и остался лежать на прошлогодней траве. Холод стоял zhutki, но я его не чувствовал. Потом они вытерли руки, снова надели кителя и шлемы и сели в машину.

— Когда-нибудь еще встретимся, Алекс, — проронил Биллибой, а Тём разразился своим клоунским смехом. Шофер дочитал страницу, отложил книжку, потом завел мотор, и они уехали в сторону города, причем оба — и бывший мой drug, и бывший враг — на прощанье сделали ручкой. А я остался лежать в полном otrube. Боль подступила не сразу, навалилась, меня всего скорчило, а тут еще пошел ледяной дождь. Людей поблизости видно не было, не было ни домов, ни даже огонечка. Куда же мне идти, бездомному и почти без deneg в карманах? И я от жалости

к себе заплакал: уууx-хуу-хууу. Потом встал и поплелся прочь.

4

Дом, дом, дом — вот все, что мне было нужно, и как раз именно «ДОМ» попался мне на пути, бллин. Я брел сквозь тьму не по-городскому, а просто напрямик, туда, откуда доносился шум сельскохозяйственной машины. Вышел в результате к какому-то поселку, который показался мне смутно знакомым, однако поселки — они все похожи, особенно в темноте. Несколько домиков, пивная, а в самом конце поселка, слегка этак на отшибе — небольшой коттеджик, и на его воротах название: «ДОМ». Под ледяным дождем я вымок до нитки, так что мой боевой костюм уже не выглядел супермодным, теперь я в нем скорей похож был на мокрую курицу, тем более что моя роскошная sheveliura превратилась в нашлепку, будто какой-то kal распластан по голове, а morder был, надо полагать, изукрашен ссадинами и синяками; трогая языком zubbja, я обнаружил, что некоторые шатаются. Все тело у меня ныло и болело, uzhasno хотелось пить, и я ловил rotom ледяные капли, а в желудке пело и ворчало оттого, что я с утра не ел, да и утром-то

поел довольно-таки, бллин, условно.

«ДОМ»; что ж, дом так дом — может быть, там и люди найдутся, кто бы помог мне. Я отворил калитку и захлюпал под дождем, переходящим в снег, по дорожке, потом тихонько, жалобно постучал в дверь. Никто не отозвался, и я постучал tshut-shutt сильнее и дольше, после чего послышались шаги. Дверь отворилась, и мужской голос спросил: «Да, что такое?»

— О, — взмолился я, — пожалуйста, помогите. Меня избили полицейские и оставили умирать на дороге. Пожалуйста, дайте мне чего-нибудь выпить и погреться у огня, сэр, прошу вас.

Дверь полностью отворилась, за ней был мягкий свет и доносилось тресь-тресь поленьев, горевших в камине.

— Входите, — сказал открывший дверь, — кто бы вы ни были. Помоги вам Господь, бедняга, входите, дайте на вас взглянуть.

Я еле переступил порог, причем не очень-то и притворялся, бллин, я действительно чувствовал себя хуже некуда. Добрый этот vek обхватил меня руками за плечи и помог добрести до комнаты, где горел камин, и уж тут-то я сразу понял, где я и почему надпись «ДОМ» над воротами показалась мне такой знакомой. Я поглядел на хозяина, кото-

рый тоже смотрел на меня, да так сочувственно, и теперь я его тоже вспомнил. Меня-то он, конечно, не припомнит, потому что в те беззаботные денечки мы с моими так называемыми друзьями на все большие dratsingi, krastingi и прочие всякие выступления ходили в масках. Хозяин был низкорослый очкастый vek среднего возраста — лет тридцати, а может, сорока или пятидесяти.

— Сядьте к огню, — сказал он, — а я принесу вам виски и теплой воды. Боже ты мой, надо же, как вас отделали! — И он вновь окинул меня сочувственным взглядом.

— Полицейские, — буркнул я. — Чертовы гады полицейские.

— Еще одна жертва, — проговорил он со вздохом. — Жертва эпохи. Сейчас принесу виски, а потом я должен немножко промыть вам раны. — И вышел. Я оглядел маленькую уютную комнатку. Почти сплошь книги, камин, пара стульев, а женской руки как-то не заметно. На столе пишущая машинка, множество скомканных бумажек, и мне сразу вспомнилось, что этот vek — писатель. «Заводной апельсин» — вот он что писал тогда. Даже забавно, что я это вспомнил. Но выдавать себя не следовало, потому что нынче мне без его помощи и доброты — никуда. Подлые griaznyje

выродки в той беленькой больничке сделали меня таким, что теперь мне без доброты и помощи хоть пропадай, они даже так сделали, чтобы я и сам не мог не предлагать другим помощь и доброту, если кому-нибудь таковая понадобится.

— Ну вот, готово, — сказал хозяин, вернувшись. Он дал мне горячее подкрепляющее питье в стакане, и мне стало получше, потом промыл мне ссадины на litse. Потом говорит:

— Теперь в горячую ванну, я сейчас вам воды напущу, а потом за ужином все расскажете; я приготовлю, пока вы в ванне.

Во, бллин, я от такой доброты аж чуть не всплакнул, и он, видимо, заметил в моих glazzjah слезы, потому что сказал: «Ну-ну-ну» и потрепал меня по плечу.

В общем, поднялся я на второй этаж, залез в ванну, а он принес мне пижаму и халат, согретые у огня, и еще пару очень поношенных тапок. Теперь, бллин, несмотря на всю ломоту и боль, я определенно чувствовал, что скоро мне будет гораздо лучше. Спустившись, я обнаружил, что на стол уже накрыто; ножи, вилки, хлеб, бутылка соуса «Прима», и вот он уже несет zametshatellnuju яичницу с ломтиками ветчины и сосисок и большие кружки горячего сладкого tshaja с молоком. Я

прямо разнежился: тепло, еда, а я оказался zhutko голодным, так что после яичницы я умял lomtik за lomtikom весь хлеб, намазывая его маслом и клубничным джемом из большой банки.

— Здорово! — сказал я. — Как же мне вас отблагодарить?

— Мне кажется, я знаю, кто вы, — сказал он. — Если вы действительно тот, за кого я вас принимаю, то вы, друг мой, попали прямо по адресу. Это ведь ваше фото в сегодняшних газетах? Если так, то вас сюда послало само провидение. Вас пытали в тюрьме, потом выкинули, и теперь вас взялись мучить полицейские. Бедный мальчик, у меня, на вас глядя, сердце кровью обливается.

От этих слов, бллин, я прямо так и онемел, аж челюсть отпала.

— Вы не первый, кто пришел сюда в минуту несчастья, — продолжал он. — Окрестности нашего поселка полиция почему-то избрала любимым местом для своих расправ. Но это просто перст Божий, что и вы, тоже своего рода жертва, пришли сюда. Но, может быть, вы что-то слышали обо мне?

Мне надо было соблюдать осторожность, бллин, и я сказал:

— Я слышал про «Заводной апельсин». Я его не

читал, но слышал о нем.

— О! — воскликнул он, и его лицо просияло, как медный таз в ясный полдень. — Ну, теперь о себе расскажите.

— Да особенно-то рассказывать мне нечего, сэр, — как бы скромничая, промямлил я. — Так, были кое-какие шалости, ребячество, в общем-то, и в результате мои так называемые друзья уговорили меня — или даже скорей заставили — ворваться в дом к одной старой ptitse — то есть в смысле леди. Плохого-то я ничего не хотел. К несчастью, когда эта леди вышвыривала меня вон, куда я и сам, по своей воле бы вышел, ее бедное доброе сердце не выдержало, и она вскоре умерла. Меня обвинили в том, что я оказался причиной ее смерти. Ну и посадили в тюрьму, сэр.

— Да-да-да-да, дальше, дальше!

— Там меня выбрал министр нутряных, или внутряных, или каких еще там дел, и на мне стали испытывать этот самый метод Людовика.

— Вот-вот, о нем расскажите, — весь загорелся он и придвинулся ко мне ближе, попав рукавом свитера в перепачканную джемом тарелку, которую я от себя отодвинул. Ну, я ему и рассказал. Все как есть, бллин, рассказал. Слушал он очень внимательно, каждое слово ловил — губы врас-

топырку, glazzja сияют, а жир на тарелках уже весь застыл. Когда я закончил, он встал и, убирая посуду, все что-то кивал и хмыкал себе под нос.

— Да я сам уберу, сэр, мне запросто.

— Нет-нет, отдыхай, отдыхай, парень, — отозвался он, так открутив кран, что оттуда рванул кипяток пополам с паром. — Ты, надо полагать, очень грешен, но наказание оказалось совершенно несоразмерным. Они тебя я даже не знаю во что превратили. Лишили человеческой сущности. У тебя больше нет свободы выбора. Тебя сделали способным лишь на социально приемлемые действия, сделали машиной, производящей добродетель. И вот еще что ясно видится: маргинальные эффекты. Музыка, половая любовь, литература и искусство — все это теперь для тебя источник не удовольствия, а только лишь боли.

— Это верно, сэр, — сказал я, закуривая одну из предложенных мне этим добрым человеком tsygarok с фильтром.

— Это они вечно так: захапают столько, что подавятся, — сказал он, рассеянно вытирая тарелку. — Но даже само их намерение уже грех. Человек без свободы выбора — это не человек.

— Вот и свищ мне тоже так говорил, сэр, — подтвердил я. — То есть в смысле тюремный

священник.

— А? Что? Ну конечно, разумеется. Он-то понятно, иначе какой же он был бы христианин! Н-да, ну вот что, — сказал он, продолжая тереть ту же тарелку, которую он вытирал уже минут десять, — завтра мы пригласим кое-кого, они придут, на тебя посмотрят. Думаю, тебя можно использовать, мой мальчик. Быть может, с твоей помощью удастся сместить это совершенно зарвавшееся правительство. Превращение нормального молодого человека в заводную игрушку не может рассматриваться как триумф правительства, каким бы оно ни было, если только оно открыто не превозносит свою жестокость. — При этом он все еще вытирал ту же тарелку. Я говорю:

— Сэр, вы вытираете одну и ту же тарелку, сэр. Я с вами согласен, сэр, насчет жестокости. Наше правительство, сэр, похоже, очень жестокое.

— Тьфу ты, — спохватился он, словно впервые увидев в своих руках тарелку, и отложил ее. — Все никак не привыкну, — говорит, — по хозяйству управляться. Раньше этим жена занималась, а я только книжки писал.

— Жена, сэр? Она что, ушла от вас, бросила? — Мне действительно интересно было узнать про

его жену, я ее хорошо помнил.

— Да, ушла, — сказал он громко и горестно. — Умерла она, вот ведь какое дело. Ее жестоко избили и изнасиловали. Шок оказался слишком силен. Убили прямо здесь, в этом доме. — Его руки, сжимавшие полотенце, дрожали. — В соседней комнате. Нелегко было заставить себя продолжать тут жить дальше, но она бы сама хотела, чтобы я жил здесь, где все пронизано светлой памятью о ней. Да, да, да. Бедная девочка.

Я вдруг ясно увидел все, что было, бллин, той давней notshju, и себя в деле увидел, и сразу накатила тошнота, а tykvu стиснула боль. Хозяин это заметил — еще бы, litso у меня стало белым-бело, вся кровь отхлынула, и это нельзя было не заметить.

— Идите-ка спать, — сочувственно сказал он. — Я вам постелил в вашей комнате. Бедный, бедный мальчик, как много вам пришлось вынести. Жертва эпохи, такая же, как и она. Бедная, бедная, бедная девочка.

5

Ночью я замечательно выспался, бллин, вообще без никаких снов, утро выдалось очень ясным и морозным, а снизу доносилась аппетит-

ная vonn завтрака, который жарили не кухне в первом этаже. Как водится, мне не сразу вспомнилось, где я, но вскоре я все сообразил, и пришло ощущение теплоты и защищенности. Однако, полежав еще немного в ожидании, когда меня позовут к завтраку, я решил, что надо бы узнать, как зовут этого доброго veka, который принял меня и обогрел прямо как мать родная, поэтому я встал и принялся bosikom бродить по комнате в поисках «Заводного апельсина», на котором должно же стоять его imia, если он автор книги! Но в моей комнате ничего, кроме кровати, стула и настольной лампы, не было, поэтому я зашел в комнату хозяина, которая была по соседству, и там первым делом увидел на стенке его жену — огромное увеличенное фото, так что мне опять стало немножко не по себе от воспоминаний. Но тут были и две или три книжных полки, причем на одной из них, как я и ожидал, обнаружилась книжка «Заводного апельсина», на обложке и на корешке которой стояло imia автора — Ф. Александр. Боже праведный, — подумал я, — он тоже Алекс! Я начал ее перелистывать, стоя bosikom и в пижаме и ни капельки не замерзая, потому что весь дом был хорошо прогрет, однако мне долго не удавалось понять, про что книжка. Она

была написана каким-то совершенно bezumnym языком, там во множестве попадались ахи, охи и тому подобный kal, и все это вроде как к тому, что людей в наше время превращают в машины, а на самом деле они — то есть и ты, и я, и он, и все прочие razdolbai — должны быть естественными и произрастать, как фрукты на деревьях. Ф. Александр, похоже, считал, что мы все плоды того, что он называл мировым древом в мировом саду, который насадил Бог, а цель нашего там пребывания в том, чтобы Бог утолял нами свою жгучую жажду любви или какой-то kal наподобие этого. Вся эта абракадабра мне совсем не понравилась, бллин, и я подумал, до чего же на самом-то деле этот Ф. Александр bezumni, хотя, может быть, он и спятил как раз оттого, что у него жена skopytilass. Но тут он позвал меня вниз совершенно здравым таким нормальным голосом, в котором была и радость, и любовь, и всякий прочий kal, ну и ваш скромный повествователь к нему спустился.

— Долго спите! — сказал он, ковыряя ложечкой яйцо всмятку и одновременно снимая с гриля поджаренный lomtik черного хлеба. — Без малого десять. Я уже не первый час на ногах, поработать успел.

— Новую книжку писали? — поинтересовал-

ся я.

— Нет-нет, сейчас — нет, — ответил он. Мы мирно уселись, принявшись хрустеть скорлупой и поджаренным хлебом, запивая завтрак молоком и tshajem из большущих objomistyh кружек. — Звонил тут кое-кому по телефону.

— Я думал, у вас нет телефона, — сказал я, целиком занявшись выковыриванием яйца и совершенно не следя за своими словами.

— Почему это? — спросил он, вдруг насторожившись как какое-то верткое животное, ложечка так и застыла у него в руке. — Почему вы думали, что у меня нет телефона?

— Да нет, — сказал я, — нипочему, просто так. — Сказал, а сам думаю: интересно, бллин, много ли он запомнил из начальной стадии той notshi, когда я подошел к двери со старой сказкой про то, что надо позвонить, вызвать врача, а она ответила, что телефона нет. Он оч-чень этак внимательно на меня глянул, но потом опять стал вроде как добрым и дружелюбным и принялся доедать яйца. Пожевал-пожевал и говорит:

— Ну, так вот, значит, я позвонил нескольким людям, которых может заинтересовать ваша история. Вы можете стать очень мощным оружием, в том смысле, чтобы наше подлое правитель-

ство лишилось всяких шансов на предстоящих выборах. Один из главных козырей правительства — то, как оно последние несколько месяцев теснит преступность. — Он снова внимательно посмотрел на меня поверх наполовину выеденного яйца, и вновь я подумал: вдруг он знает, какую роль я сыграл в его zhizni. Однако он, как ни в чем не бывало, продолжал: — Брутальных хулиганствующих юнцов стали привлекать для работы в полиции. Вовсю начали разрабатывать антигуманные и разрушающие личность методы перевоспитания. — И пошел чесать, и пошел, да все такие слова научные, бллин, и этакий bezumni блеск в глазах. — Мы, — говорит, — уже все это видели. В других странах пока что. Но это ж ведь лиха беда начало. И оглянуться не успеем, как получим на свою голову весь аппарат тоталитаризма. — Эк, думаю, его зацепило-то, а сам потихоньку желток выедаю да тостом захрупываю.

— А я-то, — говорю, — тут при чем, сэр?

— Вы? — слегка tormoznulsia он, все так же bezumno блуждая взглядом. — Вы живое свидетельство их дьявольских козней. Народ, обычные простые люди должны знать, они понять должны… — Бросив завтрак, хозяин встал и заходил по

кухне от раковины к кладовке, продолжая громко витийствовать: — Разве хотят они, чтобы их сыновья становились такими же несчастными жертвами, как вы? Не само ли правительство теперь будет решать, что есть преступление, а что нет, выкачивая жизнь, силу и волю из каждого, кого оно сочтет потенциальным нарушителем своего спокойствия? — Тут он несколько приуспокоился, но к выковыриванию желтка не возвращался. — Я статью написал, — говорит, — сегодня утром, пока вы спали. Через денек-другой выйдет, вкупе с фотографией, где вы избиты и замучены. Вам надо ее подписать, мой мальчик, там полный отчет о том, что с вами сделали.

— Да вам-то с этого, — говорю, — что толку, сэр? Ну, в смысле, кроме babok, которые вам за эту вашу статью заплатят? Я к тому, что зачем вам против этого самого правительства так уж упираться, если мне, конечно, позволено спрашивать?

Он ухватился за край стола и, скрипнув прокуренными желтыми zubbjami, говорит:

— Кто-то должен бороться! Великие традиции свободы требуют защиты. Я не фанатик. Но когда вижу подлость, я ее стремлюсь уничтожить. Всякие партийные идеи — ерунда. Главное — тра-

диции свободы. Простые люди расстаются с ними, не моргнув глазом. За спокойную жизнь готовы продать свободу. Поэтому их надо подкалывать, подкалывать! — и с этими словами, бллин, он схватил вилку и ткнул ею — raz i raz! — в стену, так что она даже согнулась. Отшвырнул на пол. Вкрадчиво сказал: — Питайся, питайся получше, мой мальчик, бедная ты жертва эпохи! — отчего я с совершенной ясностью понял, что он близок к помешательству. — Ешь, ешь. Вот, мое яйцо тоже съешь.

Однако я не унимался:

— А мне что с этого будет? Меня сделают снова нормальным человеком? Я смогу снова слушать Хоральную симфонию без тошноты и боли? Смогу я снова жить нормальной zhiznnju? Со мной-то как?

Он бросил на меня такой взгляд, бллин, будто совершенно об этом не думал, будто моя zhiznn вообще ерунда, если сравнивать с ней Свободу и всякий прочий kal; в его взгляде сквозило какое-то даже удивление, что я сказал то, что сказал, словно я проявил недопустимый эгоизм, требуя чего-то для себя. Потом говорит:

— А, да. Ну, ты живой свидетель, мой мальчик. Доедай завтрак и пойдем, посмотришь, что я

написал — статья пойдет в «Уикли Трампет» под твоим именем.

Н-да, бллин, а написал он, оказывается, длинную и очень слезливую parashu; я читал ее вне себя от жалости к бедненькому malltshiku, который рассказывал о своих страданиях и о том, как правительство выкачало из него всю волю к zhizni, а потому, дескать, народ должен не допустить, чтобы им правило такое злонамеренное и подлое руководство, а сам этот бедный страдающий malltshik был, конечно же, не кто иной, как в. с. п., то есть ваш скромный повествователь.

— Очень хорошо, — сказал я. — Просто baldiozh. Вы прямо виртуоз пера, papik.

В ответ он этак с прищуром глянул на меня и говорит:

— Что-что? — будто он меня не расслышал.

— А, это… — говорю. — Это такой жаргон у nadtsatyh. Все тинэйджеры на этом языке изъясняются.

Потом он пошел на кухню мыть посуду, а я остался, сидя по-прежнему в пижамном одеянии и в тапках и ожидая, что будет в отношении меня предприниматься дальше, потому что у самого у меня планов не было никаких, бллин.

Когда, от двери донеслось дилинь-дилинь-ди-

линьканье звонка, Ф. Александр Великий был все еще на кухне.

— Вот! — воскликнул он, выходя с полотенцем в руках. — Это к нам с тобой. Открываю. — Ну, отворил, впустил; в коридоре послышались дружеские приветствия, всякие там ха-ха-ха, и погода отвратная, и как дела, и тому подобный kal, а потом они вошли в комнату, где был камин, книжка и статья о том, как я настрадался, увидели меня, заахали. Пришедших было трое, и Ф. Алекс назвал мне их imena. Один был З. Долин — одышливый прокуренный толстячок, кругленький, в больших роговых очках, все время перхающий — kashl-kashl-kashl — с окурком tsygarki во рту; он все время сыпал себе на пиджак пепел и тут же смахивал его суетливыми rukerami. Другой был Неразберипоймешь Рубинштейн — высоченный учтивый starikashka с джентльменским выговором и круглой бородкой. И, наконец, Д. Б. Да-Сильва — быстрые движения и парфюмерная vonn. Все они долго и внимательно меня разглядывали и, казалось, результатами осмотра остались довольны до чрезвычайности. З. Долин сказал:

— Что ж, прекрасно, прекрасно. Этот мальчик может оказаться орудием весьма действенным.

Впрочем, не повредило бы, если б он выглядел похуже и поглупее — этаким, знаете ли, зомби. Делу пошло бы на пользу. Надо будет что-нибудь в этом направлении предпринять, и непременно!

Triop насчет зомби мне не очень-то понравился, и я сказал:

— Что за дела, vastshe! Что вы такое готовите своему mennshomu другу?

Но тут Ф. Александр пробормотал:

— Странно, очень странно, но этот голос мне что-то напоминает. Где-то мы уже встречались, ну точно ведь встречались! — И он, нахмурившись, погрузился в воспоминания, а я решил, что с ним, бллин, надо поосторожнее. Д. Б. Да-Сильва и говорит:

— Главное — митинги. Первым долгом покажем его народу на митинге. — Разбитая жизнь — вот тональность. Людей надо взволновать. — И он показал все свои тридцать с лишним zubbjev, очень белых на фоне смуглого, слегка иностранного на вид, litsa.

— Никто, — вновь подал голос я, — не говорит мне, что самому-то мне со всего этого! Меня пытали в тюрьме, вышвырнули из дому собственные родители, которых совершенно подмял под себя этот их постоялец, потом меня избили старики и

чуть не убили менты, ну, и мне-то теперь — как?

На это отозвался Рубинштейн:

— Вот увидишь, парень. Партия не останется неблагодарной. Нет-нет! Когда сделаем дело, ты получишь очень даже соблазнительный сюрпризик. Подожди, сам увидишь.

— Да мне только одно и нужно! — выкрикнул я. — Мне только бы стать вновь нормальным, здоровым, каким я был раньше, — чтобы в zhizni была радость, чтоб были настоящие друзья, а не такие, которые называют себя друзьями, а сами в душе предатели. Можете вы это сделать, да или нет? Кто-нибудь может сделать меня снова прежним? Только это мне нужно, и только это я хочу у вас узнать.

— Kashl-kashl-kashl. У мученика на алтаре Свободы, — прочистив горло, заговорил З. Долин, — есть определенные обязанности, и вы не должны забывать о них. А мы, в свою очередь, о вас позаботимся. — И он с дурацкой улыбочкой принялся поглаживать мне левую руку, словно я буйно помешанный. Я возмутился:

— Перестаньте обращаться со мной, как с вещью, которую надо пристроить к делу. Я не такой идиот, как вы думаете, глупые vyrodki. Рядовые prestupniki — народ темный, но я-то не рядовой,

не какой-нибудь тем недоразвитый. Вы меня слушаете?

— Тём, — задумчиво проговорил Ф. Александр. — Тём. Где-то мне это имя попадалось. Тём.

— А? — обернулся я. — При чем тут Тём? Вы-то что можете знать про Тёма? — и махнул рукой: — О, Господи! — Причем мне очень не понравилась промелькнувшая в его глазах догадка. Я пошел к двери, чтобы подняться наверх, забрать свою одежду и sliniatt.

— Неужто такое бывает? — проговорил Ф. Александр, оскалив свои пятнистые zubbia и bezumno вращая глазами. — Нет-нет, не может быть. Но попадись мне тот гад, Богом клянусь, я разорву, его в клочья. Да-да, клянусь, я руки-ноги ему повыдергаю!

— Ну-ну, — сказал Д. Б. Да-Сильва, похлопывая его по груди, как psa, которого надлежит успокоить. — Все в прошлом. То были совсем другие. Нам надо помочь бедной жертве. Мы должны это сделать во имя Будущего и нашего Дела.

— Пойду, соберу shmotki, — сказал я, поднимаясь по лестнице, — в смысле одежду, и все, ухожу v otryv odinoki. Я к тому, что всем спасибо, но у меня своя zhiznn, а у вас своя. — Еще бы, бллин,

земля под ногами начинала мне уже zharitt piatki. Но. З. Долин сказал:

— Ну, нет. Ты теперь наш, мы тебя не отпустим. Поедем вместе. Все будет хорошо, не волнуйся. — С этими словами он подступил ко мне, вроде как чтобы снова схватить за руку. Я было подумал затеять dratshing, однако от одной мысли об этом накатила тошнота, и я чуть в обморок не упал, так что я даже не дернулся. Еще раз глянул в полубезумные глаза Ф. Александра и говорю:

— Как скажете. Я в ваших руках. Но давайте, чтобы сразу и по-быстрому, bratsy. — Потому что главным теперь для меня было поскорей выбраться из этого mesta под названием «ДОМ». Мне уже очень и очень вроде как не нравилось выражение глаз Ф. Александра.

— Хорошо, — сказал Рубинштейн. — Одевайтесь, и поехали.

— Тём… Тём… Тём… — бормотал себе под нос Ф. Александр. — Что это за Тём, кто это? — Но я skorennko взбежал по ступенькам и спустя мгновение уже был одет. Потом с тремя этими vekami вышел и сел в машину, причем посадили меня посередке между Рубинштейном и З. Долином, непрерывно перхающим kashl-kashl-kashl, а Д. Б. Да-Сильва, взявшись за руль, повел машину

в город, в один из жилых кварталов, который был не так уж далеко от того, где я когда-то жил с родителями.

— Ну, парень, выходи, — сказал З. Долин, покашливая и при этом не забывая затягиваться tsygarkoi, так что ее тлеющий кончик начинал пылать и искриться, как небольшая доменная печь. — Пока разместишься здесь.

Заходим; обычный вестибюль с очередным hudozhestvom, прославляющим Трудовую Доблесть; подымаемся на лифте, бллин, и попадаем в квартирку, один к одному похожую на все прочие во всех новостройках города. Маленькая-маленькая — всего две спальни и одна гостиная, она же столовая и кабинет, и на обеденном столе куча книг, бумаг, какие-то чернила, бутылочки и прочий kal.

— Твой новый дом, — повел рукой Д. Б. Да-Сильва. — Располагайся. Еда в холодильнике. Пижама в шкафу. Покой и отдых для смятенного ума.

— Чего? — переспросил я, не совсем vjehav.

— Ничего, ничего, — успокоил меня Рубинштейн своим старческим голосом. — Мы тебя покидаем. Дела. Зайдем попозже. Будь как дома.

— Да, вот что, kashl-kashl-kashl, — одышливо проговорил З. Долин. — Ты понял, видимо, что

шевельнулось в измученной памяти нашего добрейшего Ф. Александра? Ты, случаем, не… то есть, я хочу сказать, это не ты?.. Ты понимаешь, что я имею в виду. Смелей, мы больше никому не скажем.

— Я понес свое наказание, — поморщился я. — Бог свидетель, я сполна за все расплатился. И не только за себя расплатился, но и за этих svolotshei, которые называли себя моими друзьями. — Прилив ненависти вызвал во мне тошноту. — Пойду прилягу, — сказал я. — О, какой кошмар!

— Кошмар, — подтвердил Д. Б. Да-Сильва, улыбаясь во все свои тридцать zubbiev. — Это уж точно.

В общем, бллин, они ушли. Удалились по своим делам, посвященным, как я себе это представлял, тому, чтобы делать политику и всякий прочий kal, а я лежал на кровати в odinotshestve и полной тишине. В кровать я повалился, едва скинув govnodavy и приспустив галстук, лежал и совершенно не мог себе представить, что у меня теперь будет за zhiznn. В голове проносились всякие разные картины, вспоминались люди, которых я встречал в школе и в тюрьме, ситуации, в которых приходилось оказываться, и все складывалось так, что никому на всем bollshom

белом свете нельзя верить.

Проснувшись, я услышал за стеной музыку, довольно громкую, причем как раз она-то меня и разбудила. Это была симфония, которую я очень неплохо знал, но много лет не slushal, Третья симфония одного датчанина по imeni Отто Скаделиг, shtuka громкая и burlivaja, особенно в первой части, которая как раз и звучала. Секунды две я slushal с интересом и удовольствием, но потом на меня накатила боль и тошнота, и я застонал, взвыл прямо всеми kishkami. Эк ведь, до чего я дошел — это при моей-то любви к хорошей музыке; я сполз с кровати, еле дотащился, подвывая, до стенки и застучал, забился в нее, vskritshivaja: «Прекратите! Прекратите! Выключите!» Но музыка не кончалась, а, наоборот, стала вроде бы даже громче. Я колотил в стену до тех пор, пока кулаки в кровь не сбил, всю кожу с них содрал до мяса, я кричал, вопил, но музыка не прекращалась. Тогда я решил от нее сбежать, выскочил из спальни, добрался до двери на лестницу, но она оказалась заперта снаружи, и я не смог выбраться. Музыка тем временем становилась все громче и громче, бллин, словно мне нарочно устроили такую пытку. Я заткнул ushi пальцами, но тромбоны с литаврами все равно прорывались. Снова я

kritshal, просил выключить, молотил в стенку, но толку от этого не было ни на grosh. «Ой-ей-ей, что же делать? — причитал я. — Bozhennka, помоги!» Обезумев от боли и тошноты, я метался по всей квартире, пытаясь скрыться от этой музыки, выл так, будто мне выпустили kishki, и вдруг на столе, среди наваленных на него книг и бумаг, я увидел, что надо делать, — собственно, то, что я и собирался, еще тогда, в публичной biblio, пока старцы-читатели, а потом Тём с Биллибоем, переодетые мусорами, не помешали мне, а собирался я себя прикончить, отбросить кости, свести счеты с zhiznnju в этом поганом и подлом мире. Я увидел одно слово: «СМЕРТЬ», оно было на обложке какой-то брошюрки, хотя там имелась в виду всего лишь СМЕРТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. И, словно самой судьбой мне подкинутый, рядом лежал еще один буклетик с нарисованным на обложке открытым окном, а под ним подпись: «Отвори окно свежему ветру, новым идеям и новой жизни». Я понял это как указание, что разгрести весь этот kal можно, лишь выпрыгнув в окно. Одно мгновенье боли, а после нескончаемый, вечный сон.

Музыка по-прежнему кипела и клокотала всеми своими ударными и духовыми, скрипки и барабаны водопадами изливались сквозь стену.

Окно в комнате, где стояла кровать, было приоткрыто. Я подошел к нему, глянул на машины, на автобусы и на людей далеко внизу. Всему этому миру я крикнул: «Прощай, прощай, пусть Bog простит тебе загубленную жизнь!» Потом я влез на подоконник (музыка была теперь от меня слева), закрыл glazzja, щекой ощутил холодное дуновение ветра и тогда прыгнул.

6

Прыгнуть-то я прыгнул, бллин, и об тротуар briaknulsia будь здоров как, но в ящик сыграть — это dudki. Если бы я okotshurilsia, меня бы тут не было, и я не написал бы то, что вы читаете. Видимо, чтобы убиться насмерть, все-таки высоты не хватило. Но я сломал себе спину, переломал руки и ноги и перед тем, как отключиться, бллин, боль чувствовал zhutkuju, а сверху на меня смотрели ошарашенные и испуганные litsa прохожих. И, уже vyrubajass, я вдруг осознал, что все, все до единого в этом страшном мире, против меня, что музыку за стеной мне подстроили специально, причем как раз те, кто вроде бы стал как бы моими новыми друзьями а то, чем все это кончилось, как раз и требовалось для их эгоистической и отвратной политики. Все это пронеслось во мне

за одну миллионную долю миллионной доли минуты, после чего я взмыл над всем миром, над небом и над litsami уставившихся на меня сверху прохожих.

Вернувшись к zhizni после долгого черного-черного провала, длившегося, быть может, не один миллион лет, я оказался в белоснежной больничной палате, где пахло, как всегда пахнет в больницах, — дезинфекцией и чопорной тоскливой чистотой. Лучше бы этим всем больничным антисептикам придавали хорошую такую ядреную vonn жареного лука или хотя бы tsvetujotshkov. Мало-помалу я пришел в себя, постепенно все вспомнил, но лежал я весь спеленутый белым и тела своего не чувствовал вовсе — ни боли, ни вообще ничего naprosh. Голова вся перемотана бинтами, какие-то клейкие нашлепки на litse, rukery тоже там и сям перемотаны, к пальцам привязаны какие-то палки, словно это не пальцы, а цветочные стебли, которым надо помочь вырасти прямыми, ноги тоже на каких-то растяжках — сплошные бинты, проволочные распорки и стержни, а в правую руку около плеча вставлена какая-то штуковина, в которую капает кровь из перевернутой банки. Но чувствовать я ничего не чувствовал, бллин. Рядом с моей кой-

кой сидела медсестра, которая читала книжку, напечатанную очень нечетко, хотя по черточкам перед некоторыми строчками можно было понять, что это рассказ или роман, причем, судя по ее охам и вздохам, речь там шла не иначе как про добрый старый sunn-vynn. Медсестричка была очень даже kliovaja kisa: пухленькие губки, длинные ресницы, а под жестко накрахмаленным форменным платьем вырисовывались вполне приличных размеров grudi. Я и говорю ей:

— Ну, я торчу, малышка! А что, заваливайся рядом, покувыркаемся!

Однако слова еле выговаривались, rot словно окостенел, к тому же, пошевелив в нем языком, я обнаружил, что нескольких zubbjev не хватает. А медсестра как вскочит, книгу уронила на пол и говорит:

— Ой, пациент пришел в сознание!

Такая симпатичная kisa могла бы называть меня и попроще, и я хотел ей об этом сказать, но вместо слов у меня получалось только пык да мык. Она вышла, оставила меня в odinotshestve, и, оглядевшись, я увидел, что лежу в небольшой комнатке на одного, не то что когда-то в детстве, когда я, попав в больницу, валялся в огромной палате, где было полно народу — кашляющих

полуживых стариков, от одного вида которых хотелось как можно скорей оттуда вырваться. Тогда у меня, бллин, была, кажется, вроде как дифтерия.

Похоже, я еще не мог надолго удерживать сознание, потому что почти сразу же вроде как снова заснул, но к тому времени понял уже, что kisa вернулась и привела с собой одетых в белые халаты tshelovekov, которые, загадочно хмыкая, хмуро разглядывали вашего скромного повествователя. И удивительное дело, с ними был старый свищ из Гостюрьмы, который, дыша на меня застарелым алкогольным перегаром, сперва причитал: «О сын мой, сын мой», а потом сказал: «Я, — говорит, — оттуда ушел уже. Не смог, никак не смог я примириться с тем, что эти мерзавцы творят, а ведь они и с другими преступниками то же самое делали. Так что я ушел оттуда и рассказываю теперь обо всем этом в своих проповедях, о сын мой во Христе».

Позже я снова проснулся, и кто бы вы думали стоял теперь возле моей кровати? Да все та же троица, те, из чьей квартиры я выпрыгнул, — Д. Б. Да-Сильва, Неразберипоймешь Рубинштейн и З. Долин.

— Друг, — обратился ко мне один из них (я

не заметил и не расслышал толком, кто именно), — Друг, юный друг наш, ты зажег в народе огонь возмущения. Лишил этих ужасных злодеев последнего шанса на переизбрание. С ними покончено раз и навсегда. Ты сослужил хорошую службу Свободе.

В ответ я попытался сказать, что, если бы я умер, вам, svolotshi, политиканы проклятые, это было бы еще выгоднее, подлые вы предатели. Но получалось у меня только пык да мык. Затем один из этой троицы вытащил пачку газетных вырезок, и я увидел себя окровавленного на носилках и даже вроде как вспомнил вспышки света, когда фотографы это снимали. Одним глазом я читал заголовки, вздрагивавшие в руке veka, который держал вырезки: «ЮНАЯ ЖЕРТВА РЕФОРМАТОРОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ», «УБИЙЦЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ», и еще я заметил фотографию tsheloveka, показавшегося мне знакомым, а под ней подпись: «ГНАТЬ В ШЕЮ» — видимо, это был министр нутряных, или внутряных, или каких там еще дел. Но тут медсестричка сказала:

— Его нельзя волновать. Вам нельзя делать ничего такого, что могло бы его расстроить. Пойдемте, я вас выведу.

— В шею, в шею, в шею, — попытался я крик-

нуть им вслед, но получилось опять только пык да мык. Тём не менее, троица политиков удалилась. И я удалился тоже, только не туда, куда они, а во тьму, освещаемую лишь обрывочными видениями, которые непонятно даже, можно ли называть снами, бллин. Типа, например, такого, в котором из моего тела вроде как выливают нечто наподобие грязной воды и заливают туда снова чистую. А потом пошли очень даже приятные и baldiozhnyje сны, где я угоняю чей-то автомобиль, а потом еду в нем по белу свету, и всех по дороге сшибаю и давлю, и слышу, как они издают предсмертные kritshki, а во мне ни боли от этого, ни тошноты. А еще были сны про sunnvynn с devotshkami — как я швыряю их наземь и насильно zasazhivaju, а вокруг все стоят, хлопают в ладоши и подбадривают меня, как bezumni. А потом я снова проснулся, и как раз па и ма пришли навестить их больного сына, причем ма прямо ревет белугой. Говорить я к этому времени стал уже лучше, так что смог сказать им:

— Ну-ну-ну-ну, что за дела? Вы почему решили, что я хочу вас videtт?

А папа и говорит, этак пристыженно:

— Мы про тебя в газетах прочли, сын. Там сказано, что с тобой обошлись очень несправедливо.

Что правительство довело тебя до самоубийства. В этом ведь и наша вина есть — в какой-то мере. Я только хочу сказать, сын, что наш дом — это твой дом. — Тём временем мама все выла и уу-хуу-ухухала, и вид у нее был прямо оторви да выбрось. Я и говорю:

— А как же насчет вашего нового сына Джо? Ведь он такой правильный, умненький-благоразумненький, небось жалко расставаться-то?

А ма отвечает:

— Ой, Алекс, Алекс, ой-ей-ей-ей — Так что папе пришлось пояснить:

— Такая, понимаешь ли, скверная с ним произошла штука. Он повздорил с полицейскими, и они его отделали.

— Да ну? — отозвался я. — Правда? Такой прямо добропорядочный tshelovek, подумать только! Это вы меня budd zdorov как озадачили.

— Да он стоял себе, никому зла не делал, — сказал папа. — А полицейский велел ему проходить и не задерживаться. Он, понимаешь ли, на углу стоял, ждал свою девушку. Они его прогонять стали, а он сказал, что имеет право стоять, где хочет, и тогда они на него набросились и отделали его почем зря.

— Ужас, — сказал я. — Просто ужас. И где же

теперь этот бедняга?

— Ууу-хуу-хуу, — взвыла мать. — Доо-моой-хуу-хуу-еехал.

— Да, — подтвердил отец. — Он уехал в свой родной город выздоравливать. И работа его перешла кому-то другому.

— Стало быть, — уточнил я, — вы хотите, чтобы я снова поселился дома и чтобы все стало, как прежде?

— Да, сынок, — ответил мой папаша. — Прошу тебя, пожалуйста.

— Я подумаю, — отозвался я. — Я хорошенько об этом подумаю.

— Уу-хуу-хуу, — не унималась мать.

— Да заткнись ты, — прикрикнул на нее я, — или я тебе так сейчас выдам, что повод повыть у тебя найдется куда серьезнее. По зубам как vrezhu! — Говорю, а сам чувствую, бллин, что от слов от этих самых мне вроде как легче становится, снова вроде как свежая кровь по жилам zastrujatshila. Я задумался. Получалось, что для того, чтобы мне становилось лучше, я, выходит, должен становиться хуже.

— Не надо так говорить с родной матерью, сын, — сказал мой папаша. — Все же ты через нее в этот мир пришел.

— Да уж, — говорю, — тоже мне мир — graznyi и podly. — После чего я плотно закрыл глаза, будто бы мне больно, и сказал: — Теперь уходите. Насчет возвращения я подумаю. Но теперь все должно быть совсем по-другому.

— Конечно, сын, — сказал отец. — Все, как ты скажешь.

— И тогда уж сразу договоримся, кто в доме главный.

— Уу-хуу-хуу, — опять взвыла мать.

— Хорошо, сын, — сказал папаша. — Все будет так, как ты захочешь. Только выздоравливай.

Когда они ушли, я полежал, думая о всяких разных vestshah, в голове проносились всякие разные картины, а потом пришла медсестричка, и когда она стала расправлять на моей кровати простыни, я спросил ее:

— Давно я здесь валяюсь?

— Что-нибудь неделю или около, — отвечает.

— И что со мной делали?

— Ну, — говорит, — у вас все кости были переломаны, масса ушибов, тяжелое сотрясение мозга и большая потеря крови. Пришлось повозиться, чтобы все это привести в порядок, такое само не заживает, верно?

— А с головой, — говорю, — мне что-нибудь

делали? То есть, в смысле, в мозгах у меня не копались?

— Если что с вами и делали, — отвечает, — так только то, что вам на пользу.

А через пару дней ко мне вошли двое моложавых vekov, по виду вроде врачей; вошли, сладенько так улыбаясь, и принесли с собой книжку с картинками. Один из них говорит:

— Нам надо, чтобы вы посмотрели эти картинки и сказали нам, что вы о них думаете, ладно?

— Что за дела, koresha? — отозвался я. — Какие еще новые bezumni идеи решили вы на мне отрабатывать? — На это оба смущенно заусмехались, а потом сели по обеим сторонам кровати и раскрыли книжку. На первой странице была фотография птичьего гнезда с яйцами.

— Ну? — проговорил один из докторов.

— Птичье гнездо, — сказал я. — Полно яиц. Очень мило.

— И что бы вы хотели с ним сделать? — спросил другой.

— Ну, — говорю, — расквасить, естественно. Взять его да и шваркнуть об стену или об камень, а потом поглядеть, как там все яйца в лепешку будут.

— Неплохо, неплохо, — закивали оба и перевер-

нули страницу. Открылась картинка с большой такой птицей, которая павлин называется, и хвост у него распущен, разноцветный такой, наглый донельзя. — Ну? — спрашивают.

— Я бы хотел, — говорю, — выдергать у него из хвоста все перья, чтобы он орал, как резаный. А то вон какой наглый, гад.

— Неплохо, — сказали они оба в один голос. — Неплохо, неплохо. — И давай листать страницы дальше. Где были на картинках симпатичные devotshki, я говорил, что хотел бы сделать им добрый старый sunn-vynn, а заодно и pomordovatt хорошенько. Попалась картинка, где человеку въехали сапогом в morder и в разные стороны брызжет кровь; я сказал, что хотел бы ему добавить. А еще была картинка, где nagoi друг нашего тюремного свища тащил в гору крест, и я сказал, что пошел бы следом с молотком и гвоздями. И снова: «Неплохо, неплохо». Я говорю:

— К чему все это?

— Глубокая гипнопедия, — отвечает один (или какое-то словцо наподобие, точно не помню). — Похоже, вы выздоровели.

— Выздоровел? — возмутился я. — Валяюсь тут плашмя на койке, а вы говорите — выздоровел? Поцелуй меня в jamu, вот что, koresh!

— Подождите, — сказал его приятель. — Теперь уже недолго осталось.

Я ждал, бллин, а заодно поправлялся, а заодно уплетал за обе щеки всякие там яйца-шмяйца, тосты-шмосты, запивая их чаем с молоком, и вот настал день, когда мне сказали, что ко мне пришел очень-очень необыкновенный посетитель.

— Но кто? — допытывался я, пока поправляли белье на постели и причесывали мне grivu — повязку с головы уже сняли, и волосы начали отрастать.

— Увидите, увидите, — вот все, что мне отвечали. И я, наконец, увидел. В полтретьего дня палату заполонили фотографы и газетчики с блокнотами, карандашами и прочей murnioi. Они чуть ли не в трубы трубили, встречая великого и важного veka, который должен был посетить вашего скромного повествователя. Он пришел, и, конечно же, это оказался не кто иной, как министр нутряных, или внутряных, или каких еще там дел; он был одет по последней моде и вовсю поигрывал интонациями своего хорошо поставленного начальственного баса. Щелк, щелк, бац — ожили фотокамеры, как только он подал мне ruker поздороваться. Я говорю:

— Так-так-так-так. Что за дела, koresh, чего

pripiorsia?

Похоже, никто меня толком не poni, но один говорит:

— Смотри, парень, не забывай, с кем говоришь, это министр!

— В гробу я видал, — чуть ли не гавкнул я ему в ответ, — и тебя, и твоего министра.

— Ну ладно, ладно, — торопливо вклинился внутряной. — Он говорит со мной как друг, верно, сынок?

— Ага, я всем друг, — отвечаю, — кроме тех, кому враг.

— А кому ты враг? — спросил министр, и все газетчики схватились за свои блокноты. — Скажи нам, мой мальчик.

— Моим врагам, — отвечаю, — всем тем, кто плохо себя ведет со мной.

— Что ж, — сказал Минвнудел, присаживаясь на край моей койки. — Мы, то есть все правительство, членом которого я являюсь, хотели бы, чтобы ты считал нас своими друзьями. Да-да, друзьями. Мы ведь помогли тебе, вылечили, правда же? Тебя поместили в лучшую клинику. Мы никогда тебе не желали зла, не то что некоторые другие, кто и желал, и воплощал это желание в реальных действиях. Я думаю, ты знаешь, о ком

я говорю.

— Да-да-да-да, — продолжал он. — Есть люди, которые хотели бы использовать тебя, да-да, использовать в своих политических целях. Они были бы счастливы, да, счастливы, если бы ты умер, потому что думают, будто им удалось бы это свалить на правительство. Думаю, ты знаешь, кто эти люди.

— Есть такой человек, — после паузы вновь заговорил МВД, — некий Ф. Александр, сочинитель подрывной литературы, так вот он как раз и жаждал твоей крови. Прямо с ума сходил, до чего ему хотелось всадить тебе нож в спину. Но ты уже можешь не бояться. Мы его изолировали.

— Но мы с ним вроде как pokoreshaliss, — сказал я. — Он был мне как мать родная.

— Видишь ли, он узнал, что ты когда-то нехорошо поступил с ним. Во всяком случае, — сразу поправил сам себя МВД, — он думает, что узнал это. Он вбил себе в голову, что из-за тебя умер один очень близкий и дорогой ему человек.

— Вы это к тому, — проговорил я, — что ему рассказал кто-то?

— Просто он вбил это себе в голову, — сказал МВД. — Он стал опасен. Мы изолировали его для его же собственного блага. Ну и, — добавил он, —

для твоего тоже.

— Спасибо, — сказал я. — Большое спасибо.

— Когда тебя выпишут, — продолжал министр, — тебе ни о чем беспокоиться не придется. Мы все предусмотрели. У тебя будет хорошая работа и хорошая зарплата. Потому что ты нам помогаешь.

— Разве? — удивился я.

— Мы ведь всегда помогаем своим друзьям, верно? — Тут он снова взял меня за руку, кто-то крикнул: «Улыбочку!», я, как bezumni, без единой мысли в bashke осклабился, и — щелк, бум, трах — заработали фоторепортеры, снимая меня с Минвнуделом в обнимку. — Молодец, — похвалил меня великий деятель. — Ты хороший парень. Вот, это тебе в подарок.

Подарок — сияющий полированный ящик — тут же внесли в дверь, и я сразу понял, что это такое. Стереоустановка. Ее поставили рядом с кроватью, соединили шнуры, и какой-то vek из свиты министра включил ее в розетку.

— Ну, кого поставим? — спросил очкастый diadia, тасуя передо мной целую стопку пластинок в глянцевых роскошных обертках. — Моцарта? Бетховена? Шенберга? Карла Орфа?

— Девятую, — сказал я. — Мою любимую Де-

вятую.

И Девятая зазвучала, бллин. Народ на цыпочках, молча стал расходиться, а я лежал с закрытыми глазами и слушал восхитительную музыку. «Ты хороший, хороший парень», — тронув меня за плечо, проговорил министр и вышел. Какой-то vek, оставшийся последним, сказал: «Вот, здесь подпиши». Я открыл glazzja и подписал, а что подписал — без понятия, да и не желал я, бллин, ничего ponimatt. После этого меня оставили наедине с великолепием Девятой Людвига вана.

О, какой это был kaif, какой baldiozh! Когда началось скерцо, мне уже виделось, как я, радостный, легконогий, вовсю полосую вопящий от ужаса белый свет по morder своей верной очень-очень опасной britvoi. А впереди была еще медленная часть, а потом еще та, где поет хор. Я действительно выздоровел.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

— Ну, что же теперь, а?

Теперь представьте себе меня, вашего скромного повествователя, с тремя koreshami — Леном, Риком и Бугаем, которого так прозвали за толстую bytshju шею и громкий bytshi kritsh — гыыыыыыыы! Сидим, стало быть, в молочном баре «Korova», шевеля mozgoi насчет того, куда бы убить вечер — подлый такой, холодный и сумрачный зимний вечер, хотя и сухой. Вокруг народ в otpade — tastshatsia от молока плюс велосет, синтемеск, дренкром и всяких прочих shtutshek, от которых идет тихий baldiozh, и ты минут пятнадцать чувствуешь, что сам Господь Бог со всем его святым воинством сидит у тебя в левом ботинке, а сквозь mozg проскакивают искры и фейерверки. Но мы не это пили, мы пили «молоко с ножами», как это у нас называлось, — от него идет tortsh, и хочется dratsing, хочется gasitt кого-нибудь по полной программе, одного всей kodloi, но это я уже объяснял в самом начале.

Каждый из нас четверых был одет по последней моде, что в то время означало пару широченных штанов и просторную, сияющую черным

лаком кожаную kurtenn, надетую на рубашку с открытым воротом, под которым намотан шейный платок. Еще в то время было модно брить tykvu, чтобы посередине все было лысо, а volosnia только по бокам. Что же касается обувки, тут ничего нового не наметилось: все те же мощные govnodavy, чтобы пинаться.

— Ну, что же теперь, а?

Я был как бы за главаря в нашей четверке, koresha видели во мне предводителя, но мне иногда казалось, что Бугай vtiharia подумывает о том, чтобы взять верх, — ведь он такой большой и сильный и у него такой громкий kritsh на тропе войны. Однако все идеи исходили от вашего скромного повествователя, бллин, а кроме того, играло свою роль и то, что я был вроде как знаменитость; все-таки фото в газетах, статьи про меня и всякий прочий kal. К тому же я куда как лучше всех был устроен в смысле работы — служил в национальном архиве грамзаписи, в музыкальном отделе, и в конце каждой недели карманы у меня ломились от babok, да еще и диски имел бесплатно для моего собственного услаждения.

В тот вечер в «Korove» собралось множество vekov, kis, devotshek и malltshikov, которые пили, смеялись и посреди разговора vypadali, разража-

ясь чем-нибудь вроде «Горгорская приятуха, когда червяк вдрызг натюльпанит по кабыздохам», а из динамиков стереустановки несся всякий эстрадный kal типа Неда Ахимоты, который тогда как раз пел «Эх, денек, ух, денек, йе-йе-йе». У бара стояли три devotshki, прикинутые по последней моде nadtsatyh: длинные нечесаные patly, крашенные в белый цвет, накладные grudi, торчащие вперед на полметра, и коротюсенькие юбчонки в обтяжку с торчащими из-под них беленькими кружавчиками, на которые все поглядывал Бугай, вновь и вновь повторяя: «Эй вы, пошли к тем лошадкам, есть шанс проехаться, ну, хоть троим из нас. Все равно ведь Лену это не нужно. Пускай сидит тут, своему богу молится». А Лен не соглашался; «Nafig-nafig, как же тогда дух товарищества, как же тогда один за всех и все за одного, а, дружище?» Я же, ощутив одновременно dikuju усталость и вместе с тем щекочущий прилив энергии, сказал:

— Ноги-ноги-ноги!

— Куда? — спросил Рик, у которого litso было как у лягушки.

— Да так, поглядим просто, что там происходит в стране великих возможностей, — ответил я. Но при этом, бллин, я ощущал ужасную скуку и

какую-то вроде как безнадежность, причем это уже не в первый раз так бывало за последние дни. Я повернулся к ближайшему hanyge — он сидел на бархатном сиденье, которое вкруговую шло вдоль стен zavedenija, к тому то есть, кто бормотал v otpade, и vrezal ему — хрясь, хрясь, хрясь — в puzo. Но он ничего не почувствовал, бллин, и продолжал бормотать свое: «Катится, катится колбасиной псиной балбарбасиной, а может дулдырдубиной?» С тем мы и выкатились в зимнюю необъятную notsh.

Пошли сперва по бульвару Марганита, ментов видно не было, поэтому, когда нам встретился starikashka, который как раз отошел от киоска, где он покупал газету, я сказал Бугаю: «Давай, Бугаек, прояви способности, коли желаешь». Все чаще и чаще в последнее время я только отдавал распоряжения, а потом отходил назад поглядеть, как их выполняют. Ну, Бугай vrezal ему — бац, бац, бац, — другие двое повалили и с хохотом принялись пинать, а потом мы дали ему уползти, стеная и голося, к месту проживания. Бугай говорит;

— Как насчет стаканчика чего-нибудь покрепче для sugreva, а, Алекс? — Потому что мы были уже совсем близко от бара «Дюк-оф-Нью-Йорк».

Другие двое закивали — да, да, — а сами на меня смотрят, дескать, как я к этому отнесусь. Я тоже кивнул, и мы двинулись. Заходим, сидят те же старые ptitsy, или, по-нашему, sumki или babushki, про которых в начале было, и сразу же они завели свое:

— Добрый вечер, ребятки, дай Бог вам здоровья, мальчики, и какие же вы чудные, и какие хорошие, — а сами ждут, когда мы скажем: «Ну, что девушкам заказать?» Бугай позвонил в kolokol, и пришел официант, на ходу вытирая rukery o griazni фартук.

— Капусту на стол, ребята! — скомандовал Бугай, звякнув вынутой из карманов горстью монет. — Виски для нас и то же самое старым babushkam. Годится?

А я говорю:

— К черту. Пускай на свои пьют. — Не знаю, что на меня накатило, но в последние дни я что-то был не в себе. Какая-то злость вступила в голову, хотелось, чтобы деньги мои оставались при мне, мне их зачем-то вроде как копить приспичило. Бугай удивился:

— Что за дела, koresh? Что это с нашим Алексом?

— Да ну к черту, — скривился я. — Не знаю. Сам

не знаю. С нашим Алексом то, что он не хочет швыряться деньгами, которые с таким трудом заработал, вот и все.

— Заработал? — вскинулся Рик. — Заработал? Да ведь их же не надо зарабатывать, и ты это сам лучше нашего знаешь, старина. Брать, и все тут, просто вроде как брать, да и все. — И он громко расхохотался, так что я увидел, что два или три из его zubbjev были порченые.

— Это, — проговорил я, — надо еще подумать. — Однако, видя, как эти babusi прямо аж трясутся в предвкушении бесплатной выпивки, я вроде как пожал плечами, вынул капусту из кармана, где у меня монеты были вперемешку с бумажками, и бросил — deng-deng-hrust-deng — их все на стол.

— Значит, всем виски? — сказал официант. Но я зачем-то возразил:

— Нет, парень, мне только маленькую пива. — На что Лен, озабоченно нахмурившись, отозвался так:

— Ну, ты, бллин, vashtsheee! — И, плюнув на ладонь, потянулся приложить ее к моему лбу — дескать, аж шипит, до чего перегрелся, но я рыкнул на него, как злой pios, чтобы он это дело бросил. — Хорошо, хорошо, не буду, — сказал он. — Все putiom. Все, как скажешь. — А Бугай

в это время, открыв rot, уставился на фото, которое я случайно вытащил из кармана вместе с деньгами. — Так-так-так-так, — говорит. — А мы и не знали.

— Дай сюда! — рявкнул я и выхватил у него фотографию. Я и сам не знаю, как она попала ко мне в карман, однако я ее зачем-то собственноручно вырезал ножницами из старой газеты, а изображен на ней был младенец. Младенец чего-то там гулюкал, на губах у него пузырилось moloko, — в общем, вид у него был такой, будто он радуется всем и каждому; он был nag и весь подернут складчатым жирком, потому что это был очень упитанный младенец. Тут начались smeshki, попытки вырвать у меня фотку, так что пришлось снова рявкнуть, выхватить у них этот кусок газеты, после чего я разодрал его на множество мелких обрывков, которые снежинками полетели на пол. Тут подоспело виски, и babushki опять принялись нас благословлять, желать нам здоровья и долголетия, провозглашая нас всяческую хвалу и прочий kal. А одна из них, вся морщинистая и без единого зуба во ввалившемся rtu, сказала:

— Не надо рвать деньги, сынок. Если они не нужны тебе, отдай друзьям, — что с ее стороны

было очень смело. Но Рик ей ответил:

— Это вовсе не деньги были, babushka. Это была картинка с младенчиком-симпампунчиком.

А я говорю:

— Просто я что-то уставать стал, вот и все. А что младенец — так это сами вы младенцы, вся ваша kodla. Все бы вам хихикать да насмехаться, а если бить людям morder, так только трусливо, когда вам не могут дать сдачи.

— Гляди-ка ты, — отозвался Рик, — а мы-то думали, что как раз ты у нас по этой части и есть главный vozhdd и учитель. Ты просто заболел, видать, вот и все, koresh.

Я поглядел на стакан помойного пива, стоявший передо мной на столе, и, чуть не blevanuv, с возгласом «Аааааааах» вылил всю эту пенистую вонючую motshu на пол. Одна из старых ptits даже привстала:

— Сам не пьешь, зачем же продукт портить?

— Слушайте, koresha, — сказал я. — Что-то я сегодня не в духе. Почему, отчего — я и сам не знаю, но ничего не попишешь. На дело нынче пойдете сами, втроем, а я otstiogivajuss. Завтра встретимся там же, в то же время, и надеюсь, что настроение у меня будет получше.

— Надо же! — сказал Бугай. — Жалко, жалко. —

Но мне-то видно было, как заблестели его glazzja, потому что нынче ночью он будет у них главным. Власть, власть, всем нужна власть. — А может, отложим на завтра? — неохотно проговорил он. — Ну, в смысле, что на сегодня планировали. Krasting в лавке на Гагарина-стрит. Ты бы там здорово pripodnialsia, koresh.

— Нет, — сказал я. — Ничего не откладывайте. Действуйте сами, по своему усмотрению. А теперь, — вздохнул я, — все, ухожу. — И я поднялся со стула. — И куда пойдешь? — спросил Рик. — Пока bez poniatija, — отвечаю. — Побуду немного odinoki, подумаю, что к чему.

Babushki пораженно провожали меня взглядами — чего, мол, это с ним, угрюмый какой-то весь, совсем не тот шустрый и веселый malltshipalltshik, каким мы его помним. Но я, выдохнув напоследок; «А, к tshiortu», распахнул дверь и вышел один на улицу.

Было темно, задувал резкий и острый, как nozh, ветер, людей вокруг почти не было. Только ездили туда-сюда патрульные машины с жестокими мусорами, да на перекрестках там и сям парами стояли, переминаясь от холода с ноги на ногу, совсем молоденькие менты, и в морозном воздухе видны были струйки пара от их дыхания. Думаю,

что и впрямь krasting и dratsing на улицах пошел на убыль: больно уж мусора жестоко обходились с теми, кого удастся поймать, зато между ментами и хулиганистыми nadtsatymi разыгралась настоящая война, причем менты, похоже, куда ловчей управлялись и с nozhom, и с britvoi, не говоря уж о револьверах. Однако мне это становилось с каждым днем все более и более do lampotshki. У меня внутри словно какое-то размягчение началось, и я не мог понять отчего. Чего-то хотелось, а чего — неясно. Даже музыку, которой я так любил услаждать себя в своей маленькой комнатухе, я теперь слушал такую, над которой раньше бы только смеялся, бллин. Перешел на короткие лирические песенки, так называемые «зонги» — просто голос и фортепьяно, тихие, вроде как даже тоскливые, не то что раньше, когда я слушал большие оркестры, лежа в кровати и воображая себя среди скрипок, тромбонов и литавр. Что-то во мне происходило, и я силился понять, болезнь ли это какая-нибудь или последствия того, что сделали с моей головой, пытаясь напрочь свести с ума и повредить мне rassudok.

Так, склонив голову и глубоко сунув руки в карманы, я бродил и бродил по городу, пока наконец не почувствовал, что очень устал и мне

позарез нужно подкрепиться хотя бы чашкой tshaja с молоком. Думая про этот tshai, я вдруг вообразил, как я сижу перед большим камином в кресле с чашкой tshaja в руках, причем самое смешное и странное было то, что я виделся себе старым-старым kashkoi, лет этак семидесяти, потому что, глядя на себя как бы со стороны, я видел свои волосы, сплошь седые, к тому же у меня еще вроде как были усы, и тоже седые. В общем, я был старик, сидел у камина, а потом видение исчезло. Но это было очень странно.

Я подошел к одной из кофеен и сквозь длинную-предлинную витрину увидел, бллин, толпу зауряднейших простых людишек с терпеливыми невыразительными litsami, по которым сразу было видно, что эти tsheloveki не обидят и мухи; они сидели там и негромко переговаривались, прихлебывая свой несчастный tshai или кофе. Я вошел, пробрался к прилавку, взял себе большую чашку горячего tshaja с молоком, потом вернулся к столикам и за один из них уселся. За моим столом сидела вроде как молодая пара, они пили кофе, курили tsygarki с фильтром и очень тихо между собой переговаривались, спокойно друг другу улыбаясь, но я на них внимания не обращал, а только прихлебывал tshai, целиком уйдя

в свои видения и мысли о том, что это такое во мне происходит, что меняется и что будет дальше. Однако я заметил, что devotshka, сидевшая с этим vekom, очень даже хорошенькая, причем не из тех, кого хочется сразу швырнуть на пол и взяться за добрый старый sunn-vynn, нет, у нее была действительно изящная фигура, красивое litso, приятная улыбка, белокурые волосы и тому подобный kal. Vek, который был с ней, сидел в шляпе и глядел в сторону от меня, но потом он крутнулся на своем стуле, чтобы посмотреть на большие стенные часы, висевшие в zavedenii, и тут я увидел, кто он, а он увидел, кто я. Это был Пит, один из тех, с кем я был неразлучен во времена, когда само слово «друзья» означало меня, его, Тёма и Джорджика. Пит выглядел очень постаревшим, хотя ему вряд ли могло быть больше девятнадцати с небольшим; он отрастил себе усики, а одет был в обычный деловой костюм. Я говорю:

— Так-так-так-так, koresh, как делишки? Давненько не videliss.

А он говорит:

— Коротышка Алекс, если я не ошибся?

— Ничуть не ошибся, — отвечаю. — Как много воды-то утекло с тех давних прекрасных денеч-

ков. Бедняга Джорджик, я слышал, уже в могиле, а старина Тём ssutshilsia, ментом стал, только мы двое и ostaliss, ты б хоть povedal мне, что у тебя новенького, koresh.

— Как странно он говорит, не правда ли? — проговорила devotshka, вроде как хихикнув.

— Это, — пояснил ей Пит, — мой старый друг. Его зовут Алекс. Разреши, — обратился он ко мне, — я представлю тебе мою жену.

Я даже rot открыл.

— Жену? — выдохнул я. — Как так жену? Быть не может! Для брачных uz ты вроде как чересчур jun, koresh. Да этого просто быть не mozhet!

Девушка, которую Пит представил мне как свою жену (в голове не укладывается), снова хихикнула и говорит Питу:

— Ты что, раньше тоже так разговаривал?

— Ну, — пожал плечами Пит, — мне ведь все-таки скоро двадцать. Вполне уже можно остепениться, что я и сделал два месяца назад. Не забудь, ты ведь был младше нас — из молодых, да ранний.

— Так-так-так. — Я все еще сидел с открытым rotom. — Прям никак… perevaritt… не в состоянии, koresh. Пит, и вдруг женился! Так-так-так.

— У нас своя квартирка, — сказал Пит. — Рабо-

таю в страховой фирме Госфлота, денег, правда, платят маловато, но со временем все образуется, это точно. А Джорджина…

— Как-как? — проговорил я, все еще ошарашенно разевая rot. Жена Пита (жена, бллин!) снова хихикнула.

— Джорджина, — повторил Пит. — Она тоже работает. Машинисткой — ну, на машинке печатает. Ничего, кое-как перебиваемся. — А я на него, бллин, как уставился, так и глаз не могу отвести. Он вроде как и ростом стал повыше, и даже голос стал взрослый, и вообще.

— Ты бы, — сказал Пит, — зашел к нам как-нибудь, посидели бы. А ты по-прежнему совсем мальчишкой смотришься, несмотря на все твои злоключения. Да-да-да, мы про тебя все читали. Хотя ты ведь и впрямь еще совсем молод.

— Мне восемнадцать, — сказал я. — Только что исполнилось.

— Восемнадцать, говоришь? — Пит поднял брови. — Ого. Так-так-так. Ну, нам пора. — И он бросил на эту свою Джорджину нежный и влюбленный взгляд, взял ее руку в свои, и она тоже на него поглядела так, что прямо — о, бллин! — Пока, — бросил мне напоследок Пит, — мы спешим к Грегу на вечеринку.

— К Грегу?

— А, ну конечно! — улыбнулся Пит. — Ты ведь не можешь знать его, естественно. При тебе его еще не было. Ты исчез, и тут появился Грег. Он иногда вечеринки небольшие устраивает. Так, чепуха: коктейли, салонные игры. Но очень мило, очень прилично. Как бы это тебе объяснить — безобидно, что ли.

— Ага, — отозвался я. — Безобидно. Что ж, я это ponimaju. Baldiozhnaja tusovka. — И снова эта самая Джорджина захихикала над моей манерой выражаться. А потом они рука об руку отправились заниматься своими voniutshimi салонными играми у этого Грега, кто бы он ни был. А я остался в odinotshestve допивать tshai, который уже остывал, остался думать и удивляться.

Наверное, в этом все дело, думал я. Наверное, я просто слишком стар становлюсь для той zhizni, бллин, которую вел все это время. Восемнадцать — это совсем немало. В восемнадцать лет у Вольфганга Амадеуса уже написаны были концерты, симфонии, оперы, оратории и всякий прочий kal… хотя нет, не kal, а божественная музыка. Потом еще Феликс М. со своей увертюрой «Сон в летнюю ночь». Да и другие. Еще был французский поэт, которого положил на музыку Бенджи Бритт

— у того вообще все стихи к пятнадцати годам, бллин, уже были написаны. Артюр его звали. Стало быть, восемнадцать лет — это не такой уж и молодой возраст. Но мне-то теперь что делать?

Выйдя из кофейни, я долго слонялся по отчаянно холодным зимним улицам, и передо мной возникали все новые и новые видения, разворачиваясь и сменяя друг друга, будто в газетных комиксах. Вот ваш скромный повествователь возвращается с работы домой, а его там ждет накрытый стол и горячий обед, причем подает его этакая kisa, вся довольная и радостная и вроде как любящая. Но хорошенько разглядеть ее мне не удавалось, бллин, и я не мог представить себе, кто это такая. Однако вдруг возникало очень ясное ощущение, что если я перейду из комнаты, где горит камин и накрыт стол, в соседнюю, то там как раз и обнаружу то, что мне на самом деле нужно, и тут все сошлось воедино — и картинка, вырезанная ножницами из газеты, и случайная встреча с Питом. Потому что в соседней комнате в колыбельке лежал гулюкающий младенец, мой сын. Да, да, да, бллин, мой сын. И вот уже я чувствую, как в груди появляется сосущая пустота, и сам же этому ощущению удивляюсь. И вдруг я понял, что со мной, бллин, происходит. Я просто

вроде как повзрослел.

Да, да, да, вот оно. Юность не вечна, о да. И потом, в юности ты всего лишь вроде как животное, что ли. Нет, даже не животное, а скорее какая-нибудь игрушка, что продаются на каждом углу, — вроде как жестяной человечек с пружиной внутри, которого ключиком снаружи заведешь — др-др-др, и он пошел вроде как сам по себе, бллин. Но ходит он только по прямой и на всякие vestshi натыкается — бац, бац, к тому же если уж он пошел, то остановиться ни за что не может. В юности каждый из нас похож на такую malennkuju заводную shtutshku.

Сын, сын, мой сын. У меня будет сын, и я объясню ему все это, когда он подрастет и сможет понять меня. Однако только лишь подумав это, я уже знал: никогда он не поймет, да и не захочет он ничего понимать, а делать будет все те же vestshi, которые и я делал, — да-да, он, может быть, даже убьет какую-нибудь старую ptitsu, окруженную мяукающими kotami и koshkami, и я не смогу остановить его. А он не сможет остановить своего сына. И так по кругу до самого конца света — по кругу, по кругу, по кругу, будто какой-то огромный великан, какой-нибудь Бог или Gospodd (спасибо бару «Korova») все крутит

и крутит в огромных своих ручищах voniutshi griaznyi апельсин.

Но ведь еще найти надо такую kisu, бллин, которая бы стала матерью моему сыну! Я решил, что займусь этим с завтрашнего утра. Вот и чудесно: новый азарт, есть чем заняться. А кстати и рубеж, ворота в новую, неведомую полосу zhizni.

Как я все время спрашивал? «Что же теперь?» Стало быть, вот что, бллин, причем на этом я и закончу свой рассказ. Вы побывали всюду, куда швыряло коротышку Алекса, страдали вместе с ним, видели кое-кого из самых griaznyh vyrodkov на Bozhjem белом свете, и все были против вашего druga Алекса. А причина тому одна-единственная, и состоит она в том, что я был jun. Но теперь, после всех событий, я не jun, о нет, бллин, уже не jun больше! Алекс стал большой, бллин, вырос наш Алекс.

Туда, куда я теперь пойду, бллин, я пойду odinoki, вам туда со мной нельзя. Наступит завтра, расцветут tsvetujotshki, еще раз провернется гадкая voniutshaja земля, опять взойдет луна и звезды, а ваш старый drug Алекс отправится искать себе пару и всякий прочий kal. Все-таки сволочной этот мир, griazni, podli и voniufshi, бллин. Так что попрощайтесь со своим junym drugom.

А всем остальным в этой истории сотворим салют, сыграв им на губах самую красноречивую в мире музыку: пыр-дыр-дыр-дыр. И пусть они целуют меня в jamu. Но ты, о мой сочувственный читатель, вспоминай иногда коротышку Алекса, каким ты его запомнил. Аминь. И всякий прочий kal.

Вожделеющее семя

Недремлющим Гиллонам посвящается

ЧАСТЬ I
Глава 1

То был день перед той самой ночью, когда ударили ножи официального разочарования.

Беатриса-Джоанна Фокс бормотала сквозь слезы печальные слова несчастной матери, пока двое служащих из отдела регенерации фосфора Министерства сельского хозяйства принимали маленький трупик в желтом пластиковом гробу. Парни были весельчаками, черные лица сияли белизной искусственных зубов, а один из них напевал песенку, недавно ставшую популярной. Ее часто мурлыкали по телевизору хлипкие молодые люди неизвестного пола. Вылетая из луженой глотки мужественного уроженца Вест-Индии, песня звучала нелепо и жутко.

Фредик, крошка сладкий, Милое лицо, С головы до пяток Весь — мое мясцо…

Маленького покойника звали не Фред, а Роджер. Беатриса– Джоанна всхлипнула, но парень продолжал петь, равнодушно занимаясь своим делом, привычка к которому делала его работу легкой.

— Вот и все, — удовлетворенно произнес доктор Ачесон, толстый оскопленный англосакс. — Еще одна порция пятиокиси фосфора для нашей славной старой матушки-земли. Значительно меньше, чем полкило, я бы сказал. Ну что ж, всякая малость на пользу.

Певец теперь превратился в свистуна. Насвистывая, он кивнул головой и протянул квитанцию.

— А если вы сейчас зайдете ко мне в контору, миссис Фокс, — улыбнулся доктор Ачесон, — я выдам вам копиюсвидетельства о смерти. Отнесите его в Министерство бесплодия, и вам выплатят соболезновательные. Наличными.

— Все, что мне нужно, — судорожно вздохнула Беатриса– Джоанна, — чтобы сын был снова со мной.

— Это у вас пройдет, — бодро заверил ее доктор Ачесон.

— У всех проходит.

Он благосклонно наблюдал за тем, как двое чернокожих несут гроб по коридору, направляясь к лифту. Двадцать один этаж вниз, а там их ждет фургон.

— И подумайте, — добавил Ачесон, — подумайте об этом в национальном масштабе. В мировом

масштабе. Одним ртом меньше. Одним фунтом пятиокиси фосфора для удобрения земли больше. Вы знаете, миссис Фокс, в некотором смысле вы получите вашего сына назад.

Он провел ее в свою крошечную контору.

— Мисс Хершхорн, — обратился Ачесон к секретарше, — свидетельство о смерти, пожалуйста.

Мисс Хершхорн, девица тевтоно-китайского происхождения, скороговоркой прокрякала данные в аудиограф, и из щели выползла отпечатанная карточка. Доктор Ачесон поставил свою подпись, округлую, женскую.

— Пожалуйста, миссис Фокс, — проговорил он, — и постарайтесь посмотреть на все это разумно.

— Я вижу, — взорвалась Беатриса-Джоанна, — я вижу, что вы могли бы спасти его, если б захотели! Но вы подумали, что дело не стоит труда. Чем кормить еще один рот, лучше отдать его государству в виде фосфора. О, вы все такие бессердечные!

Она снова заплакала. Мисс Хершхорн, плоская худая девица с собачьими глазами и совершенно прямыми черными волосами, состроила презрительную гримаску, глядя на доктора Ачесона. Разумеется, они привыкли к таким сценам.

— Он был очень плох, — проговорил доктор Ачесон мягко.

— Мы сделали все, что могли. Гоб знает, чего мы только не делали. Но такого рода менингиальная инфекция развивается очень быстро, понимаете, просто стремительно. Кроме того, — добавил он с упреком, — вы привели его к нам слишком поздно.

— Я знаю, я знаю. Я сама виновата. — Крошечный носовой платочек Беатрисы-Джоанны был мокрым насквозь. — Но я думала, что его можно спасти. И мой муж думал так же. Но похоже, что человеческая жизнь вас больше просто не заботит. Никого из вас. О, бедный мой мальчик!

— Мы заботимся о человеческой жизни, — произнес доктор Ачесон строго. — Мы заботимся о стабильности. Мы заботимся о том, чтобы на земле не стало слишком тесно. Мы заботимся о том, чтобы вдоволь накормить всех. Мне кажется, — продолжал он более доброжелательно, — вам нужно немедленно пойти домой и отдохнуть. На обратном пути покажите это свидетельство в аптеке и попросите пару таблеток успокаивающего. Ну полно, полно.

Ачесон потрепал женщину по плечу.

— Вы должны быть благоразумны. Попробуй-

те быть современной. Вы же умная женщина. Оставьте материнство простому народу, как это и предназначено природой. Теперь, конечно, — улыбнулся он, — предполагается, что вы будете вести себя по правилам. Вы уже использовали рекомендованную норму. Для вас нет больше материнства. Попытайтесь избавиться от чувства материнства.

Доктор Ачесон снова потрепал Беатрису-Джоанну по плечу, а затем чуть хлопнул легонько напоследок: «Ну, а теперь простите меня…»

— Никогда, — проговорила Беатриса-Джоанна. — Я никогда не прощу вас. Никого не прощу.

— Всего хорошего, миссис Фокс.

Мисс Хершхорн включила маленькое речевое устрой ство; идиотский искусственный голос принялся декламировать расписание встреч доктора Ачесона на вторую половину дня. Сам Ачесон бесцеремонно повернулся к Беатрисе-Джоанне толстым задом: Все было ясно: сын ее скоро превратится в пятиокись фосфора, а вот она — просто хнычущая и всем мешающая зануда.

Беатриса-Джоанна высоко подняла голову и промаршировала в коридор, а затем к лифту. Она была красивой женщиной двадцати девяти лет, красивой по-старому, а не так, как теперь тре-

бовали приличия от женщин ее круга. Прямое, лишенное элегантности черное платье без талии не могло скрыть ни тяжеловатого изящества ее бедер, ни прелестной линии живота. Волосы цвета сидра Беатриса-Джоанна носила по моде: прямые и с челкой, лицо было припудрено обычной белой пудрой, духами от нее не пахло (духи предназначались только для мужчин). И все же, несмотря на горе и вызванную этим бледность, казалось, что она так и пышет здоровьем и угрожающе предрасположена к плодовитости, что ныне подлежало строгому осуждению. Было в Беатрисе-Джоанне что-то атавистическое, вот и сейчас она инстинктивно содрогнулась при виде двух женщин-рентгенологов в белых халатах, вышедших из своего отделения в другом конце коридора. Они медленно направлялись к лифту, глядя друг на друга и влюбленно улыбаясь, пальцы рук были переплетены.

Теперь такое поощрялось, лишь бы избежать естественных последствий общения полов. Вся страна была залеплена кричащими плакатами Министерства бесплодия, изображавшими (по странной иронии, в ярких «детских» цветах) обнимающиеся парочки одного пола. Плакаты были снабжены надписью: «Быть Homo — Sapiens».

В Институте гомосексуализма даже работали вечерние курсы.

Входя в лифт, Беатриса-Джоанна с отвращением посмотрела на обнимающуюся и хихикающую пару. Эти две женщины, обе кавказского типа, классически дополняли друг друга: пушистая кошечка и коренастая лягушка-бык. Почувствовав тошноту, Беатриса-Джоанна повернулась спиной к целующимся.

На пятнадцатом этаже в лифт вошел франтоватый молодой человек с толстыми ляжками, одетый в хороший сшитый пиджак без лацканов, обтягивающие брюки ниже колен и цветастую рубашку с воротником стойкой. Он бросил полный отвращения взгляд на двух любовников и раздраженно передернул плечами, выражая равное отвращение к полной женственности Беатрисе–Джоанне. Быстрыми привычными движениями франт начал краситься, жеманно улыбаясь своему отражению в зеркале лифта, когда помада касалась его губ. Влюбленные хихикали то ли над ним, то ли над Беатрисой-Джоанной. «Что за мир?» — подумала она, когда лифт тронулся вниз. Однако, разглядев исподтишка молодого человека более пристально, Беатриса– Джоанна подумала, что, возможно, это всего лишь ловкое

прикрытие. Может быть, он, как и ее деверь Дерек, ее любовник Дерек, непрерывно играет на публике какую-то роль, и его положение, возможность продвижения по службе зависят от этой огромной лжи. Но Беатриса-Джоанна не могла не подумать снова (ей часто приходила в голову эта мысль), что в человеке, который так себя ведет, есть, должно быть, что– то изначально порочное. Сама она — в этом она была уверена — никогда не смогла бы притворяться, никогда не смогла бы пройти через жидкое дерьмо извращенной любви, даже если бы от этого зависела ее жизнь. Мир сошел с ума. Чем все это кончится?

Лифт достиг первого этажа, Беатриса-Джоанна сунула сумочку под мышку и снова высоко подняла голову, приготовившись храбро нырнуть в этот сумасшедший мир. По какой-то причине створки дверей лифта не открылись. («Приехали», — нетерпеливо тряся двери, пробормотал толстозадый франт.) В этот момент инстинктивного страха быть пойманной в ловушку больное воображение Беатрисы-Джоанны превратило кабину лифта в желтый гроб, полный будущей пятиокиси фосфора.

— О, — всхлипнула она тихо, — бедный мой маленький мальчик.

— Натурально застряли, — прочирикал в ответ на ее всхлипывания юный денди, сверкая цикламеновой помадой.

Створки двери лифта расцепились и разошлись в стороны. Плакат на стене вестибюля изображал двух обнимающихся друзей мужского пола. Надпись гласила: «Возлюби ближнего своего». Подруги-любовницы захихикали, глядя на Беатрису-Джоанну.

— Идите вы к черту! — выкрикнула она, вытирая слезы. — Идите вы все к черту! Дерьмо вы, вот вы кто, дерьмо!

Молодой человек дернулся, недовольно фыркнул и удалился, покачивая бедрами. Лесбиянка, похожая на лягушку– быка, обхватила подругу руками, как бы защищая, и вперила в Беатрису-Джоанну ненавидящий взгляд.

— Я ей покажу «дерьмо», — хрипло проговорила она. — Я ей самой рожу дерьмом отполирую, вот что я сделаю!

— О, Фреда, — томно пропела подруга, — ты такая храбрая…

Глава 2

В то время как Беатриса-Джоанна спускалась вниз, ее муж, Тристрам Фокс, поднимался вверх. Он с шумом летел в лифте на тридцать второй этаж четвертого отделения Единой мужской школы южного Лондона, что в районе Канала. Десятая группа пятого класса в количестве шестидесяти человек ждала его. Тристрам должен провести» урок новой истории. На задней стене лифта висела карта Великобритании, полузакрытая тушей Джордана, магистра искусств. Карта была новая, школьное издание. Интересно… Большой Лондон, ограниченный морем с юга и востока, все дальше вгрызался в Северную и Западную провинции: новая граница на севере проходила от Лоустофта до Бирмингема, на западе спускалась от Бирмингема до Борнмута. Поговаривали, что потенциальным мигрантам из провинций нет нужды переезжать в Большой Лондон, им нужно просто подождать. Сами провинции еще были разделены по-старому на графства, но вследствие расселения, иммиграции и смешанных браков старые национальные обозначения «Уэлье» и «Шотландия» больше не несли в себе точного

смысла.

Бек, преподававший математику в младших классах, говорил Джордану: «Кто-то из них непременно должен уничтожить другого. Компромисс — вот что всегда было нашей бедой, либеральный порок компромисса. Семь септов в гинее, десять таннеров в кроне, восемь тошронов в квиде… Бедная молодежь не понимает, где живет. Для нас невыносимо что– нибудь выбросить, это наш большой национальный грех…»

Тристрам вышел из лифта, оставив старого лысого Бека продолжать свою обличительную речь. Он прошел к пятому классу, открыл дверь и прищурился, глядя на своих мальчиков. Через обращенное к морю окно майское солнце ярко освещало их пустые лица, пустые стены…

Тристрам начал урок:

— Тема: «Последовательная категоризация двух главных противостоящих политических идеологий в свете основных теолого-мифических концепций».

Он не был хорошим преподавателем. Говорил Тристрам слишком быстро для учеников, использовал слова, которые им было трудно писать, и имел склонность бормотать себе под нос что-то нечленораздельное.

Класс покорно пытался записать в тетради все, что он говорил.

— Пелагианство, — объяснял Тристрам, — когда-то считалось ересью. Его даже называли Британской Ересью. Может кто-нибудь назвать мне другое имя Пелагия?

— Морган, — ответил прыщавый мальчик по фамилии Морган.

— Правильно. Оба имени означают «человек моря». Мальчик, сидевший за спиной Моргана, просвистел сквозь зубы нечто напоминавшее звук волынки и толкнул его в спину.

— Кончай! — прошипел Морган.

— Так вот, — продолжал Тристрам. — Пелагий происходил из рода, который некогда населял Западную провинцию. Он был тем, кого в старые религиозные времена называли монахом. Монах.

Тристрам энергично встал из-за стола и вывел это слово желтым мелом на синей доске, словно боялся, что ученики не смогут правильно записать его. Затем он снова сел за стол.

— Пелагий отрицал учение о первородном грехе и утверждал, что человек способен сам добиться своего спасения. — Лица мальчиков ничего не выражали.

— Пусть вас это пока не волнует, — мягко произнес Тристрам. — Вам только нужно запомнить, что все это подразумевает способность человека к совершенствованию. Таким образом, можно заметить, что пелагианство лежит в основе либерализма и происходящих от него теорий, в частности социализма и коммунизма, Я говорю слишком быстро?

— Да, сэр! — раздался в ответ лай и визг шестидесяти ломающихся голосов.

— Так…

Мягкие черты лица Тристрама были такими же невыразительными, как и у его учеников, но глаза за стеклами контактных линз возбужденно блестели. Волосы его по– негритянски курчавились, ороговевшая кожица на пальцах наполовину скрывала синеватые полукружия на ногтях. Тристраму было тридцать пять лет, и четырнадцать из них он учительствовал. Зарабатывал Тристрам чуть больше двухсот гиней в месяц, но с тех пор, как умер Ньюик, у него была надежда, что его поставят во главе факультета общественных наук. Это означало бы существенное повышение жалованья, более просторную квартиру и лучший старт в этот мир для юного Роджера. Тут он вспомнил: Роджер мертв.

— Так! — повторил Тристрам, словно сержант-инструктор тех времен, когда еще не был установлен Вечный Мир. — Августин, с другой стороны, настаивал на врожденной греховности человека и на необходимости искупления грехов с помощью милости Божией. Эта идея лежала в основе консерватизма, непротивленчества и других отсталых политических воззрений.

Тристрам широко улыбнулся классу.

— Противостоящий тезис, понимаете, — ободряюще проговорил он. — Право же, все очень просто.

— Я не понимаю, сэр, — прогудел здоровый нахальный парень по фамилии Эбни-Хастингс.

— Ну, дело в том, — терпеливо продолжал Тристрам, — что старые консерваторы ничего хорошего от человека не ждали. Человек рассматривался ими как природный стяжатель, требующий для себя лично все больше и больше материальных благ, как недоверчивое и эгоистическое создание, не слишком озабоченное прогрессом общества. Воистину, слово «грех» единственная замена слову «эгоизм», запомните это, джентльмены.

Он нагнулся вперед, проехав сцепленными руками по крышке стола, покрытой желтой

меловой пудрой, словно песком, принесенным ветром.

— Что бы вы сделали с человеком, который любит только себя? — спросил Тристрам. — Вот скажите мне.

— Побили бы его немного, — ответил белобрысый мальчик, которого звали Ибрагим ибн Абдулла.

— Нет. — Тристрам покрутил головой. — Ни один августинец не поступил бы так. Если вы ждете от человека самого худшего, то никаких разочарований он вам принести уже не может. Только человек с неоправдавшимися надеждами прибегает к насилию. Пессимист — так по-другому можно назвать августинца — испытывает нечто вроде мрачного удовольствия, наблюдая, как глубоко может пасть человек. Чем больше он видит греха, тем прочнее утверждается его вера в Первородный Грех. Каждому приятно получить подтверждение своих глубоких убеждений, удовлетворенность такого рода — одна из самых желанных для человека…

Тристраму вдруг стало невыносимо скучно от своих банальных объяснений. Он внимательно, ряд за рядом, оглядел свой класс, шестьдесят человек, словно пытался найти нарушителей дис-

циплины, но все сидели смирно и внимательно слушали. Пай-мальчики, решившие подтвердить тезис Пелагия.

На запястье у Тристрама трижды пропищало микрорадио. Он поднял руку к голове. Тоненький голосок, словно голос совести, еле слышно произнес, усиливаясь на взрывных звуках: «Пожалуйста, после этого урока зайдите к директору».

Прекрасно, вот и решение, вот и решение… Скоро он займет место покойного бедняги Ньюика, а может быть, и жалованье начислят задним числом…

Теперь Тристрам стоял совершенно неподвижно, по– адвокатски держась руками за те места на пиджаке, где находились лацканы в те времена, когда пиджаки шили с лацканами.

С новой энергией он продолжил урок.

— В настоящее время, — заговорил Тристрам, — у нас не существует политических партий. Наша старая привычка делить на черное и белое сидит в нас, мы признаем это, но она не подразумевает простого деления на секты и фракции. Мы совмещаем в себе и Бога, и дьявола, хотя и не одновременно. Только мистер Лайвгоб может это делать, а мистер Лайвгоб, как вы понимаете, просто вымышленный персонаж.

Мальчики заулыбались. Они все любили «Приключения мистера Лайвгоба», печатавшиеся в «Космикомике». Мистер Лайвгоб был смешным толстым коротышкой, демиургом, sufflaminandus1, как Шекспир, и плодившим ненужные жизни по всей земле. Это он устроил перенаселение. Ни одна из авантюр Лайвгоба, однако, никогда не заканчивалась успехом: мистер Гомо, человек-повелитель, всегда заставлял его подчиниться.

— Богословская теория, лежащая в основе наших противостоящих друг другу доктрин — пелагианства и авгус– тинства, не имеет больше никакого значения. Мы используем их мифические символы потому, что они более других подходят нашей эпохе, эпохе, которая все больше и больше полагается на ощущение, иллюстративность, пиктографичность… Петтман!

— неожиданно весело закричал Тристрам. — Ты что-то ешь. Ешь в классе! Ведь этого нельзя делать, не так ли?

— Я не ем, сэр, — ответил Петтман. — Правда, сэр.

У мальчишки была медная кожа дравида и ярко выраженные черты индейца.

— Это все зуб, сэр. Мне все время приходится

его посасывать, чтобы он не болел, сэр.

— У парня твоего возраста не должно быть зубов, — сказал Тристрам. — Зубы — это атавизм.

Он замолчал. То же самое он часто говорил Беатрисе– Джоанне, у которой были прекрасные естественные зубы как на верхней, так и на нижней челюсти. В начале их супружеской жизни она любила покусывать Тристрама за мочки ушей. «Не надо, дорогая. О, милая, мне больно…» А потом был маленький Роджер. Бедный маленький Роджер.

Тристрам вздохнул и поспешил продолжить урок.

Глава 3

Беатриса-Джоанна решила, что, несмотря на натянутые нервы и пульсирующую боль в затылке, она не будет брать успокаивающего в аптеке. И вообще ей больше ничего не нужно от государственной службы здравоохранения, спасибо большое.

Беатриса-Джоанна глубоко вздохнула, словно собиралась нырять, и бросилась в людскую кашу, заполнявшую огромный вестибюль больницы. Смешение разноцветных лиц, черепов, носов и

губ — как в зале международного аэропорта. Беатриса– Джоанна протолкалась к выходу и постояла некоторое время на ступенях, вдыхая свежий воздух улицы. Эпоха личного транспорта давно миновала, только казенные фургоны, лимузины и автобусы ползли по улице, забитой пешеходами. Беатриса– Джоанна посмотрела вверх. Неимоверной высоты здания упирались в майское небо, зелено-голубое, с перламутровой дымкой цвета утиного яйца, пестрое и шелушащееся. Пульсирующе-голубая и седовато-сверкающая высота. Смена сезонов была единственным неизменным фактом, вечным возрождением, круговоротом. Но в современном мире круг превратился в символ статичности, замкнутого шара, тюрьмы. Наверху, на высоте по крайней мере двадцатого этажа, на фасаде Института демографии был укреплен барельеф в виде круга и прямой линии, примыкающей к нему по касательной. Барельеф символизировал желанное решение проблемы народонаселения: касательная, вместо того чтобы тянуться в бесконечность, имеет длину, равную длине окружности. Стасис. Равновесие между населением мира и обеспечением его продовольствием. Умом Беатриса-Джоанна все понимала, но тело ее, тело матери, потерявшей

ребенка, кричало: «Нет, нет!» Все это означало отрицание столь многих вещей, а жизнь, именем разума, поносилась… Ветерок с моря коснулся ее левой щеки.

Беатриса-Джоанна пошла прямо на юг вдоль длинной лондонской улицы. Величие огромных, головокружительной высоты зданий из камня и металла сводилось на нет вульгарностью рекламы и лозунгов. «Солнечный сироп Глоуголда». «Национальное стереотелевидение». «Синтеглот». Беатриса-Джоанна проталкивалась сквозь толпу, двигавшуюся ей навстречу, на север. Она заметила больше, чем обычно, людей в форме серого цвета — полицейских, мужчин и женщин. На многих из них обмундирование сидело неуклюже, как на новобранцах. Беатриса-Джоанна шла дальше. В конце улицы, словно греза наяву, блеснуло море. Это был Брайтон, административный центр Лондона, если, конечно, береговую линию можно назвать центром. Беатриса-Джоанна устремилась к прохладной зеленоватой воде, насколько ей позволял людской поток, перетекавший на север. Видневшееся в конце этого узкого глубокого ущелья море всегда манило естественностью, свободной ширью, но стоило выйти на берег, как наступало разочарование:

примерно через каждые сто метров, вытянувшись в сторону Франции, стояли широкие молы, плотно застроенные офисами и ульями жилых домов. Но чистый соленый бриз дул по– прежнему, и Беатриса-Джоанна жадно пила его. У нее было интуитивное убеждение, что если бы Бог существовал, то Он бы жил в море. Море говорило о жизни, шептало и кричало о плодородии, ничто не могло насовсем заглушить его голос. «Уж лучше бы, — пришла в голову Беатрисе-Джоанне безумная мысль,

— лучше бы бросить тело бедного Роджера в эти бурные воды, чтобы его унесло в море и там его съели рыбы, чем хладнокровно превратить в химикалии и спокойно удобрить ими землю». У нее было невероятной силы предчувствие, что Земля умирает, что море скоро станет последним хранилищем жизни. «Бескрайнее море наделено безумием, шкура пантеры и мантия, на которую нанизаны тысячи идолов солнца…» Где-то она это читала, это был перевод с одного из вспомогательных языков Европы. Море, пьяное от своей голубой плоти, гидра, кусающая собственный хвост. «Море, — произнесла Беатриса-Джоанна тихо, потому что набережная была так же переполнена людьми, как и улица, которую она

только что покинула, — море, помоги нам. Мы больны, о море. Верни нам здоровье, верни нам жизнь».

— Что вы сказали?..

Это был стареющий мужчина, англосакс, прямой, румяный, веснушчатый, с седыми усами. В эпоху существования войн его бы сразу же приняли за отставного военного.

— Вы ко мне обращаетесь?

— Простите.

Покраснев под слоем пудры, Беатриса-Джоанна быстро ушла вперед, инстинктивно поворачивая к востоку. Ее взгляд привлекла колоссальная бронзовая статуя, вызывающе торчавшая над Домом Правительства на километровой высоте. Она изображала бородатого человека, одетого в стргу*юмантию*, пристально глядящего на солнце. По ночам статуя подсвечивалась прожекторами, служа ориентиром для кораблей. Это был «Человек Моря», Пелагий. Но Беатриса-Джоанна помнила время, когда он был Августином. Говорили также, что ему пришлось побывать и Королем, и Премьер-Министром, и популярным бородатым гитаристом Элиотом (давно почившим певцом бесплодия), и Министром Рыбоводства, и капитаном команды «Священная

игра одиннадцати мужчин из Херт-форшира», и — чаще всего и наиболее успешно — великим незнакомцем, магическим Анонимом.

Рядом с Домом Правительства, бесстыдно глядя на плодородное море, стояло приземистое здание поскромнее, в двадцать пять этажей, где находилось Министерство бесплодия. Над портиком здания находился неизбежный круг, целомудренно целующий касательную, а также большой барельеф, изображавший нагую бесполую фигуру, разбивающую яйца. Беатриса-Джоанна подумала, что она заодно может получить там свои «соболезновательные» (какое циничное название!). Это дало бы ей повод войти в здание и побродить по вестибюлю. Вполне возможно, что ей удастся увидеть его, когда он будет уходить с работы. Она знала, что на этой неделе он работает в смену «А».

Прежде чем пересечь набережную, Беатриса-Джоанна посмотрела на спешащую толпу какими-то новыми глазами, возможно глазами Моря. Это были британцы, а если говорить более точно, это были люди, которые населяли Британские острова: евразийцы, евроафриканцы; европо-линезийцы преобладали, яркий свет играл на темных, золотистых, даже красноватых

лицах. Ее лицо англичанки, чуть присыпанное белой пудрой, имело цвет персика; такие лица встречались гораздо реже. Этническое деление больше не имело значения, мир был разбит на языковые группы. В мгновение, исполненное почти пророческой силы, Беатриса-Джоанна подумала, что, быть может, ей и немногим таким же, как она, настоящим англосаксам завещано вернуть духовное здоровье и достоинство этому ублюдочному миру? Она, кажется, припоминала, что ее народу уже приходилось делать это раньше.

Глава 4

— Одним из достижений англосаксонской нации было парламентское правление, — провозгласил Тристрам, — что в конечном счете означает правление партии. Позднее, когда обнаружилось, что работа правительства может осуществляться гораздо быстрее без дебатов и без оппозиции, которую– порождало партийное правление, стала осознаваться роль цикла.

Тристрам подошел к синей доске и нарисовал на ней желтым мелом большой неровный круг.

— А теперь, — продолжал он, выворачивая го-

лову, чтобы видеть учеников, — посмотрим, как этот цикл совершается.

Тристрам разделил окружность на три дуги.

— Сейчас мы находимся в Пелагийской фазе. Потом у нас будет Промежуточная фаза.

Его мел утолстил сначала одну дугу, потом другую.

— А та переходит в Августинскую фазу.

Еще одна дуга потолстела, и мел вернулся туда, откуда начинал свое движение.

— Пелфаза, Интерфаза, Гусфаза; Пелфаза, Интерфаза, Гусфаза и так далее, и так далее — всегда, вечно. Что-то вроде непрерывного вальса… Теперь нам нужно узнать, какая же движущая сила заставляет это колесо вертеться.

Тристрам серьезно смотрел на класс, отряхивая мел с ладоней.

— Первым делом давайте вспомним, на чем стоит пелагианство. Правительство, находящееся у власти в Пелагийской фазе, придерживается веры в то, что человек способен к совершенствованию, что совершенство может быть достигнуто его собственными силами и что путь к совершенству представляет из себя прямую дорогу. Человек хочет быть совершенным. Он хочет быть хорошим. Граждане общества хотят сотрудни-

чать со своими правителями, а раз так, то нет реальной необходимости иметь механизмы подавления, применять санкции для принуждения их к сотрудничеству. Законы, конечно, необходимы, потому что ни один индивидуум, как бы он ни был лоялен и готов к сотрудничеству, не может точно знать о всех нуждах общества. Законы указывают путь к крайне необходимой модели социального совершенствования, они являются путеводителями. Кроме того, исходя из основополагающего тезиса о том, что гражданин испытывает сильное желание вести себя как воспитанное общественное животное, а не как эгоистичный зверь в диком лесу, предполагается, что законы должны соблюдаться. Поэтому пелагийское государство не считает необходимым громоздить сложный карательный аппарат. Нарушьте закон — и вас попросят не делать этого снова или оштрафуют на пару крон. Ваш неуспех с подчинением закону отнюдь не проистекает из первородного греха, он не является неотъемлемой частью человеческого устройства. Это просто небольшое упущение, что-то такое, о чем можно будет забыть где-нибудь на пути к окончательному человеческому совершенству. Это ясно?

Многие ученики закивали головами: ясно или

не ясно — им было все равно.

— Итак, в Пелагийской фазе, или Пелфазе, великая либеральная мечта кажется близкой к осуществлению. Греховная жажда стяжательства отсутствует, грубые желания находятся под разумным контролем. Владельцу частного капитала, например, алчной личности в цилиндре, нет места в пелагианском обществе. Следовательно, Государство контролирует средства производства, Государство является единственным боссом. Но воля Государства является волей гражданина, следовательно, гражданин работает на себя. Нельзя представить себе более счастливой формы существования! Напомню, однако, — продолжал Тристрам трагическим полушепотом, — напомню, что желание всегда несколько обгоняет реальность. Что разрушает мечту? Что ее разрушает, а! — Вдруг он забарабанил по столу, крича все громче и громче: — Разочарование! Разочарование!! РАЗОЧАРОВАНИЕ!!!

Тристрам широко улыбнулся.

— Правители, — заговорил он уже более спокойно, — разочаровываются, когда обнаруживают, что люди совсем не так хороши, как они о них думали. Упоенные своей мечтой о совершенстве, правители приходят в ужас, когда печать слома-

на и они видят людей такими, какие они есть. Возникает необходимость попытаться силой заставить людей быть добропорядочными. Законы переутверждаются, грубо и поспешно, на скорую руку сколачивается система проведения в жизнь этих законов. Разочарование открывает перспективу хаоса. Возникает бестолковщина, паника. Когда разум уходит, просыпаются животные инстинкты. Жестокость! — закричал Тристрам.

Класс, казалось, стал проявлять интерес к его словам.

— Избиения. Секретная полиция. Пытки в залитых светом подвалах. Приговоры без суда. Вырывание ногтей клещами. Дыба. Пытка водой. Выдавливание глаз. Команда палачей для расстрела промозглым утром… И все это из-за разочарования. Интерфаза.

Тристрам улыбнулся классу очень доброй улыбкой. Класс ждал продолжения рассказа о жестокостях. Вытаращенные глаза учеников блестели, рты были открыты.

— Сэр, — подал голос Беллингем. — А что такое пытка водой?

Глава 5

Беатриса-Джоанна, оставив за спиной прохладную ширь животворящего моря, вошла в открытый зев Министерства, пахнувший так, словно его только что опрыскали дезинфектантом. Она протолкалась к конторке с вызывающей надписью: «ВЫРАЖЕНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЙ». Множество потерявших детей женщин теснилось у барьера; некоторые, болтавшие с беззаботным видом, были одеты в выходные'платья и цепко сжимали свидетельства о смерти, словно пропуска в лучшую жизнь. В воздухе чувствовался запах дешевого спиртного напитка — «алка», как его называли. По увядшей коже и тусклым глазам Беатриса-Джоанна узнала заядлых любительниц алка. Для них день, когда в залог был отдан даже утюг, давно миновал. А Государство прощало убийство младенцев.

— … как-то запутался и задохнулся в пеленках. Ему и было-то всего три недели.

— А мой обварился. Опрокинул чайник прямо на голову.

Сказавшая это женщина улыбнулась с гордым видом, словно ребенок сделал нечто умное.

— … выпал из окна, да. Играл, конечно.

— Денежки-то будут кстати.

— Да-да, это уж точно.

Стройная девушка-нигерийка взяла у Беатрисы-Джоанны свидетельство о смерти и пошла в центральную кассу.

— Да благословит вас Бог, мисс, — пробормотала какая-то старая карга. Судя по внешности, она давно миновала тот возраст, когда рожают детей. Старуха сворачивала банкноты, которые подала ей служащая-евроафриканка. — Да благословит вас Бог, мисс.

Пересчитывая мелочь неловкими руками, счастливая, ведьма заковыляла прочь. Девушка-клерк улыбнулась, услышав старомодное выражение: Бога нынче не часто вспоминали.

— Пожалуйста, миссис Фокс. — Красивая нигерийка вернулась. — Шесть гиней три септа.

Откуда взялась именно такая сумма, Беатриса-Джоанна не стала спрашивать. Преследуемая внезапно вспыхнувшим чувством вины, которому она не могла найти объяснения, она торопливо засунула деньги в сумочку. Трех-шиллинговые монеты — «септы», как их называли, — трижды блеснули, скользнув в кошелечек для мелочи; тройня Карлов Шестых насмешливо улыба-

лась левым профилем. В отличие от обычных смертных, Король и Королева не подпадали под действие законов о рождаемости: в прошлом году погибли три принцессы, все разом, в одной авиакатастрофе, а родовая преемственность престолонаследия должна быть гарантирована.

«Не нужно больше детей!» — призывал плакат. Беатриса– Джоанна сердито протолкалась к выходу. Остановившись в вестибюле, она почувствовала себя безнадежно одинокой. Сотрудники в белых халатах, озабоченные и проворные, как сперматозоиды, пробежали в Отдел разработки противозачаточных средств. Лифты сновали вверх и вниз между многочисленными этажами Отдела пропаганды.

Беатриса-Джоанна ждала. Мужчины и иолумужчины сновали вокруг нее, щебеча и сюсюкая. И вдруг она увидела, точно в то время, как и ожидала, брата своего мужа, Дерека, своего тайного любовника Дерека. Он шел, сунув портфель под мышку, и, поблескивая перстнями, которые загорались, один за другим, на вытянутых пальцах рук, что-то оживленно говорил франтоватому коллеге. Наблюдая эту великолепную имитацию обычного поведения гомосексуалиста — второй, прилюдный облик Дерека, — Беатриса-Джоанна

так и не смогла бесследно подавить ту вспышку презрения, которая возникла где-то внутри. Она уже слышала обрывки его речи; его движения были грациозны, как у танцора. И никто не знал, никто, кроме нее, не знал, что за сатир скрывается за этой внешностью существа без пола. Многие говорили, что он, вероятно, сможет забраться весьма высоко по иерархической лестнице Министерства. «Если бы его сослуживцы знали, — подумала Беатриса-Джоанна с неожиданной злобой, — если бы только его начальство знало!» Она могла уничтожить его, если бы захотела. Могла ли? Конечно же, нет. Дерек был не из тех людей, которые позволяют себя уничтожать.

Беатриса-Джоанна стояла в ожидании, скрестив руки на груди.

Дерек Фокс прощался с сослуживцем («Очень хорошее предложение, дорогой мой. Обещаю вам, завтра мы обязательно что-нибудь придумаем»), с лукавым видом трижды похлопав его по левой ягодице. Затем он увидел Беатрису-Джоанну, осторожно оглянулся по сторонам и подошел поздороваться. Глаза Дерека ничем не выдавали его чувств.

— Привет! — заговорил он, грациозно покачиваясь. — Что нового?

— Он умер сегодня утром. Он теперь… им теперь… — Беатриса-Джоанна овладела собой, — им теперь занимается Министерство сельского хозяйства.

— Дорогая моя…

Это было сказано голосом любовника. Так, как говорит мужчина женщине. Дерек украдкой огляделся кругом и прошептал:

— Лучше, чтобы нас не видели вместе. Можно, я зайду к тебе?

Беатриса-Джоанна, после некоторого колебания, кивнула.

— Когда мой дорогой братец вернется сегодня домой? — спросил он.

— Не раньше семи.

— Я заскочу. Я должен быть осторожен. — Дерек улыбнулся, как королева, проходившему мимо коллеге, мужчине в кудряшках на манер Дизраэли. — Какие-то странные вещи происходят, — продолжал он. — Мне кажется, за мной следят.

— Но ты ведь всегда так осторожен, — проговорила Беатриса-Джоанна чуть громче, чем следовало бы. — Ты всегда чертовски осторожен, даже слишком!

— Ах, успокойся, пожалуйста, — прошептал

Дерек. — Смотри, — он выглядел слегка взволнованным, — видишь человека, вон там?

— Какого человека? Вестибюль кишел людьми.

— Вон того, маленького, с усами. Видишь? Это Лузли; я уверен, что он следит за мной.

Она увидела того, о ком он говорил: это был маленький, выглядевший одиноким человек с запястьем у уха, словно проверявший, идут ли у него часы. На самом деле, стоя в сторонке, у края толпы, он слушал свое микрорадио.

— Иди домой, дорогая, — сказал Дерек Фокс. — Я зайду через час.

— Скажи это, — приказала Беатриса-Джоанна. — Скажи прежде, чем я уйду. –

— Я люблю тебя, — произнес Дерек одними губами, словно через оконное стекло.

Эти слова, которые говорит мужчина женщине, были непристойны в этом обиталище антилюбви. Лицо Дерека исказилось так, словно он жевал лимон.

Глава 6

— Но, — продолжал урок Тристрам, — Интерфаза, конечно, не может длиться вечно.

Вдруг его лицо исказила маска боли.

— Шок, — проговорил Тристрам. — Правители шокированы собственными крайностями. Они обнаруживают, что мыслят еретическими категориями, думая о греховности человека чаще, чем о «го врожденной добродетели. Они ослабляют меры принуждения, а результатом является полный хаос. Но к этому времени разочарование достигает крайней степени. Оно не может больше подталкивать государство к репрессивным действиям, в результате чего развивается некий философский пессимизм. Другими словами, мы втягиваемся в Августинскую

фазу, в Гусфазу, где ортодоксальной является точка зрения, представляющая человека греховным созданием, от которого нельзя ждать ничего хорошего. Еще одна фантазия, джентльмены, которая затмевает реальность. Со временем становится ясно, что в социальном смысле человек ведет себя гораздо лучше, чем вправе был ожидать любой пессимист– августинец, и поэтому начинает появляться что-то вроде оптимизма. И снова восстанавливается пелагианство. Мы опять в Пелфазе. Колесо совершило полный оборот… Вопросы есть?

— Чем они выдавливали глаза, сэр? — спросил Билли Чэнь.

Завизжали звонки, забрякали гонги, искусственный голос завопил из громкоговорителей: «Перемена, перемена, все, все меняемся классами! Пятьдесят секунд на пере-меНу! Начинаем отсчет! Пятьдесят — сорок девять — сорок восемь…»

Тристрам пробормотал свое «до свидания» и, не услышанный в этом гаме, вышел в коридор. Мальчики разбегались по классам конкретной музыки, астрофизики, владения языком. Отсчет размеренно продолжался: «Тридцать девять — тридцать восемь…» Тристрам прошел к лифту для персонала и нажал кнопку. Огоньки показывали, что кабина уже несется вниз с верхнего этажа (там находились художественные классы с широкими окнами; преподаватель рисования Джордан, как всегда, стартовал раньше всех). 43 — 42 — 41 — 40, вспыхивали огоньки указателя. «Девятнадцать — восемнадцать — семнадцать…» Трехсложный ритм отсчета перемены сменился четырехсложным. Кабина лифта остановилась, и Тристрам вошел. Джордан рассказывал коллеге Моубрею о новых течениях в живописи, запросто обращаясь с именами Звегинцова, Абра– хамса, Ф. А. Чила, как с затертыми картами. «Плазматический ассона-а-нс…» — нараспев произнес

Джордан.

Кое в чем мир вообще никогда не меняется. «Три — два — один — ноль-ль». Голос замолк, но на каждом этаже (18 — 17 — 16 — 15), который появлялся перед глазами Три-страма, он мог видеть мальчишек, еще не разошедшихся по классам, причем некоторые из них даже и не спешили никуда. Пелфаза. Никто не пытается выполнять правила. Дело сделано. Более или менее. 4

— 3 — 2-1. Первый этаж. Тристрам вышел из лифта.

Глава 7

Беатриса-Джоанна вошла в лифт небоскреба «Спёрджин Билдинг» на Росситер-авеню. 1 — 2 — 3 — 4… Она поднималась на сороковой этаж, где ее ждала крохотная квартирка, пустая без сына. Через полчаса должен прийти Дерек. Она так отчаянно нуждалась в успокоительном тепле его рук! А разве Тристрам не мог дать ей того же? Нет, это было совсем другое… Плоть обладает своей особой логикой. Было такое время, когда прикосновения Тристрама были приятны, вызывали трепет, экстатически возбуждали. Но это время давно прошло, если быть точной, то оно

прошло вскоре после появления Роджера, словно единственной функцией Тристрама в жизни было произвести на свет сына. Любовь? Ей казалось, что она до сих пор любит Тристрама. Он был добрый, честный, великодушный, деликатный, внимательный, спокойный, иногда остроумный… Но это был Тристрам, который ей нравился в гостиной, а не в постели. Любила ли она Дерека? С минуту она не могла ответить на этот вопрос. 26 — 27 — 28… «Как странно, — подумала она, — ведь у братьев одна плоть». Но Тристрам превратился в мертвечину, тогда как его старший брат был лед и пламень, райское яблочко, невыразимо вкусное и волнующее. Наконец Беатриса-Джоанна решила, что она влюблена в Дерека, но вряд ли любит его по-настоящему. 30 — 31 — 32… А любит она Тристрама, но в него не влюблена!

Так было во все времена: во дни творения женщина умудрялась мыслить в согласии со своими инстинктами, ныне — в согласии со своей сложной нервной организацией. Присно и во веки веков — в согласии со своими внутренними органами. 39 — 40. Аминь.

Беатриса-Джоанна храбро повернула ключ и вошла в их маленькую квартирку. Гудел холодильник, и знакомо пахло «Анафро» — осве-

жителем воздуха, придуманным химиками того самого Министерства, где работал ее любовник. Освежитель по трубам нагнетался во все квартиры с помощью насоса, который стоял в подвале.

Хотя сравнивать, по правде говоря, ей было не с чем, Беатрису-Джоанну, когда она входила в квартиру, каждый раз поражала скудость жизненного пространства (обычного для людей с их уровнем дохода): коробка спальни, гроб кухни, ванная, в которую нужно было втискиваться почти как в платье… Двумя широкими шагами она могла пересечь гостиную. Прикоснувшись к выключателю, можно было выдвинуть мебель, упрятанную в стены и потолок, и тогда свободного места как раз и хватало на два шага. Беатриса-Джоанна нажала кнопку «стул», и из стены нехотя выползло некрасивое угловатое приспособление для сидения. Почувствовав себя усталой, она села, глубоко вздохнув. Диск Ежедневных Новостей, торча на своей оси в стене, блестел все так же — как черное солнце. Беатриса-Джоанна включила Диск и услышала искусственный голос, бесполый и невыразительный: «Продолжается забастовка на заводах „Нэшнл Синтелак“. Лидеры забастовщиков не хотят идти на компромисс и по-прежнему требуют повыше-

ния зарплаты на одну крону и три таннера в день. Докеры Саутгемптона, в знак солидарности с бастующими, отказываются разгружать импортный синтелак...» Беатриса-Джоанна перевела стрелку на Женский Диапазон. Настоящий женский голос, скрипучий от деланного энтузиазма, вещал о дальнейшем уменьшении линии бюста. Беатриса-Джоанна выключила Диск. Нервы ее не успокоились, затылок по-прежнему раскалывался от пульсирующих ударов. Она сбросила одежду и помылась в том тазике, что назывался ванной. Припудрив тело простой белой пудрой без запаха, Беатриса-Джоанна накинула халат из какого-то нового синтетического полиамидного волокна. Затем она подошла к настенной панели управления, усеянной кнопками и выключателями. Пара металлических рук осторожно опустила пластиковый буфет из ниши в потолке. Беатриса-Джоанна открыла буфет и вытряхнула из коричневой бутылочки две таблетки, запила их водой и бросила пустой бумажный стаканчик в отверстие, находившееся в стене. Стаканчик отправился в путешествие, конечным пунктом которого была печь в подвале. Потом она принялась ждать.

Дерек запаздывал. Нетерпение Беатрисы-Джо-

анны нарастало. Нервы были натянуты как струны, в висках стучало. Ей стало казаться, что она сейчас умрет, погибнет; тогда, через силу обратившись к разуму, как к чуждому, но необходимому успокаивающему средству, она стала говорить себе, что эти предчувствия — отголоски уже прошедших и невозвратимых событий. Беатриса-Джоанна приняла еще две таблетки и отправила еще один стаканчик расщепляться на атомы с помощью огня. И тогда наконец раздался стук в дверь.

Глава 8

Тристрам постучал в дверь секретаря директора, сообщил, что его зовут Фокс и что его хочет видеть директор. Где-то нажали кнопку, над дверью загорелись лампочки, и Тристраму было предложено войти.

— Проходите, Братец Лис! — крикнул ему Джослин. Он сам сильно смахивал на лису и совсем не походил на францисканца, был лыс и подергивался. Джослин имел довольно высокую степень, присвоенную ему университетом Пасадены, но сам он был уроженцем Саттона, штат Западная Вирджиния. Будучи весьма — по-лисьи — скром-

ным, он не слишком распространялся о том, что приходится близким родственником Верховному Комиссару Североамериканских территорий. Тем не менее пост директора Джослин получил исключительно благодаря своим личным способностям. Благодаря им и своему совершенно безупречному бессексуальному образу жизни.

— Присаживайтесь, Братец Лис, — пригласил Тристрама Джослин. — Будьте как дома. Берите кафф.

Он гостеприимно показал рукой на тарелочку с таблетками кофеина, стоявшую на журнале для записей. Тристрам, улыбнувшись, отрицательно покрутил головой.

— Бодрит, и именно тогда, когда это более всего нужно,

— объяснил Джослин, беря две таблетки. После этого он забрался за свой стол. Послеполуденное морское солнце ярко освещало его длинный нос, синие челюсти с большим подвижным ртом и лицо, изрезанное преждевременными морщинами.

— Я прослушал ваш урок, — заговорил Джослин, кивнув сначала на панель управления на белой стене, а потом на потолочный громкоговоритель. — Вы думаете, пацаны много понимают во всем этом?

— А и не нужно, чтобы они все понимали очень хорошо, — возразил Тристрам. — Пусть у них будет общее представление. Эта тема есть в программе, но она не будет вынесена на экзамен.

— Да-да, я надеюсь, что так и будет..

Не это занимало Джослина в действительности. Он постукивал пальцами по серой папке — личному делу Тристрама (Тристрам прочел вверх ногами надпись «ФОКС» на обложке).

— Бедняга Ньюик, — снова заговорил Джослин. — Он был хорошим преподавателем. А теперь лежит где-то в Западной Провинции куском пятиокиси фосфора… Но думаю, что дух его живет, — задумчиво заключил он и вдруг поспешно добавил: — Живет здесь, в школе, я имею в виду.

— Да, конечно. Дух его живет в школе.

— Вот именно… А теперь к делу, — продолжал Джослин. — Вы были среди претендентов на его место. Я сегодня прочитал ваше досье…

(«Были»! Изумленный Тристрам с трудом проглотил комок в горле. «Были». Он сказал «были».)

— Занятное чтение! Вы работали хорошо, я это вижу. И вы старший на факультете. И эта работа пришлась бы вам как раз по плечу.

Джослин откинулся назад, соединил сначала

кончики больших пальцев, потом мизинцев, потом безымянных, средних и указательных. Время от времени он подергивался.

— Вы поймите, что заполнение вакансий зависит не от меня, а от Правления. Все, что я могу, — это дать рекомендацию. Я знаю, что это дико звучит, но в наши дни получение работы не зависит от базовой квалификации… Не зависит. Теперь безразлично, сколько у человека степеней или как хорошо он справляется со своими обязанностями. Сейчас главное — я использую этот термин в наиболее общем смысле — семейная родословная. Да-с.

— Ну, — начал Тристрам, — моя семья…

Джослин поднял руку, как полицейский-регулировщик.

— Меня не интересует славная история вашего рода. Мне интересно знать, сколько вас есть. Или было. — Джослин дернулся. — Это вопрос арифметики, а не евгеники или положения в обществе. Я не хуже вас знаю, что все это абсурд, Братец Лис. Но это реальность.

Правая рука Джослина неожиданно дернулась вверх, повисела в воздухе и со стуком опустилась на стол, словно пресс-папье.

— Документы, — он так и произнес: «докумен-

ты"(ударение на втором слоге), — документы говорят… документы говорят… ага, вот, в документах говорится, что вы из семьи, где было четверо детей. У вас сестра в Китае — она работает в Мировой Демографической Инспекции, — так? — и брат в благословенном Спрингфилде, штат Огайо. Я хорошо знаю Спрингфилд… Дальше у нас, конечно, идет Дерек Фокс. Он гомо и занимает высокий пост… А вот и вы, Братец Лис. Женаты. Есть один ребенок. — Джослин с грустью посмотрел на Тристрама.

— Нет больше ребенка. Он умер в больнице этим утром. — Нижняя губа у Тристрама выпятилась вперед и задергалась.

— Умер, да? Ну, что ж…

Соболезнования в эти дни имели чисто финансовое выражение.

— Ведь он был еще маленький, кажется? Очень маленький. Совсем немного P_2O_5… Однако то, что он мертв, для вас ничего не меняет.

Джослин крепко стиснул ладони, словно собирался замаливать греховный факт отцовства Тристрама.

— Полагаются одни роды на семью. Живой или мертвый ребенок родится — безразлично. Один он появляется на свет, двойня или тройня — не

имеет значения. Пока вы закон не нарушили. Вы не сделали того, чего не должны делать даже теоретически. Вы имели право жениться, если уж вам так хотелось, и вам дано право на одни роды в семье, хотя, конечно, у приличных людей до этого не доходит. Просто не доходит.

— Ну и пошли они все!.. — вспылил Тристрам. — Пошли они все… Кто-то ведь должен продолжать род человеческий! Так и людей-то не останется, если хоть некоторые из нас не будут иметь детей! — Тристрам не на шутку рассердился. — И кого же вы подразумеваете под «приличными людьми»? — спросил он. — Таких, как мой братец Дерек? Это ведь одержимый властью маленький педик, ползущий на брюхе, — да, буквально ползущий на брюхе вверх!

— Calmo, — проговорил Джослин, — calmo.

Он только что вернулся с конференции по проблемам образования, проходившей в Риме, городе, в котором и слыхом не слыхивали о папе римском.

— Вы собирались сказать еще что-то очень оскорбительное. «Педик» — слово, выражающее крайнее презрение. Но вспомните: гомо фактически правят страной и, если уж на то пошло, всем Союзом Англоговорящих Стран.

Джослин сдвинул брови, разглядывая Тристрама с лисьей печалью.

— Мой дядя — Верховный Комиссар — гомо. Я сам чуть было не стал гомо. Давайте отбросим эмоции, это неприлично, вот именно, неприлично. Давайте попробуем parlare об этом calmamente, а?

Он улыбнулся, постаравшись придать лицу простое и доверительное выражение.

— Вы ведь не хуже меня знаете, что это занятие — размножаться — целиком предоставлено низшим слоям общества. Вспомните, что сам термин «пролетариат» происходит от латинского слова proletarius, которым называли тех, кто служил государству своим потомством — proles. Само собой разумеется, что вы и я стоим выше этого, так ведь?

Джослин сидел откинувшись в кресле, улыбался и почему– то выстукивал по крышке стола с помощью авторучки азбукой Морзе букву О.

— Одни роды на семью, таково правило, или рекомендация, или… называйте как хотите, но пролетариат постоянно нарушает это установление. Так что вымирание народу не грозит. Даже наоборот, я бы сказал… Я кое-что слышал, там, наверху, но это не имеет значения, не имеет…

Дело в том, что ваши папенька с маменькой злостно нарушили этот закон. Папаша ваш кем был? Что-то такое в Министерстве сельского хозяйства, кажется? Судя по досье, так оно и было. Так вот, я бы сказал, что это несколько отдает цинизмом: одной рукой помогать наращивать национальные запасы продовольствия, а другой — произвести четырех детей.

Джослин заметил, что антитеза довольно забавна, но только пожал плечами.

— И об этом не забыли, представьте себе, Братец Лис, не забыли! «Грехи отцов», как говорили когда-то.

— Все мы когда-нибудь окажем помощь Министерству сельского хозяйства, — мрачно заметил Тристрам. — А из нас четверых получится отличная порция пятиокиси фосфора.

— Также и жена ваша, — продолжал Джослин, шелестя листами пухлого досье, — имеет сестру в Северной провинции, которая замужем за сельскохозяйственным служащим. Двое детей.

Он неодобрительно хмыкнул.

— Какая-то аура плодовитости окружает вас, Братец Лис. Как бы там ни было, поскольку речь идет о должности главы факультета, то совершенно очевидно, что при всех равных условиях

Правление предпочтет кандидата, у которого с документами по линии родственников дела обстоят более благополучно.

Эти «документы» безумно раздражали Тристрама.

— Вот давайте посмотрим, давайте взглянем на других кандидатов.

Джослин подался вперед, поставил локти на стол и начал загибать пальцы.

— Уилтшир — гомо. Краттенден — не женат. Коуэлл — женат, имеет ребенка — отпадает. Крам-Юинг поступил основательно, он castrato — очень сильный кандидат. Фиддиана можно не считать. Ральф — гомо…

— Все ясно, — перебил его Тристрам. — Я принимаю мой приговор. Я продолжаю сидеть там, где сижу, и смотрю, как люди помоложе — должен же быть кто-то помоложе, всегда есть,

— смотрю, как люди помоложе прыгают через мою голову. И все из-за моих «документов», — закончил он горько.

— Да, вот так, — подытожил Джослин. — Я рад, что вы все понимаете. Вы же знаете, как большинство этих шишек склонно рассматривать данный вопрос. Наследственность — этим все сказано, наследственность! Пример умышленно

плодовитой семьи

— вот что это такое. Да-да! Это все равно что склонность к уголовщине. А времена сейчас очень сложные. Между нами, дружище: будьте осмотрительны. Присматривайте за женой. Не вздумайте больше иметь детей. Не будьте столь же безответственны, как и пролетариат. Один неверный шаг — . и до свидания! Да-да, вам конец.

Джослин сделал такой жест, словно перерезал себе горло.

— Много подающих надежды молодых людей на подходе. Правильно мыслящих людей. Мне бы не хотелось терять вас, Братец Лис.

Глава 9

— Дорогая моя…

— Любимый, любимый, любимый…

Они страстно обнялись, дверь оставалась открытой.

— Умммм…

Дерек высвободился из объятий и захлопнул дверь ударом ноги.

— Мы должны быть осторожны, — проговорил он. — Не поручусь, что Лузли не притащился за

мной и сюда.

— Ну а хоть бы и так! Ты же можешь навестить своего брата, если тебе так хочется? Или не можешь? — спросила Беатриса-Джоанна.

— Не говори глупостей. Лузли очень въедливый, я бы так сказал об этой маленькой свинье. Он может разузнать часы работы Тристрама.

Дерек приблизился к окну и немедленно отошел от него, смеясь над своей глупостью: под ним так много этажей и так много неотличимых друг от друга букашек ползает внизу!

— Похоже, у меня нервишки разгулялись, — заметил он. — Это просто потому, что… ну, кое-что происходит. Я должен быть у Министра сегодня вечером. Кажется, мне светит хорошее место.

— Что за место?

— Да работа такого рода, что, боюсь, мы не сможем видеться часто, некоторое время, во всяком случае. Работа связана с ношением униформы. Сегодня утром приходили портные, снимали мерки. Большие дела закручиваются…

Дерек сбросил с себя шкуру бесполого франта, носимую на людях. Сейчас он выглядел мужчиной, решительным и сильным.

— Это значит, — заключила Беатриса-Джоанна, — что ты получишь работу, которая будет для

тебя важнее, чем я. Правильно?

Когда он вошел в квартиру и обнял ее, то в какое-то сумасшедшее мгновение ей захотелось уговорить его бежать куда-нибудь вместе, жить всегда на одних кокосовых орехах и любить друг друга среди баньянов. Но затем женское желание наилучшим образом использовать то, что есть, возобладало.

— Мне иногда хочется узнать, — снова заговорила Беатриса-Джоанна, — действительно ли ты думаешь так, как говоришь? О любви и обо всем прочем.

— Ах, милая ты моя, — нетерпеливо проговорил Дерек, у которого не было никакого желания заниматься игривой болтовней, — послушай меня: сейчас происходят события, которые гораздо важнее любви. Тут речь идет о жизни и смерти.

Типично мужские рассуждения.

— Чушь! — выпалила Беатриса-Джоанна.

— … чистки, например, если ты знаешь, что значит это слово. Перемены в Правительстве. Безработных призывают на службу в полицию. Да, события большие, большие…

Беатриса-Джоанна принялась всхлипывать, стараясь выглядеть маленькой, слабой и беззащитной.

— Сегодня был такой ужасный день, — прошептала она. — Я чувствую себя такой несчастной, такой одинокой…

— Дорогая моя! Я грубое животное. — Дерек снова обнял ее. — Я очень виноват. Я думаю только о себе.

Довольная Беатриса-Джоанна продолжала всхлипывать. Дерек целовал ее щеки, шею, брови, погружал свои губы в ее золотистые волосы. Она пахла мылом, он — всеми благовониями Аравии. Обнявшись, неловко ступая, словно в каком-то не имеющим ритма танце, они прошли в спальню. Прикосновение к кнопке выключателя — и кровать, описав дугу, наподобие той, которую изобразил мелом Тристрам, говоря о Пелфазе, опустилась на пол. Дерек быстро разделся, обнажив сухощавое тело, покрытое буграми и лентами мышц. Потухший глаз телевизионного экрана мог наблюдать сверху сплетение тел (мужского, красновато-коричневого, цвета хлебной корочки, и женского — перламутрового, слегка оттененного голубым и карминовым цветами), вступление к акту, который был одновременно и прелюбодеянием, и кровосмешением.

— Ты не забыла?.. — свистящим шепотом спросил Дерек. Сейчас уже больше не могло быть

равнодушного наблюдателя, способного вспомнить о миссис Шенди и ухмыльнуться при этом.

— Нет, нет!

Она приняла таблетки, все было в порядке.

И только тогда, когда было уже поздно, она вспомнила, что таблетки были болеутоляющими, а не противозачаточными. Привычка иногда подводит. Но теперь уже ничего не поделаешь, да и все равно.

Глава 10

— Продолжайте работать над этой темой, — проговорил Тристрам, непривычно хмурясь. — Почитайте дальше сами.

Седьмой четвертый класс широко открыл глаза и рты.

— Я иду домой, — объявил Тристрам. — На сегодня с меня достаточно. Завтра будет контрольная, материал в ваших учебниках, со страницы двести шестьдесят семь по страницу двести семьдесят четыре включительно. Тема — «Хронический страх ядерной войны и пришествие Вечного Мира». Данлоп! — резко оборвал себя Тристрам, — Данлоп!

Лицо у мальчика было словно резиновое, но в

эпоху тотальной национализации его фамилия ничего не говорила окружающим.

— Ковыряться в носу — очень некрасивая привычка, Данлоп, — укоризненно проговорил Тристрам.

Класс захихикал.

— Продолжайте изучать эту тему, — повторил Тристрам у двери, — и желаю вам хорошо провести день. Вернее, уже вечер, — поправился он, глядя на розовеющее небо над морем. Как ни странно, но английский язык не выработал словесной формулы прощания, подходящей для этого времени дня. Что-то вроде Интерфазы. День пелагианский, ночь августинская…

Тристрам решительно вышел из класса, прошагал по коридору к лифту, быстро спустился вниз и покинул огромное здание школы.

Никто не препятствовал его уходу. Учителя никогда не покидали классов до звонка, следовательно, Тристрам, некоим мистическим образом, еще находился на работе.

Медленно, как ледокол, он пробился сквозь толчею на Эп– роуд, где людские потоки текли одновременно в различных направлениях, и повернул налево, на Даллас-стрит. Там, перед поворотом на Макгиббон-авеню, Тристрам увидел

то, что, вроде бы без всякой причины, заставило его похолодеть.

На дороге, мешая несильному движению, в положении «вольно» стояла рота полицейских в серой форме — три взвода во главе с взводными командирами. За ротой наблюдала толпа зевак, державшихся на приличном расстоянии. Многие из полицейских глупо улыбались, переминаясь с ноги на ногу. «Новобранцы, последний призыв», — догадался Тристрам. Тем не менее каждый из них уже был вооружен коротким, тускло поблескивавшим карабином. Брюки полицейских суживались на щиколотках у черных эластичных резинок, стягивавших верхнюю часть ботинок на толстой подошве; странно архаичными выглядели приталенные кителя, воротнички рубашек с поблескивавшими на них латунными запонками и черные форменные галстуки. Головы полицейских были увенчаны серыми фуражками, а высоко надо лбами сияли кокарды.

— Приискивают им работу, — заговорил человек рядом с Тристрамом. Это был небритый мужчина в темном порыжевшем одеянии, хилого телосложения, но, несмотря на это, с жирной складкой под подбородком. — Это безработные.

Бывшие безработные, — поправил он сам себя. — Наконец-то Правительство что-то сделало для них. Вон там мой зять, смотрите, второй от конца в первом ряду.

Небритый показал на зятя с таким гордым видом, словно в строю стоял он сам.

— Работу им дают, — повторил незнакомец. Он был явно одиноким человеком, радовавшимся возможности с кем-нибудь поговорить.

— В чем дело? Что все это значит? — спросил Тристрам. Но он знал. Это был конец Пелфазы: людей собирались заставить быть хорошими. Он почувствовал легкий страх за себя. Может быть, ему следовало вернуться в школу? Если он вернется прямо сейчас, то, возможно, никто ничего не узнает. Он поступил глупо, раньше он ничего подобного не делал. Может быть, позвонить Джослину и сказать, что он ушел раньше потому, что почувствовал себя плохо?..

— Они кое-кого призовут к порядку, — сказал худой человек с жирным подбородком. — Слишком много развелось молодых хулиганов, которые ночами болтаются по улицам. Не очень-то строго с ними обращаются, да-да. Учителя не имеют больше над ними никакой власти.

— Некоторые из этих новобранцев подозри-

тельно похожи на таких молодых хулиганов, — осторожно заметил Тристам.

— Вы что, хотите сказать, что мой зять хулиган?! Да это лучший парень на свете! А он безра… он был безработным четырнадцать месяцев. Он не хулиган, мистер.

Перед строем появился офицер. Он был молодцеват, форменные брюки плотно облегали ягодицы, серебряные полоски на погонах поблескивали на солнце, на бедре висел пистолет в дорогой кобуре из кожзаменителя.

— Рота-а-!.. — закричал офицер неожиданно мужественным голосом. Рота застыла, словно в ожидании удара.

— Смир-р-р-на-а!

Команда прогремела, как булыжник, полицейские кое-как приняли положение «смирно».

— По местам несения службы… Разой-й… — Звук колебался между двумя аллофонами, — … дись!

Кто-то из полицейских повернулся налево, кто-то направо; некоторые выжидали, чтобы потом сделать то, что будут делать другие. Из толпы послышался смех и презрительные хлопки. Скоро улица заполнилась разрозненными группами смущенных полисменов.

Тристрам почувствовал что-то вроде тошноты и направился к небоскребу «Эрншоу». В подвале этой толстой и скучной башни находилась забегаловка под названием «Монтегю». Единственным доступным опьяняющим напитком в эти дни был едкий продукт перегонки из кожуры овощей и фруктов. Его называли «алк», и выдержать это питье неразбавленным мог только самый простонародный желудок.

Тристам положил на стойку тошрон и получил стакан с мутным и липким спиртным напитком, щедро разбавленным оранжадом. Других напитков теперь не существовало. Поля с хмелем, виноградники в древних центрах виноградарства исчезли так же, как и пастбища, табачные плантации Вирджинии и Турции. Все эти земли теперь были засеяны более необходимыми зерновыми культурами. Мир был почти вегетарианским, некурящим и непьющим (если не считать алка).

Тристрам мрачно прикончил первый стакан. После второй порции этого оранжевого огня стоимостью в тошрон ему показалось, что напиток не так уж и плох. «Повышение накрылось, Роджер мертв… А Джослин — да пошел он к черту!»

Тристрам почти добродушно оглядел тесную

маленькую забегаловку.

Гомо, некоторые с бородами, чирикали между собой в темном углу; за стойкой бара сидели в основном гетеро с угрюмыми лицами. Жирный бармен с толстым задом подошел к вделанному в стену музыкатору, засунул в прорезь таннер и выпустил, словно зверя из клетки, скрипучий опус конкретной музыки: ложки стучали по железным тарелкам, Министр Рыбоводства произносил речь, вода лилась в туалетный бачок, ревел какой-то мотор. Запись была сделана задом наперед, что-то усилено, что-то приглушено, и все тщательно смикшировано.

Мужчина рядом с Тристрамом произнес: «Дикий ужас». Он сказал это бочонкам с алком, не поворачивая головы и еле двигая губами, словно не хотел, чтобы его слова послужили поводом для завязывания разговора. — Один из бородатых гомо принялся декламировать:

Мертвое дерево, мертвое дерево, мертвое дерево мое — отдайте, Землю засохшую, землю засохшую, землю засохшую — не поливайте, Корку стальную, корку стальную, корку стальную сверлом пронизайте, В тесные дыры, в тесные дыры, в тесные дыры богов запихайте!

— Чушь собачья! — уже громче проговорил

незнакомец. Потом он медленно и осторожно повел головой из стороны в сторону, пристально изучив Тристрама справа от себя, а затем пьяницу слева, словно один был скульптурным изображением другого и нужно было удостовериться в сходстве.

— Знаете, кем я был? — задал он вопрос Тристраму.

Тристрам задумался: перед ним сидел мрачный человек с глазами, глубоко сидящими в черных глазницах, с красным крючковатым носом и стюартовским ртом.

— Дайте мне еще один такой же! — крикнул незнакомец бармену, швыряя деньги. — Я так и думал, что вы не сможете догадаться, — злорадно констатировал он, поворачиваясь к Тристраму. — Так вот… — Незнакомец осушил стакан с неразбавленным алком, причмокнул губами и шумно выдохнул: — Я был священником! Вы знаете, что это такое?

— Какая-то разновидность монаха. Что-то связанное с религией, — ответил Тристрам, поразив незнакомца до глубины души, не хуже самого Пелагия. — Но теперь, — продолжал Тристрам наставительно, — нет никаких священников. Их нет уже сотни лет.

Незнакомец вытянул вперед руки с растопыренными пальцами, словно хотел проверить, не трясутся ли они.

— Вот они, — возбужденно проговорил он, — каждый День творили чудо! — Потом, уже более спокойно, незнакомец добавил: — Немного все же осталось. В одном-двух очагах сопротивления в провинциях. Среди людей, которые не согласны со всем этим либеральным дерьмом. Пелагий был еретиком, — заявил незнакомец. — Человек нуждается в милосердии Божьем.

Он снова обратился к своим рукам, принявшись тщательно рассматривать их, словно врач, отыскивающий маленький прыщик, который бы возвещал о начале болезни.

— Еще этой дряни! — приказал незнакомец бармену, на этот раз используя руки для поисков денег в карманах.

— Да! — снова обратился он к Тристраму. — Есть еще священники, хотя я и не являюсь более таковым. Меня выгнали,

— прошептал незнакомец, — лишили сана. О Боже, Боже, Боже!

Теперь он вел себя, как на сцене. Один или два гомо захихикали, услышав имя Божие.

— Но они никогда не смогут лишить меня этой

силы, никогда, никогда!

— Сесиль, старая корова, ты!

— О-о, вот это да, только посмотрите, что на ней надето! Гетеро тоже повернулись посмотреть, хотя и с меньшим энтузиазмом.

В забегаловку, широко улыбаясь, вошли трое полицейских– новобранцев. Один из них исполнил короткий степ-данс, после чего застыл, отдавая честь. Второй делал вид, что расстреливает посетителей из карабина. Приглушенно звучала холодная конкретная музыка. Гомо улыбались, негромко похохатывали, обнимались.

— Меня лишили сана не за такие вот штуки, — снова заговорил незнакомец. — Это была настоящая любовь, настоящая, а не такая богомерзкая пародия, — кивнул он в сторону веселящейся группы полицейских и гражданских. — Она была очень молода, всего семнадцать лет. О Боже, Боже! Но, — сказал он твердо, — они не смогут отнять эту божественную силу! — Экс-священник снова уставился на свои руки, на этот раз с видом Макбета. — Они не смогут отнять богоданную способность превращать хлеб и вино в тело и кровь Господни. Но теперь нет больше вина. И папа — старый-престарый человек

— на острове Святой Елены. А я — жалкий

клерк в Министерстве топлива и энергетики, — заключил незнакомец без всякого наигранного уничижения.

Один из гомо-полицейских сунул в музыкатор таннер. Танцевальная мелодия вырвалась неожиданно, словно лопнул пакет со спелыми сливами. Это была комбинация абстрактных шумов, записанных на фоне медленного, глубоко скрытого, переворачивающего внутренности ритма. Один из полицейских пригласил на танец бородатого гражданского. Они танцевали красиво — Тристрам должен был признать это, — замысловато и грациозно. Но поп-расстрига не мог скрыть отвращения.

— Мерзкое зрелище, — заявил он. Когда один из нетанцующих гомо прибавил звук, экс-священник неожиданно громко закричал: «Заткните эту чертову машинку!»

Гомо уставились на него с заметным интересом, танцоры, все еще покачивающиеся в объятиях друг друга, смотрели на него, раскрыв рты.

— Ты сам заткнись, — проговорил бармен. — Нам здесь неприятности не нужны.

— Противоестественное сборище ублюдков! — орал незнакомец. — Грех содомский! Бог поразит всю вашу шайку смертию!

Тристрам наслаждался руганью бывшего священнослужителя.

— Ты, старый пакостник, — зашипел на него один из гомо.

— Где твои манеры?

И тут священником занялась полиция. Все было сделано быстро, грациозно и весело. Это было не то насилие прошлого, о котором Тристрам читал в книгах. Зрелище было скорее забавным, чем шокирующим. Однако уже через несколько секунд поп-расстрига глотал воздух окровавленным ртом, беспомощно навалившись на стойку.

— Вы его друг? — спросил Тристрама один из полицейских.

Тристрам был поражен, заметив, что губы полицейского были намазаны черной помадой, в тон с галстуком..

— Нет, — ответил Тристрам. — Нет. Первый раз в жизни вижу.

Он выпил свой алк-энд-орандж и двинулся к выходу.

— И вдруг запел петух, — прохрипел бывший священник. — Это моя кровь, — понял он, вытирая рот. Он был слишком пьян, чтобы чувствовать боль.

Глава 11

Спад наступил с волшебной одновременностью, теперь они лежали, дыша почти спокойно, его рука покоилась под ее расслабленным телом, и тут она спросила себя, а так ли уж ей хотелось в конце концов, чтобы этого не случилось? Дереку Беатриса-Джоанна ничего не сказала, ведь это была ее забота. Сейчас она чувствовала себя несколько отстранение, отдельно от Дерека, так, как может чувствовать себя поэт после написания сонета — совсем не связанным с пером, которым писал. Иностранное слово Urmutter возникло в ее подсознании. Что это значит?

Дерек первым выплыл на поверхность бытия и лениво спросил:

— Интересно, который сейчас час?

(«Мужчины — неисправимые животные».) Она не ответила.

— Я не могу понять, — заговорила Беатриса-Джоанна вместо ответа на вопрос, — всю эту ложь и лицемерие. Почему люди должны притворяться не тем, что они есть на самом деле? Все это какой-то мерзкий фарс. — Ее слова звучали резко, но сама она еще находилась как бы вне

времени. — Ты любишь, любишь… Ты любишь, любишь больше, чем все мужчины, которых я когда-либо знала. И все же относишься к любви, как к чему– то постыдному.

Дерек глубоко вздохнул:

— Дихотомия. — Он вяло бросил ей это слово, как мячик, набитый утиным пухом. — Вспомни о человеческой дихотомии.

— А как насчет, — Беатриса-Джоанна зевнула, — человеческого объяснения, что это такое?

— Раздвоенность. Противоречивость. Инстинкты говорят нам одно, а разум другое. Если бы мы позволили этой раздвоенности овладеть нами, могла бы случиться трагедия. Лучше смотреть на это, как на комическое недоразумение. Мы были правы, выбросив Бога и водрузив на его место мистера Лайвгоба. Бог — трагическая концепция.

— Не понимаю, о чем ты говоришь.

— А, пустяки.

Теперь Дерек зевнул сам, показав белоснежные пластиковые зубы.

— Несовместимые притязания прямой и круга. Ты — прямая, в этом твоя беда.

— Я круглая! Я сферическая. Посмотри…

— Физически — да. Умственно — нет. Ты все еще дитя инстинктов, несмотря на годы ученья,

на все эти призывы и пропаганду в фильмах, действующую на подсознание. Тебе совершенно наплевать на то, что творится в мире ив Государстве. А мне нет.

— А почему это должно меня интересовать? У меня своя собственная жизнь, которую нужно прожить.

— У тебя вообще не было бы жизни, если бы не люди вроде меня. Каждый из нас является частичкой Государства. Предположим, — продолжал Дерек уже серьезно, — что уровень рождаемости никого не заботит. Предположим, что никому нет дела до того, что прямая рождаемости стремится все дальше и дальше, в бесконечность. Да мы буквально с голода подохнем! Гоб знает, мы ведь и сейчас питаемся не слишком хорошо. Нам удалось достичь некоторой стабильности (благодаря моему департаменту и схожим департаментам во всем мире), но она не может сохраняться очень долго, во всяком случае при нынешнем положении дел.

— Что ты имеешь в виду?

— Это старая история. Сейчас либерализм господствует, а либерализм означает слабость. Мы уповаем на образование и пропаганду, на бесплатные контрацептивы, абортарии и собо-

лезновательные. Мы поощряем непродуктивные формы сексуальной активности. Нам нравится обманывать себя мыслью, что люди достаточно хороши и мудры и помнят о своих обязанностях. И что же происходит? Вот пример: несколько недель назад стало известно, что у одной супружеской пары в

Западной провинции шестеро детей. Шестеро! Скажи пожалуйста! И все живы к тому же. Очень старомодная парочка — богопоклонники. Плели что-то о воле Божьей и прочую чепуху. Один из наших служащих беседовал с ними, пытался беседовать с ними, пытался взывать к их здравому смыслу… Представь себе — восемь человек в квартирке меньше этой! Но им как об стенку горох. Наверняка у них есть Библия. Гоб знает, где они ее откопали. Ты когда-нибудь видела Библию?

— Нет.

— Ну, это такая древняя религиозная книга, полная непристойностей. Там говорится, что попусту расточать ваше семя — большой грех и что если Бог любит вас, то он наполнит ваш дом детьми. И написана к тому же на старом языке. В общем, эта парочка все время ссылалась на эту. книгу. Болтали что-то о плодородии, проклятой смоковнице и прочее в том же роде. — Дерека

передернуло: его ужас был искренним. — И ведь они совсем молодые люди!

— Что с ними стало?

— А что с ними сделаешь? Сказали им, что есть закон, ограничивающий количество детей только одними родами, удачными или неудачными — неважно, но они ответили, что это безнравственный закон. «Если Бог не собирался делать человека плодовитым, — заявила парочка, — то зачем Он наделил людей инстинктом размножения?» Им разъяснили, что бог — это устаревшее понятие, но они этого не признают. Им сказали, что у них есть долг по отношению к своим ближним, это они признают, но никак не могут понять, почему ограничение размеров семьи превратилось в долг. Очень сложный случай.

— И им ничего не было?

— Да ничего особенного. Оштрафовали. Предупредили о том, что у них больше не должно быть детей. Надавали противозачаточных таблеток и послали на инструктаж в местную клинику по контролю над рождаемостью. Но похоже, что они так и остались при своем мнении. И ведь таких людей много по всему миру: и в Китае, и в Индии, и в Ост-Индии — вот что пугает. Вот почему и необходимы изменения. Глядишь на

цифры народонаселения — и волосы дыбом встают. Мы уже на несколько миллионов в плюсе. А все потому, что верим людям. Вот увидишь, через день-два нам пайки урежут. Так который же час? — снова спросил Дерек. Вопрос был скорее риторическим: он мог бы, если бы захотел, вынуть руку из-под теплого расслабленного тела Беатрисы-Джоанны, вытянувшегося до дальнего угла крошечной комнатки, и посмотреть на микрорадио, где был и циферблат. Но ему было слишком лень двигаться.

— Думаю, что-нибудь вроде половины шестого, — ответила Беатриса-Джоанна. — Можешь проверить по телеку, если хочешь.

Без труда вытянув свободную руку, Дерек щелкнул выключателем у изголовья. Легкая штора, опустившись, закрыла окно, оставив света как раз в меру, и через одну-две секунды с потолка послышалось легкое бульканье и повизгивание конкретной музыки. Как раз такую музыку — без духовых, без струнных, без ударных — рассеянно слушал в этот момент потягивающий алк Тристрам. Звучали генераторные лампы, водопроводные краны, корабельные сирены, громовые раскаты, шаги и вокализ в ларингофонах; все это было перемешано и перевернуто, с тем

чтобы создать короткую симфонию, призванную скорее услаждать, чем возбуждать.

Телеэкран над головами Дерека и Беатрисы-Джоанны молочно засветился, и внезапно на нем появилось цветное стереоскопическое изображение статуи, венчавшей Дом Правительства: каменные глаза, причудливая борода; мощный нос, рассекающий ветры, вызывающе блестел. Облака за статуей летели, словно куда-то спеша, небо было цвета школьных чернил.

— А вот и он, наш святой-покровитель, кто бы он ни был,

— заметил Дерек. — Святой Пелагий, святой Августин или святой Аноним — кто? Узнаем сегодня вечером.

Образ святого потускнел и исчез. На экране расцвел производящий сильное впечатление храмовый интерьер: древний серый неф, стрельчатые арки. От алтаря отделились две округлые мужские фигуры, одетые во все белое, словно больничные служители. «Священная игра, — объявил голос. — Дамы из Челтенхэма против мужчин Уэст-Брамиджа. Дамы из Челтенхэма выиграли жребий и получили право бить первыми». Две пухлые белые фигуры подошли проверить воротца в нефе. Дерек щелкнул выключателем.

Стереоскопическое изображение потеряло объемность и погасло.

— Сейчас самое начало седьмого, — сказал Дерек. — Я, пожалуй, пойду.

Он вытащил затекшую руку из-под лопаток своей любовницы и выскользнул из кровати.

— Еще куча времени, — проговорила, зевая, Беатриса– Джоанна.

— Все, время вышло.

Дерек натянул свои узкие брюки, застегнул на запястье ремешок микрорадио и взглянул на циферблат.

— Двадцать минут седьмого. «Священная игра...» Вот уж действительно последний ритуал цивилизованного Западного Человека, — фыркнул он. — Послушай, нам лучше не встречаться с неделю. Что бы там ни было, не ищи меня в Министерстве. Я сам с тобой как-нибудь свяжусь. Там посмотрим, — приглушенно доносился голос Дерека из-под рубашки. — Будь умницей, — проговорил он, надевая вместе с пиджаком маску гомосексуалиста.

— А сейчас выгляни и проверь, нет ли кого-нибудь в коридоре. Не хочу, чтобы видели, как я ухожу.

Беатриса-Джоанна вздохнула, вылезла из кро-

вати, надела халат и пошла к двери. Выглянув в коридор, она посмотрела сначала налево, потом направо, как ребенок, старающийся соблюдать правила перехода улицы, вернулась обратно и сказала:

— Никого нет.

— Ну и слава Гобу.

Последние слова Дерек произнес, капризно сюсюкая.

— Не нужно разыгрывать этот гомоспектакль передо мной, Дерек.

— Каждый хороший актер, — жеманно проговорил он, — начинает входить в роль, еще стоя за кулисами.

Он быстро чмокнул ее в левую щеку.

— До свидания, дорогая.

Вихляясь, Дерек прошел по коридору к лифту. Сатир заснул в нем до следующего раза. Когда только он будет, этот «раз»?

Глава 12

Все еще немного взволнованный, несмотря на еще два стаканчика алка, пропущенные в подвальчике недалеко от дома, Тристрам вошел в «Спёрджин-билдинг». В просторном вестибюле

смеялись полицейские в серой форме. Они были даже здесь! Тристраму это не нравилось, совсем не нравилось. У дверей лифта толпились соседи Тристрама по сороковому этажу: Уэйс, Дартнелл, Виссер, миссис Хампер, Джек Финикс-младший, мисс Уоллис, мисс Райнинг, Артур Спрэгт, Фиппс, Уолкер-Мередит, Фред Хэмп и восьмидесятилетний мистер Этроул.

47 — 46 — 45 — загорались желтые квадратики указателя этажей.

— Я сейчас видел нечто ужасное, — сказал Тристрам престарелому мистеру Этроулу.

— А? — переспросил старик.

38 — 37 — 36.

— Принято специальное постановление о чрезвычайных мерах, — сообщил Фиппс, работавший в Министерстве труда. — Им всем приказано вернуться на работу.

Джек Финикс-младший зевнул. Впервые Тристрам заметил, что на скулах у него растут черные волосы. 22 — 21 — 20 — 19.

— Полиция в доках, — заговорил Дартнелл. — Только так и можно обращаться с этими ублюдками. Шайка бандитов! Это можно было сделать много лет назад.

Он с одобрением посмотрел на одетых в серое

полицейских с легкими карабинами в руках, носивших, словно траур по эпохе пелагианства, черные галстуки.

12 — 11-10.

Тристрам представил себе, как он бьет по смазливому жирному лицу какого-нибудь гомо или Кастро.

3-2 — 1..

И вдруг он увидел лицо — не смазливое и не жирное. Он увидел своего брата Дерека. Оба с удивлением уставились друг на друга.

— Гоб знает, что такое! Ты что здесь делаешь? — вырвалось у Тристрама.

— О, Тристрам! — засюсюкал Дерек с фальшивым участием.

— Это ты?!

— Да, я. Ты меня искал или как?

— Конечно, тебя, дорогой мой. Чтобы сказать тебе, как ужасно я огорчен. Бедный, бедный мальчик!

Кабина лифта быстро заполнялась.

— Это что, принесение официальных соболезнований? Я всегда думал, что твой департамент только радуется смертям,

— озадаченно нахмурился Тристрам.

— Я здесь как твой брат, а не как чиновник

Министерства бесплодия, — чопорно произнес Дерек. — Я пришел затем, чтобы выразить тебе свое… — он чуть не сказал «сочувствие», но вовремя понял, что это прозвучало бы цинично, — чтобы навестить брата. Я видел твою… жену (короткая, пауза перед словом, неестественно выделившая его, придала слову неприличный оттенок), и она сказала мне, что ты еще на работе, поэтому я… Ну что тут говорить: я ужасно, ужасно огорчен. Мы должны встретиться и посидеть как-нибудь вечерком, — сказал он, переходя к прощанию. — Поужинать или еще что-нибудь… Ну а сейчас я должен лететь. У меня назначена встреча с Министром.

И Дерек удалился, виляя задом.

Тристрам, все еще хмурясь, втиснулся в лифт между Спрэггом и мисс Уоллис.

«Что же это происходит?» Дверь кабины закрылась, лифт пошел вверх. Мисс Уоллис, бледная толстуха с блестящим от пота носом, дышала на Тристрама запахом пюре из сушеного картофеля.

«С чего это Дерек удостоил нас своим посещением?» Братья не любили друг друга, и не только потому, что Государство поощряло неприязнь между родственниками в качестве элемента политики дискредитации самого понятия семьи. В

их семье дети всегда завидовали Тристраму, любимчику отца, потому что ему было доступно то, что не было доступно им: тепленькое местечко рядом с отцом в его постели воскресным утром, срезанная верхушка от яйца, которое отцу подавали на завтрак, лучшие игрушки под Новый год… Второй брат и сестра только пожимали плечами, но не таков был Дерек. Тот выражал свою ревность ударами исподтишка, оговорами, пачкал грязью выходной комбинезон Тристрама, ломал его игрушки. В юности братьев окончательно развели сексуальная инверсия Дерека и неприкрытое отвращение к ней Тристрама. В дальнейшем, несмотря на менее основательное, чем у брата, образование, Дерек преуспел в жизни гораздо более его. Отсюда вспышки зависти с одной стороны и задранный нос — с другой.

«Так какое же мерзкое дело привело его сюда сегодня?» — Тристрам как-то бессознательно связывал визит Дерека с новым режимом, с началом Интерфазы. Может быть, они — Джослин и Министерство бесплодия — уже успели созвониться и обыскали его квартиру, пытались найти конспекты еретических лекций, может быть, допрашивали жену, задавали ей вопросы по поводу его отношения к Политике Регулирования

Населения… Чувствуя непроизвольный страх, Тристрам постарался припомнить, что было «такого» в прочитанных им лекциях: иронический панегирик мормонам в штате Юта, красноречивое отступление по поводу «Золоченого Сука» (запрещенного чтения), возможные насмешки над гомоиерархией после очередного особенно плохого школьного обеда…

«Самое паршивое, что я ушел из школы без разрешения именно сегодня», — вертелось у него в голове. Но к тому времени, когда лифт достиг сорокового этажа, спиртное ударило в голову, и Тристрам почувствовал себя гораздо храбрее. Алк кричал: «Пошли они все к чёрту!» Тристрам приблизился к своей квартире, постоял перед дверью, стирая в душе рефлективное ожидание приветственного детского крика, и только потом вошел внутрь.

Беатриса-Джоанна сидела в халате, ничего не делая. Она быстро вскочила, удивленная столь ранним приходом мужа. Тристрам заметил приоткрытую дверь спальни, постель, смятую так, словно на ней метался в бреду больной.

— У тебя был посетитель? — спросил он.

— Посетитель? Какой посетитель?

— Я видел внизу моего братца. Он сказал, что

был здесь, хотел видеть меня.

— А-а, он… — Беатриса-Джоанна облегченно вздохнула. — Я думала, ты имеешь в виду… ну, там… какого-нибудь посетителя.

Тристрам шумно втянул носом воздух, наполненный запахом «Анафро», словно принюхиваясь к чему-то подозрительному.

— Что ему было нужно?

— Ты почему так рано пришел? — спросила Беатриса– Джоанна. — Плохо себя чувствуешь или что?

— Я почувствовал себя очень плохо после того, что мне сказали. Я не получу повышения. Чадолюбие моего отца лишило меня права на это. И моя собственная гетеросексуальность тоже.

Заложив руки за спину, Тристрам поплелся в спальню.

— У меня не было времени прибраться, — входя за ним, проговорила Беатриса-Джоанна и принялась расправлять простыни. — Я ходила в больницу. Меня долго не было дома.

— Похоже, что мы провели беспокойную ночь, — сказал Тристрам, выходя из спальни. — Да, — продолжал он, — работа теперь достается таким выскочкам-гомо, как Дерек. Мне нужно было ожидать того, что случилось.

— Мы переживаем мерзкое время, правда ведь? — спросила Беатриса-Джоанна. На мгновение она застыла, держа в руках конец мятой простыни. В лице ее было что-то жалкое. — Все так плохо…

— Ты мне так и не сказала, зачем приходил Дерек.

— Совершенно не поняла. Он тебя искал. — «Я на волоске,

— думала Беатриса-Джоанна. — Я едва-едва держусь». — Вообще– то видеть его так, вдруг, было несколько неожиданно, — сымпровизировала она.

— Он лжец! — убежденно произнес Тристрам. — Я думаю, что он приходил не затем, чтобы просто нам посочувствовать. Как он узнал о Роджере? Как он мог докопаться? Держу пари: он узнал только потому, что это ты ему сказала!

— Он знал, — соврала Беатриса-Джоанна. — Он увидел фамилию в Министерстве. В ежедневных сводках о смертности или где-то там еще. Ты есть будешь? Я совсем не хочу.

Она оставила в покое постель, прошла в столовую и заставила спуститься с потолка — словно какого-то полярного божка — маленький холодильник.

— Он что-то вынюхивает, — решил Тристрам. — Это точно. Я должен быть осторожен.

И тут в голову ему снова ударил алк.

— А хотя какого черта я должен осторожничать? Да пропади они все пропадом! Все эти людишки типа Дерека, которые правят страной.

Тристрам выдвинул из стены сиденье. Беатриса-Джоанна повернула к нему крышку стола, подняв его из пола.

— Я чувствую, что ненавижу этих людей, — признался Тристрам, — дико ненавижу. Да кто они такие, чтобы указывать нам, как распоряжаться нашей жизнью! И вообще, мне не нравится то, что сейчас происходит. Крутом тучи полицейских. Вооруженных!

Он не стал рассказывать ей о том, что произошло с бывшим священником. Беатриса-Джоанна не любила видеть его пьяным. Она подала ему холодную котлету, приготовленную из восстановленных сушеных овощей, потом кусок пудинга из синтелака. Тристрам с аппетитом принялся за еду.

— Хочешь ЕП? — спросила Беатриса-Джоанна, когда он расправился с пудингом.

ЕП означало Единицу Питания, изобретенную Министерством синтетической пищи.

Беатриса-Джоанна нагнулась над Тристрамом, доставая Единицу Питания из встроенного в стену буфета, и он увидел под халатом ее красивое обнаженное тело.

— Что б им пусто было, да покарает их Бог! И когда я говорю: «Бог», так я и имею в виду Бога, — заявил Тристрам.

Потом он встал и попытался обнять Беатрису-Джоанну.

— Нет, пожалуйста, не надо! — взмолилась та. События принимали нежелательный оборот, Беатрисе-Джоанне были неприятны его объятия. Она попыталась освободиться. — Я себя очень плохо чувствую, мне не до этого.

Беатриса-Джоанна захныкала, Тристрам опустил руки.

— Ну хорошо, хорошо, — пробормотал он. Смущенный, Тристрам стоял у окна, покусывая ноготь мизинца пластиковыми зубами.

— Прости меня. Я просто не подумал. Беатриса-Джоанна собрала со стола бумажные тарелки и выбросила их в мусоросжигатель.

— А, черт! — выругался Тристрам с неожиданной яростью.

— Они превратили нормальный пристойный секс в преступление. И тебе больше не хочется

этого! Что ж, тем лучше.

Он вздохнул.

— Я вижу, что мне придется встать в ряды кастратов– добровольцев, даже если я просто хочу сохранить работу.

В эту минуту к Беатрисе-Джоанне вернулось то острое чувство, которое всего лишь на одну ослепляющую секунду охватило ее мозг, когда она лежала с Дереком на смятой постели. Это был какой-то евхаристический момент: пронзительное звучание труб и вспышка света — говорят, что так бывает, когда перерезается зрительный нерв. И тоненький голосок, странно пронзительный, закричал: «Да! Да! Да!» Если все твердят об осмотрительности, может быть, и ей следует быть осмотрительной? Не до абсурда осторожной, конечно, а так… Чтобы Тристрам не догадался. Да и ясно уже, что контрацептивы не подействуют.

— Прости меня, дорогой, — проговорила она. — Я не то хотела сказать.

Беатриса-Джоанна обвила шею Тристрама руками.

— Если ты хочешь… («Если бы это можно было делать под наркозом! Ну ничего, это ведь не продлится долго».) Тристрам стал жадно целовать ее.

— Таблетки приму я, а не ты, — решил он. Со времени появления на свет Роджера, в случаях — к счастью, надо признаться, довольно редких, — когда Тристраму хотелось воспользоваться своим правом супруга, он всегда настаивал на том, чтобы самому принимать меры предосторож ности. Потому что, по правде говоря, Роджер появился против его желания.

— Я приму три, на всякий случай, — сказал он. Тоненький голосок внутри Беатрисы-Джоанны коротко хихикнул.

Глава 13

Несколько дней Беатриса-Джоанна и Тристрам были заняты делами, а поэтому не видели и не слышали выступления Премьер-Министра по телевидению. Но в миллионах других квартир — обычно на потолке в спальне, так как места не хватало — светилось и ворчало, как готовая перегореть лампа, стереоскопическое изображение достопочтенного Роберта Старлинга, имевшего классическую внешность ученого: голова луковкой и мешочки под глазами. Он говорил о том, что Англия, Союз Англоговорящих Стран и даже весь земной шар скоро могут подвергнуться ужасным

опасностям, если — к большому сожалению! — не будут приняты строгие репрессивные меры. Это будет война. Война с безответственностью, с теми элементами, которые подрывают устои Государства (а такая деятельность, безусловно, нетерпима), это будет война со всеобщим пренебрежением существующими разумными и либеральными законами, особенно тем законом, который — для общественного же блага! — должен обеспечить ограничение роста населения. «Во всех уголках планеты, — с серьезным видом бормотало мерцающее изображение, — лидеры государств сегодня вечером или завтра утром скажут примерно такие же твердые слова своим народам. Весь мир объявляет войну самому себе… строжайшие наказания за продолжающуюся безответственность (несмотря на то, что наказующему гораздо больнее, чем наказуемому)… выживание планеты зависит от баланса между количеством населения и научно рассчитанными минимальными нормами продовольствия… затянем пояса… будем бороться с недостатками… сплотимся… мы все преодолеем… да здравствует Король».

Тристрам и Беатриса-Джоанна пропустили также захватывающие кадры кинохроники, по-

казывавшие быструю ликвидацию забастовки на заводах «Нэшнл Синтелак». Они не видели, как полицейские, прозванные «серыми», орудовали дубинками и карабинами, и как они при этом улыбались и как разлетающиеся мозги забрызгивали объективы кинокамер.

Пропустили они и последовавшее позже сообщение о создании корпуса так называемой Народной полиции. Ее Столичным Комиссаром должен был стать хорошо известный им обоим человек — брат, предатель, любовник…

ЧАСТЬ II
Глава 1

Во всех Государственных Учреждениях действовала система восьмичасовых рабочих смен, однако в школах и колледжах сутки были разбиты на четыре смены, по шесть часов каждая. Занятия велись непрерывно, каникулы предоставлялись по скользящему графику.

Месяца через два после начала Интерфазы Тристрам Фокс сидел за своим ночным «завтраком». Его смена начиналась в час ночи. Полная луна заглядывала в окно. Тристрам пытался съесть что-то вроде бумажной каши, сдобренной синтелаком. Хотя теперь он чувствовал себя голодным в любое время дня и ночи (пайки были сильно урезаны), протолкнуть в себя этот мокрый волокнистый ужас ему было так же трудно, как давиться собственными извинениями. В то время как он пытался разжевать то, что было у него во рту, блестящий черный «Диск Ежедневных Новостей» на стене, медленно вращаясь, пищал своим искусственным, как у мультипликационного мышонка, голосом двадцатитрехчасовой выпуск.

«Беспрецедентно низкий уровень добычи сельди объясняется только необъяснимой неудачей с ее разведением, сообщает Министерство рыбоводства...» Тристрам протянул левую руку и отключил «Диск».

Контроль над рождаемостью среди рыб, так, что ли? Перед Тристрамом мелькнуло видение, всплывшее откуда-то из глубин памяти: большая круглая плоская, не помещающаяся на тарелке, рыба, политая ярко-коричневым острым соусом.

Теперь вся пойманная рыба перемалывается машинами, превращается в удобрение или добавляется в универсальные пищевые брикеты, из которых можно сварить суп, приготовить котлеты, испечь хлеб или пудинг и которые Министерство естественной пищи распределяло в качестве главной составляющей еженедельного пайка.

Когда в гостиной перестал звучать маниакальный голос, изрекавший ужасные газетные штампы, Тристрам еще более явственно услышал, как в ванной тошнит его жену. «Бедная девочка, ей теперь постоянно бывает плохо по утрам. Возможно, что это из-за пищи. От такой еды любого стошнит».

Тристрам встал из-за стола и пошел посмот-

реть, что с Беатрисой-Джоанной. Та выглядела бледной и измученной, двигалась с трудом, приступ рвоты измучил ее до предела.

— На твоем месте я бы сходил в больницу, выяснил, в чем дело, — мягко проговорил Тристрам.

— Со мной все в порядке.

— А по-моему, с тобой совсем не все в порядке.

Тристрам перевернул наручное микрорадио. Часы на обратной стороне показывали половину первого.

— Я должен бежать.

Тристрам поцеловал Беатрису-Джоанну в мокрый лоб.

— Позаботься о себе, дорогая. Сходи в больницу и покажись кому-нибудь.

— Ничего страшного. Просто животик болит.

И в самом деле, будто специально для него, Беатриса– Джоанна стала выглядеть значительно бодрее.

Тристрам оставил жену одну (ведь у нее только «животик болит») и присоединился к группе соседей, поджидавших лифт. И престарелый мистер Этроул, и Фиппс, и Артур Спрэгг, и мисс Рантинг — все они были прессованными брикетами человечества, вроде брикетов пищевых: смесь Европы, Африки, Азии, присыпанная солью

Полинезии, и все они направлялись на работу в свои Министерства и Народные Предприятия. Олсоп и бородатый Абазофф, Даркин и Хамидун, миссис Гау, мужа которой забрали три недели назад, — они были готовы заступить на смену, заканчивающуюся двумя часами позже смены Тристрама. Мистер Этроул говорил дрожащим старческим голосом: — Нет ничего хорошего в том, как мне кажется, что эти легавые повсюду за нами наблюдают. Я молодой был — такого не было. Если вам хотелось перекурить в сортире — вы шли и курили, и никто не задавал никаких вопросов. Не то что теперь, да-да! Теперь эти легавые вам прямо в затылок сопят, куда ни пойдешь. Не к добру все это, я так думаю.

Этроул ворчал, бородатый Абазофф кивал, пока они не втиснулись в лифт. Этроул был старым, безобидным и не очень умным человеком, завинчивавшим один большой винт на задних стенках телевизионных ящиков, которые ползли перед ним бесконечной чередой на ленте конвейера.

В лифте Тристрам тихонько спросил миссис Гау:

— Есть новости?

Миссис Гау — женщина лет за сорок, с продолговатым лицом, сухой кожей, смуглая, как

цыганка, подняла на него глаза.

— Ни слова. Я уверена, что его расстреляли. Они его расстреляли! — неожиданно выкрикнула она. Окружавшие их люди делали вид, что ничего не слышат.

— Ну, этого не может быть! — Тристрам ободряюще похлопал ее по тонкой руке. — Ведь он в действительности не совершил нйкакогопреступления. Он скоро вернется, вот увидите.

— Он сам виноват, — продолжала миссис Гау. — Он пил этот алк. И разглагольствовал. Я ему всегда говорила, что как-нибудь он наболтает лишнего.

— Ничего, ничего, — утешал соседку Тристрам, продолжая похлопывать ее по руке.

Правда заключалась в том, что мистер Гау в тот день (с «технической», так сказать, точки зрения) вообще ничего не говорил. Он просто издал громкий неприличный звук — рыгнул,

— проходя где-то в районе Гатри-роуд мимо группы полицейских, стоявших у входа в одну из самых мерзких забегаловок. Его увезли на тачке среди всеобщего веселья, и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу. Так что, по нынешним временам, алк лучше не пить, а оставить «серым».

4 — 3 — 2 — 1. Приехали.

Толпа вынесла Тристрама из лифта. Лунная фиолетовая ночь ждала его на улице, забитой людьми. А в вестибюле дежурили члены НАРПОЛа — Народной полиции, в черной униформе, в фуражках с блестящими козырьками, кокардами и эмблемами в виде разрывающихся бомб, которые при ближайшем рассмотрении оказывались раскалывающимися яйцами. Невооруженные, менее склонные к скорой расправе, чем «серые», элегантные и вежливые, они, в большинстве своем, делали честь своему Комиссару. Тристрам, влившись в толпу спешащих на работу людей, каждый из которых думал, что смерть не выполнила слишком большую часть своей работы, громко произнес слово «брат», адресуя его Каналу и Млечному Пути. Это слово приобрело для него совершенно уничижительное значение, что было несправедливо по отношению к безобидному бедолаге Джорджу, старшему из трех братьев, прилежно трудившемуся на сельскохозяйственной станции под Спрингфилдом, штат Огайо. Джордж недавно прислал одно из своих редких писем, бесхитростно набитое фактами об экспериментах с новыми удобрениями и недоумениями по поводу странной болезни пшеницы, распространяющейся на восток через

штаты Айова, Иллинойс и Индиана. Добрый, надежный старина Джордж…

Тристрам вошел в старый солидный небоскреб, в котором находилось Четвертое отделение Единой мужской школы Южного Лондона (район Канала). Смена «Дельта» выплескивалась наружу. Один из трех заместителей Джослина, человек с открытым ртом и седым начесом по имени Кори, стоял в огромном вестибюле и наблюдал за порядком. Смена «Альфа» стремительно вливалась в школу, ввинчивалась в лифты, мчалась по лестницам и растекалась по коридорам. Первый урок у Тристрама был на вто-ром этаже: начальная историческая география для двадцатой группы первого класса. Искусственный голос вел отсчет: «… восемнадцать, семнадцать…» (Интересно, ему так показалось или действительно это творение компании «Нэшнл Синтеглот» произносит слова строже и более твердо, чем раньше?) «Три, два, один».

Он опоздал.

Тристрам влетел в служебный лифт, а потом, задыхаясь, вбежал в класс. Нужно быть поосторожней, сейчас время такое.

Пятьдесят с лишним мальчишек разного цвета кожи, все как один приветствовали его дружным

«Доброе утро!» Утро? За окнами прочно обосновалась ночь. Луна — огромный и пугающий женский символ — царила в этой ночи. Тристрам начал урок: — Проверим домашнее задание. Положите тетради на парты, пожалуйста.

Послышалось щелканье металлических замочков, когда мальчики расстегивали ранцы, потом шлепанье тетрадей о крышки парт, шелест переворачиваемых страниц в поисках нарисованной дома карты мира.

Тристрам шел между рядами парт, сцепив руки за спиной, и с любопытством разглядывал рисунки. Они изображали огромный перенаселенный земной шар в проекции Меркатора, и две великие империи: СОАНГС (Союз Англоговорящих Стран) и СОРГОС (Союз Русскоговорящих Стран), грубо скопированные высовывавшими от усердия языки пацанами. Были там и искусственные острова — острова Аннекс, которые до сих пор строили в океанах для избыточного населения.

Это была мирная планета, забывшая искусство саморазрушения. Мирная и встревоженная.

— Небрежно, — сказал Тристрам, ткнув пальцем в рисунок Коттэма. — Ты поместил Австралию слишком далеко на юг. А Ирландию вообще забыл нарисовать.

— Простите, сэр, — прошептал Коттэм.

Еще один мальчик — Хайнерд — совсем не выполнил домашнего задания. У него было испуганное лицо и темные круги под глазами.

— Что это значит? — строго спросил Тристрам.

— Я не мог, сэр, — выдавил ответ Хайнерд, нижняя губа у него тряслась. — Меня поместили в Приют, сэр. У меня не было времени, сэр.

— О-о, Приют…

Приют был новой реалией, учреждением для сирот — детей, на время или навсегда оставшихся без родителей.

— А что случилось?

— Они их забрали, сэр. Моих папу и маму. Они сказали, что те плохо себя вели.

— Что сделали твои родители?

Мальчик опустил голову. Не табу, а сознание преступности содеянного родителями заставляло его краснеть и хранить молчание. Тристрам осторожно спросил: — У твоей мамы появился ребеночек, да?

— Должен был появиться, — пролепетал мальчик. — Они забрали родителей. Тем пришлось все бросить. А меня отвезли в Приют.

Сильный гнев охватил Тристрама. По правде говоря (и Тристрам со стыдом понимал это), его

гнев был наигранным, формальным. Он представил себя произносящим напыщенную речь в кабинете директора: «Государство считает обучение этих детей важным делом. Это, вероятно, означает, что дети должны считать важным делом выполнение домашних заданий. И вдруг Государство показывает свое отвратительное лицемерное рыло и не дает моему ученику выполнить домашнее задание. Гоба ради, скажите мне, куда мы идем?» Жалкий порыв человека, взывающего к защите принципов. Тристрам знал, конечно, каким будет ответ: «Главное — это главное, а главное — это выживание». Он вздохнул, погладил мальчика по голове и вернулся на свое место перед классом.

— Сейчас, утром, мы будем рисовать карту мелиорированного района Сахары, — объявил Тристрам. — Приготовьте карандаши. — Да, было уже утро. Ночь, это море школьных чернил, быстро отступала от окон.

Глава 2

Беатриса-Джоанна писала письмо. Она делала это карандашом, который, с непривычки, с трудом удерживала в руке. Беатриса-Джоанна

пользовалась логограммами для экономии бумаги. Этому ее когда-то научили в школе. Уже два месяца Беатриса-Джоанна не встречалась с Дереком и в то же время видела его слишком часто. Слишком часто на экране телевизора появлялось изображение Дерека Фокса — Комиссара Народной полиции, одетого в черную униформу и разумно увещевающего массы. А вот Дерека-любовника, облаченного в более идущую ему форму наготы и желания, Беатриса-Джоанна не видела совсем.

Цензуры частной переписки не существовало, поэтому она была уверена, что может писать все, что угодно, ничего не опасаясь.

«Дорогой мой, — выводила Беатриса-Джоанна, — я понимаю, что мне следовало бы гордиться той огромной известностью, которую ты приобрел, и, конечно же, ты такой красивый в своей новой одежде. Но я не могу не хотеть, чтобы все было как раньше, когда мы могли лежать рядом и любить друг друга, и ничего-ничего не бояться, лишь бы никто не узнал, что есть между нами. Я не хочу верить, что это прекрасное время прошло навсегда. Мне так тебя не хватает! Мне не хватает твоих рук, обнимающих меня, мне не хватает твоих губ и…» Она зачеркнула «и». Некоторые

слова были слишком драгоценны, чтобы доверить их холодным логограммам.

«… твоих губ, целующих меня. Любимый мой, я просыпаюсь ночью, или днем, или утром — тогда, когда мы должны были бы лежать с тобой в постели, смотря по тому, в какую смену он работает, и мне прямо хочется кричать от желания любить тебя…» Беатриса-Джоанна зажала рот левой рукой, словно стараясь сдержать крик.

«О, дорогой мой, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя! Я тоскую по твоим рукам, обнимающим меня, по твоим губам…» Тут Беатриса-Джоанна заметила, что уже писала об этом, и вычеркнула последнюю фразу. Когда она сделала это, ей стало ясно, что все, о чем она тоскует, это руки, губы и прочее…

Беатриса-Джоанна пожала плечами и продолжала писать.

«Не можешь ли ты как-нибудь связаться со мной? Я понимаю, что писать мне — слишком большой риск для тебя, потому что Тристрам сразу заметит письмо в почтовом ящике, но ведь ты наверняка сможешь найти какой-нибудь способ подать мне знак, что еще любишь меня. Ведь ты еще любишь меня, дорогой мой, ведь любишь?» Он мог бы послать ей какой– нибудь знак любви.

В старые времена, во времена Шекспира и ламповых радиоприемников, влюбленные посылали своим возлюбленным цветы. Теперь, конечно, остались только те цветы, которые годились в пищу. Ну, он мог бы послать пакет супа из первоцвета… но это значило бы лишиться части и без того жалкого пайка. Ей хотелось, чтобы он совершил что– нибудь романтическое и дерзкое, сделал какой-нибудь эффектный еретический жест. Озаренная внезапной идеей, Беатриса-Джоанна написала: «Пожалуйста, когда ты в следующий раз будешь выступать по телевизору, если ты меня еще любишь, произнеси какое-нибудь особое слово, только для меня. Пусть это будет слово „любовь“ или „желание“. Тогда я буду знать, что ты продолжаешь любить меня, так же как и я люблю тебя. Новостей никаких нет, жизнь идет так, как и всегда шла: очень скучно и грустно».

Это была ложь. Беатриса-Джоанна подумала, что одна-то новость весьма определенно была, но она такого сорта, что лучше держать ее про себя. Прямая линия внутри ее, вечное, дающее жизнь копье готово было сказать: «Возрадуйся!», но окружность рекомендовала быть осторожной. Кроме того, между этими двумя фигурами

гулял непобедимый ветерок сомнения. Беатриса-Джоанна гнала от себя беспокойство: «Все будет хорошо». Она закончила письмо и подписалась: «Вечно любящая тебя Беатриса-Джоанна». Затем она вывела адрес: «Комиссару Д. Фоксу, штаб Народной полиции, Министерство бесплодия, Брайтон, Лондон». Когда Беатриса-Джоанна дошла до слова «бесплодие», она почувствовала легкий трепет — так не соответствовало это слово тому, о чем шла речь в письме. Большими отчетливыми логограммами она дописала: «Лично, в собственные руки». Потом Беатриса-Джоанна предприняла долгое путешествие по вертикали до подножия «Эрншоу-мэншнз», где находился почтовый ящик.

Была прекрасная июльская ночь. Высоко в небе плыла Луна, мигали огоньки звезд и спутников Земли. Это была ночь, предназначенная для любви…

Пятеро молодых «серых» при свете уличного фонаря со смехом избивали старика, вид у которого был совершенно ошарашенный. Судя по слабой реакции на оплеухи и удары дубинками, он находился под обезболивающим воздействием алка. Старик был похож на назареянина эпохи Нерона, распевающего гимны в то время, как

хихикающие звери терзают его плоть.

— Как вам не стыдно! — с ненавистью принялась выкрикивать упреки Беатриса-Джоанна. — Это же позор! Избивать такого старого человека!

— Ты! Занимайся своим делом! — раздраженно бросил один из одетых в серое полицейских. — Женщина, — добавил он с презрением.

Их жертве, все еще распевающей, было позволено уползти.

Беатриса-Джоанна, женщина до мозга костей, занимающаяся своим делом и социально, и биологически, пожала плечами и опустила письмо в почтовый ящик.

Глава 3

В учительской, в стеллаже для писем, Тристрама ждало письмо от сестры Эммы. Было четыре тридцать утра, время получасового перерыва на обед, но звонок еще не прозвенел. Над морем, далеко за окнами учительской, разгорался прекрасный рассвет. Улыбаясь, Тристрам повертел в руках конверт с яркой китайской маркой и надписью: «Авиапочта», сделанной английскими идеограммами и кириллицей. Еще один пример присущей семейству способности к телепатии:

всегда происходило так, что вслед за письмом от Джорджа с запада, через день или два приходило письмо от Эммы с востока. Примечательно было то, что никто из них никогда не писал писем Дереку.

Стоя среди своих коллег, Тристрам читал письмо и улыбался.

«… Работа идет. На прошлой неделе я облетела Чжэнцзян, Синъи, Чжанчжай, Дуюань, Шицзянь — и очень устала. Живут здесь, почти повсеместно, „на стоячих местах“, но после недавних политических перемен Центральное Правительство принимает поистине драконовские меры. Не далее как десять дней назад в Чунцине были проведены массовые казни нарушителей „Закона о Превышении Размеров Семьи“. Большинство наших полагает, что это уже слишком…» (Это было типичное для нее сдержанное высказывание, Тристрам просто наяву видел чопорное лицо сорокапятилетней Эммы и ее тонкие губы, произносящие эти слова.) «Но похоже, что эти меры окажут благотворное действие на кое-кого из тех, кто, несмотря ни на что, все еще лелеет заветную мечту стать благородным праотцем, почитаемым бесчисленными потомками. Подобные люди имеют реальную возможность сделаться праотцами

быстрее, чем они сами рассчитывали. Обращает на себя внимание и тот факт, что — словно по иронии судьбы — в провинции Фуцзянь начинается голод, потому что, по неизвестным причинам, погиб весь урожай риса…»

Тристрам удивленно нахмурился: Джордж писал о болезни пшеницы, потом это сообщение о селедке, а теперь вот неурожай риса. У Тристрама возникло какое-то подтачивающее тревожное чувство, которому он не мог найти объяснения.

— А как сегодня поживает наш дорогой Тристрам? — раздался молодой, жеманный и чуточку насмешливый голос. Это был Джеффри Уилтшир, новый декан Факультета общественных наук, голубоглазый мальчик (в буквальном смысле), настолько белокурый, что выглядел почти седым. Тристрам, пытавшийся ненавидеть его не слишком сильно, вымученно улыбнулся и ответил:

— Хорошо.

— Я подключался к вашему уроку в шестом классе, — сообщил Уилтшир. — Вы не будете возражать, если я скажу вам кое-что, дорогой мой Тристрам, я знаю.

Удушающий запах духов Уилтшира и его лицо с подрагивающими ресницами оказались совсем рядом с лицом коллеги.

— А хочу я сказать, что вы говорили детям то, чего, в принципе, говорить не следовало.

— Что-то я такого не припомню, — пробурчал Тристрам, стараясь пореже вдыхать воздух.

— А вот я, напротив, все отлично помню. Вы говорили примерно следующее: «Искусство не может процветать в обществе, подобном нашему, потому что — по-моему, так вы говорили — искусство является продуктом „вожделения отцовства“ (думаю, что правильно передаю ваши слова). Подождите, подождите! — остановил Уилтшир Тристрама, открывшего было рот. — Вы сказали также, что произведения искусства являются, по существу, символами плодовитости. Таким образом, мой все еще уважаемый Тристрам, не только совершенно не понятно, как эта тема вписывается в программу, но более того, совершенно без всяких на то оснований — и вы не можете этого отрицать, — совершенно ни с того ни с сего вы начинаете проповедовать — как бы вы сами это ни называли,

— начинаете проповедовать то, что, мягко говоря, можно назвать ересью.

Прозвенел звонок на ленч. Уилтшир обнял Тристрама за плечи, и вместе со всеми они пошли в служебную столовую.

— Но черт побери, это же правда! — кипятился Тристрам, стараясь справиться с гневом. — Все искусство — это один из аспектов сексуальности…

— Дорогой Тристрам, никто этого не отрицает, до некоторой степени это совершеннейшая правда.

— Но корни здесь глубже! Великое искусство, искусство прошлого, это своего рода прославление завета «плодитесь и размножайтесь». Возьмем хотя бы драматургию. И трагедия, и комедия ведут свое происхождение от праздников плодородия. Жертвенный козел — по-гречески «трагос». Деревенские приапические празднества выкристаллизовались в комическую драму. А возьмем архитектуру… — захлебывался Тристрам.

— Ничего мы не возьмем. — Уилтшир остановился, снял руку с плеч Тристрама и помахал у него перед глазами указательным пальцем, словно разгоняя застилавший их дым. — Ничего такого мы больше делать не будем, правда ведь, дорогой Тристрам? Пожалуйста, очень вас прошу, ведите себя осторожно. Ведь все вас так любят, вы же знаете.

— Я не совсем понимаю, какое это имеет отношение к…

— Это ко всему имеет отношение. Так вот, будьте просто хорошим мальчиком (Уилтшир был по крайней мере на семь лет младше Тристрама) и твердо придерживайтесь программы. Вы не зайдете слишком далеко по неверному пути, если так и будете делать.

Тристрам ничего не ответил, сдержав себя, хотя внутри у него все кипело. Войдя в насыщенную запахами столовую, он умышленно отстал от Уилтшира и принялся разыскивать стол, за которым сидели Виссер, Адэр, Бутчер (название весьма древней профессии), Фрити и Хейзкелл-Спротт. Это были безобидные люди, преподававшие безопасные предметы, обучавшие простейшим навыкам, в которые не могли закрасться противоречия.

— Ты выглядишь совершенно больным, — приветствовал Тристрама Адэр, поблескивая монгольскими глазами.

— А я и чувствую себя совершенно больным, — ответил Тристрам.

Хейзкелл-Спротт, сидевший во главе стола, зачерпнул ложкой жидкого овощного рагу и проворчал:

— От этого тебе станет еще хуже.

— … Эти маленькие ублюдки стали вести себя

гораздо приличней, с тех пор как нам разрешили быть с ними построже,

— продолжал начатый разговор Виссер. Он изобразил серию яростных ударов. — Скажем, Милдред-младший. (Кстати, потешное имя: Милдред — девчоночье имя, хотя это, конечно, его фамилия, ну да ладно, возьмем его.) Опять сегодня опоздал! И как вы думаете, что я делаю? Я позволяю «крутым» с ним разобраться. Ну, вы знаете: Брискер, Коучмен — вся эта компания. Они его прелесть как отделали. Две минуты — и готово. Он даже с пола не мог подняться.

— Вы должны поддерживать дисциплину, — одобрительно промычал Бутчер с полным ртом.

— Я серьезно, — проговорил Адэр. — Ты действительно выглядишь совсем больным.

— Ну, до сих пор его не тошнило по утрам, — язвительно бросил шутник Фрити.

Тристрам положил ложку.

— Что ты сказал?

— Это я пошутил, — смутился Фрити. — Я не хотел тебя обидеть.

— Ты что-то сказал о тошноте по утрам.

— Забудь. Это я шутки ради.

— Но это невозможно, — проговорил Тристрам. — Этого не может быть.

— На твоем месте я бы пошел домой и лег в постель, — посоветовал Адэр. — Ты выглядишь не лучшим образом.

— Совершенно невозможно, — твердил Тристрам.

— Если ты не хочешь рагу, — исходя голодной слюной, проговорил Фрити, — я буду тебе очень обязан, — и быстро придвинул к себе тарелку Тристрама.

— Нечестно! — упрекнул Фрити Бутчер. — Надо разделить поровну. А так это натуральное чревоугодничество.

Они принялись перетягивать тарелку, расплескивая рагу по столу.

— Я думаю, мне лучше пойти домой, — сказал Тристрам.

— Давай, — поддержал его Адэр. — Ты, видимо, заболеваешь. Подцепил что-то.

Тристрам встал из-за стола и неверной походкой пошел отпрашиваться у Уилтшира.

В схватке за рагу верх взял Бутчер, и теперь с победным видом шумно втягивал его в себя прямо через край тарелки.

— Обжорство, вот как это называется, — рассудительно проговорил Хейзкелл-Спротт.

Глава 4

— Но как это могло получиться? — кричал Тристрам. — Как? Как? Как?!

Два шага до окна, два обратно, до стены, руки нервно сцеплены за спиной.

— Никакое средство не дает стопроцентной гарантии, — проговорила Беатриса-Джоанна, спокойно сидевшая в кресле. — А может быть, была диверсия на заводе контрацептивов.

— Чушь какая! Абсолютная и совершенная чушь собачья! Вот такая твоя легкомысленная фраза — она типична, она полностью характеризует твое отношение к происшедшему! — кричал Тристрам, повернувшись к Беатрисе-Джоанне.

— А ты уверен, — спросила Беатриса-Джоанна, — что действительно принял таблетки в тот памятный день?

— Конечно. Совершенно уверен. Мне бы никогда в голову не пришло так рисковать.

— Да, верно. Тебе бы не пришло. — Беатриса-Джоанна покрутила головой, промурлыкав: «Примите таблетку, не нужно рисковать». Потом она улыбнулась Тристраму: — Из этой строчки можно сделать неплохой лозунг, не правда ли?

Ах да, теперь нас не лозунгами воспитывают. Теперь у нас Большая Дубинка.

— Это совершенно в голове не укладывается, — взволнованно говорил Тристрам. — Если только…

Он наклонился к Беатрисе-Джоанне.

— Но ведь ты этого не сделала, ведь не сделала?! Ты не могла быть настолько испорченной, безнравственной, злой, чтобы сделать это!

Слова августинской эпохи. Тристрам схватил жену за руку.

— У тебя есть кто-нибудь еще? — выпалил он. — Говори правду! Обещаю тебе, что не буду сердиться! — прокричал Тристрам сердито.

— О, не будь глупцом, — проговорила Беатриса-Джоанна совершенно спокойно. — Даже если бы я захотела изменить тебе, с кем бы я могла это сделать? Мы никуда не ходим, ни с кем не дружим. И я решительно возражаю, — продолжала она с сердцем, — против того, чтобы ты говорил такое. Даже думал. Я была верна тебе со дня женитьбы, и вот какую признательность и благодарность я получила за свою верность!

— Я должен был принять таблетки, — проговорил Тристрам, напрягая память. — Я помню, когда это было. Это было в тот день, когда бедный

малыш Роджер…

— Да, да, да!

— Я только что поужинал, и я помню точно, что ты предложила…

— Нет, Тристрам, нет. Это не я предложила. Это точно не я предложила.

— … и я хорошо помню, как я опустил аптечку с потолка, и что я…

— Ты был пьян, Тристрам. От тебя просто несло алком. Тристрам потупился.

— Ты уверен, что принял те таблетки? Я же не проверяла. Ты ведь все всегда лучше знаешь, дорогой, — разве нет? — Ее натуральные зубы блеснули в саркастической улыбке. — Во всяком случае, мы имеем то, что имеем. Вероятно, это был неожиданный приступ «вожделения отцовства».

— Где ты подцепила это выражение? — сверкнув глазами, спросил Тристрам. — Кто это тебя научил?

— Ты, — вздохнула Беатриса-Джоанна. — Ты иногда употребляешь это выражение.

Тристрам смотрел на нее с изумлением.

— В тебе, должно быть, много чего есть от еретика. В твоем подсознании, во всяком случае. Ты говоришь во сне, ты это знаешь? Я просыпаюсь от твоего храпа, а ты, будучи уверен, что стоишь

перед аудиторией, говоришь. Ты испорчен не меньше меня, но по-своему.

— Вот как…

Тристрам рассеянно окинул взглядом комнату, ища, куда бы сесть. Беатриса-Джоанна нажала кнопку, и второй стул с урчанием выполз из стены.

— Спасибо, — механически поблагодарил Тристрам. — Как бы это ни случилось, — проговорил он, усаживаясь, — ты должна избавиться от ребенка. Придется тебе попить какое– нибудь лекарство. Не вздумай тянуть до тех пор, когда уже придется обращаться в Центр Абортов. Это будет позор. Ведь это почти то же самое, что нарушить закон. Вот что значит безответственность, — проворчал Тристрам. — И отсутствие самоконтроля.

— Ах, я не знаю, что делать. — Беатрисе-Джоанне была совершенно безразлична вся эта трагедия. — Может быть, все не так плохо, как ты думаешь. Это я о том, что имеют же люди детей сверх нормы, и ничего страшного с ними не происходит. Мне дано право иметь ребенка, — проговорила она уже с большим чувством.

— Это Государство убило Роджера. Это Государство позволило ему умереть.

— Какая чушь! Ведь мы уже говорили с тобой

об этом. Ты, похоже, не можешь понять, по своей глупости, что обстановка изменилась, обстановка изменилась!

Тристрам подчеркнул последние слова, похлопывая Беатрису-Джоанну по колену.

— Пойми, — продолжал он, — время упрашивания кончилось. Теперь Государство ничего не просит. Государство приказывает, Государство принуждает. Ты знаешь, что в Китае людей самым настоящим образом убивают за нарушение законов о контроле над рождаемостью? Их казнят. Вешают или расстреливают — не знаю уж, что там с ними делают. Это мне Эмма написала.

— Ну, здесь же не Китай. Мы более цивилизованные люди,

— возразила Беатриса-Джоанна.

— Ах, черт побери, да какую чушь ты несешь! Везде будет то же самое. Родителей одного моего ученика увезла в фургоне Народная полиция, понятно тебе? И произошло это не далее как вчера вечером. А насколько я понял, ребенка у них даже еще нет. Она совсем недавно забеременела, как я соображаю. Гобже правый, скоро они будут ездить по домам с мышками в клетке и проверять мочу у женщин — нет ли беременных!

— А как это они делают? — заинтересованно

спросила Беатриса-Джоанна.

— Ты неисправима, вот и все, что я могу сказать! Тристрам снова вскочил на ноги. Беатриса-Джоанна убрала в стену жалобно пискнувшее сиденье для того, чтобы у него было пространство для ходьбы.

— Спасибо, — поблагодарил Тристрам. — А теперь посмотри, в каком мы находимся положении: если кто-нибудь узнает, что мы были неосторожны, даже если наша неосторожность не будет иметь дальнейших последствий, если кто-нибудь узнает, что…

— А как этот кто-нибудь может что-то узнать?

— Да уж не знаю как… Кто-нибудь может услышать тебя утром, ну, когда ты… встаешь. Вот как, — мягко проговорил Тристрам. — Миссис Петтит рядом живет. Шпионы кругом, ты же знаешь. Там, где есть полиция, всегда есть шпионы. «Носы», как их называют. И ты сама можешь кому-нибудь что-нибудь сказать — случайно, конечно. Кроме того, мне не нравится то, как развиваются события у нас в школе. Этот маленький свиненыш Уилтшир постоянно подключается к моим урокам. Знаешь, — решил Тристрам, — пойду-ка я прогуляюсь. Зайду в аптеку. Хочу купить тебе хинных таблеток. И касторового масла.

— Не надо. Я ненавижу вкус и того и другого. Потерпи еще немного, а? Давай просто немного подождем. Может быть, все обойдется.

— Опять ты за свое! — вспыхнул Тристрам. — Как мне вдолбить тебе в голову, что мы живем в опасное время. Народная полиция располагает огромной властью. Они способны на любую подлость.

— Не думаю, чтобы они когда-либо причинили какой-нибудь вред мне, — с невольным самодовольством проговорила Беатриса-Джоанна.

— Вот как? С чего бы это им с тобой церемониться?

— Просто у меня такое чувство, вот и все. («Осторожно, осторожно!») Просто мне так интуиция подсказывает. А вообще, мне все это до смерти надоело! — воскликнула Беатриса– Джоанна. — Если такими, какие мы есть, нас сотворил Бог, то почему мы должны вести себя так, как это нужно Государству? Бог ведь сильнее и мудрее Государства, не так ли?

— Бога нет. — Тристрам смотрел на нее с любопытством. — Откуда это ты набралась таких мыслей? Кто это тебя наставлял?

— Никто меня не наставлял. Я ни с кем не встречаюсь. Иногда только, когда хожу пайки

отоваривать. А если и разговариваю, так сама с собой. Или с морем. Иногда я говорю с морем.

— Что это все значит? Что, собственно, происходит? С тобой все в порядке?

— Все у меня в порядке. Если не считать того, что я все время хочу есть, — огрызнулась Беатриса-Джоанна. — Я чувствую себя очень хорошо. Даже очень хорошо.

Тристрам отошел к окну и стал всматриваться в клочок неба, просвечивавший между бесконечно высокими башнями.

— Я себе иногда задаю вопрос, — задумчиво проговорил он, — а что, если Бог существует? Кто-то такой там, наверху, кто всем управляет… Иногда я задаю себе такой вопрос. Но,

— обернулся вдруг Тристрам с немного испуганным видом, — не рассказывай никому, что я тебе тут говорил. Я же не сказал, что Бог есть. Я просто сказал, что иногда задаю себе какой– то вопрос, и все.

— Ты не слишком мне доверяешь, так?

— Я никому не верю. Прости меня, но я хочу быть честным с тобой: я не верю никому. Совсем. Мне кажется, я не могу доверять даже самому себе.

Было ясное безоблачное утро.

Тристрам вышел на улицу, чтобы купить хинин в одной Государственной аптеке, и касторку — в другой. В первой аптеке он громко разглагольствовал о малярии и даже упомянул о какой-то учебной поездке по Амазонке, а во второй постарался как можно убедительней изобразить человека, страдающего запором.

Глава 5

«Если Бога нет, то должен существовать по крайней мере какой-нибудь моделирующий бытие демиург», — подумал Тристрам несколько позже, когда у него появилось время и желание поразмышлять.

На следующий день (хотя в действительности дни существовали только на календаре; сменная система искромсала естественное время, как при кругосветном перелете), на следующий день Тристрам узнал, что за ним следят. Аккуратный шарик, одетый в черное, следовал за ним, соблюдая дистанцию. Поворачивая на Ростронплейс,Тристрам увидел его во всей красе: это был симпатичный маленький человечек с усиками, на фуражке у него поблескивала кокарда с яичком Нарпола, а на погонах сияли звезды — по три

на каждом.

Тристрамом овладело состояние какого-то кошмара, ему казалось, что он превратился в желе: ноги и руки обмякли, дыхание стало неглубоким, накатило отчаяние. Тем не менее, когда грузовик с прицепом, груженный оборудованием для Министерства синтетической пищи, начал осторожно поворачивать с Рострон-плейс на Адкинс-стрит, Тристрам нашел в себе достаточно сил и воли к жизни для того, чтобы перебежать дорогу перед грузовиком и оставить между собой и преследователем много тонн ржавых труб и пустых котлов. Но Тристрам понимал, что его уловки бесполезны, он чувствовал всю их глупость и безнадежность: ведь они его все равно поймают, если он им действительно нужен.

Тристрам добежал до второго поворота налево — Ханания– стрит. Весь первый этаж «Рэппэлбилдинг» был занят заведением под названием «Метрополь»; его очень любило посещать высшее чиновничество, и там никто не ждал скромного учителя, неуверенного в своем будущем. Позвенев несколькими септами, таннерами и тошронами в левом кармане брюк, Тристрам вошел внутрь.

Звон бокалов, широкие спины, девичьи плечи,

серая и черная униформа, разговоры о политике. («Резолюция 371 говорит об этом совершенно ясно».) Тристрам пробрался к свободному столику и стал ждать официанта. («Вопросы распределения сырья должны быть решены на межведомственной конференции».) Подошел официант в кремовом пиджаке, черный, как туз пик.

— С чем, сэр?

— С апельсиновым соком, — ответил Тристрам, наблюдая за беспрестанно открывающейся дверью. Вошла парочка заливающихся смехом франтов в сером, кастрат с лысым, как зад, черепом и стеклянными глазами в сопро-вождении мальчика-секретаря, мужеподобная женщина с огромным ненужным бюстом… И вот он увидел своего преследователя, увидел даже с каким-то облегчением. Офицер снял фуражку, обнажив слипшиеся короткие прямые рыжеватые волосы, и стал вглядываться в это скопище пьющих людей. Тристрама так и подмывало помахать ему рукой, чтобы показать, где он, но офицер и так разглядел его довольно быстро и, улыбаясь, подошел к нему.

— Мистер Фокс? Мистер Тристрам Фокс?

— Да. И вы это прекрасно знаете. Присядьте-ка лучше. Если, конечно, вы не хотите забрать меня

немедленно.

Черный официант принес Тристраму выпивку.

— Забрать?! — Офицер засмеялся. — А, понимаю. Постойте,

— окликнул он официанта, — принесите и мне стаканчик того же. Да, — обратился офицер к Тристраму, — вы совсем как ваш брат. Я имею в виду Дерека. По наружности. Ну а насчет остального я, конечно, не знаю.

— Что вы играете со мной, как кошка с мышкой! — вспылил Тристрам. — Если вы хотите предъявить мне обвинение, так предъявляйте!

Он даже протянул вперед руки, словно мим, изображающий велосипедиста. Офицер расхохотался.

— Примите мой совет, мистер Фокс, — проговорил он. — Если вы совершили что-нибудь противозаконное, подождите, пока другие это обнаружат. У нас и без явок с повинной достаточно забот, изволите ли видеть.

Офицер положил на стол обе руки ладонями вверх, словно показывая, что крови на них нет, и улыбнулся Тристраму доброй улыбкой. Похоже было, что он славный парень, примерно одних лет с Тристрамом.

— Хорошо, — сказал Тристрам, — а могу ли я

спросить…

Офицер покрутил головой, словно хотел проверить, нет ли рядом кого-нибудь, кто мог бы умышленно или неумышленно подслушать разговор. Но Тристрам был скромен и выбрал дальний и стоящий отдельно от других столик. Офицер еле заметно кивнул в знак удовлетворения.

— Я не буду называть своей фамилии, — заговорил он. — Ну а звание мое вы сами разберете — капитан. Я работаю в той организации, где ваш брат, видите ли, комиссарит. Вот о вашем брате я и хочу с вами поговорить. Я так понимаю, что братца своего вы не очень любите.

— Не очень, по правде говоря, — проговорил Тристрам. — Но я не понимаю, какое это имеет значение для чего-либо или для кого-либо.

Официант принес капитану алк, и Тристрам заказал себе еще один стаканчик.

— Это будет за мой счет, — заявил капитан. — Принесите два, — попросил он. — Сделайте двойные.

Тристрам поднял брови и сказал: — Если вы собираетесь меня напоить, чтобы я рассказал вам то, чего я не должен рассказывать…

— Да что за вздор! — рассмеялся капитан. — Вы,

скажу я вам, очень недоверчивый человек, понимаете ли. И вы это знаете, я так полагаю. Вы зна-аете, что вы человек недоверчивый, как я догадываюсь.

— Да, я такой, — ответил Тристрам. — Обстоятельства заставляют нас всех быть недоверчивыми.

— Осмелюсь сказать, — продолжал капитан, — что брат ваш, Дерек, весьма преуспел в жизни. Вы согласны? Это так, несмотря на массу кое-каких обстоятельств. Несмотря на свою семейную родословную, например. Но то, что он гомо… это, понимаете, искупает все другие грехи. Грехи отцов, например, понимаете ли.

— Да, он очень высоко взлетел, — согласился Тристрам. — Дерек теперь очень большой человек.

— А вот я могу сказать, что его положение отнюдь не является непоколебимым, отнюдь не является. А что касается того, что он большой человек, так ведь величина — вещь весьма относительная, не правда ли? Да, — согласился капитан сам с собой, — да, это так.

Он наклонился ближе к Тристраму и, казалось бы, без всякой связи со сказанным прежде продолжал: — Мое положение в Министерстве,

безусловно, дает мне право по крайней мере на майорское звание в новом корпусе, понимаете ли. Однако на погонах у меня, как вы можете заметить, всего по три капитанских звездочки. А некто по имени Данн — человек много моложе меня — носит на погонах короны. Вам когда-нибудь приходилось переживать что-либо подобное, мистер Фокс? Был ли у вас, понимаете ли, подобный унизительный опыт, когда человек моложе вас получает повышение, перепрыгивая через вашу голову?

— О да, да! — взволнованно ответил Тристрам, — конечно, да! Мне это очень даже знакомо!

Официант принес два двойных алка.

— Апельсиновый сок кончился, — объявил он. — Вам сделали с черносмородиновым. Надеюсь, джентльмены не возражают?

— Я так и думал, что вы меня поймете, — кивнул капитан.

— Это, конечно, потому, что я не гомо, — убежденно проговорил Тристрам.

— Я полагаю, не без этого, — согласился капитан, сильно смягчая мысль Тристрама. — Ваш брат был бы, несомненно, единственным, кто стал бы отрицать, как много он приобрел благо-

даря своей весьма инвертированной сексуальной жизни. Но теперь вы должны рассказать мне, мистер Фокс, об этих его значительно инвертированных сексуальных влечениях, вы ведь знаете его всю жизнь. Можете ли вы подтвердить, что они подлинные?

— Подлинные ли? — Тристрам нахмурился. — Все они чудовищно подлинные, я бы сказал. Ему еще и шестнадцати не было, когда он начал развлекаться подобным образом. Он никогда не проявлял интереса к девушкам.

— Никогда? Ладно… Вернемся теперь к вашему признанию, что вы человек недоверчивый, мистер Фокс. Вы когда-нибудь подозревали свою жену? — Капитан улыбнулся. — Это для любого мужа трудный вопрос, но я задаю его без всякого злого умысла.

— Я не совсем понимаю… — начал Тристрам и осекся. — На что это вы намекаете?

— Вот вы и начали понимать, — кивнул капитан. — По этой части вы достаточно сообразительны. А тут, понимаете ли, дело очень деликатное.

— Вы хотите сказать… — недоверчиво произнес ошарашенный Тристрам, — вы тут пытаетесь исподволь внушить мне, что моя жена… что моя жена и мой брат Дерек…

— Я следил за ним некоторое время, — сообщил капитан. –

Он узнал, что я за ним слежу, но похоже, что большого значения этому не придает. Для человека с нормальной половой ориентацией притворяться гомосексуалистом — значит быть в очень большом напряжении. Это все равно что непрерывно улыбаться. А то, что ваш брат Дерек встречался с вашей женой при различных обстоятельствах, я вам могу доказать. Я могу назвать даты. Он много раз бывал в вашей квартире. Может быть, конечно, все это ничего не значит. Может быть, он давал вашей жене уроки русского языка.

— Сука, — выругался Тристрам. — Ублюдок. Тристрам не мог понять, кого из них он в данный момент ненавидит больше.

— Она никогда не говорила. Она никогда ни словом не обмолвилась, что он бывает у нас дома. Но теперь все как-то связывается. Да, я начинаю понимать. Я как-то раз встретил его, когда он уходил. Месяца два назад.

— Ага, — снова кивнул капитан. — Однако настоящих доказательств, понимаете ли, никогда не было. Для разбирательства в суде, когда еще устраивались судебные процессы, все это не мог-

ло бы считаться доказательством супружеской неверности. Ваш брат мог регулярно посещать вашу квартиру потому, что был очень привязан к своему племяннику. И, конечно же, он приходил в ваше отсутствие потому, что знал, как вы его не любите. Ну, а он, соответственно, недолюбливает вас. А жена ваша не говорила о его визитах потому, что, понимаете ли, боялась вашего гнева. И когда ваш ребенок умер, два месяца назад, если я правильно припоминаю, эти визиты прекратились. Конечно, его посещения могли прекратиться и по совершенно другой причине, а именно — из– за его взлета на пост, который он сейчас занимает.

— Все-то вы знаете, а? — горько заметил Тристрам.

— Да, приходится много знать, — проговорил капитан. — Но, понимаете ли, подозрение не есть знание. А теперь я подошел к тому важному, что я действительно знаю о вашей жене и вашем брате. Она ему писала. Она отправила ему то, что в старые времена называлось «любовным посланием». И всего-то только одно, но, конечно, весьма компрометирующее. Она написала это письмо вчера. Она там пишет о том, как сильно скучает без вашего брата и как сильно его любит.

Есть там и кое-какие эротические подробности. Не много, но есть. Глупо с ее стороны было писать это письмо, но еще большую глупость допустил ваш брат, не уничтожив его после прочтения.

— Итак, — прорычал Тристрам, — выходит, что вы видели письмо, так? Лживая сука! — ругался он. — Это все объясняет. Я же знаю, я не мог ошибиться, я же знаю! Лживые, вероломные, ничтожные… — костерил обоих предателей Тристрам.

— К сожалению, что касается самого письма, то вам придется поверить мне на слово. Ваша жена будет все отрицать, я не сомневаюсь. Но она будет ждать, когда ваш братец вылезет в очередной раз на экран телевизора со своей трепотней, потому что она просила его, когда он будет молоть языком, подать ей секретный знак. Она просила, чтобы он вставил в свое выступление слово «любовь» или слово «желание». Хорошая мысль, — заметил капитан. — Я полагаю, однако, что вам нет нужды ждать такого рода подтверждения. Этого может вообще не произойти, понимаете ли. Во всяком случае, эти слова — оба вместе или поодиночке — можно вставить в любое выступление по телевидению самого патриотического содержания. (Сейчас все

телевизионные беседы носят патриотический характер, разве нет?) Он может сказать что-нибудь о любви к родине или о желании каждого, понимаете ли, внести свой скромный вклад в ликвидацию существующего чрезвычайного положения. Фокус в том, я так понимаю, что ведь вам захочется действовать почти немедленно.

— Да, немедленно! — закричал Тристрам. — Она может уходить. Она может уезжать. Она может убираться! Я не хочу ее больше видеть. Она может рожать своего ребенка. Она может рожать его, где хочет. Я ей не препятствую.

— Вы хотите сказать, — произнес капитан с благоговейным ужасом, — что ваша жена беременна?!

— Я здесь ни при чем! — выпалил Тристрам. — Я знаю. Клянусь, что это не я. Это Дерек. Это свинья Дерек!

Он ударил по столу кулаком, заставив стаканы танцевать под собственный звон.

— Р-родной брат наставил мне рога! — с пафосом произнес Тристрам на манер персонажа фарса елизаветинских времен.

Капитан пригладил свои рыжеватые усики мизинцем левой руки — сначала один, потом другой.

— Дела-а, — пробормотал он. — Официально я об этом ничего не знаю. Ведь нет доказательств, понимаете ли, что ответственность лежит не на вас. Вы же должны признать, что существует вероятность (если ребенок родится, чего по закону не положено), существует вероятность, что этот ребенок ваш. Я что хочу сказать: кто может подтвердить официально, что вы говорите правду?

Тристрам внимательно посмотрел на капитана.

— Вы мне не верите?

— Верю, не верю — какое это имеет значение, — увильнул от ответа капитан. — Но вы должны признать, что попытка приписать Комиссару Народной полиции подобное деяние будет встречена с недоверием, понимаете ли… Любовная связь с женщиной — это одно дело. Для вашего высокопоставленного братца — это преступление и глупость. Но сделать своей возлюбленной ребенка — это идиотизм исключительный, головокружительный, слишком крайний, чтобы оказаться правдой. Вы понимаете? Понимаете ли?

В первый раз он использовал так любимый им словесный штамп по прямому назначению — как вопрос.

— Я его убью, — поклялся Тристрам, — вот увидите, я его убью, свинью такую!

— Давайте по этому поводу еще по стаканчику, — предложил капитан.

Черный официант стоял поблизости и, постукивая жестяным подносом по колену согнутой ноги, что-то потихоньку мурлыкал под ритмичные звуки металла. Капитан щелкнул пальцами.

— Два двойных!

— Они одинаково виноваты, — пришел к заключению Тристрам. — Какое из предательств может быть хуже этого? Предан женой, предан братом! О, Гоб, Гоб, Гоб! — Он шлепнул себя ладонями по глазам и щекам и закрылся от предавшего его мира, оставив свободным только дрожащий рот.

— Вот уж Комиссар-то действительно виноват, — проговорил капитан. — Он предал не только брата. Он предал Государство и свое высокое положение в этом Государстве. Он совершил самое отвратительное и самое глупое из преступлений, понимаете ли. Рассчитайтесь сначала с ним, сначала с ним рассчитайтесь! Ваша жена — просто женщина, а у женщин не слишком развито чувство ответственности. Сначала он, он, с ним рассчитайтесь!

Принесли выпивку — жидкость похоронного

фиолетового цвета.

— Подумать только! — простонал Тристрам. — Я дал ей все, что может дать мужчина: любовь, доверие…

Он хлебнул алка с черносмородиновым соком.

— Да оставьте вы ее к черту, понимаете ли! — раздраженно чертыхнулся капитан. — Вы единственный человек, который может устроить веселую жизнь ему. Что могу сделать я, в моем-то положении, а? Даже если я утаю это письмо, даже если я его утаю, неужели вы думаете, что он не узнает? Неужели вы думаете, что он не натравит на меня своих головорезов? Он опасный человек!

— А что я могу сделать? — спросил Тристрам со слезами в голосе. (Этот последний стакан алка сильно способствовал созданию у него слезливого настроения.) — Он пользуется своим положением, вот что он делает. Он использует свое положение для того, чтобы предать своего собственного брата!

У Тристрама дрожали губы, слезы заливали контактные линзы. Неожиданно он с силой ударил кулаком по столу.

— Сука! — захрипел Тристрам, обнажая искусственные нижние зубы. — Ну подождите, я до нее

доберусь, ну подождите!

— Да-да-да! С нею-то можно подождать, понимаете ли. Я же говорю вам, рассчитайтесь сначала с ним! Он переменил квартиру, теперь он живет в квартире номер две тысячи девяносто пять в «Уинтроп-мэншнз». Подловите его там, прикончите его, преподайте ему урок! Он живет один, понимаете ли.

— Убить его, вы говорите? — изумленно произнес Тристрам. — Убить?!

— Это когда-то называлось «crime passione!» — преступление, совершаемое из ревности. Рано или поздно ваша жена будет вынуждена сознаться во всем. Рассчитайтесь с ним, укокошьте его, понимаете ли!

В глазах Тристрама блеснуло недоверие.

— А могу ли я верить вам? — спросил он. — Я не хочу, чтобы меня использовали, я не хочу, чтобы меня заставляли делать чью-то чужую грязную работу, понимаете ли. (Слово– паразит перескочило на него.) Вы тут кое-что говорили о моей жене. Откуда я знаю, что это так, что это правда? У вас нет доказательств, вы же не предъявили никаких доказательств!

Тристрам толкнул пустой стакан на середину стола.

— Трескаете тут ваше паршивое пойло и пытаетесь споить меня.

Не без труда он поднялся из-за стола.

— Я сейчас пойду домой и разберусь с женой, вот что я сделаю. А там посмотрим. Для вас я не собираюсь делать никакой грязной работы. Я никому из вас не верю. Интриганство, вот что это такое.

— Итак, я еще не убедил вас, — проговорил капитан. Он засунул руку в боковой карман кителя.

— Да, интриганство! — настаивал Тристрам. — Борьба за власть внутри партии — характерный признак Интерфазы. Я историк, вот кто я такой! Я должен был стать Деканом Факультета Общественных Наук, если бы не этот гомик, эта свинья…

— Спокойно, спокойно, — настороженно проговорил капитан.

— Я предан! — ревел Тристрам, словно провинциальный, трагик. — Предан гомиками!

— Если будете продолжать в том же духе, добьетесь того, что вас задержат, — предупредил капитан.

— Это все, что вы умеете делать — задерживать людей, вы, «задержавшиеся в развитии», ха-ха-

ха!.. Я предан…

— Ну что ж, — проговорил капитан, — если вам нужны доказательства — пожалуйста.

И он вынул из кармана письмо и издали показал его Тристраму.

— Дайте мне, — потребовал тот, пытаясь вырвать письмо,

— дайте мне посмотреть!

— Нет, — сказал капитан. — Если вы не доверяете мне, то почему я должен доверять вам?

— Итак, — подавленно пробормотал Тристрам, — итак, она ему написала непристойное любовное письмо. Ну подождите, я до нее доберусь, я до них до обоих доберусь!

Он бросил на стол, не считая, пригоршню зазвеневших при этом септов и флоринов и нетвердой походкой тронулся к выходу, глядя перед собой и ничего не видя.

— Сначала его! — напомнил капитан, но Тристрам уже уходил, лавируя между столиками, слепой и глухой в своей решимости достичь цели.

Капитан скорчил трагикомическую гримасу и сунул письмо в карман. Письмо это ему написал его старый друг, некто Дик Тёрнбулл, проводивший свой отпуск в Шварцвальде.

Да, такие уж теперь настали времена: люди ничего не видят, не слышат и не помнят.

Тем не менее то, другое письмо действительно существовало. Капитан Лузли совершенно точно видел его на столе у Комиссара. А Столичный Комиссар, перед тем как швырнуть это и другие письма личного характера (некоторые были полны оскорблений) в мусоросжигатель, заметил — так уж неудачно получилось, — что капитан это письмо видел.

Глава 6

Рачки-бокоплавы, русалочьи кошельки, гребневики, каракатицы, губаны, морские собачки и подкаменщики, крачки, олуши и серебристые чайки…

Беатриса-Джоанна в последний раз вдохнула морского воздуха и направилась к филиалу Государственного Продовольственного Магазина на Росситер-авеню, который находился у подножия вздымавшегося огромной горой «Спёрджен– билдинг». Пайки были урезаны снова без всяких предупреждений и извинений со стороны ответственных за это двух Министерств.

Беатриса-Джоанна получила два коричне-

вых кирпича прессованных сушеных овощей — легумина, большую белую банку синтелака, несколько плиток прессованной крупы, голубую банку ЕП — «Единиц Питания» и заплатила деньги. В отличие от других покупательниц, Беатриса-Джоанна не позволяла себе пускать слезу или сыпать угрозы. Хотя об этом и не распространялись, было известно, что три дня назад в магазине произошел небольшой бунт, который быстро подавили, и теперь у дверей магазина стояли «серые». Беатриса-Джоанна была переполнена морем и чувствовала сытое довольство, словно нагляделась на огромное круглое блюдо свежего сине– зеленого, с прожилками, мяса. «Интересно, а какой у мяса вкус?» — рассеянно подумала она, выходя из магазина. Ее рот припоминал только солоноватость живой человеческой кожи в чисто любовном контексте: мочки ушей, пальцы, губы…

В песенке о милом Фреде были и такие слова: «Весь — мое мясцо…» «Вот это и есть сублимация», — подумала Беатриса– Джоанна.

Находясь посредине многолюдной улицы, занятая невинными заботами домашней хозяйки, Беатриса-Джоанна неожиданно услышала громкие упреки, выкрикиваемые ее мужем.

— Вот ты где шляешься! — орал Тристрам, покачиваясь. Нелепо махая руками, он звал ее к себе. Ноги его, казалось, приклеились к тротуару у входа в подъезд жилого блока «Спёрджен-билдинг», составлявшего большую часть небоскреба.

— Что, поймал с поличным? Поймал на обратном пути оттуда?

Многие прохожие заинтересовались начинающимся скандалом.

— Делаешь вид, что ходила за покупками? Я все знаю, можешь не притворяться. — Тристрам не обращал никакого внимания на ее сетку с жалкой бакалеей. — Мне все рассказали, все!

Он качался, балансируя руками, словно стоял высоко в оконном проеме.

Маленькая жизнь внутри Беатрисы-Джоанны вздрогнула, словно чувствуя опасность.

— Тристрам! — храбро перешла в атаку Беатриса-Джоанна.

— Ты опять нализался! Сейчас же в дом и быстро в лифт!

— Предательница! — взвыл Тристрам. — Собираешься завести ребенка! От моего собственного брата, будь он проклят! Су-ука, су-ука! Что ж, давай. Давай-давай! Только убирайся куда-нибудь и там рожай. И все уже знают, все уже всё знают!

Некоторые из зевак начали подавать негодующие реплики.

— Тристрам… — проговорила Беатриса-Джоанна, почти не разжимая губ.

— Я тебе не Тристрам! — протестующе закричал он, словно это было не его имя. — Лживая сука!

— Войди в дом! — приказала Беатриса-Джоанна. — Тут какая-то ошибка. И это разговор не для публики.

— Ты так думаешь? Разве это не правда? — спросил Тристрам. — Уходи лучше, убирайся!

Вся переполненная народом улица и небо над ней стали для него собственным домом, пережившим предательство, местом страданий. Беатриса-Джоанна настойчиво пыталась пробиться в «Спёрджен-билдинг», а Тристрам старался не дать ей войти, размахивая руками, как щупальцами.

Со стороны Фруд-плейс послышался какой-то гул. Этот гул приближался. Наконец показалась колонна возбужденных людей в рабочей одежде, которые громко и не в лад что-то недовольно кричали — Вот видишь! — торжествующе прошипел Тристрам. — Все знают!

«Все» носили эмблемы с короной и буквами «ГЗСТ» — «Государственные Заводы Синтетиче-

ских Тканей». Некоторые из рабочих держали в руках символы протеста: куски синтетической ткани, прибитые к ручкам мётел и наспех нарезанные куски картона на тонких рейках. Надпись была только на одной картонке — логограмма «ЗБСТВК», на остальных были грубо намалеваны человеческие скелеты.

— Между нами все кончено! — решительно заявил Тристрам.

— Ты, тупоголовый идиот! — вспылила Беатриса-Джоанна. — Войди в дом! Не хватало еще нам вляпаться в это мероприятие.

Лидер рабочих с безумными глазами уже стоял на цоколе уличного фонаря, обхватив столб левой рукой.

— Братья! — закричал он. — Братья! Если они требуют от нас хорошей работы в течение всего дня, так пусть они и кормят нас как следует, черт бы их побрал!

— Повесить старого Джексона! — призвал пожилой рабочий, размахивая руками. — Вздернуть его!

— Его самого в кастрюлю запихнуть! — предложил монгол с забавными, по-настоящему косыми глазами.

— Тристрам, не будь дураком, — встревоженно

проговорила Беатриса-Джоанна. — Ты как хочешь, а я отсюда смываюсь.

Она с силой оттолкнула Тристрама, загораживавшего ей путь. Пакеты с продуктами разлетелись в разные стороны, Тристрам покачнулся и упал. Он начал плакать.

— Как ты могла, как ты могла, с моим родным братом…

Рассерженная Беатриса-Джоанна влетела в «Спёрджен– билдинг», оставив Тристрама исполнять свою полную упреков арию. Тот с трудом поднялся с тротуара, сжимая в руке банку с синтелаком.

— Ты, кончай тут прижиматься! — бросила ему какая-то женщина. — Нечего со мной заигрывать. Я домой хочу пройти.

— Они могут нам угрожать, пока не посинеют! — кричал лидер забастовщиков. — У нас есть наши права, и они не могут их отнять! Отказ от работы, в случае если имеются справедливые поводы для недовольства, — наше законное право, и они, черт бы их побрал, не могут этого отрицать!

Ответом был одобрительный рев. Тристрам вдруг почувствовал, что его втянула в себя и закружила толпа рабочих. Рядом с ним заплакала школьница, тоже захваченная людским

потоком.

— Ты молодец, что с нами пошел, — одобрительно кивнул головой плохо выбритый прыщавый юнец. — Нас морят голодом, вот мы и поднялись.

Косоглазый монгол повернулся к Тристраму лицом.

На нос ему села муха, а глаза его были устроены так, что муху было очень удобно рассматривать. Монгол наблюдал за ней, пока она не улетела, гадая потом, не символизировал ли ее отлет освобождение.

— Меня зовут Джо Блэклок, — сообщил он Тристраму. Удовлетворившись этим сообщением, монгол отвернулся и продолжал слушать своего вождя.

Лидер забастовщиков, будучи, к своему несчастью, толстым, как каплун, кричал, обращаясь к толпе: — Пусть они послушают, как урчат пустые животы у рабочих!

Негодующие крики.

— Солидарность!! — завопил упитанный вождь.

Одобрительные крики.

Тристрама мяли и толкали со всех сторон.

Вдруг из филиала Государственного Продовольственного Магазина на Росситер-стрит вышли

двое «серых». Они были вооружены только дубинками. Мускулистые мужики — «серые» принялись энергично раздавать удары направо и налево. Когда они рванули за правую руку уцепившегося за фонарный столб лидера забастовщиков, послышался громкий вопль боли и возмущения. Вождь вырывался и протестовал.

Один из полицейских упал, под ногами толпы затрещали кости. Неизвестно откуда на одном из лиц в толпе появилась кровь. Кровь была самая натуральная.

— Аааагх! — заклокотал горлом человек рядом с Тристрамом. — Задавить их, гадов!

Школьница пронзительно завизжала.

— Дайте ей выйти! — крикнул протрезвевший Тристрам. — Гоба ради, дайте ей дорогу!

Давящая толпа сжалась еще плотнее. Державшегося на ногах «серого» оттеснили к каменной стене «Спёрджен– билдинг». Тяжело дыша открытым ртом, тот колотил дубинкой по черепам и лицам. У кого-то выскочила изо рта искусственная верхняя челюсть, и на мгновение в воздухе мелькнула улыбка Чеширского Кота. Наконец приглушенно засвиристели полицейские свистки.

— Еще ублюдков поднабежало, — выдохнул

кто-то в затылок Тристраму. — Надо смываться, к черту!

— Солидарность! — кричал затерявшийся среди мелькавших кулаков лидер забастовщиков. Вой сирен полицейских машин все нарастал и вдруг прекратился мрачным глиссандо. Толпа, словно огонь или вода из лужи, в которую бросали камень, стала быстро-быстро растекаться в разные стороны. Школьница, перебирая тонкими, как у паучка, ножками, перебежала улицу и скрылась в переулке. Тристрам стоял на месте, вцепившись, словно ребенок, в белую жестянку с синтелаком. Теперь улицу контролировали «серые». У некоторых из них были жестокие и тупые лица, другие же открыто и дружелюбно улыбались, но все держали карабины на изготовку. Офицер с двумя блестящими полосками на погонах пронзительно свистел, как детская резиновая кукла, держа руку на кобуре. Толпы демонстрантов сгрудились в обоих концах улицы и наблюдали за полицейскими. Плакаты и знамена нестройно колебались над головами людей. Теперь они выглядели как-то нелепо и жалко.

Кого-то уже поджидали черные фургоны, их боковые двери были открыты, у грузовиков были откинуты задние борта. Что– то пролаял сержант.

В одном месте среди демонстрантов началось движение, знамена выдвинулись вперед. Все так же свистя, начищенный инспектор полиции вынул пистолет из кобуры. Раздался звонкий щелчок, затем хлопнул карабин. Стреляли в воздух.

— А ну, разделаемся с этими педиками! — закричал рабочий в поношенном комбинезоне. Робкое вначале движение колонн избитых людей быстро набирало скорость, какой-то «серый» с пронзительным криком упал. Свистки теперь сверлили голову, словно зубная боль. Полицейские открыли беглый огонь из карабинов, и пули, по-щенячьи взвизгивая, рикошетировали от стен.

— Руки вверх! — приказал инспектор, вынув свисток изо рта.

Несколько рабочих уже лежали на мостовой, хватая ртами воздух и истекая на солнце кровью.

— Всех взять! — орал сержант. — Места для всех хватит, красавцы!

Тристрам уронил свою банку.

— Смотрите на этого, вон там! — закричал офицер. — Самодельная бомба!

— Я не из их компании, — пытался объяснить

Тристрам, держа на голове сцепленные руки. — Я просто шел домой. Я учитель. Я категорически протестую! Уберите ваши грязные лапы!

— Разберемся, — многообещающе произнес здоровенный «серый» и прикладом карабина ударил его точно в желудок.

Изо рта у Тристрама брызнула струйка фиолетового алка.

— Залазь!

Тристрама подтолкнули к черному грузовику. Во рту и носоглотке он ощущал легкий привкус блевотины.

— Мой брат, — продолжал протестовать Тристрам, — Комиссар Наррр… наррр… наррр… — Он не мог перестать рычать. — У меня здесь жена, дайте мне хотя бы поговорить с женой!

— Залазь!

Тристрам принялся карабкаться по железным ступенькам на качающемся откидном борту грузовика.

— «Пагавалить сь маей зиной», — услышал он передразнивавший его голос какого-то рабочего. — Хо-хо-хо!

Кузов грузовика был набит потными и тяжело дышащими людьми. Все они были похожи на участников какого-то убийственного кросса, ко-

торых подобрали на дистанции из жалости.

Весело прозвенели цепи поднимаемого заднего борта, опустился брезентовый полог. В полной темноте послышались крики и улюлюканье рабочих, один или два из них запищали женскими голосами: «Прекрати, я маме скажу!», «О, какой ты противный, Артур!» Огромная дышащая масса рядом с Тристрамом произнесла: — Они это не воспринимают серьезно, в этом-то и беда большинства из них. Только дело портят, вот и все.

Глухой голос с акцентом северянина произнес первую шутку: — Можт, кто-ньть хочт сэнвич с иичницей?

— Послушайте, — чуть не плача жаловался Тристрам пахучей темноте, — я просто шел домой, чтобы разобраться с женой, вот и все. Я ко всему этому не имею никакого отношения. Это несправедливо!

Спокойный голос рядом с Тристрамом произнес: — Конечно, несправедливо. Они никогда не были справедливы к рабочим.

Другой рабочий, услышав произношение Тристрама, враждебно прорычал: — Заткнись ты там. Знаем мы таких. Я с тебя глаз не спущу.

Последнее было явно неосуществимо.

Между тем грузовики, ревя моторами, дви-

гались, если так можно сказать, походной колонной, и у Тристрама было такое ощущение, что улицы, по которым они ехали, были полны счастливых неарестованных людей. Ему хотелось рыдать.

— Я так понимаю, — произнес новый голос, — что вы не хотите связывать себя с нашей борьбой. Так ведь, приятель? Интеллектуалы никогда не были на стороне рабочих. Иногда они делали вид, что вместе с рабочими, но только затем, чтобы предать их.

— А я из тех, кого предали! — закричал Тристрам.

— Пожалейте его в задницу, — посоветовал кто-то.

— Заговор клерков, — произнес чей-то усталый голос. Послышались звуки губной гармоники.

Наконец тормоза взвизгнули в последний раз, и грузовик остановился. Было слышно, как открылись и закрылись дверцы кабины, затем лязгнули замки, зазвенели цепи, и в кузов, словно ветер, ворвался солнечный свет.

— Выходи! — приказал покорябанный оспой капрал– микронезиец с карабином.

— Послушайте, — заговорил Тристрам, вылезая из кузова.

— Я хочу заявить самый решительный протест! Я требую, чтобы мне позволили позвонить Комиссару Фоксу, моему брату! Произошла какая-то ужасная ошибка!

— Заходи по одному! — приказал констебль, и Тристрама вместе с другими втолкнули в какую-то дверь. Над их головами уходили в небо сорок этажей.

— Будете сидеть здесь, — объявил задержанным сержант. — По тридцать пять человек в камере. Для таких, как вы, сволочей, мерзких антиобщественных элементов, места даже более чем достаточно.

— Я протестую! — горячился Тристрам. — И входить сюда не собираюсь! — кричал он, входя в камеру.

— Эй, захлопни коробочку, — попросил один из рабочих.

— С нашим удовольствием! — встрял в разговор сержант.

Один за другим прогремели три засова, а в ржавом замке со скрипом повернулся ключ. Для надежности.

Глава 7

Беатриса-Джоанна набрала всего один чемодан вещей — упаковывать было почти нечего. Эпоха, в которую она жила, не была эпохой вещизма.

Беатриса-Джоанна попрощалась со спальней. На глаза ее навернулись слезы, когда она бросила последний взгляд на упрятанную в стену кроватку Роджера. В гостиной она пересчитала свои наличные деньги: пять бумажек по гинее, тридцать крон и горстка септов, флоринов и таннеров.

«Хватит».

Уже не было времени, чтобы предупредить сестру, но Мейвис часто и говорила, и писала: «Приезжай в любое время. Но не бери с собой этого своего мужа. Ты же знаешь, Шонни его терпеть не может».

Беатриса-Джоанна улыбнулась, вспомнив Шонни, потом всплакнула, а потом взяла себя в руки, щелкнула главным выключателем, и холодильник затих. Теперь это была мертвая квартира.

Вина? Почему она должна чувствовать себя виноватой? Тристрам велел ей убираться, вот она и убирается. Ей хотелось знать, кто же донес ему

и как много людей знает об этом? Возможно, она никогда больше не увидит Тристрама.

Маленькая жизнь внутри ее сказала: «Не думай, а действуй. Шевелись! Я теперь самое главное». Беатриса– Джоанна подумала, что в Северной провинции она будет в безопасности. И это будет в безопасности. Беатриса-Джоанна уже не могла думать ни о каком другом обязательстве, кроме своего долга перед этим единственным дюймом протеста, весящим тридцать с небольшим гранов, клетки которого непрерывно делились и умножались — эктодерма, мезодерма, энтодерма — протестуя, протестуя и еще раз протестуя. Крошечная жизнь протестовала против сплотившейся смерти.

«Всё! Прочь отсюда!» Начинался дождь, и поэтому Беатриса-Джоанна надела водонепроницаемую накидку, тонкую и легкую, как туман. На тротуаре алела засохшая кровь, струи дождя растворяли ее, и розовая жидкость стекала в водосточный желоб. Дождь пришел с моря, он символизировал собой жизнь.

Беатриса-Джоанна быстро дошла до Фруд-сквер. Перед освещенным красными огнями входом в метро толпились люди, красные, как черти из древнего мифического ада, молчащие, бол-

тающие, хихикающие, одиноко спешащие или идущие парами к урчащему эскалатору. Беатриса-Джоанна купила в автоматической кассе билет, спустилась в больнично-белые катакомбы, по туннелям которых гулял ветер, и села в поезд до центра Лондона. Линия прямая, она доедет менее чем за полчаса. Рядом с Беатрисой-Джоанной непрерывно шевелила губами пожилая женщина. Она разговаривала сама с собой, глаза ее были закрыты. Время от времени старуха произносила вслух: «Дорис была хорошей девочкой, хорошей девочкой для своей мамочки, а вот другая…»

Промелькнули Престон, Печем, Пенгдин… Пассажиры входили и выходили.

Пайкум.[1] Старуха вышла, бормоча: «Дорис…»

— Пирог — это то, что когда-то ели, — проговорила бледная толстуха с ребенком, обсыпанная синей пудрой. Ребенок заплакал. — Он голоден, вот и все, — объяснила толстуха.

Перегоны между остановками стали длиннее. Альбурн. Хикстед. Болни. Уонинглид. На этой остановке в вагон вошел ученого вида мужчина с жилистой шеей. Уместившись рядом с Беатрисой-Джоанной, он, сопя, как черепаха, погрузился

---

[1] notes: 1
П а й — пирог (англ.)

в чтение. «Др Прзв Улм Шкспр». Распечатав плитку синтешоколада, мужчина принялся жевать ее, все так же сопя. Ребенок снова заплакал.

Хендкросс. Пизпоттидж.[2]

— Гороховая похлебка — ее тоже когда-то ели, — снова проговорила толстуха.

Кроули, Хорли, Селфордз — здесь ничего съедобного.

Редхилл. Здесь «ученый» вышел, а вошли трое служащих Народной полиции. Это были молодые мужчины, младшие офицеры. Они были хорошо сложены, пуговицы мундиров сияли, а на черных кителях не было ни пятнышка, ни волосинки, тем более перхоти или крошек. Они бесстыдно-нагло рассматривали женщин, словно пытаясь определить на глаз, не скрывает ли кто-нибудь из них незаконную беременность. Беатриса-Джоанна покраснела, ей хотелось, чтобы поездка быстрее закончилась.

Мёрстхэм, Кейтерхэм, Коулсден.

«Уже скоро». Беатриса-Джоанна прижала руки к животу, словно его наращивающий клетки обитатель уже весело и шумно прыгал.

Пели, Кройден, Торнтон-Хит, Норвуд.

---

[2] notes: 2
Пиз — горох; поттидж — суп, похлебка (англ.)

Офицеры вышли. Поезд с ревом ввинчивался в темноту, устремляясь к центру древнего города.

Далвич, Кембервелл, Центр.

Вскоре Беатриса-Джоанна уже ехала по местной линии на Северо-западный вокзал.

Шумное здание вокзала кишело полицейскими в серой и черной форме, что неприятно поразило Беатрису-Джоанну. Она встала в очередь в кассовом зале. Служащие обеих полиций сидели за длинными столами, преграждавшими путь к окошечкам билетных касс. Полицейские были подтянуты, нагловаты и немногословны.

— Удостоверение личности, пожалуйста. Беатриса-Джоанна отдала документ.

— Куда следуете?

— Государственная ферма НВ-313, под Престоном.

— Цель поездки?

— Частная поездка.

— К друзьям?

— К сестре.

— Ага… К сестре.

(«Сестра — неприличное слово. Так-то вот».)

— Продолжительность визита?

— Не могу сказать. Слушайте, а зачем вам все это нужно?

— Продолжительность визита?

— О, возможно, месяцев шесть. Может быть, дольше.

(«Интересно, а сколько нужно было сказать?»)

— Дело в том, что я рассталась с мужем, понимаете?

— Так-так. Возьми на заметку эту пассажирку, хорошо? Полицейский клерк списал данные ее удостоверения на официальный бланк желтого цвета. Между тем другая молодая женщина попала в беду.

— А я вам говорю, что я не беременна, — повторяла она.

Тонкогубая рыжеватая женщина в черной полицейской форме потащила спорщицу к двери с табличкой «Медицинский контроль».

— Дорогая моя, мы быстро разберемся, — приговаривала женщина-полицейский, — мы во всем быстренько разберемся и все проверим, так ведь?

— Но я не беременна, я же говорю вам, что я не беременна! — кричала молодая женщина.

— Пожалуйста, — проговорил допрашивавший Беатрису– Джоанну полицейский, возвращая ей проштампованный пропуск. У него было приятное лицо классного старосты. Выражение

непреклонности шло ему не больше, чем страшная маска домового.

— Слишком много незаконно беременных стараются скрыться в Провинциях. Ну вас-то это, наверное, не касается, не так ли? В удостоверении написано, что у вас уже есть один ребенок, сын. Он где сейчас?

— Он умер.

— Ах вот как… Ну что ж, будем считать, что с формальностями покончено. Проходите.

И Беатриса-Джоанна пошла покупать себе билет в один конец, на север.

Полиция у барьеров, полиция на платформе… Переполненный поезд с атомным локомотивом.

Беатриса-Джоанна, чувствуя себя совершенно измученной, уселась между худым мужчиной, держащимся так напряженно, что лицо его походило на железную маску, и очень маленькой женщиной, ноги которой, не достающие до полу, болтались, как у большой куклы. Напротив Беатрисы-Джоанны сидел мужчина в клетчатом костюме с грубым лицом комика. Он отчаянно-шумно втягивал воздух через вставной коренной зуб. Маленькая девочка с постоянно открытым ртом, словно ее душили полипы, методически осматривала Беатрису-Джоанну с ног до головы и

обратно, с головы до ног, в строгой последовательности. Очень полная молодая женщина рядом раскраснелась, как горящая лампа, ее мощные ноги росли из пола купе наподобие древесных стволов.

Беатриса-Джоанна закрыла глаза.

Почти сразу же ей стал сниться сон: серое поле на фоне грозового неба, похожие на кактусы растения, которые стонали и качались, люди-скелеты, падающие на землю с черными вывалившимися языками… Потом она увидела себя и какую-то огромную мужскую фигуру, закрывающую собой весь передний план, в акте совокупления…

Раздался громкий смех, и Беатриса-Джоанна проснулась, дрожа от ужаса. Поезд все еще стоял у перрона, попутчики Беатрисы-Джоанны поглядывали на нее лишь с легким интересом (за исключением девочки с полипами). Но вот — словно сон был необходимой экспозицией перед отъездом — поезд тронулся и стал набирать скорость, оставляя позади серую и черную полицию.

Глава 8

— Что с нами сделают? — спросил Тристрам. Его глаза постепенно привыкли к темноте, и теперь он мог разглядеть находившегося рядом с ним человека. Это был косоглазый монгол, который когда-то, очень давно, сообщил ему на мятежной улице, что его зовут Джо Блэклок. Наполнявшие камеру задержанные рабочие устроились кто как: некоторые сидели на корточках, как шахтеры, потому что больше сидеть было не на чем, другие подпирали собой стены камеры. Когда заперли дверь, один пожилой мужчина, который прежде вел себя совершенно спокойно, возбужденно вскочил и, ухватившись за прутья решетки, стал кричать в коридор: — Я оставил включенной плиту! Отпустите меня домой, ее же надо выключить! Я сразу вернусь назад, честное слово!

Теперь измученный старик лежал на холодных плитках пола.

— Что с нами сделают? — переспросил Джо Блэклок. — Да ведь нам и «шить»-то нечего, насколько я понимаю. Я так думаю, что некоторых выпустят, а некоторых оставят… Правильно я

говорю, Фрэнк?

— Зачинщики получат, что им причитается, — ответил высокий, худой, туповатый на вид Фрэнк. — Мы все говорили Гарри, что это пустая затея. Мы вообще не должны были так делать. Видите, чем это для нас кончилось. Вот посмотрите, куда он загремит!

— Кто? Куда загремит? — спросил Тристрам.

— Он называет себя руководителем забастовки. Придется ему малость повкалывать на каторге. А может, и похуже того. Ну… что бывает, когда дела совсем уж дрянь. — Фрэнк сложил из пальцев подобие пистолета и направил его на Тристрама. — Да и с вами такое может приключиться: пиф-паф!

— Я не имею к этому никакого отношения, — в который уже раз повторил Тристрам. — Я был просто затянут толпой. Это же ошибка, сколько раз можно вам говорить — Ну и хорошо. Вот и скажите им это, когда за вами придут.

Фрэнк отошел в угол помочиться. В камере как-то по– домашнему уютно запахло мочой.

Средних лет мужчина с седоватым цыплячьим пушком на голове, напоминавший своим диковатым видом самодеятельного проповедника, подошел к Тристраму и сказал: — Вы подпи-

шете себе приговор, как только откроете рот, мистер Честное слово, они сразу распознают в вас интеллектуала, стоит вам только с ними встретиться. Так или иначе, я считаю, что вы совершили смелый поступок, поддержав рабочих И вам воздастся, когда настанут лучшие времена, помяните мои слова.

— Ничего я не совершал, — чуть не плакал Тристрам, — и никого не поддерживал!

— Чу! — послышался голос из угла. — Я слышу шаги, истинно говорю вам!

В коридоре зажглась голая, как яйцо, лампочка, грохот подкованных ботинок становился все ближе. Лежащий на полу старик запричитал: — Я только хочу выключить плиту, я совсем ненадолго!

Прутья решетки, черные на фоне неожиданно яркого света, откровенно смеялись над арестованными своими прямоугольными ртами, а между прутьев скалили зубы двое «серых» — вооруженные молодцы бандитского вида. Загремели засовы, скрипнул замок, и дверь камеры открылась.

— Так вот, — заговорил один из «серых», младший капрал, тасуя пачку удостоверений личности, — я сейчас буду раздавать ваши картонки,

сечёте? Те, кому дал, могут делать ноги, и чтоб не шалили больше! Поехали: Ааарон, Элдис, Барбер, Коллинз, Чжун…

— Что за черт, а я где, я-то что сделал плохого? — спросил Джо Блэклок.

— … Девенпорт, Дилки, Мохамед Дауд, Доддз, Эванс… Подходившие хватали документы, и их грубо выталкивали наружу, навстречу свободе.

— … Фэрбразер, Франклин, Гилл, Хэкни, ХаМидин…

— Здесь наверняка какая-то ошибка! — закричал Тристрам.

— Я тоже на «ф»!

— … Джонс, Линдсей, Лоури… Камера быстро пустела.

— … Макинтош, Мейфилд, Морган, Норвуд, О'Коннор…

— Я вернусь, — бормотал дрожащий старик, забирая свое удостоверение, — я только выключу плиту и вернусь. Спасибо, ребята.

— … Паджит, Радзинович, Смит, Снайдер, Тейлор, Такер, Юкук, Вивиан, Вильсон, Вильсон, Вильсон. Вот и все! А как твоя фамилия, приятель? — спросил «серый» Тристрама.

Тристрам назвал свою фамилию.

— Ага! Тебе придется остаться здесь, придется

тебе посиде-еть!

— Я требую свидания с начальником! — петушился Тристрам. — Я требую, чтобы мне разрешили связаться с моим братом! Дайте мне позвонить жене! Я напишу Министру внутренних дел!

— Ну что ж, писать можно, — сказал «серый». — Может, попишешь и успокоишься. Пиши, парень, пиши.

Глава 9

— Ну-ка, ну-ка, — гудел Шонни, — славен Господь на небесах, посмотри, кто к нам пришел! Этаже моя собственная свояченица, Господи спаси и сохрани! И выглядит так, словно мы с ней вчера расстались, а ведь, пожалуй, более трех лет прошло с тех пор, как я ее видел в последний раз. Входите, входите, добро пожаловать!

Бросив на улицу настороженный взгляд, Шонни проговорил:

— Я ему зла не желаю, понимаете, но надеюсь, что вы не привезли с собой этого ужасного человека Есть в нем что-то такое, отчего при одном его виде у меня шерсть дыбом встает и зубы чешутся.

Беатриса-Джоанна, улыбаясь, отрицательно покрутила головой.

Шонни казался человеком из сказочного прошлого — открытым, прямым, честным, сильным. У него было грубоватое, круглое, смешливое лицо, загорелое, с удивленными светло– голубыми глазами, подвижной обезьяньей верхней губой и тяжело отвисавшей нижней. Огромное тело Шонни было облечено в бесформенный фермерский комбинезон.

— Мейвис! — позвал он. — Мейвис!

И в маленькой прихожей появилась Мейвис. Она была на шесть лет старше Беатрисы-Джоанны, с такими же волосами цвета яблочного сидра, карими глазами и округлыми чувственными формами.

— У меня не было времени предупредить вас, — оправдывалась Беатриса-Джоанна, целуясь с сестрой. — Я уезжала в большой спешке.

— Да уж, оттуда убежишь без оглядки, — согласился Шонни, забирая у нее чемодан, — из этого огромного жуткого города, не дай Бог такому присниться.

— Бедный малыш Роджер — Мейвис обняла сестру и повела ее в гостиную — Как им не стыдно!

Гостиная была лишь немногим больше, чем в квартире Фоксов, но казалось, что в ней легче дышать и больше кислорода.

— Прежде чем начать разговор, давайте выпьем чего– нибудь, — предложил Шонни. Он откинул крышку бара, демонстрируя батарею бутылок. — Какого-нибудь такого напитка, стакан которого вы не купите и за двадцать крон в той жуткой раковой опухоли, откуда вы только что выбрались, да разнесет ее Бог!

Шонни поднес к свету одну из бутылок.

— Сливянка моего собственного производства, — сообщил он. — Хоть изготовление вина и запрещено, как и множество других полезных и угодных Богу занятий, но пусть провалятся в преисподнюю все эти навозные жуки-законодатели с их ничтожными душонками, а Христос их рассудит.

Он разлил вино по стаканам.

— Возьмите стаканы в правую руку и делайте, как я! — приказал Шонни.

Все сделали по глотку.

— Стойте! — закричал вдруг Шонни. — А за что пьем?

— За многое, — сказала Беатриса-Джоанна. — За жизнь. За свободу. За море. За нас. И еще кое за

что, но об этом я позже скажу.

— Вот за каждый пункт и выпьем по стакану, — заключил Шонни и улыбнулся: — Рады видеть вас в своей компании.

Шонни был панкельтом, одним из немногих выживших потомков членов Кельтского Союза, которые добровольно покидали Британские острова и, волна за волной, оседали в Арморике. Это было лет сто назад. В жилах Шонни текла бодрящая смесь из крови обитателей острова Мэн и Шетландских островов, жителей графств Гламорган, Эршир и Корк. Шонни, однако, с горячностью доказывал, что браки между выходцами из этих мест отнюдь нельзя называть смешанными. Фергус, Моисей Кельтского Союза, учил, что кельты были единым народом, язык у них был один и религия была искони одна. Он соткал доктрину второго пришествия Мессии из католицизма, кальвинистского методизма и пресвитерианства: церковь, кирха и молитвенный дом были единым храмом вездесущего Бога. В мире, где пелагианство было в действительности индифферентизмом, храмы предназначались для того, чтобы заботливо хранить огонь христианства, как когда-то его хранили при нашествии саксонских орд.

— Мы продолжали молиться, представьте себе, — рассказывал Шонни, наливая дамам еще по стаканчику вина, — хотя, конечно, это тоже противозаконно. В прежние времена они нас не трогали, но теперь у них есть эта дьявольская полиция, которая шпионит и арестовывает. Совсем как в священной памяти древние века преследований за веру. Мы тут пару раз служили мессу, так отца Шекеля — спаси и сохрани Господь этого беднягу! — отца Шекеля эти накрашенные жеманники с ружьями забрали в его собственной лавке (он торговец семенами) и увели неизвестно куда. Как бы там ни было, а эти бедные темные глупцы не могут или не хотят понять того, что мы принесли эту жертву во благо Государства. Всех нас ждет голодная смерть (Господи, помилуй нас!), если мы не будем молить Господа о прощении наших богомерзких деяний. Грешим против Света, отрицаем Жизнь. Если и дальше так пойдет, то недолго нам до Страшного суда!

Шонни залпом выпил стакан сливянки и причмокнул толстыми губами.

— Пайки все урезают, — проговорила Беатриса-Джоанна, — и не объясняют почему. На улицах демонстрации. Тристрам угодил в одну. Он был пьян. Его, должно быть, полиция забрала. Мне

так кажется. Надеюсь, с ним все в порядке.

— Что ж, по правде говоря, я ему зла не желаю, — проговорил Шонни. — Пьян был, говорите? Значит, есть в нем еще что-то хорошее.

— И как долго ты предполагаешь оставаться у нас? — спросила Мейвис.

— Я думаю… Рано или поздно мне пришлосьбы сказать вам об этом. Надеюсь, что вы в обморок не попадаете. Я беременна, — объявила Беатриса-Джоанна.

— О! — вырвалось у Мейвис.

— И я рада, что я беременна! — с вызовом проговорила Беатриса-Джоанна. — Я хочу иметь ребенка.

— Вот за это уж точно надо выпить! — проревел Шонни. — И наплевать нам на последствия, так я скажу. Это поступок — вот что это такое. Поддержание огня, чтение мессы в подполье. Молодец, девочка!

Он налил всем еще вина.

— Ты хочешь рожать здесь? — спросила Мейвис. — Это опасно. И потом, ты же не сможешь долго скрывать ребенка. Ты должна все тщательно продумать, уж такие теперь времена.

— На это есть воля Божья! — закричал Шонни. — «Плодитесь и размножайтесь». Выходит, в

этом твоем мелком мужичке есть еще какая-то жизнь!

— Тристрам не хочет ребенка, — сказала Беатриса– Джоанна. — Он велел мне убираться.

— Кто-нибудь знает, что ты поехала сюда? — спросила Мейвис.

— Мне пришлось сказать полиции в Юстоне. Я соврала, что еду просто в гости. Я не думаю, чтобы стали проверять. Ведь нет ничего плохого в том, чтобы ездить в гости.

— Долгий будет визит, — проговорила Мейвис. — И потом, вопрос: куда тебя поселить? Сейчас детей дома нет, они в Камноке, гостят у родственницы Шонни, тетушки Герти. Ну а когда они вернутся…

— Послушай, Мейвис, — решительно сказала Беатриса– Джоанна, — если ты не хочешь, чтобы я оставалась, так прямо и скажи! Я не хочу надоедать и быть помехой.

— А ты и не будешь, — успокоил ее Шонни. — Мы можем устроить тебя, если будет такая нужда, в одном из сарайчиков. Мать повыше тебя рангом родила в…

— Ах, перестань нести эту сентиментальщину! — перебила его Мейвис. — Как раз такие разглагольствования иногда настраивают меня

против религии. Если ты решилась, — обратилась она к сестре, — если ты действительно решилась, то мы должны просто жить дальше и надеяться на скорое наступление лучших времен. Я понимаю, что ты чувствуешь, не думай. В нашей семье всегда много рожали. Мы просто должны надеяться, что к людям снова будут относиться по-человечески, вот и все.

— Спасибо тебе, Мейвис, — поблагодарила сестру Беатриса-Джоанна. — Я знаю, возникнет куча проблем: прописка, пайки и прочее.. Есть еще достаточно времени, чтобы все это обдумать.

— Ты приехала туда, куда нужно, — подбодрил ее Шонни. — Моя ветеринарная подготовка придется весьма кстати, ей-богу. Многим малым сим я помог появиться на свет.

— Вы помогали животным? — спросила Беатриса-Джоанна. — Вы хотите сказать, что у вас есть домашние животные?

— Куры в клетках, — нехотя признался Шонни. — И старая свинья Бесси. А у Джека Биера в Блэкберне есть боров, которого он дает за деньги. Все это считается противозаконным, да будут прокляты такие законы всей Святой Троицей Но иногда нам удается разнообразить наше позорное меню свининой. Вообще, все кругом находится

в каком-то жутком состоянии, — продолжал он, — и похоже, что никто ничего не понимает. Это гнилостное заболевание охватило весь мир, курицы не хотят нестись, поросята последнего помета у Бесси были какими-то больными, со странными опухолями на внутренностях. Их тошнило глистами и еще чем-то, и я был вынужден избавить их от страданий. На нас лежит проклятие — Господи, прости нас, грешных! — за наши преступления против жизни и любви.

— Кстати, о любви Между тобой и Тристрамом все кончено?

— спросила Мейвис.

— Я не знаю, — подавленно ответила Беатриса-Джоанна. — Я пыталась относиться к нему подушевнее, но не выходит как– то. По-видимому, я должна сейчас сосредоточить всю мою любовь на том, что еще даже не родилось.

У меня такое чувство, словно меня захватили силой и использовали. Но несчастной из-за этого я себя не чувствую. Скорее наоборот — Я всегда говорила, что ты не за того мужика вышла, — проворчала Мейвис.

Глава 10

Дерек Фокс во второй раз перечитывал два покрытых каракулями листочка туалетной бумаги, подписанные его братом. Он читал и улыбался «Я незаконно заточен здесь, и мне не разрешают свиданий. Я взываю к тебе как к брату и прошу тебя использовать свое влияние для того, чтобы меня освободили. То, что со мной сделали, — это позорная несправедливость Если этот простой братский призыв не тронет тебя, то, возможно, следующее мое заявление заставит тебя шевелиться я знаю теперь, что ты и моя жена длительное время находились в преступной интимной связи и что она носит твоего ребенка. Как мог ты, ты, мой брат? Вызволи меня отсюда, тебе это ничего не стоит, и ты должен сделать это для меня Даю тебе честное слово, что никому ничего не скажу, если ты окажешь мне помощь, о которой я тебя прошу. Если ты этого не сделаешь, то, несмотря ни на что, я буду вынужден открыть все соответствующим органам. Вытащи меня отсюда. Тристрам».

Письмо, словно паспорт, было заляпано оттисками резиновых штампов. «Смотрено. Комендант

Центра временного содержания. Франклин-роуд», «Смотрено Начальник районного отделения полиции в Брайтоне», «Смотрено Начальник 121-го полицейского участка», «Проверено. Центральная канцелярия Нарпол».

Улыбаясь, Дерек Фокс откинулся на спинку кресла из кожзаменителя; улыбаясь, он посмотрел на идиотски огромный, как луна, диск циферблата настенных часов, на ряд телефонов, на спину своего златокудрого секретаря…

Бедный Тристрам! Несчастный и не очень сообразительный Тристрам! Простым актом написания этих каракулей тупоголовый Тристрам уже все выдал всем органам, соответствующим и несоответствующим. Но, конечно же, это не имело значения. Беспочвенные сплетни и явная ложь сутки напролет с жужжанием циркулировали в офисах Комиссариата. Это было чем-то вроде комариного писка и в расчет не принималось. Тем не менее, попав на свободу, Тристрам мог доставить неприятности. Взбесившийся рогоносец с бандой своих учеников-головорезов. Подстережет с ножом в кармане в темном месте. Или нальется до чертиков и возьмет пистолет… Пусть уж лучше сидит, где сидит. Слишком это утомительно — ежесекундно ждать подвоха от

собственного брата.

А с ней как быть? Хотя это дело другое. Подождем, подождем. Следующая фаза должна наступить довольно скоро. А бедный глупый капитан Лузли? Оставим его пока в покое, идиота.

Дерек Фокс позвонил в Штаб полиции и попросил, чтобы Тристрам Фокс, ввиду имеющихся относительно него подозрений, был задержан на неопределенное время. После этого Дерек снова занялся черновиком своего выступления на телевидении: ему давали пять минут после двадцатитрехчасовых новостей в воскресенье. Обращаясь к женщинам Большого Лондона с предостережениями и призывами, он писал: «Любовь к своей стране является одной из чистейших разновидностей любви. Желание процветания своему Государству — святое желание» такие выступления у него хорошо получались.

ЧАСТЬ III
Глава 1

Миновали дождливый август и засушливый сентябрь, но похоже было, что погодные условия не оказывают никакого влияния на болезнь зерновых, которая распространялась по свету со скоростью самолета. Это было никому прежде не известное заболевание. При изучении под микроскопом оказалось, что своей формой возбудитель болезни не напоминает ни один из известных вирусов. На него не действовал ни один из химикатов, изобретенных Всемирным Управлением сельского хозяйства. Хуже того — болели не только рис, маис, ячмень и пшеница: пораженные чем-то вроде гангрены, с деревьев и кустов опадали плоды, картофель и другие корнеплоды превращались в комки черной и синей грязи. Несчастье не миновало и животный мир: глисты, кишечные паразиты, чесотка, опухание конечностей, птичья холера, выпадение яйцевода, уретрит, паралич ног, хронические вывихи

— это лишь малая часть тех болезней, которые поразили птицефабрики и превратили их

в набитые перьями морги. Горы гниющей рыбы были выброшены морем на северо-восточном побережье в начале октября, реки смердели…

Октябрьской ночью достопочтенный Роберт Старлинг, Премьер-министр, лежал без сна на своей двуспальной кровати и ворочался с боку на бок. Мальчик, деливший с ним ложе, был изгнан. Голова Премьера раскалывалась от голосов. То были голоса экспертов, которые твердили, что им ничего не известно, ну просто ничего не известно; голоса фантазеров, вопящих, что вирусы были преступным образом завезены на ракетах с Луны; хорошо поставленные голоса профессиональных паникеров, утверждавших на последней конференции премьер– министров СОАНГС: «Этот год мы еще переживем, можно сказать, почти пережили, но вот в следующем году…» И какой-то совсем тайный голос нашептывал цифры статистики, а в темноте спальни некто показывал слайды, от которых стыла кровь: «А здесь мы видим последний голодный бунт в Куч-Бехаре, результатом которого стали, по самым грубым подсчетам, четыре тысячи трупов. Все они были захоронены в общей могиле. Неплохо в смысле добычи пятиокиси фосфора, да? А сейчас перед нами проходят весьма живописные картины го-

лода в Гулбарге, Бангалоре и Раджуре. Вглядитесь получше, полюбуйтесь этими торчащими ребрами! А теперь перенесемся в Ньясаленд: голод в Ливингстоне и Мпике… Могадишо в Сомали

— вот где был рай для стервятников! А теперь пересечем Атлантику».

— Нет! Нет! Нет!

Достопочтенный Роберт Старлинг завопил так громко, что разбудил своего маленького друга Абдул Вахаба. Этот шоколадного цвета мальчик спал на кушетке в будуаре Премьера. Абдул Вахаб вбежал в спальню, закручивая вокруг пояса саронг, и зажег свет.

— Что такое? Что случилось, Бобби?

Мягкий взгляд карих глаз был полон тревоги.

— А, ничего. Мы с тобой тут ничего не можем поделать. Иди спать. Извини, что я разбудил тебя.

Абдул Вахаб сел на упругий край матраса и стал гладить лоб Премьера.

— Ничего, ничего, все будет в порядке, ничего, — повторял он.

— Они все, похоже, думают, что мы преследуем личные цели! — обиженно заговорил Премьер-министр. — Они думают, что я обожаю власть.

Прохладная ладонь массировала лоб, Премьер-

министр благодарно прикрыл глаза.

— Они же не знают, они просто не знают самого главного!

— Конечно, не знают.

— Ведь это же все для их собственного блага, все, что мы делаем, это же для их блага!

— Конечно.

— Что бы они делали на моем месте? Если бы на них взвалить такую ответственность и такую душевную боль?

— Они бы и минуты не выдержали.

Вахаб продолжал массировать лоб хозяина прохладной коричневой ладонью.

— Ты хороший мальчик, Вахаб.

— Ну что ты, — жеманно улыбнулся Вахаб.

— Да-да, ты хороший мальчик. Что же нам делать, Вахаб, что же нам делать?

— Все будет хорошо, Бобби. Вот увидишь.

— Нет, не может быть все хорошо. Я либерал, я верю, что человек может управлять миром, в котором живет. Просто мы не дали ему возможности рискнуть. Вся планета умирает, а ты говоришь, что все будет хорошо.

Абдул Вахаб переменил руку: хозяин лежал очень неудобно.

— Я не слишком умен, — проговорил он, — я в

политике не разбираюсь. Но мне всегда казалось, что, когда на планете живет слишком много людей, это очень плохо.

— Да-да! Для нас это большая проблема!

— Но теперь это уже не проблема, так? Ведь население очень быстро уменьшается, разве не так? Разве люди не умирают оттого, что им нечего есть?

— Ты глупенький мальчик. Ты очень милый, но очень глупый мальчик. Неужели ты не понимаешь, дурачок, что если бы мы захотели, то могли бы укокошить три четверти населения Земли вот так (Премьер щелкнул пальцами) — и все! Но Государство озабочено не тем, как ликвидировать людей, а как сохранить им жизнь. Мы поставили войну вне закона, мы превратили ее в кошмарный сон прошлого, мы научились предсказывать землетрясения и бороться с наводнениями, мы оросили пустыни и заставили цвести полярные льды. Это и есть прогресс, это исполнение части наших гуманных стремлений… Ты понимаешь, о чем я говорю, дурачок?

Абдул Вахаб зевнул с закрытым ртом, улыбаясь крепко сжатыми губами.

— Мы устранили все природные ограничения на заселение территорий. «Природные ограни-

чения» — какие циничные и злобные слова! История человечества — это история его контроля над окружающей средой. Да, люди частенько подводили нас. Большая часть общества еще не готова воплотить в себе Пелагианский Идеал, но скоро, может быть, она будет к этому готова. И, может быть, очень скоро! Возможно, люди уже учатся. Учатся, преодолевая боль и лишения. Ах, какой это злой и дурной мир!

Премьер тяжело вздохнул.

— Так что же нам предстоит сделать? Призрак голода бродит по миру, мы уже бьемся в его костлявых объятиях. (Премьер нахмурился, произнося эту фразу, но дал метафоре прозвучать.) Все наше научное знание и опыт сводятся на нет этой угрозой.

— Я человек не слишком умный, — снова произнес Вахаб. — И люди моего племени, бывало, тоже делали не слишком умные вещи, когда предчувствовали неурожай или у них рыба не клевала. Возможно, они совершали глупые поступки. Вот одной из тех глупостей была молитва.

— Молитва? — переспросил Премьер-министр. — Когда мы молимся, мы признаем свое поражение. В свободном обществе нет места молитвам. Более того — молиться нечему.

— А вот у моего народа, — проговорил Вахаб, старательно делая массаж, — есть много вещей, которым можно молиться, но чаще всего они молятся тому, что называется «Аллах».

Он произнес это имя чисто по-арабски, с очень сильным «л» и резким придыханием на конце.

— Это одно из имен Бога, — сказал Премьер-министр. — Бог — это враг. Мы победили бога, мы превратили его в комический персонаж из мультфильма, над которым смеются дети. В мистера Лайвгоба. Бог был опасной фантазией в умах людей. Мы избавили цивилизованный мир от этой фантазии. Продолжай массаж, ленивый мальчишка!

— … А если молитва не помогала, тогда кого-нибудь убивали. Это считается вроде как подарок и называется «маджбух». Если вы хотите от Бога очень большой помощи, то и предложить ему нужно что-нибудь очень большое, очень важное. Можно подарить какого-нибудь важного человека, такого, как Премьер-министр…

— Если в этом месте нужно смеяться, то я не вижу здесь ничего смешного, — обиженно фыркнул достопочтенный Роберт Старлинг. — Ты иногда бываешь большим шутником!

— … или Короля, — продолжал Вахаб, — если у

вас есть король.

Премьер-министр некоторое время переваривал сказанное. Потом он произнес: — Твоя голова полна глупейших идей, глупый мальчишка! Ты забываешь, что даже если мы захотим принести в жертву Короля, то нам нечему будет эту жертву приносить.

— Может быть, это имеет что-нибудь вроде разума, — предположил Вахаб. — Я имею в виду то, что бродит по земле, как костлявый призрак. Вы можете помолиться ему.

— Это была довольно неудачная персонификация с моей стороны, — снова раздражаясь, проговорил Премьер. — Нелепые риторические фигуры составляют самую суть политического красноречия.

— А что такое персонификация? — спросил Вахаб.

— Это когда ты представляешь что-нибудь живым, хотя в действительности оно неживое. Род анимизма. Это слово ты знаешь, невежественный мальчишка?

Вахаб улыбнулся.

— Я очень глупый и знаю очень мало слов, — ответил он.

— С древних времен мой народ молится дере-

вьям и рекам, думая, что они могут слышать и понимать. Вы можете считать этих людей очень глупыми, вы, великий человек и Премьер– министр… но я слышал, как вы молились дождю.

— Этого не может быть!

— Я слышал, как вы говорили: «Дождик, дождик, уходи, лучше завтра приходи!» Это было, когда вы, я, Реджинальд и Гевистон Мерфи собирались на прогулку в Северной провинции.

— Это просто шутка, крошечный остаток былых суеверий! Эти слова ничего не значат.

— Тем не менее с их помощью вы хотели остановить дождь. А теперь вы хотите, чтобы прекратилось это. Может быть, вам стоит воспользоваться каким-нибудь «остатком суеверий», как вы это называете. Во всяком случае, вы должны попытаться что-нибудь сделать… Но не слушайте меня! — спохватился Вахаб. — Я всего лишь невежественный, глупый и насмешливый мальчишка.

— И очень славный, — улыбнулся Премьер-министр. — А теперь я попытаюсь заснуть.

— Вы не хотите, чтобы я остался?

— Нет, я хочу спать. Может быть, мне приснятся решения всех наших проблем.

— Да, вы очень большой любитель снов, — едко

заметил Абдул Вахаб. Он поцеловал кончики пальцев и прикрыл ими веки хозяина. Прежде чем выйти из спальни, Вахаб молча потушил свет.

В темноте лекция с диапозитивами возобновилась.

— А здесь, — продолжал голос за кадром, — мы видим прекрасный пример, так сказать, «диетического бунта» все в том же пресловутом Мозамбике — нападение на склад риса в Човике. О результатах можете судить сами: кровь черного человека такая же красная, как и ваша. А это голод в Северной Родезии: гибнущие люди в Брокенхилле, несмолкающий плач в Кабулве-булве. И под конец, pour la bonne bouche[3], каннибализм в… угадайте где? Никогда не догадаетесь. Поэтому я вам сам скажу: в Банфе, в канадской провинции Альберта. Невероятно, не правда ли? Как видите, тушка очень маленькая, как у кролика. Это тельце мальчика. Хотя несколько приличных порций рагу получится. А одним парнишкой, которому пришлось бы голодать, будет меньше.

---

[3] notes: 3
На закуску (фр.)

Глава 2

Тристрам сильно похудел, и у него отросла жесткая борода. Его давно перевели из Центра временного содержания на Франклин-роуд в мужское отделение огромного столичного Института коррекции, в Пентонвилль. Заросший Тристрам все больше «зверел»: частенько — совсем как горилла в клетке — тряс решетчатую дверь камеры, с угрюмым видом скреб стены, выцарапывая грязные непристойности, и переругивался с тюремщиками.

Теперь это был совсем другой человек.

Тристрам жалел, что рядом нет Джослина и этого милого мальчика Уилтшира: он бы им устроил веселую жизнь. И не задумался бы. Что же касается Дерека… Тристрам бредил наяву, представляя себе различные приятнейшие картины: он выдавливает Дереку глаза, кастрирует его хлебным ножом и т. д., и т. п.

Сокамерником Тристрама был пропахший плесенью ветеран– рецидивист лет шестидесяти — карманник, фальшивомонетчик, браконьер, — державшийся с мрачным достоинством.

— Если бы мне было даровано благо книжного

знания, как вам, — заявил он как-то октябрьским утром, — то еще неизвестно, каких бы высот я достиг.

Тристрам потряс решетчатую дверь камеры и зарычал. Его сокамерник продолжал ремонтировать зубной протез верхней челюсти с помощью замазки, которую стянул в одной из мастерских.

— Несмотря на удовольствие, которое доставляло мне ваше общество на протяжении более чем месяца, я не могу сказать, что покину это место с сожалением, особенно если такая погода продержится еще некоторое время. Тем не менее я не сомневаюсь, что буду иметь честь возобновить знакомство с вами в не слишком отдаленном будущем.

— Послушайте, мистер Несбит, — заговорил Тристрам, отрываясь от решетки. — В последний раз прошу. Ну пожалуйста! Вы окажете услугу не только мне, но и всему обществу. Найдите его. Убейте его. У вас же есть адрес.

— Я сам затрагиваю эту щекотливую тему в последний раз, мистер Фокс. И повторяю снова, что совершаю преступные деяния с целью обогащения, а не ради сомнительного удовольствия поучаствовать в чьих-то личных вендеттах и тому подобном. В этом убийстве из мести день-

ги не фигурируют. Как бы сильно я ни хотел угодить другу — я позволю себе считать вас таковым, — должен сказать, что деяния такого рода совершенно противоречат моим принципам.

— Это ваше последнее слово?

— К моему огорчению, мистер Фокс, я должен сказать, что это так; я обязан заявить об этом совершенно определенно.

— Что ж, мистер Несбит, в таком случае вы — бесчувственный ублюдок!

— Ах, мистер Фокс, не подобает вам выражаться такими словами! Вы человек молодой, вам еще предстоит пробивать себе дорогу, поэтому не побрезгуйте советом старого чудака вроде меня. А совет таков: сохраняйте самообладание. Без этого вы ничего не достигнете. А вот владея собой, устраняя все личное из ваших ученых занятий, вы далеко пойдете.

Большим пальцем старик попробовал замазку, скреплявшую зубы с пластиковым нёбом, и, по-видимому удовлетворенный, вставил челюсть в рот.

— Лучше, — констатировал он. — Будет служить… Так вот, «Всегда имейте опрятный вид» — мой другой совет юным честолюбцам. Таким, как вы.

Послышался приближающийся звон ключей. Надзиратель с лошадиным лицом и петушиной грудью, одетый в засаленную синюю форму, открыл дверь камеры.

— Вы — на выход! — приказал он мистеру Несбиту. Тот, вздыхая, поднялся с нар.

— Где ваш вонючий завтрак? — зарычал на надзирателя Тристрам. — Опаздываете с завтраком, черт бы вас побрал!

— Завтрак отменяется, — ответил надзиратель. — Как раз с сегодняшнего утра.

— Это гнусная подлость! — закричал Тристрам. — Это чудовищно! Я требую встречи с Начальником тюрьмы, будь он проклят!

— Я уже говорил вам, чтобы вы попридержали язык, — строго произнес надзиратель. — Иначе вам будет плохо. А так оно и случится.

— Ну, — сказал мистер Несбит, по-светски протягивая Тристраму руку, — я с вами прощаюсь, но надеюсь на возобновление приятного знакомства.

— Вот он разговаривает так, как положено, — одобрительно заметил надзиратель. — А вам и таким, как вы, следовало бы брать с него пример, а не ругаться и чертыхаться без передышки.

И надзиратель вывел из камеры мистера Нес-

бита, лязгнув напоследок засовом и поскрипев ключом, как бы продолжая свои упреки.

Тристрам схватил стальную ложку и принялся выцарапывать на стене неприличное слово. Как раз в то время, когда он заканчивал последнюю закорючку, вернулся надзиратель и снова загремел засовом и заскрипел ключом.

— Вот вам новый товарищ, — сообщил он. — Один из ваших. Не чета тому джентльмену, который с вами до того сидел. Заходи, ты!

В камеру вошел мрачного вида человек с глубоко посаженными глазами в черных глазницах, с красным крючковатым носом и капризным стюартовским ротиком. Свободное серое тюремное одеяние шло ему, что позволяло предположить наличие у него привычки к монашеской одежде.

— Ба! — воскликнул Тристрам. — Мы, кажется, где-то встречались!

— Ах, как трогательно! — съязвил надзиратель. — Воссоединение старых друзей.

Он вышел из камеры, запер дверь и некоторое время наблюдал за ними сквозь решетку, сардонически улыбаясь. Потом он ушел, звеня ключами.

— Мы встречались в «Монтегю», — напомнил новому соседу Тристрам. — Там вас Немного по-

била полиция.

— Меня побили? Мы встречались? — неуверенно переспросил человек. — Так много событий, так много людей, так много оскорблений и побоев. Такова доля Учителя моего и моя.

Покачивая головой, новичок оглядел камеру сидевшими в черных провалах глазами. Затем, с совершенно будничной интонацией, он произнес: — «Если я забуду тебя, о Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука; пусть прилипнет к гортани язык мой, если я не буду вспоминать тебя, Иерусалим, как радость жизни моей».

— Вас за что посадили? — поинтересовался Тристрам.

— Они схватили меня, когда я служил мессу. Хоть и лишенный сана, я располагаю авторитетом. В последнее время появилась потребность в таких, как я, и потребность эта быстро усиливается. Страх рождает веру в Бога, это несомненно. Поверьте мне, в настоящее время можно собрать довольно многочисленную паству.

— Где?

— Вернуться в катакомбы. В заброшенные тоннели. В подземные вестибюли метро, — с удовлетворением ответил священник. — Даже в подземные поезда. «Месса в движении» — так я

это называю. Да, — продолжал он, — страх нарастает. Голод — этот ужасный всадник — мчится по Земле. Бог требует достойной Его жертвы, утоления Его голода. И, в каком-то смысле, запрещение вина — это жертва Ему. О! — воскликнул сокамерник, покосившись на граффити Тристрама. — Афоризмы на камне, да? Это для препровождения времени, я полагаю.

Стоявший перед Тристрамом человек резко отличался от того, которого он помнил по быстротечному избиению в «Монтегю». Этот человек был спокоен, речь его была сдержанной, и он изучал увековеченные Тристрамом непристойности с таким видом, словно они были написаны на неизвестном языке. Но затем новичок сказал: — Интересно. Я вижу, вы несколько раз написали имя Создателя вашего. Попомните мои слова: все вернутся к Богу. Вот увидите. Да мы все это увидим.

— Я использовал это слово в знак протеста, — грубо огрызнулся Тристрам. — Это просто неприличное слово, вот и все.

— Совершенно верно, — проговорил лишенный сана священнослужитель с тихой радостью. — Все неприличные слова изначально принадлежат религии. Все они связаны с плодовитостью, ее

процессами и органами. Бог, учат нас, есть любовь.

Словно для того, чтобы отвлечь внимание от его слов, огромные громкоговорители, не видимые в углах расположенных ярусами галерей, изрыгнули, словно трубы Судного дня, оглушительные звуки, которые стали падать в пустое брюхо тюремного колодца.

«Внимание! — прогрохотали репродукторы, и это слово („Внимание,... мание,... ание,... ань,... ань...“) запрыгало, как мяч, потому что звуки из дальних рупоров накладывались на звуки из ближних.

«Внимание! Всем слушать важное сообщение! Это говорит Начальник».

Утомленный голос звучал с благородными интонациями члена королевской семьи.

«Министр внутренних дел поручил мне огласить то, что сейчас зачитывается во всех школах, госпиталях, учреждениях и на промышленных предприятиях Королевства. Это молитва, разработанная Министерством пропаганды».

— Вы слышите?! — Экс-священник затанцевал, впав в состояние благоговейного ликования. — Будет вознесена молитва Господу, наша взяла, аллилуйя!

«Вот эта молитва».

Утомленный голос откашлялся и начал читать с гипнотизирующей монотонностью: «Не исключено, что силы смерти, в настоящее время уничтожающие растительный и животный мир нашей планеты, обладают разумом. Если это так, то мы молим их прекратить свою разрушительную деятельность. Если мы грешили, поддаваясь — в нашей слепоте — естественной склонности пренебрегать разумом, то мы, конечно, искренне об этом сожалеем. Но мы берем на себя смелость заявить, что уже достаточно пострадали за грехи наши и обладаем твердой решимостью никогда не грешить впредь. Аминь».

Голос Начальника зашелся в громовом кашле, а перед тем, как послышался щелчок выключателя, пробормотал: «Черт знает, что за бред!» Это замечание мгновенно разнеслось по всем тюремным галереям.

Лицо сокамерника Тристрама было пепельно-серым.

— Господи, прости нас, грешных, — крестясь, проговорил глубоко потрясенный экс-священник. — Они выбрали другой путь. Они молятся силам зла. Господи, спаси нас!

Но Тристрам был в приподнятом состоянии

духа.

— Неужели вы не понимаете, что это значит? — воскликнул он. — Это значит, что Интерфаза подходит к концу. Самая короткая в истории Интерфаза. Государство достигло предела отчаяния. Грех! Они говорят о грехе! Скоро мы будем на свободе. Не сегодня-завтра.

Тристрам потер руки.

— О-о, Дерек, Дерек! — прорычал он. — Как бы дождаться!

Глава 3

Осень сменилась зимой, но та молитва, конечно, осталась без ответа. Никто, по правде говоря, на нее всерьез и не надеялся. Что касается Правительства Его Величества, то, с его стороны, это была простая уступка иррациональному: теперь никто не мог сказать, что оно — Правительство Его Величества — не испробовало всех средств.

— Всё свидетельствует пред вами, что все пути ведут обратно к Господу всемогущему, — заявил Шонни однажды декабрьским днем. Он был оптимистом гораздо большим, чем сокамерник Тристрама.

— Либерализм означает покорение природы,

покорение природы означает развитие науки, развитие науки ведет к гелиоцентрическому пониманию мира, гелиоцентрическое понимание мира порождает открытость разума к пониманию того, что существуют и другие формы разума, кроме человеческого, и…

Шонни глубоко вздохнул и отхлебнул сливянки.

— … и тогда… Понимаете, дело в том, что если вы допускаете такую возможность, то этим вы признаете и возможность существования сверхчеловеческого разума, а значит — вы вернулись к Богу.

С сияющим лицом он смотрел на свояченицу. На кухне его жена пыталась что-нибудь приготовить из их жалких пайков.

— Однако сверхчеловеческий разум может творить зло, — проговорила Беатриса-Джоанна. — Тогда это уже не Бог, не так ли?

— Где есть зло, там обязательно есть и добро, — изрек Шонни.

Он был непоколебим. Улыбкой Беатриса-Джоанна показала, что, безусловно, верит ему. Еще добрых два месяца ей придется почти во всем зависеть от Шонни. Жизнь внутри ее шевелилась, живот у Беатрисы-Джоанны вздулся, но

чувствовала она себя хорошо. Забот хватало, однако Беатриса-Джоанна была почти счастлива. Ее не оставляло чувство вины перед Тристрамом, беспокоили проблемы, вызванные необходимостью так долго хранить секрет своего пребывания здесь. Когда приходили гости или заглядывали работники с фермы, Беатрисе– Джоанне приходилось бежать в туалет с той скоростью, какую могла позволить ее нынешняя комплекция. Выходить на улицу она могла только тайно, после наступления темноты. Мейвис и Беатриса-Джоанна гуляли между засохшими рядами кустов «живой» изгороди и полями погибшей пшеницы и ячменя. Детишки держались молодцами. Им еще раньше было велено не болтать лишнего об опасных и кощунственных разговорах родителей. Бог был их тайной, такой же тайной стала и беременность их тети. Дети были смышлеными и симпатичными деревенскими ребятишками, хотя и чуть более худенькими, чем следовало бы Димфне было семь, а Ллуэлину девять лет. Сегодня, за пару дней до Рождества, они сидели дома и вырезали из кусочков картона листики остролиста. Настоящий остролист был весь поражен болезнью.

— Мы постараемся и на этот раз встретить

Рождество как следует, — говорил Шонни. — У меня еще есть сливянка и алка достаточно. И четыре курицы, бедняжки, хранятся в леднике. От Рождества до Рождества, слава Богу, достаточно времени, чтобы прикинуть, что будет в непредсказуемом будущем.

Димфна, орудующая ножницами, высунув язык от усердия, неожиданно обратилась к Шонни: — Пап!

— Что, моя дорогая?

— А Рождество, это на самом деле что такое? Государство владело умами детей в той же мере, что и родители.

— Ты знаешь, что это такое Ты не хуже меня знаешь, с чем все это связано Ллуэлин, напомни ей.

— О! — с готовностью откликнулся Ллуэлин, вырезавший листик. — Ну, значит, родился этот парнишка, потом его убили

— повесили на дереве, а потом съели.

— Во-первых, — проговорил Шонни, — он был не парнишка.

— Ну дяденька, — поправился Ллуэлин. — Но ведь дяденька

— это тот же парень.

— Он был Сын Божий! — крикнул Шонни, стукнув по столу кулаком. — Бог и человек. И он не

был съеден, после того как его убили. Он вознесся прямо на небо Хотя насчет съедения ты кое в чем прав, благослови тебя Бог, но это делаем мы сами. Во время мессы мы едим Его тело и пьем Его кровь. Но они превоплощены, понимаете — вы слушаете, что я говорю? — они превоплощены в хлеб и вино.

— А когда Он придет опять, Его съедят по-настоящему? — спросил Ллуэлин, работая ножницами.

— Хм, что ты хочешь сказать этими своими странными словами? — поинтересовался Шонни.

— Что его съедят. Как съели Джима Уиттла, — объяснил Ллуэлин. Он принялся вырезать новый листик, полностью погрузившись в это занятие. — Это так и будет, пап?

— О чем это ты говоришь? — встревожено спросил Шонни. — О чем это ты? Кого это съели? Ну-ка давай, расскажи, малец.

Он потряс мальчика за плечо, но тот спокойно продолжал вырезать листики.

— Он перестал ходить в школу. Папа и мама зарезали его и съели, — небрежно бросил Ллуэлин.

— Как ты узнал об этом? Где это ты услышал такую дикую историю? Кто это рассказал тебе такую ужасную глупость?

— Это правда, пап, — вступила в разговор Димфна. — Хорошо так? — спросила она, показывая свой картонный листик.

— Подожди с этим, — нетерпеливо отмахнулся отец. — Расскажите мне, что вы слышали. Кто это рассказывает вам такие страшные сказки?

— Это не страшная сказка, — надулся Ллуэлин. — Это правда. Нас было много, мы шли из школы мимо их дома и сами видели, это правда! На плите у них стояла такая большая кастрюля, и там что-то варилось и булькало. И другие ребята заходили к ним и видели.

Димфна хихикнула.

— Да простит вас Бог, — проговорил Шонни. — Это ведь ужасное, страшное событие, а вы смеетесь, только и всего-то. .. Скажите мне, — теперь он тряс обоих детей, — то, что вы рассказали, — действительно правда? Ради всего святого… Потому что если вы шутите такими страшными вещами, то я вам обещаю, клянусь Господом Иисусом Христом, что я выдеру вас как Сидоровых коз!

— Это правда! — заплакал Ллуэлин. — Мы видели, мы оба видели! У нее была такая большая ложка, и она накладывала это на две тарелки, и шел пар, и некоторые дети просили дать им

попробовать, потому что они были голодные, но Димфна и я испугались, потому что говорят, что папа и мама Джима Уиттла не в своем уме, поэтому мы быстро побежали домой, но нам сказали, чтобы мы никому ничего не говорили!

— Кто велел вам ничего не рассказывать?

— Они. Большие мальчики. Фрэнк Бамбер сказал, что он нас побьет, если мы расскажем…

— Что расскажете?

Ллуэлин опустил голову.

— Что сделал Фрэнк Бамбер.

— А что сделал Фрэнк?

— Он унес в руке большой кусок, он сказал, что хотел есть. Но мы тоже хотели есть, а мы не взяли ни кусочка, мы просто побежали домой.

Димфна хихикнула. Шонни опустил руки.

— Боже милостивый… — проговорил он.

— Потому что он это украл, понимаешь, пап, — объяснил Ллуэлин. — Фрэнк Бамбер схватил это рукой и побежал, а они стали кричать и ругаться.

Шонни чувствовал себя дурак дураком, Беатриса-Джоанна понимала его состояние.

— Какое ужасное, жуткое происшествие, — вздохнула она.

— Но если вы едите этого парня, который Бог,

так почему же это ужасно? — осмелев, спросил Ллуэлин. — Если Бога есть можно, то почему нельзя есть Джима Уиттла, что в этом ужасного?

— Потому, — ответила Димфна рассудительно, — что когда едят Бога, то всегда много остается. Ты не можешь съесть Бога потому, что он все время появляется, появляется и появляется и никогда не может закончиться. Вот, глупая твоя голова! — добавила Димфна, продолжая вырезать листики остролиста.

Глава 4

— К вам посетитель, — объявил Тристраму надзиратель. — Но если вы и на него будете орать и обзывать, как меня, тогда вы действительно за дело сидите, а не по ошибке, мистер Сквернослов. Проходите, сэр, — сказал он кому-то, стоявшему в коридоре.

В камере появилась фигура в черной униформе с эмблемами в виде расколотых яиц на лацканах кителя.

— Они вас не обидят, сэр, так что можете быть спокойны. Я вернусь минут через десять, сэр, — объявил надзиратель и вышел вон.

— Послушайте, я же вас знаю, — проговорил

худой, слабый, заросший бородой Тристрам.

Капитан улыбнулся, снял фуражку, обнажив короткие прямые прилизанные рыжеватые волосы, и пригладил левый ус.

— Вы должны меня знать, — снова улыбнулся капитан. — У нас, видите ли, была очень приятная, но, боюсь, не очень плодотворная встреча за стаканом вина в «Метрополе», пару месяцев назад.

— Да, точно, я вас знаю! — повторил Тристрам свирепо. — Я никогда не забываю лиц. Тут-то и сказывается профессия учителя. Ну, вы принесли приказ о моем освобождении? Кончилось ли время моих страданий наконец?

Экс-священник, который с недавних пор стал требовать, чтобы его называли Блаженным Амвросием Бейли, поднял на капитана безумные глаза и заговорил: — Поспешите! Очередь кающихся грешников за дверью растянулась на милю. Быстро становитесь на колени и исповедуйтесь!

Капитан глупо улыбнулся: — Я просто пришел сказать вам, где ваша жена. Вид у Тристрама был мрачный и тупой.

— Нет у меня никакой жены, — пробурчал он. — Я с ней разошелся.

— Ну, это чушь, понимаете ли, — заволновался капитан. — Жена у вас есть совершенно точно, и в настоящий момент она находится у своих сестры и зятя под Престоном. Адрес — Государственная ферма НВ-313.

— Так, — зловеще прохрипел Тристрам. — Так вот где эта сука!

— Да, ваша жена находится там, — подтвердил капитан. — Там она ждет рождения, понимаете ли, незаконного, хотя и законнорожденного, ребенка.

Экс-священник, устав ждать, когда капитан опустится на колени и начнет свою Исповедь, уже слушал, покачивая головой и тяжело вздыхая, признания какого-то невидимого незнакомца. «Блудодеяние — мерзкий грех. Как часто вы его совершали?» — бормотал расстрига.

— По крайней мере, таковым он считается, — продолжал капитан. — Вашу жену оставили в покое, понимаете ли, никто из наших людей не досаждал ей в этом убежище в Северной провинции. Я получил информацию о ее местонахождении через нашу службу контроля на транспорте. Может быть, вас удивляет, понимаете ли, почему мы ее не сцапаем? Может быть, вас это интересует?

— А-а, чушь собачья! — прорычал Тристрам. — Ничего меня не интересует, потому что я ничего не знаю. Засадили сюда подыхать с голоду, никаких новостей из внешнего мира, писем нет, никто ко мне не приходит…

Он уже готов был превратиться в прежнего Тристрама, распустить нюни, но взял себя в руки и заорал: — … и наплевать! Будьте вы прокляты! Мне вообще на всех вас, сволочей, наплевать! Понятно?!

— Ну и хорошо, — проговорил капитан. — Но время не ждет, понимаете ли. Я хочу знать, когда, по вашим подсчетам, у нее должен родиться ребенок?

— Какой ребенок? Кто что-нибудь говорил о ребенке? — бушевал Тристрам.

«Идите с миром, да благословит вас Бог», — отпустил кому-то грехи Блаженный Амвросий Бейли. Потом он забормотал. «Я прощаю мучителей моих. Сквозь свет этого всепожирающего огня я вижу вечный свет грядущего».

— Ах, не тратьте попусту время, понимаете ли! — нетерпеливо произнес капитан. — Вы же говорили, что у нее должен быть ребенок. Мы, конечно, довольно легко можем установить, что она беременна, понимаете ли. Я хочу знать,

когда у нее родится ребенок. Когда она, по вашим расчетам, забеременела?

— Не знаю. — Тристрам уныло и безразлично покрутил головой. — Понятия не имею.

Капитан вынул из кармана кителя что-то завернутое в хрустящую желтую бумагу.

— Может быть, это оттого, что вы голодны, — предположил он. — Немного синтешока, возможно, поможет вам.

Капитан развернул плитку и протянул ее Тристраму. Блаженный Амвросий Бейли оказался проворней: мелькнув как молния, он вцепился в шоколадку, пуская слюни. Тристрам бросился на блаженного; рыча и царапаясь, они пытались вырвать друг у друга лакомство. В конце концов каждому досталось примерно по половине плитки. Трех секунд оказалось достаточно, чтобы липкая коричневая масса была сожрана без остатка.

— Давайте продолжим! — требовательно проговорил капитан. — Когда это произошло?

— Каа эо паиао? — Тристрам облизывал нёбо и обсасывал пальцы. — Ах, это! — наконец выговорил он разборчиво. — Должно быть, в мае. Я вспомнил, когда это было. Это случилось в начале Интерфазы.

— Что вы имеете в виду? — упрямо продолжал задавать вопросы капитан. — Что это за «интерфаза»?

— Да, конечно, — сообразил Тристрам, — вы ведь не историк, так ведь? О такой науке, как историография, вы и понятия не имеете. Вы просто наемный убийца с карманами, набитыми синтешоком.

Он рыгнул и сморщился от отвращения.

— Интерфаза началась тогда, когда все наемные убийцы вроде вас принялись расхаживать по улицам с важным видом. Дайте мне еще, черт возьми!

Неожиданно Тристрам набросился на своего сокамерника.

— Это был мой синтешок! Он предназначался мне, чтоб ты сдох!

Тристрам осыпал слабыми ударами Блаженного Амвросия Бейли, который, сложив руки лодочкой и воздев очи горе, причитал: «Отец небесный, прости их, ибо они не ведают, что творят».

Задыхаясь, Тристрам опустил руки.

— Ладно, — сказал капитан. — Теперь мы по крайней мере знаем, когда начинать действовать. Можете радоваться, понимаете ли. Скоро

ваш брат будет окончательно скомпрометирован, а жена наказана.

— Что это у вас на уме? О чем вы говорите? О наказании? Какое наказание? Если вы собираетесь нагадить моей жене, то оставьте эту суку в покое, слышите? Она моя жена, а не ваша! Я со своей женой сам разберусь.

Без всякого смущения Тристрам вдруг слезливо зашмыгал носом.

— О, Битти, Битти! Почему ты не вызволишь меня отсюда?

— заскулил он.

— Вы понимаете, конечно, что вас гноят здесь по милости вашего брата? — проговорил капитан.

— Меньше болтайте, — неожиданно усмехнулся Тристрам, — а больше давайте синтешока, вы, жадный лицемер! Живее! Ну, давайте, давайте!

— Подайте на пропитание, Христа ради! — проблеял Блаженный Амвросий Бейли. — Не забывайте служителей Господа во дни благополучия вашего!

Блаженный упал на колени и, обхватив ноги капитана, чуть не повалил его на пол.

— Надзиратель! — завопил капитан.

— И оставьте моего ребенка в покое, — с угро-

зой произнес Тристрам. — Это мой ребенок, вы, маньяк-детоубийца!

Сжав свои слабые кулаки, он принялся барабанить по спине капитана, как по двери.

— Мой ребенок, ты, свинья! Передай мой протест и самые похабные пожелания этому самому сволочному из миров, ты, бандит!

Ловкими, длинными, как у обезьяны, руками Тристрам принялся быстро обшаривать карманы капитана в поисках синтешока.

— Надзиратель! — кричал капитан, стараясь освободиться.

Блаженный Амвросий Бейли отпустил его ноги и уныло пополз на свои нары.

— Прочтите пять раз «Отче наш» и пять раз «Богородицу» сегодня и завтра в честь этого Маленького Цветка, — бормотал он себе под нос. — Идите с миром, да хранит вас Бог».

— Ну как, они ведь ничего плохого вам не сделали, сэр, нет? — бодро поинтересовался входящий надзиратель. — Ну вот и хорошо!

Руки Тристрама, слишком несмелые, чтобы продолжать дальнейший обыск, повисли вдоль тела.

— Вот он, — показал на Тристрама надзиратель, — был сущий дьявол, когда сюда попал.

Сладу с ним не было, настоящий уголовник. Ну а сейчас много покорней, — не без гордости сообщил тюремщик.

Тристрам забился в свой угол и непрерывно повторял: «Мой ребенок, мой ребенок, мой ребенок!» Нервно улыбаясь, капитан вышел из камеры, напутствуемый этим заклинанием.

Глава 5

В конце декабря в Бриджуотере (графство Сомерсет в Западной провинции) на Томаса Вартона, средних лет мужчину, возвращавшегося домой с работы чуть позже полуночи, напали несколько юнцов. Они закололи его ножом, разрезали тело, зажарили куски мяса на вертелах, поливая жиром, а потом разделили на порции и раздали обывателям. Все это совершенно открыто и без всякого стеснения было проделано на одной из площадей города. Голодная толпа ссорилась из-за кусков и обрезков мяса, ее сдерживали чавкающие и выпачканные жиром «серые» (ведь общественный порядок не должен нарушаться).

В Тирске, округ Норт-Райдинг, трое парней — Альфред Пиклз, Дэвид Огден и Джеки Пристли — были убиты молотком в темном хлопковом

складе, и через задний двор их тела были перетащены в один из прилегающих домов. Две ночи улица была полна веселым запахом зажаренных на шампурах шашлыков. В Сток-он-Тренте в сугробе был случайно обнаружен труп женщины, из которого опытной рукой было вырезано несколько хороших кусков. Позднее установили, что убитой была Мария Беннет, девица, двадцати восьми лет.

В Джиллингеме, графство Кент, район Большого Лондона, на неприметной боковой улочке открылась столовая, где каждый вечер жарили мясо, а служащие обеих полиций, похоже, были постоянными посетителями. Носились слухи, что в некоторых местах саффолкского побережья, где люди закоснели в грехе, устраивались шикарные рождественские ужины с жареными поросятами.

В Глазго в новогоднюю ночь секта бородатых почитателей Ньяля принесла многочисленные человеческие жертвы, причем внутренности предназначались их сожженному на костре и обожествленному стороннику, а плоть — им самим.

В Керколди, где нравы были попроще, повсеместно устраивались частные вечеринки с

мясными сандвичами.

Новый год начался с рассказов о застенчивом пока людоедстве в Мерипорте, Ранкорне, Бёрслеме, Уэст-Бромвиче и Киддерминстере. Вскоре будто бы вспышки каннибализма начались и в самой столице: некто по имени Эймис Претерпел насильственную ампутацию руки неподалеку от Кингзвей; С. Р. Кок, журналист, был сварен в старом медном котле неподалеку от Шепердсбуш; мисс Джоан Уэйн, учительница, была зажарена по частям.

Так или иначе, это были слухи. Проверить, правдивы они или нет, было практически невозможно: с таким же успехом они могли быть плодом больной фантазии очень голодных людей. Каждая взятая отдельно история была столь невероятной, что заставляла сомневаться в остальных. Из Бродика, что на острове Арран, сообщали, что за всеобщим ночным пожиранием человеческой плоти при красноватом свете костров, на углях которых шипел жир, последовала сексуальная оргия и что на следующее утро из утоптанной на этом месте земли вьшез корень-козлобородник. Вот этому поверить было совершенно невозможно, даже будучи самым легковерным человеком.

Глава 6

У Беатрисы-Джоанны вот-вот должны были начаться схватки.

— Бедная старушка, — причитал Шонни. — Бедная несчастная старушка.

Ясным бодрящим февральским утром он, его жена и свояченица стояли у загончика Бесси, больной свиньи. Бесси — огромная серая туша, гора неподвижной плоти — лежала на боку и тихо хрипела. Другой бок, обращенный кверху, был испещрен пятнышками и тяжело вздымался. Картина напоминала сон охотника. Панкельтские глаза Шонни были полны слез.

— Черви в ярд длиной, — горестно сказал он, — ужасные живые черви. Почему черви жить могут, а она нет? Бедная, бедная старушка!

— Ах, прекрати, Шонни, — брезгливо фыркнула Мей-вис. — Мы должны воспитать в себе жестокосердие. И ведь, в конце концов, она всего лишь свинья!

— Всего лишь свинья? Всего лишь свинья?! — Шонни был возмущен. — Она выросла вместе с детьми, да благословит ее Бог. Она была членом семьи. Она безотказно отдавала нам своих поро-

сят, чтобы мы могли прилично питаться. И она достойна того — да хранит Господь ее душу! — чтобы ее похоронили по-христиански.

Беатриса-Джоанна могла выразить свое сочувствие слезами, во многом она понимала Шонни лучше, чем Мейвис. Но сейчас ею владела другая мысль начинаются родовые схватки. Все справедливо сегодня: свинья умирает, человек рождается. Страха не было, Беатриса-Джоанна доверяла и Шонни, и Мейвис. Шонни особенно. Беременность ее протекала обычным для здоровой женщины порядком и осложнялась лишь совершенно определенными обстоятельствами: сильным желанием поесть малосольных огурчиков, которое оставалось неудовлетворенным, и потребностью переставить мебель в доме, что было в корне пресечено Мейвис. Иногда по ночам она тосковала по уютным объятиям… нет, как ни странно, не Дерека, а…

— А-а-а-а-х-х!

— Второй раз за двадцать минут, — сказала Мейвис. — Шла бы ты лучше в дом.

— Это схватки, — как-то даже весело произнес Шонни. — Где-нибудь к вечеру можно ждать, слава Богу.

— Немного больно, — сказала Беатриса-Джоан-

на — Совсем немного, чуть-чуть.

— Хорошо! — загорелся энергией действия Шонни — Первым делом тебе нужно поставить клизму. Из мыльной воды. Ты это возьмешь на себя, да, Мейвис? И хорошо бы ей принять горячую ванну, да. Слава Богу, горячей воды у нас достаточно.

Он торопливо отвел женщин в дом, оставив Бесси страдать в одиночестве, и принялся греметь ящиками своего стола.

— Лигатуры! — кричал Шонни. — Мне нужно наделать лигатур!

— У тебя еще куча времени, — спокойно сказала Мейвис. — Она же человек, а не дикое животное, понимаешь?

— Вот поэтому я и должен наделать лигатур! — бушевал Шонни. — Боже мой, женщина, ты что же, хочешь, чтобы она перегрызла пуповину, как кошка?!

привязал к изголовью кровати длинное полотенце и приказал: — Тяни вот за это, девочка, сильно тяни! Да поможет тебе Бог, теперь уже скоро.

Беатриса-Джоанна со стоном потянула за полотенце.

— Мейвис! — позвал Шонни. — Работа мне

предстоит долгая, принеси мне пару бутылочек сливянки и стакан.

— Там и остались-то всего две бутылки.

— Вот и принеси мне их, будь хорошей девочкой. Ничего, ничего, красавица моя, — обратился он к Беатрисе-Джоанне. — Ты тяни давай, Бог тебе в помощь!

Шонни проверил, греются ли на радиаторе старомодные свивальники, которые сестры вязали долгими зимними вечерами. Лигатуры были простерилизованы, ножницы кипятились в ванночке, на полу сияла большая оцинкованная ванна, вата ждала, когда ее свернут в тампоны, бандажная повязка была на месте — все, по сути дела, было готово.

— Благослови тебя Бот, дорогуша моя, — приветствовал Шонни супругу, тащившую бутылки с вином. — Сегодня будет большой день!

Этот день был действительно долгим. Почти два часа Беатриса-Джоанна билась, напрягая все мускулы. Она кричала от боли, а Шонни кричал ей слова ободрения, прихлебывая сливянку, и, наблюдая, ждал, потея не меньше ее.

— Если бы у меня было хоть какое-нибудь обезболивающее средство, — бормотал Шонни. — Вот, девочка! — вдруг воскликнул он и, ничуть не сму-

щаясь, протянул ей бутылку. — Выпей немного.

Мейвис вовремя поймала его руку и отдернула назад.

— Смотри! — крикнула она. — Начинается!

Беатриса-Джоанна пронзительно завизжала.

На свет появилась головка ребенка, которая наконец закончила свое трудное путешествие, оставив позади костный туннель тазового пояса и протолкнувшись сквозь влагалище к воздуху того мира, пока равнодушного к нему, который скоро должен стать враждебным. После короткой паузы наружу вышло все тельце.

— Отлично! — сказал Шонни.

Его глаза сияли, когда он, осторожно и с нежностью, протирал влажным тампоном зажмуренные глазки младенца. Новорожденный громко закричал, приветствуя мир.

— Восхитительно! — похвалил Шонни.

Когда пульс в пуповине начал ослабевать, он взял две веревочки-лигатуры и ловко перевязал ее в двух местах. Шонни затягивал лигатуры все туже и туже, оставив между ними небольшое пространство. Осторожно взяв простерилизованные ножницы, он обрезал в этом месте пуповину. Теперь этот новый комочек жизни, полный ожесточенно вдыхаемого воздуха, существовал сам

по себе.

— Мальчик, — проговорила Мейвис.

— Мальчик? Да, точно, — подтвердил Шонни.

Освободившись от своей матери, мальчик перестал быть просто чем-то неизвестным. Шонни вернулся к роженице, чтобы наблюдать за выходом плаценты, а Мейвис, завернув ребенка в пеленку, положила его в коробку, рядом с радиатором. Купание должно было состояться чуть позже.

— Боже милостивый! — воскликнул Шонни, наблюдавший за роженицей.

Беатриса-Джоанна снова закричала, но уже не так громко, как раньше.

— Еще один! — сообщил пораженный Шонни. — Близнецы, ей– богу! Многоплодные роды, клянусь Господом Иисусом Христом!

Глава 7

— На выход, — сказал надзиратель.

— Пора! — взорвался Тристрам, вскакивая с койки. — Давно пора, мерзкая ты личность! Только принеси мне чего– нибудь пожрать, прежде чем я уйду. Чтоб ты треснул!

— Не вы, — злорадно проговорил надзира-

тель. — Он. — И показал на сокамерника. — Вы с нами еще долго пробудете, мистер Дерьмо. Это его выпускают.

Блаженный Амвросий Бейли, потрясенный словами надзирателя, моргая и тараща глаза, с трудом возвращался к реальности: с конца января ему казалось, что он постоянно ощущает в себе присутствие духа Божия. Блаженный был очень слаб.

— Предатель! — зашипел Тристрам. — Стукач! Ты им врал про меня, врал, и своим враньем покупал свою вонючую свободу!

Глядя на тюремщика бешеными глазами, он с надеждой спросил: — Вы уверены, что не ошиблись? Вы совершенно уверены, что освобождают не меня?!

— Его! — ткнул пальцем надзиратель. — Не вас, а его. Вы же не… — он заглянул в бумажку, зажатую в кулаке, — вы же не «духовное лицо» или как это там, ведь нет? Вот их всех приказано освободить. А такие ругатели, как вы, будут и дальше здесь сидеть. Понятно?

— Это вопиющая, чудовищная несправедливость! — в отчаянии закричал Тристрам.

Молитвенно сложив руки и сгорбившись так, словно ему перебили шею, Тристрам упал на

колени перед тюремщиком.

— Пожалуйста, выпустите меня вместо него! Ему уже все равно. Он думает, что уже мертв, сожжен на костре. Он думает, что его не сегодня-завтра канонизируют. Он просто не воспринимает действительности. Умоляю!!!

— Это его освобождают, — снова ткнул пальцем в священника надзиратель, — его. Вот тут на бумаге его имя, смотрите: А. Т. Бейли. А вам, мистер Сквернослов, придется остаться здесь. Не беспокойтесь, мы вам подыщем другого товарища. Ну, пошли, старина, — мягко обратился надзиратель к Блаженному Амвросию.

— Вам нужно выйти отсюда и прибыть в распоряжение какого-то парня в Ламбет, а он вам скажет, что дальше делать. Ну, идем?

Надзиратель довольно сильно потряс Блаженного за плечо.

— Отдайте мне его пайку, — все еще стоя на коленях, клянчил Тристрам. — По крайней мере хоть это вы можете сделать, будьте вы прокляты! Я подыхаю с голоду!

— Мы все голодаем! — прорычал надзиратель. — А некоторым из нас еще приходится работать, а не бездельничать целыми днями! Мы все сейчас пытаемся прожить на этих самых ЕП и

нескольких каплях синтелака в день, и говорят, что и этого ненадолго хватит, если так и дальше будет продолжаться... Ну, пошли! — снова тряхнул он Блаженного Амвросия.

Блаженный А. Т. Бейли, едва дыша, лежал на нарах в состоянии священного экстаза, глаза его лихорадочно блестели.

— Е-есть! — стонал Тристрам, с трудом поднимаясь с колен. — Дайте, дайте чего-нибудь поесть!

— Я вас накормлю, — проворчал надзиратель и пообещал прямо противоположное. — Я к вам подсажу одного из тех людоедов, что были недавно арестованы, вот что я сделаю! Вот он и будет вам соседом. Он вынет у вас печень — да, вынет! — поджарит и съест!

— Все равно, — простонал Тристрам, — жареную или сырую, дайте ее мне, дайте, дайте!

— Э-эх, вы... — брезгливо усмехнулся надзиратель. — Пошли, старина! — обратился он снова к Блаженному Амвросию. В голосе его прозвучало беспокойство. — Давай-ка, вставай, будь умницей. Тебя выпускают! Домой, домой, домой! — залаял надзиратель, как собака.

Опираясь на надзирателя, весь дрожа от слабости, Блаженный Амвросий поднялся и встал

на ноги.

— Quia peccavi nimis, [4] — проговорил он дрожащим старческим голосом и неуклюже повалился на пол.

— Сдается мне, что дела ваши совсем плохи, совсем, — констатировал надзиратель.

Присев на корточки, он хмуро рассматривал Блаженного, словно кран, из которого перестала течь вода.

— Quoniam adhuc,[5] — прошамкал Блаженный Амвросий, распластанный на плитках пола.

Тристрам, вообразив, что ему представилась возможность убежать, обрушился на тюремщика, как Пизанская башня, — так ему показалось.

— Вот ты как, вот ты как, мистер Мразь! — зарычал надзиратель.

Лежа под ними, Блаженный Амвросий стонал так же, как стонала Блаженная Маргарет Клитроу в Йорке, в 1856 году, раздавливаемая страшным грузом.

— Теперь ты получишь, что заслужил! — бешено хрипел тюремщик, придавив Тристрама коленями и молотя его кулаками.

---

[4] notes: 4
Неисчислимы грехи наши (лат.)

[5] notes: 5
Да почиет с миром (лат.)

— Ты сам на это напросился, сам, мистер Вероломство! Ты никогда отсюда живым не выйдешь, уж это точно!

Надзиратель с силой ударил Тристрама по лицу и сломал ему зубные протезы.

— Давно ты на это нарывался, давно!

Тристрам неподвижно лежал на полу, задыхаясь от отчаяния. Надзиратель, тоже тяжело дыша, поволок Блаженного Амвросия Бейли на свободу.

— Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa,[6] — продолжал каяться этот расстрига, бия себя в грудь.

Глава 8

— Господи Иисусе! — воскликнул Шонни. — Мейвис! Посмотри, кто пришел! Ллуэлин, Димфна, идите сюда! Быстрее, быстрее!

В дом входил не кто иной, как отец Шекель, торговец семенами, которого много месяцев назад увели измазанные помадой и лишенные сантиментов «серые». Отец Шекель оказался человеком лет за сорок. У него была совершенно

---

[6] notes: 6
Есмь грешен, есмь грешен, есмь зело грешен (лат.)

круглая стриженая голова, ярко выраженное пучеглазие и хронический ринит, вызванный опухолью с одной стороны носа. Всегда открытый рот и вытаращенные глаза придавали ему сходство с поэтом Уильямом Блейком, которому привиделись феи. Подняв правую руку, отец Шекель принялся благословлять присутствующих.

— Как вы похудели! — приветствовала его Мейвис.

— А вас пытали? — поинтересовались Ллуэлин и Димфна.

— Когда вас выпустили? — старался перекричать семью Шонни.

« — Чего бы мне больше всего сейчас хотелось, — произнес отец Шекель, — так это чего-нибудь выпить!

Он говорил невнятно и гундосил, словно его постоянно мучил насморк.

— Есть капелька сливянки, оставшаяся от родов и празднования их окончания, — ответил Шонни и бросился за вином.

— Роды? О каких это родах он говорит? — спросил отец Шекель, присаживаясь.

— О родах моей сестры, — ответила Мейвис. — Она родила близнецов на днях. Вот вам и работа есть — детей крестить, отец Шекель.

— Спасибо, Шонни.

Отец Шекель взял наполовину наполненный стакан.

— Да, — заговорил он, отхлебнув вина. — Странные какие– то у нас дела творятся, вам не кажется?

— Когда они вас выпустили? — снова спросил Шонни.

— Три дня назад. Все это время я был в Ливерпуле. Верите ли, нет, но все церковные иерархи на свободе — архиепископы, епископы — все. Мы теперь можем не маскироваться. Мы даже можем носить церковное облачение, если захотим.

— А до нас как-то никакие новости не доходят, — сказала Мейвис. — Только все болтовня, болтовня, болтовня в последнее время, призывы, призывы, пропаганда… Но зато до нас доходят слухи, правда, Шонни?

— Каннибализм. Человеческие жертвоприношения. Мы и о таких вещах слыхали, — сообщил Шонни.

— Очень хорошее вино, — похвалил сливянку отец Шекель.

— Я полагаю, в ближайшее время нужно ждать снятия запрета на виноградарство.

— А что такое «виноградарство»? — спросил

Ллуэлин. — Это то же самое, что человеческое жертвоприношение?

— А вы оба можете идти обратно присматривать за Бесси,

— скомандовал Шонни. — Поцелуйте руки отцу Шекелю, перед тем как уйти!

— Копытца отца Шекеля! — хихикнула Димфна.

— Хватит безобразничать, уши надеру! — пригрозил Шонни.

— Бесси слишком долго умирает, — с детской бессердечностью проворчал Ллуэлин. — Пошли, Дим.

Они поцеловали руки у отца Шекеля и убежали, болтая на ходу.

— Что происходит — еще не совсем ясно, — проговорил отец Шекель. — Понятно только, что все очень напуганы. Ну да вы сами знаете. Папа, по-видимому, снова в Риме. Архиепископа ливерпульского я видел собственными глазами. Вы знаете, он, бедняга, каменщиком работал. Как бы там ни было, мы хранили свет на протяжении всего этого темного времени. Именно в этом и заключается предназначение Церкви. Здесь нам есть чем гордиться.

— Ну а что же будет дальше? — спросила Мей-

вис.

— Мы должны вернуться к исполнению наших пастырских обязанностей. Нам предстоит снова отправлять церковную службу. Открыто, легально.

— Слава тебе, Господи! — произнес Шонни.

— Не думайте, что Государству так уж хочется славить Господа, — продолжал отец Шекель. — Государство боится тех сил, которых не может понять, вот и все. Государственные лидеры страдают приступами суеверного страха, в этом весь секрет. С помощью полиции они не могли сделать ничего путного, поэтому сейчас они призвали священнослужителей. Церквей пока нет, поэтому нам приходится бродить взад и вперед по нашим приходам, питая людей Богом вместо закона. О, все это оч-чень умно придумано! Я полагаю, что слово «сублимация» здесь как раз к месту: вместо вашего соседа жуйте Бога. Нас используют, это яснее ясного. Но, с другой стороны, и мы этим пользуемся. Мы выполняем свою главнейшую функцию — мы причащаем. Есть одна вещь, которую мы усвоили твердо: Церковь может исповедовать любую ересь или неортодоксальщину, включая веру во Второе Пришествие До тех пор, пока она выполняет свою основную

обязанность — причащает.

Священник усмехнулся: — Как я узнал, в пищу употребляется удивительно большое количество полицейских. Пути Господни неисповедимы. Похоже, что плоть среднеполых наиболее сочна.

— Какой ужас! — поежилась Мейвис.

— О да, это ужасно, — улыбнулся отец Шекель. — Знаете, у меня мало времени, к вечеру я должен добраться до Аккрингтона, а мне, наверное, придется идти пешком: не похоже, чтобы тут ходили автобусы. У вас есть просфоры?

— Всего несколько штук, — ответил Шонни. — Ребятишки — да простит их Господь! — нашли пакет да и принялись их есть, маленькие чертенята Они сгрызли большую часть прежде, чем я их поймал.

— Подождите уходить, есть небольшая работа. Крещение! — напомнила Мейвис.

— Ах да!

Отца Шекеля отвели в пристройку, где лежала Беатриса– Джоанна со своими близнецами. Она выглядела похудевшей, но на щеках ее играл румянец. Младенцы спали, Шонни спросил священника: — После того как вы совершите обряд над новорожденными, как насчет того чтобы совершить обряд над умирающим?

— Это отец Шекель, — представила священника Беатрисе– Джоанне Мейвис.

— Я ведь еще не умираю, правда? — с тревогой спросила Беатриса-Джоанна. — Я себя хорошо чувствую! Голодная только.

— Это бедная старушка Бесси умирает, голубушка моя несчастная, — объяснил Шонни. — Я решительно заявляю, что она обладает теми же правами, что и любая христианская душа!

— У свиней не бывает души, — заявила Мейвис.

— Близнецы, да? — удивился отец Шекель. — Поздравляю. И оба мальчики, да? А какие вы им выбрали имена?

— Одного назовем Тристрам, — сразу же ответила Беатриса-Джоанна, — а второго — Дерек.

— Не могли бы вы принести мне воды и немного соли? — попросил отец Шекель Мейвис.

Тяжело дыша, вбежали Ллуэлин и Димфна.

— Пап! — закричал Ллуэлин. — Папа! Бесси…

— Отмучилась наконец? — печально спросил Шонни. — Бедная верная наша подружка. И последнего благословения не дождалась, да будет Господь к ней милостив…

— Она не умерла! — выкрикнула Димфна. — Она ест!

— Ест?! — в изумлении уставился на нее Шонни.

— Она встала на ноги и ест, — сказал Ллуэлин. — Мы нашли в курятнике несколько яиц и отдали ей…

— Яиц? Яиц?? Неужели все рехнулись и я тоже?

— И дали эти печенья, ну, такие беленькие и круглые, которые мы нашли в буфете, — добавила Димфна. — Но больше мы ничего не нашли.

Отец Шекель захохотал. Задыхаясь от смеха, он опустился на край кровати Беатрисы-Джоанны. Смесь различных чувств на лице Шонни смешила его особенно сильно.

— Ничего страшного! — проговорил наконец священник, глуповато улыбаясь. — Я поищу хлеба по дороге в Аккрингтон. Должен же где-нибудь быть хлеб?

Глава 9

Новым сокамерником Тристрама стал огромный нигериец по имени Чарли Линклейтер. Он был дружелюбным разговорчивым человеком и обладал таким огромным ртом, что было просто удивительно, как ему удается достигать хоть

какой-то точности в произношении гласных звуков английского языка. Тристрам часто пытался сосчитать, сколько у него зубов. Зубы у Чарли были его собственными и часто обнажались в улыбке, как бы от гордости за этот факт, при этом каждый раз казалось, что общее ко-личество зубов превышает законное число тридцать два. Тристрама это беспокоило.

Чарли Линклейтер тянул неизвестно какой срок неизвестно за что. Как понял Тристрам, преступления Чарли заключались в порождении многочисленного потомства, избиении «серых», нарушении общественного порядка в вестибюле Дома Правительства и употреблении мяса в пьяном виде.

— Небольшой отдых мне не повредит. — Голос у Чарли был густо-красным. Рядом с этим плотным человеком с блестящей иссиня-черной кожей Тристрам чувствовал себя еще более худым и слабым, чем всегда.

— Они тут обвиняют меня в мясоедении, но они не знают, с чего все началось, парень, — рассказывал Чарли Линклейтер в своей обычной ленивой манере, развалившись на нарах. — Так, значит, добрых лет десять тому назад путался я с женой одного мужика из Кадуны… ну, вроде

меня, такой же. Его звали Джордж Дэниел, он был муниципальным служащим, счетчики проверял. Ну, вернулся он однажды домой, когда его не ждали, и застал нас за этим самым делом. Что нам оставалось? Пришлось его зарубить. Да ты сам бы сделал то же самое, парень. Ну, теперь у нас было это тело — добрых тридцать стоунов, если на фунты считать. Что нам оставалось, как не пустить в дело старый котел? Мы ели непрерывно, и то нам потребовалась целая неделя, да-да! Костимы зарыли, и никто ничегошеньки не узнал. Да, это была большая еда, браток, настоящая хорошая еда!

Чарли мечтательно вздохнул, причмокнул своими огромными губами и даже рыгнул, предаваясь приятнейшим воспоминаниям.

— Я должен выбраться отсюда, — заговорил Тристрам. — Там, на воле, есть еда. Ведь есть? Еда…

Изо рта у Тристрама потекла слюна, слабыми руками он тряс решетку.

— Мне обязательно нужно есть, обязательно!

— Ну а мне лично нечего спешить на свободу, — проговорил Чарли Линклейтер. — Там меня пара-другая человечков с топорами ищут, так что, я полагаю, мне лучше здесь посидеть. Не слиш-

ком долго, конечно. Но я был бы счастлив помочь вам, как могу, выбраться отсюда. Не потому, что мне ваша компания не нравится — вы человек воспитанный и образованный и с хорошими манерами, но если уж вам так невтерпеж отсюда свалить, так я именно тот человек, который вам поможет.

Когда надзиратель принес дневную порцию питательных таблеток и воду и принялся просовывать их сквозь прутья решетчатой двери, Тристрам заметил у него дубинку и спросил, зачем она ему.

— А вот будете лаяться, так вот эта леди, — тюремщик помахал дубинкой, — ка-ак трахнет вас по затылку! Так что поостерегитесь, мистер Псих, мой вам совет.

— Эта его черная палка — очень хорошая штука, — задумчиво проговорил Чарли Линклейтер после ухода надзирателя. — Но разговаривает он с вами, как человек не слишком воспитанный, — добавил он.

Вскоре Чарли придумал простой план, который гарантировал Тристраму освобождение. Для Чарли этот план был чреват опасностью наказания, но он был человеком большого сердца. Оказалось, что Чарли не только может поглотить девять

стоунов контролерского мяса за семь дней, но и может быть человеком твердым и настойчивым. Первая, простейшая, часть его несложного плана заключалась в том, чтобы всячески демонстрировать свою неприязнь к сокамернику, с целью избежать подозрения в соучастии, когда придет время осуществлять вторую фазу заговора. Теперь, когда бы надзиратель ни заглядывал в камеру, он слышал, как Чарли орет на Тристрама:
— Ты брось меня заводить, парень! Поприкуси свой грязный язык! Я не привык, чтобы со мной так обращались, не привык!

— Опять он за старое? — угрюмо качал головой надзиратель. — Ну ничего, мы из него этот дух выбьем, вот увидите. Он еще будет ползать перед нами на брюхе, прежде чем мы его прикончим.

Тристрам, зубные протезы которого были поломаны, что-то хрипел в ответ, по-рыбьи округляя губы провалившегося рта. Надзиратель рычал что-то в ответ сквозь свои целые зубы и уходил. Чарли Линклейтер подмигивал. Так продолжалось три дня.

На четвертый день Тристрам лежал в состоянии, очень похожем на то, в котором до этого пребывал Блаженный Амвросий Бейли: отрешенный, неподвижный, с глазами, устремленными

в небеса. Чарли Линклейтер в волнении тряс решетку и голосил: — Он умирает! Быстрее сюда! Он загибается! Скорее, кто-нибудь!

Ворча, приплелся надзиратель. Увидев простертого Тристрама, он настежь открыл дверь камеры.

— Порядок! — проговорил Чарли Линклейтер пятнадцать секунд спустя. — А сейчас ты просто напялишь его тряпки, и все, парень. Небольшая чистая работенка, вот так! — Чарли покачал дубинкой, держа ее за петлю из кожзаменителя. — Быстро надевай его форму, вы почти одного размера.

Вдвоем они раздели оглушенного тюремщика.

— Надо же, какая у него спина прыщавая, — заметил Чарли. Осторожно подняв надзирателя, он положил его на койку Тристрама и прикрыл одеялом. В это время Тристрам, тяжело дыша от волнения, застегивал на себе заношенную синюю форму.

— Ключи его не забудь, — напомнил Чарли Линклейтер. — И, главное, парень, дубинку не забудь. Ты с ней натурально будешь смотреться что надо, с этой маленькой штучкой. Ну, я так думаю, что по крайней мере с полчаса он будет в отключке, но ты времени не теряй, да веди себя

естественно. Фуражку пониже на глаза надвинь, парень. Вот жаль, что с бородой ничего не поделаешь…

— Я вам очень благодарен, — проговорил Тристрам.

Сердце у него колотилось как сумасшедшее. — Я действительно вам благодарен.

— А, пустяки, забудь, — добродушно отмахнулся Чарли Линклейтер. — Лучше тяпни меня легонько по затылку этой дубиной, чтобы я натурально выглядел. Дверь камеры можешь не запирать, больше никто бежать не собирается. Но ключами звенеть не забывай, чтобы выглядеть мило и естественно. Ну давай, бей!

Тристрам слабо, словно по яичной скорлупе за завтраком, стукнул по затылку из мореного дуба.

— Уж тебе придется постараться, попробуй еще раз, — попросил Чарли Линклейтер.

Тристрам, стиснув челюсти, ударил изо всех сил.

— Вот это похоже! — похвалил Чарли. Выкатив белки, он грохнулся на плиточный пол с такой силой, что зазвенели жестяные кружки на полке.

Выйдя в коридор, Тристрам осторожно огляделся по сторонам. В дальнем конце галереи двое надзирателей болтали, лениво облокотившись

на перила, и глядели в колодец тюремного двора, словно в море. С другой стороны путь был свободен, до лестничной площадки — только четыре камеры. Тристрама беспокоило то, что он был надзирателем с бородой. В кармане чужих, тесных ему брюк Тристрам нашел носовой платок и, развернув его, прижал к нижней части лица раскрытой ладонью: мало ли, у человека зубы болят или еще что… Действовать он решил противоположно советам Чарли Линклейтера — выглядя неестественно, и вести себя нужно неестественно. Звеня ключами и грохоча ботинками по железным ступеням, Тристрам неуклюже спускался вниз. На лестничной площадке ему повстречался надзиратель, поднимавшийся наверх.

— Что с вами случилось? — спросил «коллега».

— Кдофь из носу чичёт, вот фто, — промычал Тристрам. Удовлетворенный ответом надзиратель кивнул головой и продолжил свой путь наверх.

Тристрам с грохотом катился вниз, сдерживая дыхание. Пока все шло хорошо, даже слишком. Один за другим мелькали пролеты гремящей лестницы, бесконечные ряды камер, рамочки с пожелтевшими «Правилами поведения в тюрьмах Его Величества» на каждой лестничной

площадке.

Когда Тристрам достиг наконец первого этажа, у него было такое ощущение, словно он, балансируя, держит все эти напиханные камерами ярусы на своей безумной голове. Повернув за угол, Тристрам столкнулся с красноорожим надзирателем, ребра у которого оказались, словно железные.

— Спокойно, спокойно, — проговорил надзиратель. — Не ушиблись? Вы что, новичок, что ли?

— Добичок, — прогундосил Тристрам. — Кдофь чичет. И ташнит.

— Если вам нужен лазарет, то это прямо, вон туда. Пройти, не заметив, невозможно, — сказал надзиратель, показывая рукой, куда идти.

— Шпашиба бальшое, — поблагодарил Тристрам.

— Пустяки, приятель, — ответил надзиратель.

Тристрам поспешил дальше. Теперь он шел уже по больничным коридорам, где стены были обиты темно-коричневыми панелями и сильно пахло дезинфекцией. Над одной из дверей на синем стекле горела надпись: «СЛУЖЕБНЫЙ ЛАЗАРЕТ», внутри было светло. Тристрам смело вошел в это средоточие больничных боксов, молодых людей в белом и резкого запаха спирта. Из-за ближайшей двери был слышен плеск воды

и кто-то фыркал мужским голосом. Дверь была не заперта, Тристрам толкнул ее и попал в ванную комнату: синий кафель, купальщик с крепко зажмуренными, словно в смертельной агонии, глазами намыливал голову.

— Побриться забыл! — закричал Тристрам.

— А?! — выкрикнул в ответ купальщик.

К великой радости Тристрама, в стенном зажиме торчала электробритва. Он включил ее и начал бриться, соскребая бороду чуть ли не с мясом.

— Эй! — воскликнул купальщик, открыв глаза. — Что вы здесь делаете? Вас кто впустил?

— Бреюсь, — ответил Тристрам. Он был потрясен, когда увидел в зеркале свои впалые щеки, появлявшиеся из-под застарелой щетины. Он боялся верить своим глазам.

— Я по-быстрому, — буркнул Тристрам.

— Никакой личной жизни теперь нет, — ворчал купальщик.

— Даже в ванной нельзя остаться наедине с самим собой.

Он раздраженно взболтал воду и продолжал: — Если уж вперлись в ванную, когда там моются, так могли бы ради приличия хоть шапку снять!

— Еще пару секунд — и все! — ответил Три-

страм. Для экономии времени он не стал сбривать усы.

— Извольте подобрать с пола всю эту мерзость! — приказал купальщик. — Почему я должен ходить чистыми ногами по чьим-то волосищам! Кстати, что происходит? Кто вы такой? У вас есть борода, по крайней мере она у вас была, а этого не может быть! Надзиратели не носят бород, во всяком случае в этой тюрьме!

Купальщик попытался выбраться из ванной. Он оказался человечком с кроличьим телом, от головы и ниже покрытым черной кожей. Тристрам толкнул его обратно в ванну, брызнула пена, Тристрам бросился к двери и с радостью заметил, что в ней торчит ключ. Он выхватил его и вставил в замок с наружной стороны. Купальщик, теперь весь в мыльной пене, снова пытался выбраться из ванны. Чисто выбритый Тристрам, по-рыбьи округлив рот, сказал: «До свидания!» — вышел из ванной и запер дверь. За дверью послышались крики: «Сюда! Сюда!» и плеск воды. Выйдя в коридор, Тристрам спокойно сказал одетому в белое молодому человеку: — Я здесь новичок и, похоже, заблудился. Как мне отсюда выйти?

Улыбаясь, молодой человек вывел его из лаза-

рета и объяснил дорогу: — Пойдете туда, дорогой мой, потом повернете сразу налево, потом прямо, ну а дальше уже не заблудитесь, дружище.

— Спасибо вам огромное! — поблагодарил Тристрам, улыбнувшись черной дырой беззубого рта. Право же, все были так любезны с ним.

В огромном вестибюле с высоким потолком несколько надзирателей, по-видимому закончивших дежурство, сдавали ключи щеголеватому старшему офицеру в новой синей униформе. Офицер был очень худощав, рост его приближался к семи футам.

— Порядок! — говорил он почти безразлично, сверяя номера ключей со списком и ставя галочку. — Порядок! — повторял офицер, передавая ключи помощнику, который вешал их на доску с гвоздями.

— Порядок! — сказал офицер Тристраму.

Слева, в огромных металлических воротах тюрьмы, была открыта небольшая дверь. Через эту дверь надзиратели выходили на улицу, вот и все…

Тристрам секунду постоял на ступеньках, вдохнул воздух свободы и посмотрел вверх. Бездонность неба поразила его. «Осторожно, осторожно, услышат ведь!» — успокаивал он колотившееся

сердце. Медленно, пытаясь насвистывать, Тристрам пошел прочь от тюрьмы. Оказалось, во рту слишком сухо, чтобы получался свист.

Глава 10

Шел сев, куры в клетках потихоньку неслись, свиноматка Бесси резвилась почти как молодая, близнецы быстро подрастали.

Беатриса-Джоанна и Мейвис сидели в гостиной и вязали из эрзац-шерсти теплые детские распашонки. В двуспальной колыбели, сколоченной Шонни, мирно спали Тристрам и Дерек Фоксы. Говорила Мейвис: — Я далека от того, чтобы предложить тебе уйти глубокой ночью с двумя твоими сувенирами на руках. Я просто прикидываю, как тебе лучше поступить. Ясно, что ты сама не захочешь оставаться здесь вечно. Кроме того, у нас действительно негде жить. И потом, это же опасно для всех нас. Я хочу сказать, что ты должна подумать о том, что ты будешь делать дальше, разве нет?

— О да, — удрученно согласилась Беатриса-Джоанна. — Я понимаю. Вы были очень добры ко мне. Я все понимаю.

— Ну так что ты сама об этом думаешь? — спро-

сила Мейвис.

— А что я могу думать? Я написала три письма Тристраму через Министерство внутренних дел, и все они вернулись назад. Может быть, он умер. Может быть, они его застрелили.

— Беатриса-Джоанна пару раз шмыгнула носом. — Квартиру нашу, должно быть, захватил Жилищный отдел. Мне некуда и не к кому идти. Положение не из приятных, не правда ли? — Беатриса– Джоанна высморкалась. — У меня нет денег. Все, что у меня есть, это мои близнецы. Ты можешь вышвырнуть меня, если хочешь, но мне буквально некуда идти.

— Никто не собирается тебя вышвыривать, — раздраженно ответила Мейвис. — Ты моя сестра, а твои сыновья мои племянники, и если тебе придется остаться у нас, то я полагаю, что и рассуждать тут не о чем, так тому и быть.

— Может быть, мне удастся найти работу в Престоне или еще где-нибудь, — сказала Беатриса-Джоанна, сама не очень веря в то, что говорит. — Может быть, это будет хоть какой– то помощью вам.

— Нет здесь никакой работы, — отрезала Мейвис. — И деньги никого не интересуют. Я думаю о том, как все это опасно. Я думаю о Ллуэлине

и Димфне, о том, что с ними будет, если нас арестуют. А нас арестуют, сама знаешь, если пронюхают. За укрывательство… не знаю, как это называется.

— Это называется «повторнородящая». Я — повторнородящая. Выходит, как сестру ты меня уже не воспринимаешь. Ты просто рассматриваешь меня как нечто опасное для вас, как какую-то… «повторнородящую»! — Мейвис, зло поджав губы, склонилась над вязаньем. — А вот Шонни так не думает, — продолжала Беатриса-Джоанна. — Это только ты считаешь меня навязчивой и опасной.

Мейвис подняла голову.

— Это очень жестоко и не по-сестрински так говорить. Совершенно бессердечно и эгоистично. Ты должна понять, что пришло время вести себя разумно. Мы рисковали еще до того, как твои мальчишки родились, сильно рисковали. А теперь ты упрекаешь меня в том, что мои дети мне дороже твоих. А что касается Шонни, то он слишком добросердечен, словно не от мира сего. А уж наивен до глупости, когда твердит, что Бог нас хранит. Если хочешь знать правду, так меня иногда тошнит, когда я слышу имя Божье. Скоро Шонни навлечет на нас беду, недолго нам ждать, вляпаемся мы из-за него в историю..

— Шонни достаточно разумен и вполне нормален.

— Может быть, он нормален. Но нормальность — это обуза и помеха, если живешь в сумасшедшем мире. И, уж конечно, он не разумен. Выброси из головы мысль о том, что Шонни может быть благоразумным. Ему просто везет, вот и все. Он говорит слишком много и то, чего не нужно говорить. Недалек тот день, когда — попомни мои слова! — когда его везение кончится, и тогда… Да поможет нам Бог!

— Итак, — произнесла Беатриса-Джоанна после непродолжительного молчания, — чего же ты от меня хочешь?

— Ты должна поступить так, как, по твоему мнению, будет лучше для тебя. Если тебе нужно — оставайся у нас, (оставайся столько, сколько считаешь необходимым, но постарайся вспоминать иногда…

Вспоминать что?

— Хотя бы то, что некоторые люди сделали для тебя все возможное и даже подвергались опасности. Я говорю об этом в первый и единственный раз и больше ничего не скажу впредь. На этом и покончим. Но я хочу, чтобы ты иногда вспоминала об этом, вот и все.

— Я помню, — произнесла Беатриса-Джоанна, задыхаясь, — и очень благодарна! И я говорю об этом не менее трех раз в день, с тех пор как я сюда приехала. Конечно, за исключением того дня, когда я — уж ничего не поделаешь! — детей рожала. Я бы и в тот день вас поблагодарила, да мне нужно было и о другом подумать. Если хочешь, я могу сказать это сейчас, чтобы погасить задолженность. «Я вам очень благодарна, я вам очень благодарна, я вам очень благодарна!» — Ну зачем же так, — проговорила Мейвис. — Давай оставим эту тему, хорошо?

— Хорошо, — согласилась Беатриса-Джоанна вставая — Давай оставим эту тему. Не забудем только, что этот разговор начала ты.

— Нет нужды говорить в таком тоне, — холодно заметила Мейвис.

— А, к черту! — воскликнула Беатриса-Джоанна. — Время кормить детей.

Она подхватила близнецов на руки. Происходящее было выше ее сил, она больше не могла этого выносить, она не могла дождаться, когда Шонни расстанется со своими сеялками и вернется домой. В доме и одной женщины было достаточно, Беатриса-Джоанна понимала это, но что она могла поделать?

— Я думаю, мне лучше посидеть до вечера у себя в комнате. Если ты, конечно, можешь называть это комнатой, — выпалила Беатриса-Джоанна и сейчас же пожалела о сказанном.

— Извини, я совсем не то хотела сказать!

— Делай что хочешь, — обиженно проговорила Мейвис. — Иди туда, куда ты хочешь. Насколько я помню, ты всегда делала то, что тебе хотелось.

— Ах, к черту все! — вскрикнула снова Беатриса-Джоанна и, прижав к себе своих розовых младенцев, выскочила из гостиной.

«Глупо! — думала она немного спустя, лежа у себя в пристройке. — Нельзя так себя вести». Беатрисе-Джоанне нужно было примириться с тем, что ферма — это единственное место, где она может жить, по крайней мере до тех пор, пока не узнает, что же, в конце концов, происходит — Ах, черт! — вырвалось у Беатрисы-Джоанны. — Ну извини, извини, извини!

— Что толку в твоих извинениях, если ты говоришь одно, а думаешь совсем другое.

— Послушай! — простонала Беатриса-Джоанна в отчаянии. — Ну в самом деле, как ты хочешь, чтобы я поступила?

— Я уже сказала тебе. Ты должна делать все в точности так, как сама считаешь лучшим для

себя и своих детей!

Мейвис так четко произнесла последнее слово, заставив его звенеть всеми обертонами так, что стало ясно: в этом доме только ее дети настоящие, а те, что у Беатрисы-Джоанны,

— незаконные, нелегальные.

— О-о! — всхлипнула Беатриса-Джоанна. — Какая я несчастная!

Она бросилась к своим гукающим и отнюдь не чувствующим себя несчастными близнецам. Мейвис, жестко поджав губы, продолжала точить когти.

Глава 11

День уже клонился к вечеру, когда капитан Лузли, из Народной полиции, прибыл на ферму в своем черном фургоне.

— Это здесь, — сказал он рядовому Оксенфорду, своему водителю. — Государственная ферма НВ-313. Долгое было путешествие.

— Отвратительное было путешествие! — добавил сержант Имидж, произнося шипящие со свойственной его корпорации силой.

Они видели на вспаханных полях такие вещи, такие ужасные картины…

— Да, отвратительное, — повторил он. — Нам бы следовало изрешетить им задницы пулями.

— У нас мало боеприпасов, сержант, — возразил Оксенфорд, все понимавший буквально молодой человек.

— И это не наша работа. Непристойное поведение в общественных местах — это забота обычной полиции, — уточнил капитан Лузли.

— Точнее, тех из них, кто еще не съеден, — сострил сержант Имидж. — Давайте, Оксенфорд, идите и откройте ворота, — нетерпеливо произнес он.

— Это несправедливо, сержант. Я водитель, я за рулем.

— Ах, ну хорошо же!

И сержант Имидж вытянул свое длинное змеиное тело из машины и пошел открывать ворота.

— Дети! — сообщил он. — Дети играют. Хорошенькие детишки. Давайте, заезжайте во двор, — приказал он Оксенфорду. — Я пойду пешком.

Дети бросились в дом.

— Пап! — закричал запыхавшийся Ллуэлин. — Там какие-то люди приехали на черном фургоне! Полицейские, похоже.

— На черном фургоне, ты говоришь? — Шон-

ни встал и выглянул в окно. — Так… Давно их ждем, да простит их Господь, а они все не ехали. А теперь, когда мы уж было совсем успокоились, они и прутся к нам в своих сапожищах. Где твоя сестра? — быстро спросил он Мейвис. — Она в пристройке?

Мейвис кивнула.

— Скажи ей, чтобы заперлась и сидела тихо. Мейвис кивнула, но медлила с уходом.

— Иди быстрей! — подогнал ее Шонни. — Через секунду они будут здесь.

— Они начнут с нас, — предрекла Мейвис. — Запомни это. С тебя, с меня и с наших детей.

— Хорошо, хорошо, иди давай! Мейвис побежала в пристройку.

Фургон подкатил к крыльцу, и из него вылез, расправляя члены, капитан Лузли. Рядовой Оксенфорд рявкнул мотором и выключил зажигание.

Сержант Имидж подошел к своему начальнику и стал Рядом. Рядовой Оксенфорд снял фуражку, которая оставила у него на лбу красный след, словно каинову печать. Вытерев лоб грязным платком, он надел фуражку снова. Шонни открыл дверь. Все было готово.

— Добрый день! — поздоровался капитан Луз-

ли. — Это государственная ферма НВ-313, а вы… боюсь, что мне не выговорить вашу фамилию, понимаете ли. Но это к делу не относится. У вас здесь гостит миссис Фокс, не правда ли? Это ваши дети? Очаровательные, очаровательные детишки! Могу я войти?

— Какая разница в моем «да» или «нет», — огрызнулся Шонни. — Я так полагаю, что у вас должен быть ордер.

— О да. У нас есть ордер, понимаете ли, — ответил капитан Лузли.

— Почему он так говорит, пап? — спросил Ллуэлин. — Почему он говорит «понимаете ли»?

— Это от нервов, помоги ему Бог, — ответил Шонни. — Некоторые люди дергаются, а другие говорят «понимаете ли». Проходите, господин…

— Капитан, — подсказал сержант Имидж. — Капитан Лузли.

Полицейские, не снимая головных уборов, вошли в дом.

— Итак, что вам конкретно нужно? — спросил Шонни.

— Занятно, — пробормотал сержант Имидж, качнув ногой самодельную колыбель. — Если ножка подломится, колыбель упадет. Вместе с ребенком.

— Так вот, — начал капитан Лузли. — У нас есть основания полагать, что миссис Фокс жила у вас в течение всего периода своей незаконной беременности. «Ребенок» — вот наш пароль.

В комнату вошла Мейвис.

— Эт-то… это не миссис Фокс, — раздраженно проговорил капитан Лузли, словно ему хотели всучить подделку. — Эта женщина похожа на миссис Фокс, но она не миссис Фокс.

Капитан отвесил Мейвис иронический поклон, словно извиняя понятную попытку обмана.

— Мне нужна миссис Фокс.

— Эта колыбель — для поросят, — соврал Шонни. — Самый маленький поросеночек из помета обычно требует особого ухода.

— Может, приказать Оксенфорду побить его немного? — спросил сержант Имидж.

— Пусть попробует! — угрожающе прорычал Шонни. Краска так быстро заливала его лицо, что казалось, кто-то крутит ручку реостата. — Черта с два это у кого-нибудь получится. Я бы попросил всю вашу компанию удалиться.

— Вы не можете нас просить об этом, — надменно проговорил капитан Лузли. — Мы выполняем свой долг, понимаете ли. Нам нужна миссис Фокс и ее незаконный отпрыск!

— «Незаконный отпрыск», — повторил, как попугай, Ллуэлин. — «Незаконный отпрыск...» — твердил он поразившие его слова.

— Я должен уведомить вас о том, что миссис Фокс здесь нет, — проговорил Шонни. — Она приезжала к нам как раз перед Рождеством, а потом уехала. Куда — не знаю.

— Что за рождество такое? — спросил сержант Имидж.

— Это к делу не относится! — оборвал его капитан Лузли.

— Если миссис Фокс здесь нет, то я думаю, что у вас нет оснований возражать против того, чтобы мы убедились в этом сами. Имеющийся у меня ордер, — он опустил руку в боковой карман кителя, — дает нам любые полномочия. Включая обыск и все такое прочее, понимаете ли.

— И право избивать людей, — вставила Мейвис.

— Совершенно верно.

— Убирайтесь! Все убирайтесь! — приказал Шонни. — Я не позволю наймитам Государства рыться в моем доме!

— Вы тоже у Государства в наемниках, — спокойно проговорил капитан Лузли. — Мы все слуги Государства. Послушайте, пожалуйста,

будьте благоразумны, понимаете ли. Мы не хотим прибегать к крайним мерам, но… — Он слабо улыбнулся. — Всем нам приходится выполнять свой долг, если все средства исчерпаны.

— «… понимаете ли», — добавила Димфна и хихикнула.

— Иди сюда, малышка! — заискивающе засюсюкал сержант Имидж. — Ты ведь хорошая девочка, да?

Он присел на корточки и стал звать Димфну, прищелкивая пальцами.

— Стойте здесь! — приказала детям Мейвис, прижимая к себе обоих.

— Ах-х т… — коротко рыкнул сержант Имидж на Мейвис, но, выпрямляясь, придал своему лицу идиотски-сладкое выражение.

— У вас в доме есть маленький ребеночек. Ведь есть? — вкрадчиво спросил он Димфну. — Такой маленький хорошенький ребеночек, да?

Димфна хихикнула. Ллуэлин твердо ответил: — Нет!

— И это правда, — подтвердил Шонни. — Малец говорит чистую правду. Может быть, теперь вы уйдете и перестанете тратить свое время и отнимать мое? Я занятой человек.

— В мои намерения не входит предъявлять об-

винение вам и вашей жене, — вздохнул капитан Лузли. — Выдайте мне миссис Фокс и ее отпрыска, и вас больше не потревожат. Даю слово.

— Мне что, выбросить вас силой?! — закричал Шонни. — Клянусь Богом, у меня сильное желание задать вам перцу!

— Врежьте ему малость, Оксенфорд, — приказал сержант Имидж. — Все это бред какой-то.

— Мы приступаем к обыску! — объявил капитан Лузли. — Мне очень жаль, что вы оказались так несговорчивы, понимаете ли.

— Иди наверх, Мейвис, и уведи детей! — скомандовал Шонни. — Я сам здесь разберусь!

Он попытался вытолкнуть жену из комнаты.

— Дети останутся здесь! — повысил голос сержант Имидж.

— Им придется немного повизжать. Я люблю слушать, как визжат дети.

— Ах ты мерзкий, нечестивый ублюдок! — закричал Шонни и бросился на сержанта, но Оксенфорд успел вклиниться между ними и несильно ударил Шонни в пах. Тот вскрикнул от боли и принялся бешено размахивать кулаками.

— Стойте! Я не хочу быть причиной несчастья! — В дверях кухни стояла Беатриса-Джоанна. Шонни опустил кулаки.

— Вот это миссис Фокс, — проговорил капитан Лузли. — Вот это подлинник.

Весь вид его излучал сдерживаемую радость. Беатриса– Джоанна была одета по-дорожному.

— Что вы собираетесь сделать с моими детьми? — спросила она.

— Ты не должна была этого делать! — простонал Шонни. — Тебе нужно было сидеть там, где ты сидела! Все, может быть, кончилось бы хорошо, да простит тебя Бог!

— Я могу заверить вас, — проговорил капитан Лузли, — что ни вам, ни вашим детям не будет причинено ни малейшего вреда. — Неожиданно он вздрогнул. — С детьми? Детям? А-а, понимаю… Значит, не один. Как-то я не принял в расчет такую возможность. Тем лучше, тем лучше… Конечно же, лучше, понимаете ли!

— Вы можете назначить мне любое наказание, но ведь дети не сделали ничего дурного! — молила Беатриса-Джоанна.

— Конечно, ничего, — с готовностью подтвердил капитан Лузли. — Ничего дурного! Мы считаем, что виноват только отец. Я просто хочу представить Столичному Комиссару плоды его преступления, только и всего, понимаете ли.

— Что такое? О чем он говорит? — удивленно

воскликнул Шонни.

— А! Долгая история, — отмахнулась Беатриса-Джоанна. — А сейчас слишком поздно ее рассказывать. Ну, — обратилась она к сестре, — похоже, что о моем будущем позаботились. Кажется, мне теперь есть куда идти.

ЧАСТЬ IV
Глава 1

Тристрам был готов начать свой анабасис. Как стрелка компаса, он был устремлен на север, к своей жене. Тристрам жаждал покаяния и примирения так же сильно, как шахтер ванны. Ему хотелось успокоения, ее объятий, ее теплого тела, совместных слез и отдохновения. Мысль о мести посещала его теперь все реже.

В столице царил хаос, но поначалу этот хаос казался Тристраму отражением собственного, нового для него чувства свободы. Именно этот господствовавший повсюду, шумевший и хохотавший, как гигантская вакханка, беспорядок и подтолкнул его к тому, чтобы неподалеку от Пентонвилля тюкнуть по голове дубинкой одинокого безобидного прохожего и воспользоваться его одеждой.

Это произошло в садовой аллее после наступления темноты, вдали от общественных жаровен для приготовления пищи, угли которых вспыхивали и шипели от капавшего на них человеческого жира. Похоже, что с электричеством,

как и с другими коммунальными услугами, было плохо. Ночь стояла темная, как в джунглях, но вместо сучьев под ногами хрустело битое стекло. Теперь Тристрама удивляло то, что в тюрьме, которую он покинул, удавалось поддерживать хоть какой-то цивилизованный порядок. Интересно, как долго им удастся продержаться? Размышляя подобным образом, Тристрам заметил в конце аллеи пошатывающуюся фигуру. Человек что-то напевал в одиночестве и, по-видимому, был пьян. Тристрам поднял дубинку и…

Человек упал сразу, так послушно, словно только этого и ждал. Его одежду — клетчатый костюм, рубашку с воротником стойкой и джемпер — Тристрам снял без всяких затруднений. Быстро переодевшись, он превратился в свободного гражданского человека. Дубинку надзирателя Тристрам все-таки решил оставить. Одетый, словно на званый ужин, он отправился на поиски пищи.

Звуки джунглей, черный лес небоскребов, бездонное, усыпанное звездами небо, красные огни костров…

На Клермонт-сквер Тристрам наткнулся на группу занятых едой людей. Их было человек тридцать. Мужчины и женщины вперемешку,

они сидели вокруг жаровни, которая представляла собой грубую металлическую решетку из обрезков телеграфного провода, лежавшую на кирпичах, между которыми пылали угли. Человек в белом колпаке переворачивал вилкой брызжущие жиром куски мяса.

— Мест не-ет, мест не-ет! — пропел худощавый человек, похожий на университетского преподавателя — «дона», когда Тристрам осторожно приблизился к огню. — Здесь обеденный клуб, а не общественная столовая!

— И у меня есть «клуб»,[7] — проговорил Тристрам, помахав своей дубинкой. Его жалкая угроза была встречена общим смехом.

— Я только что из тюряги, — жалобно заскулил Тристрам.

— Меня там морили голодом…

— Присоединяйтесь, — сжалился «дон». — Хотя поначалу такая еда может оказаться слишком жирной для вашего желудка. В наши дни подлинно нравственной личностью является только преступник, — афористически изрек «дон» и, наклонившись к ближайшему краю жаровни, каминными щипцами подхватил длинный рас-

---

[7] notes: 7
Игра слов, другое значение слова «клуб» (club) — «дубинка"

каленный металлический прут с насаженными на него кусками мяса. — Кебаб, — объяснил он.

Щурясь от света костра, «дон» глядел на Тристрама.

— У вас же зубов нет. Надо вам где-нибудь раздобыть зубы. Подождите! Ведь у нас тут есть очень питательный бульон!

Само гостеприимство, он принялся суетливо искать миску и ложку.

— Попробуйте это, — предложил «дон», черпая бульон из металлической банки. — Рад приветствовать вас в нашем клубе!

Тристрам схватил подачку дрожащими руками и, словно дикое животное, забился в угол, подальше от всех. Спрятавшись, он с шумом втянул в себя ложку дымящегося бульона. Это была густая вкусная маслянистая жидкость, в которой плавали маленькие мягкие, как бы каучуковые кусочки. Мясо… Тристрам читал о мясе. Древняя литература полна сцен пожирания мяса: Гомер, Диккенс, Пристли, Рабле, А. Д. Кронин…

Тристрам проглотил жидкость, но его сразу же стошнило.

— Легче, легче! — сочувственно проговорил «дон», подходя к Тристраму. — Вы сейчас поймете, что это очень вкусно. Отрешитесь от реальности

и вообразите, что вы вкушаете сочные плоды древа жизни. Вся жизнь едина. За что вас посадили в тюрьму?

— Я полагаю, — прохрипел Тристрам, еще испытывавший желудочные спазмы, — потому… что я был… против правительства.

— Какого правительства? В настоящее время, похоже, у нас нет никакого правительства.

— Вот как… — прошептал Тристрам. — Значит, Гусфаза еще не началась.

— Вы чем-то похожи на ученого. В тюрьме у вас было много времени для раздумий. Скажите, что вы думаете о существующем положении вещей?

— А что можно думать, не зная фактов? — Тристрам снова попробовал бульон. На этот раз дело пошло гораздо лучше.

— Так вот что такое мясо… — тихо проговорил Тристрам.

— Человек — плотоядное животное и одновременно производитель. Эти два качества, сосуществующие в нем, долго подавлялись. Позвольте им взаимодействовать, и не будет никакой разумной причины их подавлять. А что касается информации, то и у нас нет таковой, потому что нет информационных служб. Однако можно сделать вывод, что правительство Стар-

линга пало, а Президиум состоит из грызущихся собак. Но скоро мы опять будем иметь какое-нибудь Правительство, в этом я не сомневаюсь. А пока мы объединяемся в небольшие обеденные клубы с целью самозащиты. Позвольте мне предупредить вас… Вы только что из тюрьмы и, следовательно, новичок в этом преображенном мире — не ходите никуда в одиночку. Я могу, если хотите, принять вас в наш клуб.

— Вы очень добры, — поблагодарил Тристрам, — но я должен найти мою жену. Она сейчас в Северной провинции, неподалеку от Престона.

— У вас будут кое-какие трудности, — сочувственно произнес этот добрый человек. — Поезда, конечно же, не ходят, а автомобили попадаются очень редко. Идти вам очень далеко. Не отправляйтесь в дорогу без продовольствия. Вооружитесь. Не спите на открытых местах. И меня беспокоит то, что у вас нет зубов, — добавил «дон», взглянув на запавший рот Тристрама.

Тристрам вынул из кармана расколотые надвое половинки зубных протезов. Он покрутил их в руках с убитым видом и сказал, погрешив против истины: — У меня был жестокий тюремный надзиратель.

— Я думаю, среди членов нашего клуба может отыскаться и зубной техник.

«Дон» вернулся к своим, а Тристрам остался доедать бульон. Это придаст ему сил, несомненно. Тристраму вспомнилась одна древняя пелагианская поэма, вернее, одно из авторских примечаний к «Королеве Маб» Шелли: «Сравнительная анатомия учит нас, что человек во всем напоминает плодоядное животное и ничем — плотоядное. У него нет когтей, чтобы хватать добычу, нет длинных и острых клыков, чтобы рвать живые волокна». И далее: «Человек не напоминает плотоядное животное. Все без исключения травоядные животные, в том числе и человек, имеют состоящую из секций толстую кишку».

В конце концов, вполне возможно, что все это жуткая чушь.

— Ваши зубы можно починить, — сказал добрый «дон», вернувшись к Тристраму, — и мы можем дать вам в дорогу заплечный мешок с холодным мясом. Но будь я на вашем месте, я бы и не подумал отправляться в путь, пока не рассветет. Я буду очень рад, если вы согласитесь провести эту ночь у меня.

— Вы по-настоящему добрый человек, — ис-

кренне поблагодарил Тристрам. — Никогда раньше — честное слово! — я не встречал такой доброты.

Глаза Тристрама начали наполняться слезами. Какой трудный был сегодня день!

— Да право же, пустяки. Когда Государство чахнет, расцветает гуманность. Нынче, бывает, встречаются очень приятные люди. Тем не менее оружие ваше держите наготове. Той ночью Тристрам лег спать с починенными зубами. Растянувшись на полу в квартире «дона», он снова и снова сжимал и разжимал челюсти, словно жевал в темноте большой кусок воображаемого мяса. Хозяин квартиры, который сообщил, что его фамилия Синклер, устраиваясь спать, посветил Тристраму и себе светильником из плававшего в жире фитиля, при горении издававшего очень вкусный запах. Уютный огонек позволил разглядеть маленькую неопрятную комнату, забитую книгами. Синклер, однако, начисто отрицал наличие у него претензий на звание «читающий человек». До того как погасло электричество, он специализировался на сочинении электронной фоновой музыки для документальных фильмов. Опять же, до того как погасло электричество и лифты застряли внизу, его квартира находилась

на добрых тридцать этажей выше, чем теперешняя. Сильнейший пал, а слабейший возвысился — сегодня это не подлежало сомнению. Нынешняя квартира Синклера ранее принадлежала действительно читающему человеку, профессору китайского языка, плоть которого, несмотря на его преклонный возраст, оказалась совсем не жесткой.

Синклер спал сном невинного младенца, слегка похрапывая, и изредка говорил во сне. Большинство его изречений звучали афоризмами, некоторые же были явной бессмыслицей.

Тристрам слушал.

> *«Путь кошки только удлиняется от его обдуманности».*
>
> *«Я люблю картошку. Я люблю свинину. Я люблю человека».*
>
> *«Евхаристический прием пищи – наш ответ».*

Это непонятное выражение — «евхаристический прием пищи» — послужило чем-то вроде пропуска в сон. Довольный и успокоенный Тристрам погрузился в забытье, словно эти слова и в самом деле послужили паролем. Выпав из времени, Тристрам снова ощутил его ход, когда увидел

Синклера, который, одеваясь, что-то напевал и дружелюбно на него поглядывал.

Было прекрасное весеннее утро.

— Ну, нам нужно собрать вас в дорогу, — заговорил Синклер. — Однако первым делом следует хорошенько позавтракать.

Он быстро помылся (похоже, городской водопровод еще работал) и побрился старинной бритвой — «горлорезом», как он сказал.

— Меткое название, — улыбнулся Синклер, передавая бритву Тристраму. — Глоток она порезала довольно много.

Не верить у Тристрама не было причин.

Углям жаровни, как оказалось, не давали потухнуть ни днем ни ночью. «Как в храме, как на Олимпе», — подумал Тристрам, застенчиво улыбнувшись членам обеденного клуба, четверо из которых охраняли и поддерживали огонь до утра.

— Бекона хотите? — спросил Синклер и, наложив на звонкую металлическую тарелку гору мяса, протянул ее Тристраму.

Все члены клуба усердно ели, обмениваясь веселыми шутками, и пили воду квартами. Поев, эти добрые люди наполнили кусками холодного мяса почтальонскую сумку и со словами обод-

рения и поддержки нагрузили ею своего гостя и пожелали ему доброго пути.

— Никогда в жизни я не встречался с такой щедростью! — растроганно заявил Тристрам.

— Идите с Богом, — важно произнес Синклер, переполненный торжественностью момента. — Желаем вам найти вашу жену здоровой. Желаем вам найти ее счастливой. — Сдвинув брови, он уточнил: — Счастливой от встречи с вами, конечно.

Глава 2

Весь путь до Финчли Тристрам прошел пешком. Он понимал, что бессмысленно считать свое путешествие начавшимся, пока он не минует, скажем, Нанитон. Тристрам медленно тащился по бесконечным городским улицам, мимо кварталов жилых домов– небоскребов, мимо покинутых фабрик с разбитыми окнами, мимо веселых или сонных компаний «обеденных клубов», мимо трупов и скелетов, но к нему никто не цеплялся. Бескрайний город пропах жареным мясом и засорившимися сортирами. Раза два, к своему великому смущению, Тристрам стал невольным свидетелем открытого и бесстыдного совокуп-

ления. «Я люблю картошку. Я люблю свинину. Я люблю женщину». («Нет, неправильно. Хотя что-то в этом роде», — подумал он.) Тристрам не видел полицейских. Все они, казалось, то ли растворились в массе, то ли были переварены ею. На пересечении улиц у Тафнелл– парка, перед небольшой, державшейся весьма благочестиво толпой, служили мессу. Благодаря Блаженному Амвросию Бейли Тристрам знал все подробности богослужебного ритуала, поэтому он был удивлен, заметив, что священник — совсем молодой человек в сером, смахивавшем на шутовской, колпаке и в грубо размалеванном крестами и монограммами «ИС ХС» стихаре — раздавал что-то очень похожее на кусочки мяса, приговаривая: «Hoc est enim Corpus. Hie est enim calix san– gumins».[8] Должно быть, состоявшийся где-то новый церковный Собор, ввиду нехватки ортодоксальной религиозности, дозволял и такого рода импровизации.

Был прекрасный весенний день.

Миновав Финчли, Тристрам присел отдохнуть на пороге какого-то магазинчика, находившегося на тихой окраинной улице, и достал из своей

---

[8] notes: 8
"Се есть тело Господне Се есть кровь Господня» (лат)

сумы припасы. Стертые ноги болели.

Тристрам ел медленно и осторожно: как явствовало из приступа диспепсии после завтрака, его желудку предстояло еще многому научиться. Поев, Тристрам отправился на поиски воды. Королева Маб шепнула ему, что жажда — сильная жажда! — является необходимой спутницей мясной диеты. В задней, жилой части разграбленного магазина Тристрам нашел исправный водопроводный кран и, подставив губы под струю воды, пил так, словно собирался пить вечно. Вода была довольно грязной и несколько протухшей, и он подумал, что будущая опасность таится именно в ней. Потом Тристрам еще немного посидел в дверном проеме, отдыхая. Сжимая в руке свою дубинку, он наблюдал за проходившими мимо людьми. Все они придерживались середины дороги. Занимательнейшая черта позднейшей стадии Интерфазы!

Тристрам сидел, лениво анализируя те мысли и чувства, которые, казалось бы, должны были владеть им сейчас. Удивляло то, что ему почти не хотелось разбивать кулаки о морду братца. Может быть, все это было выдумкой честолюбивого и обиженного капитана. Ведь нужны доказательства, определенные и неопровержи-

мые доказательства!

Мясо урчало в животе. Тристрам рыгнул, одновременно произнеся что-то вроде «вожделения отцовства».

Родился ли уже ребенок? Если он был, этот ребенок. Тристрам как-то потерял счет времени… Он чувствовал, что сейчас, учитывая весь этот хаос, Беатриса-Джоанна находится в большей безопасности, чем раньше. Она, должно быть, еще на севере, если этот мужик сказал правду; во всяком случае, больше ей некуда податься. Что касается его самого, Тристрам был уверен: он делает именно то, что нужно. Ему тоже некуда податься. Как же, однако, он не любит свояка! Вечно у того на языке то грубости, то благочестивые восклицания, словно он в команде по перетягиванию каната. Ничего, на этот раз Тристрам и ругаться, и божиться будет громче него. Больше он не намерен позволять катить на себя бочку! Никому и никогда!

Идя по тротуару, Тристрам к середине дня добрался до Барнета. Стоя на развилке дорог — одна вела в Хетфилд, а другая в Сент-Олбенс — и раздумывая, куда пойти, Тристрам вдруг с удивлением заметил автофургон, который, покашливая мотором, двигался туда же, куда и он, — на север.

Фургон был покрашен какой-то грязно-земляного цвета краской, из-под тонкого слоя которой просвечивала надпись: «Министерство бесплодия», выдававшая его происхождение. Тристрам, в раздумье стоявший на развилке, теперь не мог решить, останавливать ему фургон или нет Нерв в его стертой левой ноге решил за него и послал сигнал руке, которая поднялась, в независимом от мозга движении, большим пальцем вверх.

— Я только до Эйлсбери, — предупредил водитель. — А там вы можете поймать какую-нибудь другую машину Если мы до Эйлсбери доедем, конечно.

Грузовичок дрожал, словно подтверждая сомнения водителя.

— Вы издалека идете, — заметил хозяин фургона, с любопытством разглядывая Тристрама. — Не слишком-то много людей сейчас путешествует.

Тристрам рассказал свою историю.

Водитель был тощим человеком в странной униформе: китель «серого», гражданские брюки такого же землистого цвета, что и фургон, на коленях лежала землистого цвета фуражка, под погонами были пропущены белые ремни портупеи. Когда Тристрам дошел в своем рассказе до побега из тюрьмы, водитель, всхрапывая, корот-

ко рассмеялся.

— Если бы вы дождались сегодняшнего утра, вас бы с поклонами выпроводили из заведения. Они открыли свои ворота, по-видимому, потому, что начали испытывать сильные трудности с продовольственным снабжением. По крайней мере так мне сказали в Илинге.

Тристрам тоже коротко рассмеялся. Все труды Чарли Линклейтера оказались ни к чему.

— Вы же понимаете, я совсем не в курсе событий, — объяснил он. — Я просто не знаю, что происходит.

— О, я тоже мало что могу вам рассказать. Похоже, что в настоящее время у нас нет никакого центрального правительства, но мы пытаемся организовать кое-какой правопорядок на местах. Можно сказать, что-то вроде военного положения. В моем лице вы можете видеть одного из представителей воскрешенной военщины. Я солдат.

Водитель снова, всхрапывая, хохотнул.

— Армии. Полки. Батальоны. Взводы, — проговорил Тристрам.

Когда-то он читал об этом.

— Мы не можем дольше терпеть все происходящее, — заявил водитель. — Этот каннибализм,

когда потрошат всех подряд, забитую канализацию… Мы должны подумать о наших женах и детях! Так или иначе в Эйлсбери мы уже кое чего добились. Нам даже удалось заставить людей понемногу работать.

— А что вы едите? — спросил Тристрам. Солдат громко расхохотался.

— Официально это называется консервированной свининой,

— ответил он. — Должны же мы что-то есть. Голодное брюхо ко всему глухо. Видите ли, нам частенько приходится применять оружие. Именем закона, — добавил он серьезно. — Мясо и вода. Возможно, это слишком похоже на тигриную диету, но консервирование придает этой пище более цивилизованный вид. И у нас есть надежда, вы знаете, у нас есть надежда, что положение начнет улучшаться. И — верите ли, нет — я в прошлый выходной по-настоящему рыбачил!

— Много поймали?

— Бычка поймал, — ответил солдат и снова рассмеялся. — Паршивого маленького бычка!

— А могу я спросить, какова была цель вашей поездки?

— Цель поездки? О, нам доложили, что по дороге из Илинга в Финчли есть склад боеприпасов,

принадлежавший полиции. Однако какие-то свиньи добрались туда раньше нас. Одна из этих банд. Они моего капрала укокошили. Он был капралом не из лучших, но они не имели права его убивать. Доедают его сейчас, наверное, проклятые каннибалы.

Всю эту историю солдат рассказал с совершенно невозмутимым видом.

— Похоже на то, что мы все каннибалы.

— Да, но мы в Эйлсбери, черт побери, по крайней мере цивилизованные каннибалы! Ведь совершенно другое дело, если вы выковыриваете это из консервной банки.

Глава 3

Западнее Хинкли Тристрам впервые в жизни увидел вспаханное поле.

Дела у него, в общем, шли хорошо: ночь он провел в казарме в цивилизованном Эйлсбери, потом прогулялся при хорошей погоде по Бисестер-роуд; в пяти милях от Эйлсбери его подобрал армейский грузовик и довез до самого Блэкторна. Пообедал Тристрам в вооруженном, но гостеприимном Бисестере (там он даже побрился и постригся), затем прошел по железнодорожным

путям до Ардли и там — о чудо! — сев на поезд, влекомый древним паровозом, который топили дровами, доехал аж до Банбери.

У Тристрама была лишь горстка металлических денег, которую он наскреб в карманах костюма оглушенного им человека, но энтузиасты, обслуживавшие все три вагона поезда, оказались археологами и о плате за проезд имели смутное представление.

На сей раз Тристрам ночевал в каком-то затянутом паутиной подвале на Варвик-роуд, а в сам Варвик он приехал на следующий день задолго до обеда на грузовике, груженном брякавшим всю дорогу стрелковым оружием. В городе, мрачноватом из-за военного положения, ему наговорили страхов о Кенилворте, где будто бы правила шайка фанатиков вроде секты «Пятая монархия», исповедовавшая жестокую доктрину экзофагии — поедания чужаков. Зато Ковентри, заверили Тристрама, достаточно безопасен для иногородних. Приняв во внимание сказанное, он побрел дальше обходной дорогой через Лимингтон. Путешествие было значительно облегчено тем, что его подвез на заднем сиденье веселый мотоциклист-связной.

Ковентри мог бы показаться почти нормаль-

ным городом, если бы не атмосфера военного гарнизона: общие мессы, переклички перед воротами фабрик, комендантский час… На городской заставе Тристрама принялись жадно расспрашивать о новостях, но что он мог рассказать! Тем не менее приняли его радушно и разрешили воспользоваться столовой сержантов– саперов. Когда на рассвете Тристрам покидал город, в карманы ему засунули пару банок мясных консервов. Он шагал по направлению к Нанитону, погода стояла чудесная, и впервые за много лет ему по-настоящему захотелось петь.

Тристрам подходил к северной границе Большого Лондона. Он предвкушал, как скоро вдохнет деревенского воздуха.

В Бедфорде его подобрал штабной автомобиль. В нем сидели похожий на Фальстафа полковник и его адъютант с красным от алка лицом. На этом автомобиле Тристрам проехал через Нанитон до дороги на Шрусбери. Здесь-то наконец и началась настоящая сельская местность: ровные вспаханные поля, изредка мелькнет какой-нибудь домик, и надо всем огромное небо, которому не угрожают надменные монолиты небоскребов.

Тристрам укрылся за какими-то воротами и немного вздремнул, вдыхая запах земли Слава

Тебе, Боже всемогущий!

Когда он проснулся, то подумал, что все еще спит. Ему показалось, что он слышит сиплова-тые звуки флейты и энергичные вдохи поющих людей. Слова песни несли в себе идею столь прямую и конечную, что Тристраму подумалось, а не услышит ли он снова изречение. «Евхари-стический прием пищи» В песне говорилось примерно следующее «Яблочки созреют, орешки почернеют, юбчонки вверх, штанишки вниз!» Примитивная мелодия все повторялась и по-вторялась в бесконечном da capo.[9] И Тристрам увидел, он увидел, он увидел, как мужчины и женщины, рассеявшись в поле — пара здесь, пара там, здесь и там — действуя с ритуальной серьезностью, образовывали все новых и новых существ с двумя спинами. При свете весеннего солнца юбки вздымались вверх, брюки падали вниз, и, среди возделанного поля, соединялись спелые яблоки и темные орехи. Осталось шесть, пять, четыре, три, два, один мужчина и он… и они…

Почему в песне поется о «гобе»? Они сеют, а не жнут в этом поле. Но придет время, и они сож-

---

[9] notes: 9
Сначала (ит)

нут посеянное, обязательно сожнут. Вся жизнь едина.

Та болезнь была вызвана отказом человека размножаться.

Глава 4

— Итак, приступаем! — сердито выкрикнул руководитель. У него была внешность предводителя ряженых: жилистый человек с гнусавым голосом, красным носом и синими щеками.

— Слушайте, слушайте, ну пожалуйста, слушайте же! — жалобно призывал он. — Список партнеров выглядит так.

«Затейник» принялся читать по бумажке, которую держал в руке: — Мистер Липсет — мисс Кемени, мистер Минрат — миссис Грэхем, мистер Эванс — миссис Эванс, мистер Хильярд — мисс Этель Даффус…

«Затейник» читал. Тристрам, жмурясь от солнца, сидел у небольшой гостиницы в Атерстоуне, благосклонно наблюдая, как мужчины и женщины разбиваются на пары.

— … мистер Финли — мисс Рэйчел Даффус, мистер Майо — мисс Лоури…

Словно собираясь танцевать деревенский та-

нец, выкликаемые становились в две шеренги лицом к своим «суженым», кто краснея от стыда, кто хихикая, кто нагло, кто застенчиво, кто отчаянно, а кто и с готовностью.

— Очень хорошо, — утомленно произнес наконец «затейник». — В поля!

Взявшись за руки, парочки двинулись «в поля». «Затейник» увидел Тристрама. Устало покачивая головой, он подошел и уселся на скамейку рядом с ним.

— В удивительное время мы живем, — начал разговор «затейник». — Вы просто идете куда-нибудь?

— Я иду в Престон, — ответил Тристрам. — Могу я вас спросить, если позволите, зачем вся эта… «заорганизованность»?

— Ах, да обычное дело! — ответил «затейник». — Есть ведь жадность, эгоизм… Некоторые люди привыкли загребать все самое лучшее… Этот самый Хильярд, например. А бедную Белинду Лоури все время обходят вниманием. Не знаю,, приносит ли это в действительности какую-нибудь пользу, — мрачно признался он. — Хотел бы я знать, есть ли в этом что– нибудь большее, чем простое потворство своим желаниям.

— Конечно, есть, — ответил Тристрам. — Это

один из способов показать, что разум является единственным инструментом, который может управлять нашей жизнью. Возвращение к магии — власти над событиями, вот что это такое. Мне это кажется очень здоровой тенденцией.

— Я предвижу опасности, — возразил «затейник». — Ревность, драки, собственничество, распад браков.

Он был твердым пессимистом.

— Будущее покажет, что к чему, — примирительно сказал Тристрам. — Вот увидите: сначала повсеместно настанет эпоха свободной любви, а потом снова утвердятся христианские ценности. Совершенно не о чем беспокоиться.

«Затейник» мрачно уставился на солнце и на облака, которые тихо и солидно плыли по голубому небу.

— Я полагаю, что вы нормальны, — проговорил он после продолжительного молчания. — Мне кажется, вы из тех же людей, что и Хильярд. Настоящий, закоренелый злопыхатель этот Хильярд. Он всегда говорил, что существующее положение не может сохраняться вечно. Они смеялись надо мной, когда я сделал то, что сделал. А Хильярд смеялся громче всех! Я мог бы убить Хильярда, — зло произнес «затейник», стиснув в

кулаках большие пальцы рук.

— Убить? — переспросил Тристрам. — Убить в эти дни… — он запнулся, — любви?

— Это было, когда я работал в Жилищном управлении Личфилда, — взволнованно продолжал «затейник», — тогда это и случилось. Нужно было заполнить вакансию, и я должен был получить повышение. Я был старший, понимаете…

(«Если это не дни любви, то, уж несомненно, дни честных и откровенных признаний», — подумал Тристрам.) — Мистер Консет, наш заведующий, сказал мне, что рассматриваются две кандидатуры — моя и еще одного человека, по фамилии Моэм. Этот Моэм был гораздо младше меня, но он был гомо. Так вот, я много думал об этом. Сам я никогда не был особенно склонен к этому, но, несомненно, что-то предпринять я мог. Я долго размышлял, прежде чем приступить к делу, потому что, в конце концов, мне предстояло совершить очень важный шаг. Как бы там ни было, прокрутившись ночь в постели, истерзавшись сомнениями, я собрался с духом и пошел к доктору Манчипу. Доктор Манчип сказал, что это очень простая операция, совсем не опасная… и он ее сделал. Он мне сказал, что в общей анастезии нет необходимости, и я наблюдал, как он это делал.

— Понятно… — проговорил Тристрам. — А я-то думал, почему у вас голос такой…

— Вот поэтому. И посмотрите на меня теперь! «Затейник» раскинул руки.

— Сделанного не воротишь. Как мне приспособиться к этому новому миру? Меня должны были предупредить, хоть кто– нибудь должен был сказать мне… Откуда я мог знать, что тот мир не будет вечен?! — Он понизил голос. — Вы знаете, как стал называть меня этот самый Хильярд с недавнего времени? Он стал называть меня «каплун». И причмокивает при этом губами. Шутит, конечно, но шутка эта весьма дурного свойства.

— Понимаю, — поддакнул Тристрам.

— Мне это совсем не нравится. Мне это очень даже не нравится!

— Держитесь твердо и ждите, — посоветовал Тристрам. — История — это колесо. И такой мир не может существовать вечно. Недалек тот день, когда мы вернемся к либерализму и пелагианству, к сексуальной инверсии и — поверьте! — к тому, через что прошли вы. Мы непременно повторим свой путь, потому что сейчас имеем вот это. — Тристрам повел рукой в направлении вспаханного поля, откуда доносилось негромкое сосредоточенное пыхтение. — Вследствие

биологической нацеленности всего этого, — объяснил он.

— Ну, а пока мне приходится бороться с такими людьми, как Хильярд, — печально проговорил «затейник», и его передернуло. — Которые называют меня каплуном.

Глава 5

Тристрам, будучи человеком еще молодым и не безобразным, был приветливо встречен дамами Шенстона. Он галантно извинялся перед ними, оправдываясь тем, что должен успеть в Личфилд до захода солнца. В дорогу его проводили поцелуями.

Личфилд взорвался перед ним, как бомба. Здесь в самом разгаре было что-то вроде карнавала, который отнюдь не знаменовал собой прощание с плотью, совсем нет! Тристрам пришел в замешательство при виде факельного шествия со знаменами и транспарантами, раскачивавшимися над головами людей. На транспарантах было написано: «Личфилдская Гильдия Плодовитости» и «Группа Любви Южного Стаффа».

Смешавшись с толпой на тротуаре, Тристрам наблюдал за шествием.

Впереди колонны маршировал оркестр, составленный из инструментов доэлектронной эпохи, в грохоте и взвизгиваниях которого можно было угадать ту же мелодию, что выводилась на флейте в поле под Хинкли, но теперь, благодаря этой меди, мелодия стала мясистой, кроваво-красной и уверенной. Толпа приветствовала оркестр криками. Следом за оркестром шли два клоуна, которые лупили друг друга и непрерывно падали. Они возглавляли группу комических персонажей в армейских ботинках, длинных кителях, но без штанов. Какая-то женщина за спиной у Тристрама завизжала: «И-и-и-и! Этел, вон наш Артур!» Кителя и фуражки для этой таращащей глаза, махающей руками, кричащей и шатающейся фаланги наверняка были украдены у Народной полиции (где-то она сейчас, где?). Высоко над головами ряженых торчала картонка с тщательно выведенной надписью: «ПОЛИЦИЯ СОВОКУПЛЕНИЙ». Бесштанные полицейские колотили друг друга тряпичными дубинками или дырявили ими воздух в каком-то бесстыдном фаллическом ритме.

— Этел, что значит это слово? — снова закричала женщина позади Тристрама. — Пока скажешь, язык сломаешь!

Маленький человечек в шляпе перевел ей коротким термином в духе Лоуренса.

— И-и-хи-хи-и! — завизжала женщина.

За «полицейскими» шли маленькие мальчики и девочки в зеленых костюмчиках, свеженькие и хорошенькие. К их пальчикам были привязаны разноцветные воздушные шары в форме сосисок.

— О-о-о-о! — простонала девица с увядшим ртом и жидкими прямыми волосами, стоявшая рядом с Тристрамом. — Они преле– естны, не правда ли?

Шарики в воздухе весело сталкивались друг с другом; это было что-то наподобие веселого бескровного боя подушками.

За детьми, прыгая и кривляясь, снова следовали шуты. Это были мужчины: одни в старинных пышных женских юбках, с огромными, разного размера грудями, другие в обтягивающих шутовских костюмах с гульфиками в форме мешочков. Они занимались тем, что ловили друг друга за ягодицы и, неуклюже пританцовывая, пародировали половой акт.

— И-и-хи-хи-и! — вопила женщина за спиной у Тристрама.

— Я сейчас помру от смеха, чес-слово!

Шум сменился восхищенным молчанием, за которым последовали искренние и громкие приветственные крики: показалась белая платформа, заваленная бумажными цветами. На высоком троне сидела миловидная девушка в голубом платье и венке из цветов — тоже бумажных — со скипетром в руке. Окруженная звездными феями, улыбающаяся и волнующе зрелая, это была она — королева личфилдского праздника.

— Да, она настоящая красотка, — проговорила одна из женщин. — Это дочка Джо Тредуэлла.

Платформу влекли за потрескивавшие веревки с вплетенными в них цветами молодые люди в белых рубашках и красных рейтузах, красивые и мускулистые. За платформой степенно шло духовенство. Священники несли хоругвь, на которой эрзац-шелком было вышито: «БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ». За духовенством маршировала местная армия с устрашающей величины знаменами. Надписи на них гласили: «Ребята генерала Хепгуда» и «Мы спасли Личфилд». Толпа во всю силу легких выкрикивала приветствия.

Шествие замыкала группа молоденьких, грациозно ступавших девушек (ни одной из них не было и пятнадцати), каждая из которых держалась за конец ленты, другим концом при-

крепленной к верхушке длинного толстого шеста, приапического символа, который вызвал особый восторг толпы. Несла его миловидная мать семейства в длинном одеянии — раскрывшаяся роза в окружении еще не распустившихся бутончиков первоцвета.

Процессия направилась к окраине города; зеваки, толкаясь и обмениваясь тумаками, бросились на проезжую часть дороги и последовали за шествием.

В невидимой голове колонны грохнул барабаном и взорвался медью оркестр, наигрывая веселую мелодию в размере шесть восьмых — о тутовых кустах, об орехах и цветах, о спелых яблоках — и расчищая шествию путь в опускающейся весенней ночи. Тристрам был захвачен толпой и шел вместе со всеми, не в силах сопротивляться («пусть яблоки зреют»), сквозь город — гнездо лебедя («а орешки почернеют»), а любой лексикограф («юбчонки вверх») знает, что Lich на среднеанглийском значит «труп» («штанишки вниз»). Как несоответственно сегодняшней ночи звучит название города: Личфилд — «Поле трупов». Мужчины и женщины, юноши и девушки, толкаясь, пихаясь локтями и смеясь, идут вслед за процессией; высоко поднятый деревянный фал-

лос, покачиваясь, белеет впереди, к нему сходятся красивые ленты; вот согбенный, но бодрый старик; женщина средних лет, полная нетерпения; вожделеющие юноши, застенчивые девушки, готовые на все, лица лунообразные, лица как топоры, утюги, цветы, яйца, тутовые ягоды; все носы мира: надменный итальянский, плоский восточный, курносый, с вывернутыми ноздрями, торчащий, как шпора, луковицей, горбатый, кривой, расплющенный; волосы золотистые, рыжие, прямые, как у эскимоса, вьющиеся, волнистые, редеющие, вылезающие, с тонзурами и проплешинами; щеки — теплые и рдеющие, как спелые яблоки, коричневые, как орехи, освещаемые вспышками огней и подогреваемые энтузиазмом, шелестящие юбки — все было устремлено вперед, туда, где сеют семя в борозды и в брюки.

Почти пустая продовольственная сумка Тристрама где-то потерялась, дубинка исчезла. Его руки были свободны для танцев и объятий.

На лугу городской окраины на скамьях расположился дудящий, гремящий, лязгающий и воющий оркестр. Приапический шест был воткнут в заранее выкопанную в центре лужайки яму. Ленты хлопали на ветру и обвивались вокруг мужчин, которые закапывали яму и утрамбовы-

вали землю у основания шеста. Местная армия, изящно выполнив команду «разойдись», составляла винтовки в пирамиды. Вспыхивали ракеты, и горели костры, пылали и шипели жаровни. «Личфилдские сосиски», — призывала вывеска. Тристрам влился в очередь голодных любителей сосисок, которые раздавали бесплатно скупыми порциями, насаженными на палочки, и вскоре уже жевал пересоленное мясо, приговаривая: «Горячё, ошинь горячё» и выдыхая облачка пара.

Танцы вокруг приапического шеста начали юноши и мнимые девственницы. По краям луга (эвфемизм для обозначения половины акра бурой земли с почти начисто вытоптанной травой) кружились и грубо флиртовали старшие. Разгоряченная темноволосая женщина лет тридцати с небольшим приблизилась к Тристраму и спросила: — Не хотите ли станцевать, паренек?

— С удовольствием, — ответил Тристрам.

— У вас такой печальный вид, словно вас зацепил чей-то коготок, — проговорила женщина. — Я права?

— Еще пара дней, еще чуточку везения, и я буду с ней, — признался Тристрам. — А пока…

Они закружились в танце. Оркестр снова и снова повторял свою разухабистую мелодию. Скоро

Тристрам и его партнерша свернули в поле. Туда многие сворачивали. Для этого времени года ночь была теплой.

В полночь, когда гуляки, тяжело дыша, устроились у костров, расстегнув пуговицы, фанфары возвестили о начале конкурса на звание мужчины — короля праздника Королева сидела на своей платформе поодаль; у ее ног растрепанные и раскрасневшиеся фрейлины, хихикая, поправляли юбки. Рядом с платформой за наспех сколоченным столом устроились судьи — городские старейшины, морщинистыми руками передававшие друг другу бутыль с алком.

Короткий список содержал имена пяти претендентов, которые должны были состязаться в физической силе и ловкости. Дезмонд Сивард согнул кочергу — скрежеща зубами и похрустывая костями, — и прошел на руках сорок ярдов. Джолибой Адаме сделал сальто несчетное количество раз и закончил выступление прыжком через костер. Джеральд Тойнби задержал дыхание на пять минут и станцевал вприсядку. Джимми Куэйр ходил на четвереньках животом кверху, а на животе у него стоял маленький мальчик в позе Эроса (как оказалось — его брат). Этот номер, вследствие своей новизны и притязаний на

эстетичность, сорвал много аплодисментов. Но корона досталась Мел-вину Джонсону (славная фамилия!), который, стоя на голове и балансируя задранными вверх ногами, прочел стих собственного сочинения. Было странно видеть перевернутый рот и слышать, как из него вылетают неперевернутые слова:

О королева красоты!

Когда б я мог Любовь ее завоевать, Я б сердце ей, Как медальон, Отдал — на шею надевать!

О королева красоты!

Когда б я мог Любовь ее завоевать, Я б каждый день Обильный ужин На стол велел ей Подавать!

О королева красоты!

Когда б я мог Любви зажечь ответный дар, Я б в золоченом галеоне Все бури жизни миновал!

Напрасно буквоеды ворчали, что в правилах соревнований ничего не говорится о способности претендентов к версификаторству, и вопрошали о том, как же, собственно говоря, соискатель продемонстрировал силу и ловкость?

— Он скоро продемонстрирует эти свои способности в необходимой мере! — со смехом выкрикнул кто-то из толпы. Единодушное положительное решение судей было встречено одобрительным ревом. Мелвин Джонсон был

увенчан короной из фольги и, под громкие приветственные крики, отнесен на крепких плечах мужчин к своей королеве, после чего королевская чета, сопровождаемая отроками и отроковицами, запевшими старинную свадебную песню, слов которой Тристрам не мог разобрать, рука об руку проследовали в поле, чтобы вкусить любви. На почтительном расстоянии за ними следовал простой люд. Вот имена тех, кто сеял под луной — один сеятель сверху, другой снизу: Чарли Аарон с Глэдис Вудворд, Дэн Эйбел с Моникой Вильсон, Говард Вильсон с Кларой Хоскинс-Эбрехелл, Фреди Эдлер с Дианой Гертрудой Уильямс, Билл Эйгар с Мэри Уэсткотт, Гарольд Олд с Луизой Вертхеймер, Джим Уикс с Пэм Азимов, Форд Уолвертон Эйвери с Люси Вивиан, Дэнис Бродрик с Дороти Ходж, Джон Халберстрам с Джесси Гринидж, Тристрам Фокс с Анн Онимкой, Рон Хейнлейн с Агнессой Гелбер, Шерман Фейлер с Маргарет Эванс, Джордж Фишер с Лили Росс, Элф Мелдрам с Джони Крамп, Элвис Фенвик с Брендой Фенвик, Джон Джеймс Де Ропп с Асмарой Джонс, Томми Элиот с Китти Элфик — и многие, многие другие. Когда скрылась луна и поднялся ветерок, они собрались у костров и как хорошо поработавшие люди проспали у потрескивавших красных углей

до рассвета.

Тристрам проснулся на заре от птичьего щебета. Он протер глаза. Где-то вдалеке кукушка пробовала на своей флейте басовую партию.

Показался священник с походным алтарем в сопровождении мальчика-служки, который, зевая, тащил крест. «Introibo ad altare Dei"[10]. «Славен Господь, одаривший веселием юность мою». Освящение жареного мяса (хлеб и вино, несомненно, скоро появятся снова), раздача евхаристического завтрака…

Умытый, но небритый Тристрам расцеловался на прощание со своими новыми друзьями и двинулся на северо-запад по дороге к Руджли. Прекрасное утро предвещало хорошую погоду на весь день.

Глава 6

«Дионисии» происходили в Сэндоне, Мифорде и на пересечении дорог близ Уитмора. В Нантвиче, кроме всего прочего, была устроена ярмарка. Тристрам с интересом заметил быстрое мелькание мелких денег в палатках аттракционов — в тире,

---

[10] notes: 10
"Припадите к алтарю Божию» (лат.)

у «тетки Салли», на силомере, в «закати-монетку-в– счастливую-клетку». Должно быть, люди работали и снова зарабатывали деньги! Пища продавалась (среди кебабов и сосисок он заметил насаженных на вертела маленьких птичек), а не раздавалась даром. Зазывалы уговаривали мужчин — любителей «клубнички» посмотреть на нечто сенсационное, скрываемое Лолой и Карменитой под семью покровами. Похоже было, что по крайней мере в одном городе бывший когда-то новостью вид обнаженной плоти начал приедаться.

Хотя и в зачаточной форме, возродилось искусство. «Интересно, — подумал Тристрам, — когда в Англии в последний раз кто-нибудь видел театральное представление „живьем“, на сцене?» На протяжении многих поколений люди лежали на спине в своих спальнях, уставившись глазами в голубой водянистый квадрат на потолке, и питались историями о хороших людях, не имеющих детей, и о плохих людях, детей имеющих; о влюбленных друг в друга гомосексуалистах; о подобных Оригену героях, кастрировавших себя ради всемирной стабильности.

Здесь, в Нантвиче, люди стояли в очереди у огромного балагана, чтобы посмотреть комедию

«Несчастный отец». Тристрам выгреб горстку мелочи и отсчитал полтора септа — цену входного билета: у него гудели ноги, нужно было где– нибудь отдохнуть.

Втискиваясь на общую скамью, он подумал, что вот так же, должно быть, смотрели и первую греческую комедию.

На скрипучем помосте, освещенном двумя невидимыми источниками света, стоял рассказчик, нацепивший огромный фальшивый фаллос, и, непристойно выражаясь, комментировал простую похабную историю: облысевший муж, совершенный импотент (импотенция символизировалась обвисшим гульфиком), имел ветреную жену, которую постоянно брюхатили похотливые любовники. Как следствие, дом был полон детей. Бедняга муж, изруганный, осмеянный и осыпанный колкостями, явно пребывал в состоянии аффекта, однажды сцепился на улице с двумя из тех, кто украшал его рогами, и был избит до потери сознания. Но чудо! Удар по голове оказал странное влияние на его нервную систему: пустой шланг наполнился и поднялся, муж уже был не импотент! Однако, коварно притворяясь, что остается таковым, он легко нашел пути в дома тех любовников своей жены, где имелись

женщины, и развратничал с ними в то время, когда хозяин дома находился на работе. (Шумное одобрение.) В конце концов жену он выгнал к черту, а дом свой превратил в сераль. Комедия кончалась фаллическим гимном и танцами. «Ну, скоро артисты оденутся козлами и представят первую неотрагедию, — подумал Тристрам, выходя на вечернюю улицу. — А через год-другой можно будет посмотреть и мистерию».

Рядом с одной из чадящих обжираловок маленький человечек бойко торговал какими-то обрезками бумаги, размером в четверть листа.

— «Эхо Нантвича»! Всего один таннер! — выкрикивал человечек.

Он был окружен людьми, которые, пораскрывав рты, стоя читали листок. Тристрам слегка дрожащей рукой отдал человечку одну из своих последних монет и так же украдкой, как и несколько дней назад, когда в первый раз попробовал мяса, забился со своим листочком в угол. Листок — газета — был почти такой же архаикой, как и комедия.

Обе стороны этого куска бумаги были испещрены расплывающимся шрифтом. Под заголовком — «Ннтвч эхо» — шла надпись: «Передано микроволновым передатчиком Мин. информ., принято

в 13 — 25. Г. Хотри, издатель». «Частное предпринимательство. Начало Гусфазы», — подумал Тристрам. Новости Тристрам глотал, не разжевывая: Его Величество поручил мистеру Окэму сформировать правительство, имена членов кабинета будут объявлены завтра. Чрезвычайное положение по всей стране, немедленное установление контроля из центра над местными нерегулярными военными формированиями, командирам региональных формирований немедленно прибыть в штабы провинций для получения инструкций согласно прилагаемому списку. Ожидается, что постоянно действующие службы связи и информации будут восстановлены в течение сорока восьми часов. Приказывается в течение двадцати четырех часов всем вернуться на свои рабочие места, отказавшихся ждут суровые наказания (какие — не уточнялось).

«Вернуться на работу?» Оторвавшись от газеты, Тристрам размышлял о прочитанном. Мужчины и женщины вокруг него читали, шевеля губами, или быстро просматривали лист, стоя с раскрытыми ртами, озадаченные и удивленные. Никто не кидал в воздух шляп и не кричал «ура» в ознаменование восстановления стабильности. «Вернуться на работу...» Официально Тристрам

еще, должно быть, считался безработным: заключение в тюрьму автоматически лишало его государственной службы.

Ему нужно добраться до Государственной фермы НВ-313 как можно быстрее. Конечно, ведь жена и дети прежде всего! («Какие дети? Ведь один умер».) Как бы то ни было, официально он не получал никакой информации. Он должен к вечеру добраться до Честера.

Тристрам купил себе на дорогу большой кусок колбасы за таннер и, жуя, отправился искать дорогу. Однообразный ритм шагов вызвал в памяти короткое стихотворение, написанное забытым поэтом:

Северный ветер — холодный покой, Южная буря — цветов ароматы.

Любит Пелагий полиции строй, Чтит Августин автоматы.

Глава 7

Капитан Лузли жадно слушал новости сквозь треск автомобильного микроволнового радиоприемника.

— Ага! — проговорил он с гадливым удовлетворением. — Это будет им урок, понимаете ли.

Теперь поприбавится уважения к закону и порядку!

Как грубо заявил ему в тюрьме Тристрам Фокс, капитан Лузли не знал историографии и понятия не имел о циклах.

Сидевший за рулем рядовой Оксенфорд кивнул без большой уверенности. Сам он был сыт по горло этой вонючей поездкой. Полицейский паек был скуден, и в животе у него урчало. Атомный движок нарполовского фургона несколько раз начинал барахлить, а Оксенфорд не был специалистом по атомным двигателям. Выезжая из Честера, он перепутал дорогу и радостно потрясся на запад (дело было ночью, и ориентироваться по звездам он тоже не умел), обнаружив ошибку только в Долгели: дорожные указатели были спилены на дрова. В Мэллвиде, на дороге к Уэлшпулу, их остановила толпа мужчин и женщин с певучими голосами и лицами заклинателей. Эти люди были очарованы близнецами Беатрисы-Джоанны («Как они прелестны!»), но надменное поведение сержанта Имиджа и пляшущее дуло его пистолета им не очень понравились.

— Бедный педик совсем рехнулся, — решили они, осторожно отбирая у него оружие.

— Прекрасно сварится! — одобрительно кивали

головами люди, раздевая сержанта и тыкая пальцами в его филейные части. С капитана Лузли и рядового Оксенфорда тоже сняли форму.

— Вполне подойдет для нашей армии, — объясняли они. — В аккурат то, что надо.

Видя, как эти двое ёжатся от холода в нижнем белье, кто-то сказал: — А жалко их. Ни у кого нет оберточной бумаги примотать им на грудь?

Никто не откликнулся.

— Мы с вами поступаем по-человечески из-за той женщины, что позади сидит, понятно? — объяснили полицейским на прощание. — Мы играем честно.

И люди отпустили их в Уэлшпул и даже помахали руками на прощание. Сержант Имидж, корчась в сильных лапах палачей, громко орал, обвиняя сослуживцев в предательстве.

Отобрав у полицейских форму, люди из Мэллвида, возможно, спасли им жизнь, но капитан Лузли был слишком глуп, чтобы это понять.

Что касается Беатрисы-Джоанны, то единственной ее заботой были дети. Она боялась этих городов и деревень с их кострами и лицами людей, жадно жующих мясо, лицами, которые при виде спящих близнецов расплывались в добродушных улыбках. Эти улыбки и слова казались

Беатрисе-Джоанне двусмысленными: воркованье того и гляди могло смениться чмоканьем губами. Какую бы судьбу ни готовили ей в столице официальные органы, не могли же там докатиться до технофагии

— детоедения? Беспокоясь о детях, Беатриса-Джоанна забыла о голоде, но недоедание сильно сказалось на количестве и качестве ее молока. Каждый раз, когда они проезжали какой– нибудь городок, ее невольно тянуло туда, где что-то жарилось и варилось, но каждый раз, когда мясистые руки давали сигнал остановиться, а любопытные глаза изучали парочку в нижнем белье и ее, с двумя детишками на руках, Беатрисе-Джоанне становилось плохо при мысли о том, что там жарится и варится. Но почему? Ощущение первично, и оно не было неприятным. Мысль — вот главный предатель, который всегда все портит.

— Похоже, что обстановка почти нормализовалась, понимаете ли, — проговорил капитан Лузли, когда они наконец выехали на дорогу к Брайтону. — Хотя… слишком много разбитых окон, и смотрите — этот покореженный металл на дороге, понимаете ли. Перевернутые автомобили. Варварство, варварство! Военное положение… Бедный сержант Имидж! Нам нужно было запи-

сать их фамилии, понимаете ли, фамилии тех, кто ответствен за это. Тогда бы их можно было всех наказать!

— Перестаньте нести околесицу, — заговорил рядовой Оксенфорд. — Вы так себя ведете, что, глядя на вас, мне иногда просто блевать хочется!

— Оксенфорд! — закричал потрясенный капитан Лузли. — Мне кажется, вы не совсем понимаете, что говорите! Если на нас нет формы, это не значит, понимаете ли, что можно забыть разницу, обусловленную… обусловленную…

— Да заткнитесь же вы! Все кончено. Неужели вы не понимаете, черт побери, что с нами все кончено?! И как только вы в начальство выбились, вот это меня просто поражает!

Они въехали в Хейвордзхит.

— Первое, что я сделаю, когда вернусь и раздобуду какую-нибудь одежду, так это вступлю в их чертову армию, — продолжал Оксенфорд. — Эта ваша система меня доконала, хотя ей и самой конец пришел.

Они выехали из Хейвордзхита.

— Этой нашей системе конец не пришел, понимаете ли, — проговорил капитан Лузли. — Всегда должна быть организация, которая могла бы держать народ в подчинении, то ли с помощью

силы, понимаете ли, то ли с помощью пропаганды. Я вас прощаю, Оксенфорд, — добавил он великодушно. — Судьба сержанта Имиджа, должно быть, расстроила вас, так же как, признаюсь, она расстроила меня, понимаете ли. Немного. Но постарайтесь, чтобы такого не случалось впредь. Помните, прошу вас, о разнице в наших званиях.

— Да заткнитесь вы! — снова огрызнулся Оксенфорд. — Я чертовски замерз, я чертовски голоден, и мне чертовски хочется остановить фургон и бросить вас к дьяволу, а самому пойти и присоединиться вон к той компании!

Он коротко кивнул головой в направлении группы людей, похожих на цыган, которые, расположившись вокруг костра на обочине дороги, что-то спокойно ели.

— Армия до них доберется, — спокойно проговорил капитан Лузли. — Не бойтесь, всех их переловят.

— А-а-а-пчхи! — неожиданно чихнул Оксенфорд. — А… а– а-а-пчхи! — чихнул он еще раз. — Черт бы побрал все, я насморк схватил, ну, прелесть какая! Чтоб глаза ваши лопнули, Лузли! А-а-р-р-чхи!

— Столичному Комиссару будет что сказать вам по этому поводу, понимаете ли, — пригрозил

капитан Лузли. — Нарушение субординации в чистом виде.

— А я-то думал, что целью данной операции было сделать так, чтобы Столичного Комиссара уволили, — саркастически заметил Оксенфорд. — Я думал, что в этом-то и вся соль.

— Вот тут и видно, что вы глупы, Оксенфорд. Это будет уже новый Столичный Комиссар, — проговорил капитан Лузли с видом превосходства. — Он будет знать, как справиться с нарушителями дисциплины.

— А-а-а… — вдохнул Оксенфорд и, чихнув, — пчхи! — чуть не въехал в фонарный столб. — Во всяком случае, это будете не вы, — грубо сказал он. — Не вы займете это вонючее кресло, уж это факт. И в любом случае завтра или послезавтра я буду уже в армии. Это жизнь для настоящего мужчины. Только успевай поворачиваться. Ну и черт с ним! Все лучше, чем гоняться за беззащитными женщинами и детьми, как мы сейчас.

— Я услышал вполне достаточно, понимаете ли, — надменно произнес капитан Лузли. — Это произведет очень сильное впечатление, Оксенфорд.

— А-а-а-пчхи!!! Чтоб тебя…

Вскоре они уже въезжали в Брайтон. Солнеч-

ные лучи весело играли на поверхности моря, на разноцветных платьях женщин, на скучных костюмах мужчин. Похоже было, что людей на улицах значительно поубавилось. Нельзя сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

Они въехали в квартал, состоявший из огромных правительственных зданий.

— Вот и прибыли, — с удовлетворением проговорил капитан Лузли. — Правьте прямо туда, где буквы «IN» стоят, Оксенфорд. Странно, что-то я не припомню, понимаете ли, чтобы, когда мы уезжали, здесь торчали какие-нибудь буквы…

Оксенфорд хрипло рассмеялся: — Вы, несчастный, глупец, болван проклятый! Неужели вы не видите, откуда взялись эти буквы? Неужели не видите, вы, дурак от рождения?!

Капитан Лузли вытаращил глаза на фасад здания.

— О! Этого не может быть! — воскликнул он.

Растянувшееся на всю огромную длину здания название Министерства изменилось: вместо слов «МИНИСТЕРСТВО БЕСПЛОДИЯ» на фасаде сияли слова «МИНИСТЕРСТВО ПЛОДОВИТОСТИ».

— Ха-ха-ха! — разразился хохотом Оксенфорд. — Ха-ха-ха! А-а-а-пчхи! А, чтоб тебя…

Глава 8

— И насколько возможно, — говорило изображение достопочтенного Джорджа Окема, Премьер-министра, на телевизионном экране, — обеспечить хороший уровень жизни при минимальном вмешательстве Государства.

У Премьера было лицо финансового воротилы: тяжелые челюсти, твердо сжатые, но чувственные губы, жесткий взгляд из-за стекол шестиугольных очков. Трансляция была плохая, и изображение часто пропадало, вместо него появлялись полосы, геометрические фигуры или узоры. Оно качалось и прыгало, гримасничало, раскалывалось на части, возносилось за пределы экрана и, будучи водворенным на него снова, начинало гоняться за самим собой. Но твердый, спокойный голос человека дела оставался ясным. Премьер говорил долго и — в истинно августинской манере — мало что сказал по существу. Он заявил, что, может статься, им придется пережить тяжелые времена, но благодаря духу трезвого британского компромисса, помогавшего преодолеть так много кризисов в прошлом, нация, несомненно, преодолеет трудности и

придет к счастливому будущему. Требовалось доверие, и мистер Окэм просил о доверии. Он верил в Британский Народ, так пусть же Народ доверится ему.

Изображение закивало само себе, экран телевизора потемнел и погас.

Тристрам тоже кивнул сам себе и принялся ковырять в зубах. Он сидел в благотворительном пункте питания, учрежденном «Ассоциацией Женской Плодовитости города Честера», что на северном берегу реки Ди. Слушая мистера Окэма, Тристрам только что съел хороший мясной обед, поданный румяными веселыми чеширскими девушками, работавшими в приятной, хотя и скромной обстановке, среди нарциссов в горшках. Цветы явно стремились дорасти до потолка. Много таких же, как Тристрам, мужчин, утолявших голод, сидело в столовой, но они, по большей части, выглядели провинциалами. Это были нежданно-негаданно выпущенные из тюрем заключенные, которые разыскивали семьи, эвакуированные во время голодных бунтов и первых зверств «обеденных клубов»; безработные, тащившиеся на вновь открытые фабрики; люди, выкинутые из своих квартир на первых этажах теми, кто был сильнее и безжалостнее их — и все

они были без денег.

(«Но где же женщины? Где-то ведь должны быть и женщины!») В кармане ни таннера. Деньги были проблемой. Днем Тристрам нашел действовавший банк, филиал Государственного банка номер три, где он хранил свои несколько гиней. После долгого перерыва филиал бойко работал. Тем не менее вежливый кассир объяснил Тристраму, что он должен обратиться за деньгами в отделение банка по месту жительства, хотя — тут Тристрам мрачно улыбнулся — если он хочет открыть у них счет, то филиал с удовольствием примет у него деньги.

Ох уж эти банки! Возможно, что те, кто не доверял им, были не такими уж дураками. Тристраму рассказывали, что один человек в Тарполи зашил в матрац три тысячи гиней бумажками, и пока банки были закрыты, ухитрился открыть универмаг. Мелкие капиталисты — крысы Пелфазы, но львы Августинианства

— полезли из всех щелей.

— Сердечно приглашаем вас к нам в восемь часов вечера,

— призывал женский голос из громкоговорителя. — Будет подан легкий ужин из жареного мяса. Партнеры для каждого.

Последние слова прозвучали зловеще. В репродукторе щелкнуло.

«Больше похоже на приказ, чем на приглашение. Танцы у костра на берегу реки, а не в поле. Может быть, они надеются, что в Ди скоро снова начнет играть лосось?» Два факта слегка удивили Тристрама этим ясным, но прохладным весенним утром: несговорчивость женщин и то, что за все, за любую мелочь, нужно было платить. Со вздохом он поднялся из– за стола; ему предстояла прогулка по улицам Честера. У выхода какая-то нетерпеливая женщина спросила Тристрама: — Вы ведь не забудете, нет? Ровно в восемь. Я буду ждать вас, вас, ненасытный молодой человек.

Женщина хихикнула. Это была толстуха, годившаяся скорее в тетки, чем в любовницы.

«Ненасытный»? Каким же это образом он показал себя ненасытным? Может быть, это слово было шутливым намеком, не имеющим отношения к пище? Тристрам изобразил комбинацию ухарской улыбки с хрюканьем и вышел вон.

Пахло ли в Честере во времена римского завоевания так же, как сейчас — солдатней? «ШТАБ-КВАРТИРА ЗАПАДНОЙ АРМИИ»,

— возвещала надпись на щите. Величественно. Сами звуки волнуют. Почти как при короле

Артуре. Но если во времена нашествия легионов Цезаря город, должно быть, провонял дыханием потных лошадей, то теперь он смердел бьющими из мотоциклов фельдъегерей синеватыми струями перегоревших выхлопных газов. Мотоциклисты-связные непрерывно прибывали с совершенно секретными письмами в опечатанных конвертах и уезжали — с такими же письмами, в перчатках и шлемах, лягая стартеры своих мотоциклов, которые с ревом и искрами мчались по щупальцам дорог, выползавшим из города-лагеря или лагеря– города. На столбах висели таинственные указатели: «НАЧАЛЬНИК АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ СЛУЖБЫ», «НАЧАЛЬНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ», «КАНЦЕЛЯРИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО КВАРТИРМЕЙСТЕРА». Грузовики освобождались от своего груза — неуклюже топочущих солдат в импровизированной форме; хозяйственный взвод, с метлами вместо винтовок, болтался в переулке; двое военных священников, смущаясь, учились отдавать честь. В продовольственный склад, охраняемый часовыми, затаскивали ящики с консервами.

По чьему лицемерному кивку головой осуществлялись эти поставки? С какими-то гражданскими лицами заключались контракты, и

никто не задавал вопросов. Солдаты называли это неизвестного происхождения мясо «булли», но такого животного не существовало в природе. Поддержание правопорядка уживалось с терпимостью к методичной работе этой бойни. Тристрам допускал, что военное положение было единственным выходом. Армия, будучи организацией, учрежденной прежде всего для совершения массовых убийств, никогда не была отягощена высокой нравственностью. Очистить дорожные артерии для транспорта, этой крови страны; наблюдать за водоснабжением поддерживать хорошее освещение на главных улицах (переулки и окраинные улочки должны сами о себе позаботиться) — вот задача, а рассуждать почему — не дело армии. «Я простой солдат, сэр, а не один из ваших болтливых политиков. Вот и оставим это грязное занятие им, сэр».

«Диск Ежедневных Новостей» снова функционировал. Тристрам услышал, как в гарнизонной офицерской столовой (полумрак, официанты в белых куртках, тихий звон столового серебра) бубнит металлический голос, и остановился. Сообщали о восстановлении культа Кетцалькоатля в Мексике, о праздниках любви и человеческих жертвоприношениях в Чихуахуа, Моктесуме,

Чилпансинго. На всем протяжении длинной и узкой полосы Чили ели мясо и заготавливали солонину. Шло энергичное производство консервов в Уругвае. Свободная любовь в штате Юта. Бунты в зоне Панамского канала: свободнолюбящие и свободнопитающиеся люди не желают подчиняться вновь образованной милиции. В провинции Суйюань, в северном Китае, местный магнат с ярко выраженной хромотой был принесен в жертву с приличествующей случаю торжественностью. В Ост-Индии налепили шарики «рисовых младенцев» и утопили на залитых водой полях. Есть хорошие новости об урожае зерновых в Квинсленде.

Тристрам двинулся дальше. На глаза ему то и дело попадались свободные от службы солдаты, со смехом обнимавшие местных девушек. Он услышал, как настраивает инструменты оркестр, готовясь к танцам. Китайские фонарики нежно освещали набухшие почки деревьев на берегу реки. Тристрам, с томностью человека, переваривающего мясо, принялся направо и налево заигрывать с женщинами. Таков теперь был этот мир, молча соглашавшийся со всем: с интимными словами и с проповедью, с хрустом пережевываемых жил и скрипом колеса военной

машины.

Жизнь…

«Нет, к черту все, нет!»

Тристрам взял себя в руки.Теперь он был на последнем этапе своего путешествия. В случае удачи, если его подвезут, он даже может добраться до Престона к утру. Он и так уже достаточно долго находится в дороге, он должен стремиться к единственной паре любимых рук, к томлению, освященному любовью и интимной темнотой, и бежать прочь от костров и праздников распутства.

Тристрам бодро дошел до шоссе, ведущего на север, и, поднимая руку с оттопыренным пальцем, занял позицию под столбом, стрелка которого указывала в направлении Уоррингтона. Возможно, он не выказал должной благодарности дуэньям из «Ассоциации Женской Плодовитости города Честера», но это его не беспокоило. Тем более что плодовитость должна быть даром Духа Святого, предназначенным женатым людям. Слишком много блуда кругом.

После того как он раз шесть или семь безуспешно просигналил поднятой рукой и совсем уж собирался идти пешком, около него, заскрежетав тормозами, остановился армейский грузовик.

— В Уиган еду, вот с этим барахлом, — проговорил водитель-солдат, энергично мотнув головой в направлении кузова.

У Тристрама заколотилось сердце: Престон находится в двадцати милях от Уигана. А в трех милях от Престона, на дороге в Блэкпул, находится Государственная ферма НВ-313.

Рассыпаясь в благодарностях, Тристрам полез в кабину.

— Так вот, — начал разговор водитель, ухватившись за баранку в самом широком месте, — то, что сейчас творится, не может продолжаться долго, я так понимаю, мистер.

— Не может, — с готовностью согласился Тристрам.

— А тогда скажите мне, мистер, — продолжал водитель,

–

кто будет главный, как вы думаете? — и громко втянул в себя воздух через натуральный передний зуб. Он был полнеющий моложавый человек в засаленной фуражке.

— Как? — переспросил Тристрам. — Боюсь, что я не… Боюсь, что я думал о чем-то другом.

— «Боюсь», — с удовлетворением произнес водитель. — В этом-то все и дело, не так ли? Это

как раз то слово. Скоро много чего нужно будет бояться, и вам тоже, осмелюсь сказать. Здравый смысл подсказывает — быть войне. Не потому,

что кому-то хочется воевать, конечно, нет, а потому, что существует армия. Армия там, армия сям — везде всё какие-то армии. Армии существуют для войн, а войны — для армий. Об этом ведь говорит простой здравый смысл.

— С войнами покончено, — возразил Тристрам. — Войны вне закона. Никаких войн не было в течение многих и многих лет.

— Тем больше причин для войны, если у нас ее столько лет не было, — упрямо твердил водитель.

— Но ведь вы понятия не имеете, что такое война! — воскликнул взволнованный Тристрам. — Я читал в книгах о старинных войнах. Они были ужасны, да, ужасны! Отравляющие газы превращали кровь в воду, бактерии убивали потомство целых народов, бомбы уничтожали огромные города в доли секунды! Со всем этим покончено. Должно быть покончено! Мы не можем допустить, чтобы все повторилось. Я видел фотографии. — Он поежился. — И фильмы тоже. Те старые войны были страшными бедствиями. Насилия, грабежи, пытки, поджоги, сифилис…

Немыслимо. Нет, нет, никогда! Не говорите подобных вещей!

Водитель осторожно крутил рулевое колесо, плечи его дергались, как у плохого танцора, пытающегося танцевать джигу. Громко втянув воздух через зуб, солдат сказал: — Я не такую войну имел в виду, мистер. Я подразумевал, ну, понимаете, — сражение. Армии... Когда одна куча народу дерется с другой кучей народу, если вам понятно, что я хочу сказать. Ну, когда одна армия стоит лицом к лицу с другой армией, как, так сказать, две команды. И потом одна команда стреляет в другую команду, и так они пуляют друг в друга до тех пор, пока кто-то не дунет в свисток и не скажет: «Вот эта команда выиграла, а эта проиграла». Потом им раздают отпуска и медали, а шлюхи, выстроившись в шеренгу, ждут на платформе. Я такую войну имею в виду, мистер.

— Но кто с кем будет воевать? — спросил Тристрам.

— Ну, надо будет рассортировать кто с кем, так ведь? Всякие такие приготовления должны быть сделаны, правильно? Но мои слова попомните: быть войне.

Когда они въехали на горбатый мостик, груз в кузове весело затанцевал и зазвенел.

— «Пал смертью героя…» — неожиданно проговорил солдат с каким-то удовлетворением.

Батальон консервных банок в кузове одобрительно брякал.

Бряканье было похоже на перезвон медалей на огромной груди.

Глава 9

На фургоне военной полиции Тристрам добрался от Уигана до Стендиша. По дороге от Стендиша и далее никакой транспорт уже не ходил.

Светила полная луна, Тристрам шел медленно, ступая с трудом. Неприятности доставляла левая нога: толстая мозоль на ступне и аккуратная дыра на подошве. Тем не менее он храбро ковылял по дороге, хотя и не без тайного волнения, которое трусило впереди него, высунув язык; спутником его была ночь, ковылявшая рядом с ним по направлению к утру.

В Лейланде его ноги запросили отдыха, но им возразило сердце, которое рвалось вперед. К рассвету нужно быть в Престоне, там — короткая передышка, может быть благотворительный завтрак, и — вперед, к цели, три мили на запад.

Утро и город появились незаметно. «Что это

за звон?» Тристрам нахмурился и мизинцами пошуровал в ушах, заставив серу оглушительно загрохотать. Непроизвольно он понюхал измазанный серой кончик пальца (единственный приятный запах из всех телесных выделений) и прислушался: звук доносился из внешнего мира, в голове у него ничего не звенело. Звон слышался из города. «Колоколами приветствуют вход в город пилигрима? Чушь!» Да к тому же это были никакие не колокола, а электронная имитация колокольного звона, медленными волнами выталкиваемая из вздрагивающих репродукторов, сыпались металлические брызги гармоник и сводящий с ума серебряный звон.

Движимый теперь также и любопытством, Тристрам приближался к городу. Он вошел в Престон, когда уже совсем рассвело, и растворился в толпе и торжествующем колокольном

звоне. «Что это такое? Что здесь происходит?» — крича, спрашивал рн незнакомых людей, которые его окружали. Глухие, немые, захваченные сумасшедшими звуками бьющего по ушам металлического звона, они только смеялись в ответ. Казалось, что какой-то вибрирующий бронзовый колпак, чудесным образом пропускающий всё больше света, был опущен над городом, напол-

няя его серебряным звоном. Людские потоки двигались по направлению к источнику этого сумасшедшего ангельского грохота, Тристрам шел со всеми. Это было подобно проникновению в самую суть шума, шума как единственной конечной реальности.

Впереди возникло серое здание без всяких надписей, которые могли бы пояснить его предназначение, — шедевр провинциальной архитектуры, не более десяти этажей в высоту. С крыши здания свешивались громкоговорители. Подталкиваемый со всех сторон, Тристрам вошел в здание с ярко освещенной улицы и невольно открыл рот: он находился внутри огромного пустого куба. Никогда в жизни он не видел такого огромного помещения. Его нельзя было назвать ни комнатой, ни залом, ни местом для собраний, ни местом для ассамблей… Нужно было специальное слово, и Тристрам пытался найти его. Интерьер тоже был импровизированным: ячейки старого здания — квартиры и конторы — были вырублены, стены снесены (об этом свидетельствовали неровные поверхности кирпичных опор), потолочные перекрытия этажей были разобраны и удалены. Высота помещения поражала глаз.

Тристрам понял, что сооружение на помосте в дальнем конце помещения — это алтарь. Он увидел ряды грубых скамей и людей, которые сидели и чего-то ждали или просто стояли на коленях и молились. Термины, соответствующие случаю, — «церковь», «паства» — начали со скрипом выползать из его книжной памяти так же, как это случилось со словами «взвод», «батальон» несколько ранее в ситуации, которая почему-то показалась ему схожей.

— Эй, парень, не стой на дороге, — раздался за спиной веселый голос.

Тристрам сел на… на… Как же это называется? На церковную скамью.

Священники — их было много — вошли плотной группой, держа толстые длинные свечи, в сопровождении взвода, нет, отделения мальчиков-служек. «Introibo ad altare Dei» — «Припадите к алтарю Божию».

Смешанный хор, целым ярусом выше, на галерее в задней части здания, откликнулся песнопением «Ad Deum Qui laetificat juventutem meam"[11].

Сегодня был, видимо, какой-то особый день,

---

[11] notes: 11
"Господу, дарующему радость юности — моей» (лат.)

поэтому служба напоминала игру в шахматы резными фигурами из слоновой кости, а не уродцами, слепленными из тюремного мыла. «Аллилуйя» — это слово непрерывно врывалось в ход литургии. Тристрам терпеливо ждал освящения даров, этого «евхаристического завтрака», но благодарственная молитва перед едой сильно затянулась.

Плотный, как буйвол, священник с толстыми губами повернулся от алтаря лицом к верующим и принялся крестить воздух, стоя на краю возвышения.

— Братия! — заговорил он.

(Речь? Обращение? Поучение? Проповедь!) — Сегодня день Пасхи. Сегодня утром мы празднуем воскресение и восстание из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Он был распят за проповедь царства Божия и братства людей. Мертвое тело Его было стянуто с креста и втоптано в землю, как сорняк или угли костра. И все же на третий день Он восстал и был в одеянии прекрасном, как солнце и луна и все звезды тверди небесной. Он воскрес, чтобы свидетельствовать перед всем миром, что смерти нет, что смерть — только видимость, а не реальность, что эти воображаемые силы смерти суть лишь тени, а их повсеместное

существование есть не более чем существование теней. — Священник тихо рыгнул — так на нем сказывался пост.

— Он воскрес, чтобы возвестить жизнь вечную. Не жизнь привидения с белыми губами в какой-нибудь мрачной ноосфере.. . («Ой!» — пискнула какая-то женщина за спиной Тристрама.).. . но жизнь всеобщую и единую, в которой планеты кружатся вместе с амебами, огромные неизвестные микробы с микробами, которые кишат в наших телах и телах животных, собратьев наших. Вся плоть едина. Хлебные зерна, трава, ячмень — тоже есть плоть. Он есть знак, вечный символ, постоянно возрождающаяся плоть. Он — это человек, зверь, зерно, Бог. Его кровь становится нашей кровью благодаря акту освежения нашей вялотекущей теплой красной жидкости и циркулирует по пульсирующим кровеносным сосудам. Его кровь — это не только кровь человека, зверя, птицы, рыбы; она также есть дождь, река, море. Это есть извергаемое в экстазе семя мужчин, и это есть обильно струящееся молоко матерей человеческих. В Нем мы едины со всем сущим, и Он — един со всем, что нас окружает, и с нами, людьми.

Сегодня в Англии, сегодня повсюду в странах

англоговорящего союза мы радостно празднуем, трубя в трубы и псалтерионы, с громкими криками «аллилуйя!», воскрешение Князя Жизни. Сегодня же в далеких землях, которые в бесплодном прошлом отвергали тело и кровь Подателя Жизни Вечной, это Его восстание из гроба приветствуется с радостью, подобной нашей, хотя и в других образах и под другими именами, имеющими диковинное значение и языческое звучание.

Выслушав последнюю фразу, мужчина, стоявший справа от Тристрама, сдвинул брови.

— Потому что хотя мы и называем Его Иисусом и истинным Христом, тем не менее Он — вне имен, Он выше их, поэтому восставший Христос услышит, как с радостью и верой его называют Таммузом, или Адонисом, или Аттисом, или Бальдуром, или Гайаватой, — для Него все едино, все имена — одно имя, все слова — одно слово, и все жизни — одна жизнь.

Священник замолк на некоторое время; среди паствы послышались отрывистые звуки «весеннего» кашля. Вдруг, с несообразностью, свойственной религиозному поучению, священник заорал во всю мочь: — Следовательно — не бойтесь! И в смерти мы живы!

— А-а-а-а! Это ложь и бессмыслица! — раздался

крик из задних рядов. — Вы не можете вернуть к жизни мертвого, будьте вы прокляты со всеми вашими красивыми речами!

Благодарно завертелись головы; сзади началась драка, замелькали кулаки. Тристрам плохо видел, что происходит.

— Я полагаю, — невозмутимо заговорил проповедник, — что будет лучше, если тот, кто прервал меня, уйдет. Если он не уйдет добровольно, то, возможно, ему помогут выйти.

— Это абсурд! Это блудливое поклонение фальшивым богам, да простит Господь ваши черные души!

Теперь Тристрам видел того, кто кричал. Он узнал это лунообразное лицо, красное от праведного гнева.

— Мои собственные дети были принесены в жертву на алтаре того самого Ваала, которого вы почитаете за истинного Бога! — вопило это лицо. — Да простит вас Господь!

Тяжело дышащие мужчины волокли к выходу большое сопротивляющееся им тело в фермерском комбинезоне; оно покидало присутствие как и следует — спиной вперед и с больно заломленными назад руками.

— Бог простит вашу шайку, но я — никогда!

— Извините… — бормотал Тристрам, пробираясь вдоль церковной скамьи.

Кто-то попытался зажать рот ладонью уволакиваемому свояку Тристрама.

— Боф! Боф ваф накажеф! Буффе вы пуоклякы! — раздавались придушенные протестующие крики.

Шонни и его запыхавшийся эскорт были уже в дверях. Тристрам быстро прошел боковым приделом.

— Продолжим, — сказал священник и продолжил проповедь.

Глава 10

— Значит, они ее просто забрали, — полным безысходности голосом произнес Тристрам.

— … а потом мы все ждали, и ждали, и ждали, — тупо повторял Шонни, — но они не вернулись домой. А потом, на следующий день, мы узнали, что произошло… О Боже, Боже!

Он сделал из своих ладоней большое красное блюдо и, рыдая, шлепнул на него голову, как пудинг.

— Да-да, ужасно, — обронил Тристрам. — Они не сказали, куда они ее повезли? Они не говори-

ли, что возвращаются в Лондон?

— Я сам виноват! — пробурчала спрятанная в ладонях голова Шонни. — Я доверился Богу. И все эти годы я верил в плохого Бога. Никакой хороший Бог не мог допустить того, что случилось, да простит его Бог!

— Все впустую, — вздохнул Тристрам. — И все это «турне» понапрасну.

Его рука, сжимавшая бокал, дрожала. Тристрам и Шонни сидели в маленькой распивочной, торговавшей водой, слегка разбавленной алком.

— Мейвис вела себя замечательно, — проговорил Шонни, поднимая голову. По лицу его текли слезы. — Мейвис приняла это как святая. Или как ангел… Но я никогда не стану таким, каким был раньше. Я пытался уговорить себя, что Бог, мол, знает, почему это произошло, что на все есть промысел Божий. Я даже пошел в церковь сегодня утром, готовый уподобиться Иову и славить Господа в своих несчастиях. И вдруг я прозрел. Я увидел истину в жирном лице этого священника, я понял ее, слушая его жирный голос: фальшивый бог властвует всеми ими!

Шонни тяжело вздохнул, издав странный клекочущий звук, похожий на звук перекатываемой морем гальки. Другие немногочисленные посе-

тители — мужчины в поношенной одежде, не принимавшие участия в праздновании Пасхи, — подняли глаза от стаканов.

— У вас могут быть еще дети, — проговорил Тристрам. — У вас еще есть ваша жена, ваш дом, ваша работа, ваше здоровье. .. А что делать мне? Куда могу пойти я, к кому прилепиться?

Шонни зло уставился на Тристрама. Вокруг губ у него засохла пена, а подбородок был плохо выбрит.

— Не нужно меня поучать! — враждебно огрызнулся Шонни.

— У вас остались ваши дети, которых я охранял все эти месяцы, рискуя жизнями всех моих близких. А вы, с вашими незаконно появившимися на свет близнецами…

— Близнецами?! — Тристрам широко раскрыл глаза. — Близнецами, так вы сказали?!

— Вот этими самыми руками, — патетически произнес Шонни и продемонстрировал всем свои огромные скрюченные руки, — я произвел их на свет! А теперь я говорю: лучше бы я этого не делал. Лучше бы они родились сами собой, как маленькие дикие животные. Лучше бы я задушил их и отдал вашему фальшивому ненасытному «богу», с губ которого капает кровь и который

довольно ковыряет в зубах после своей любимой анафемской еды

— маленьких детей! Тогда, может быть, он оставил бы в покое моих. Тогда, может быть, он бы позволил им вернуться домой невредимыми, как обычно, и оставил бы их жить. Жить! — закричал он. — Жить! Жить! Жить!

— Я сожалею, — сочувственно произнес Тристрам. — Поймите, мне очень жаль…

Он помолчал.

— Близнецы! — удивленно проговорил Тристрам и потом жадно спросил: — Куда они поехали, что они сказали об этом? Говорили они, что возвращаются к моему брату, в Лондон?

— Да, да, да, думаю, что так оно и было. Мне кажется, они говорили что-то в этом роде. Все равно это не имеет значения. Ничто теперь не имеет значения…

Шонни без всякого удовольствия потянул из стакана.

— Весь мой мир разбился вдребезги. Мне придется строить его заново и искать Бога, в которого я смог бы верить.

— Ах, да не жалейте вы так себя! — с неожиданным раздражением воскликнул Тристрам. — Именно такие люди, как вы, создали мир, в

который, как вы говорите, вы больше не верите. Мы все были в достаточной безопасности, живя в старом, либеральном обществе.

Тристрам говорил о том, что существовало менее года назад.

— Голодные — но в безопасности! Убивая либеральное общество, вы создаете вакуум, в который устремляется Бог, а потом вы даете волю убийству, прелюбодеянию и каннибализму. И вы верите, что человек обладает правом грешить вечно, потому что таким образом вы оправдываете свою веру в Иисуса Христа!

Когда Тристрам говорил это, сердце у него вдруг упало: он понял, что, какое бы правительство теперь ни было у власти, он всегда будет против него.

— Это неправильно, — возразил Шонни с неожиданной рассудительностью. — Всё не так. Есть два Бога, понимаете. Они перепутались, и нам трудно отыскать настоящего. Ну, как у этих близнецов, Дерека и Тристрама, как она их назвала, — она их путает, когда они голые. Но лучше уж так, чем не иметь никакого Бога.

— Так на что же вы жалуетесь, черт побери! — заорал Тристрам. («И тут она успела, как всегда! Женщины всегда найдут лучший выход».) — Я не

жалуюсь, — проговорил Шонни с обезоруживающей кротостью. — Я хочу верить в настоящего Бога. Он отомстит за моих несчастных мертвых детей!

Он снова закрыл лицо своими огромными грязными ладонями, его опять душили рыдания.

— А вы можете и дальше верить в своего Бога, в вашего гнусного Бога!

— Я вообще ни в какого Бога не верю, — вырвалось у Тристрама. — Я либерал.

Потрясенный тем, что сказал, он спохватился: — Я, конечно, совсем не то хотел сказать. Я хотел сказать, что…

— Оставьте меня в моем несчастии! — закричал Шонни. — Уходите, оставьте меня одного!

Ошарашенный Тристрам пробормотал: — Я ухожу. Пойду лучше обратно. Говорят, уже ходят поезда. Говорят, Государственные авиалинии снова работают… Так, значит, она назвала их Тристрамом и Дереком? Это она очень умно поступила.

— У вас двое детей, — проговорил Шонни, отнимая ладони от наполненных слезами глаз. — А у меня ни одного. Давайте, идите к ним!

— Дело в том… Дело в том, что у меня нет денег, — смущенно признался Тристрам. — Ни

одного таннера. Вот если бы вы могли дать мне взаймы, скажем, пять гиней… или двадцать крон, или что-нибудь около того…

— От меня вы не получите денег.

— Взаймы, только и всего. Я верну, как только получу работу. Вам не придется долго ждать. Я обещаю.

— Не дам ничего, — ответил Шонни, скривив рот, как ребенок. — Я для вас сделал достаточно, разве не так? Разве я сделал недостаточно?!

— Ну… Я не знаю, — пробормотал озадаченный Тристрам.

— Думаю, что так оно и было, раз вы говорите. Я вам благодарен. Но вы же понимаете, конечно, что я должен вернуться в Лондон, а это уже слишком, конечно, заставлять меня возвращаться таким же образом, как я пришел: пешком и пресмыкаясь перед водителями. Видите, что у меня с левой подметкой?! Я хочу быстрее добраться до Лондона. — Тристрам пристукнул по столу кулаками. — Я хочу быть с моей женой! Это вы можете понять?!

— Всю свою жизнь я отдавал, отдавал и отдавал, — угрюмо проговорил Шонни. — Люди садились мне на шею. Люди брали у меня, а потом смеялись за моей спиной. Я слишком много отда-

вал на своем веку — и времени, и труда, и денег, и любви… А что я получил взамен? О Боже, Боже!

Слезы душили его.

— Ну подумайте, — канючил Тристрам, — я ведь просто взаймы прошу. Скажем, две или три кроны. В конце концов, я же вам свояк!

— Вы для меня никто. Вы просто муж сестры моей жены, вот и все. И еще вы оказались чертовски плохим человеком, да простит вас Бог.

— Послушайте, мне эти ваши рассуждения не нравятся. Вы не имеете права так говорить!

Шонни сложил руки перед собой, словно ученик по приказу учителя, и крепко сжал губы. Потом он сказал: — От меня вы ничего не получите. Поищите денег в другом месте. Я никогда не любил вас и людей такого сорта, как вы… И вас, и этот безбожный либерализм! К тому же этот обман — тайком заводить детей. Ей вообще не нужно было выходить за вас замуж. Я это всегда говорил, и Мейвис то же самое говорила. Уходите, скройтесь с глаз моих!

— Вы жадный ублюдок! — выругался Тристрам.

— Я есть то, что я есть, — ответил Шонни. — Как и Бог есть то, что Он есть. Вы не получите от меня помощи.

— Вы гнусный лицемер, — как-то даже весело проговорил Тристрам. — С этим вашим фарисейством — «Да поможет нам Бог», «Да будет славен Господь на небесах...». Высокопарные религиозные фразы, черт бы вас побрал, и ни крупицы подлинной религиозности!

— Уходите! — приказал Шонни. — Уходите по-хорошему. — Плешивый официант у стойки бара нервно грыз ногти. — Я не хочу выкидывать вас силой.

— Можно подумать, что вы хозяин этой паршивой забегаловки, — огрызнулся Тристрам. — Надеюсь, вам еще аукнется этот день. Надеюсь, что вам еще вспомнится, как вы отказали в помощи тогда, когда она была позарез нужна!

— Уходите, уходите! Идите, ищите ваших сыновей!

— Я ухожу.

Тристрам встал, замаскировав ярость улыбкой.

— Так или иначе, вам придется заплатить за алк, — злорадно проговорил Тристрам. — И это только одно из того, за что вам придется платить.

Он, словно школьник, издал неприличный звук и, разъяренный, вышел на улицу. Мгновение он колебался, стоя на тротуаре, потом решил пойти

направо. Медленно проходя мимо загаженного окна распивочной, Тристрам бросил последний взгляд на беднягу Шонни, который, закрыв похожее на пудинг лицо своими огромными ладонями, сотрясался от рыданий.

Глава 11

Голодный Тристрам, в котором еще кипела ярость, тащился пешком по залитым солнцем праздновавшего Пасху Престона.

Что ж ему теперь, встать на краю сточной канавы, протянуть руку и петь Лазаря? Изможденный, заросший бородой, со свалявшимися волосами, он был достаточно грязен и оборван, чтобы сойти за нищего, он это знал. Кем-то из древней истории или мифа стал тот не слишком несчастливый преподаватель Общественных Наук, который меньше года назад, ухоженный, чистый, красноречивый, приходил с работы домой и ел синтелаковый пудинг, приготовленный красивой женой, а на стене что-то успокаивающе бормотал, вращаясь на своей ножке, черный диск новостей… А и верно, жизнь была не так уж плоха: еды сколько полагается, стабильность, денег достаточно, стереоскопический телевизор

на потолке спальни.. .

Тристрам коротко всхлипнул без слез.

Неподалеку от автобусного вокзала, где красные автобусы заполнялись пассажирами, едущими в Бамбербридж и Чорли, ноздри Тристрама уловили принесенный ветром аппетитный запах тушеного мяса. Это был суровый аромат металла и животного жира, сдобренный специями. У Тристрама стала обильно выделяться слюна, и ему все время приходилось сглатывать ее, пока он шел туда, куда его вел нос. В переулке запах просто захлестнул его, радуя душу, как грубая комедия-фарс, и он

увидел мужчин и женщин, стоявших в очереди перед заведением с двумя большими окнами. Окна были покрыты разводами известкового раствора и напоминали любительские копии портрета Джеймса Джойса работы Бранкузи. На жестяной вывеске, укрепленной над дверью, белым по красному было выведено: «Коммунальный Центр питания Северо-западного района. Министерство обороны».

Боже, благослови армию!

Тристрам присоединился к очереди таких же, как он, бродяг с грязными волосами, в помятой со сна одежде и бессмысленными от отчаяния

глазами. Один бродяга (несчастный человек, все время стоявший согнувшись, словно его ударили в живот) монотонно жаловался на несварение желудка. Очень худая женщина с грязными серыми волосами держалась очень прямо, с патетическим достоинством, показывая, что она выше этих людей, выше попрошайничества, которым занялась исключительно по рассеянности. Совсем молодой человек с отчаянной силой втянул воздух беззубым ртом.

Неожиданно Тристрама подтолкнул локтем веселый оборванец, от которого сильно пахло псиной.

— Ну, чё слыхать? — спросил он. Мотнув головой в ту сторону, откуда доносился жирный запах тушеного мяса, оборванец сказал: — Скоро дадут нам похрюкать!

Никто не улыбнулся. Молодая расплывшаяся женщина с волосами, похожими на расчесанную шерсть, проговорила, обращаясь к скрюченному и опустившемуся азиату: — Таких, как он, убивать надо. Видеть его не могу.

Жалкие бродяги.

Рыжий человек в форме, но без головного убора, подбоченившись и вывернув локти вперед, чтобы лучше были видны три его нашивки,

появился в дверях. Сочувственно оглядев очередь, он пробормотал: «Сор земли. Отбросы рода человеческого», — после чего скомандовал: — Внимание! Сейчас буду впускать! Не толкаться и не пихаться! Ни одна душа без пайки не останется, если в ком душа еще держится. Ну… Заходи!!

Пихаясь и отталкивая друг друга, люди ринулись в столовую. Внутри, слева от входа, с черпаками над дымящимися бачками с рагу стояли трое в «белых» поварских куртках. Справа рядовой солдатик в слишком большой для него форме гремел тускло поблескивавшими мисками и ложками. Самые голодные из очереди кричали друг на друга и истекали слюной, дожидаясь, когда им наполнят миски. Потом, прикрывая их грязными ладонями, словно крышками, они пробирались, шатаясь, к стоящим рядами столам.

Тристрам ел накануне, но утренний гнев разбудил в нем волчий аппетит. Комната, в которой он находился, была побелена известкой и имела грубо функциональное назначение: она была полна чавканья, плеска и замечательно громкого стука ложек. Тристрам, доведенный до бешенства запахом рагу, проглотил его за несколько секунд. Человек рядом с ним вылизывал свою пустую миску языком. Кто-то проглотил свою порцию

с такой жадностью, что теперь его тошнило на пол.

— Пропало добро, бездарно пропало, черт бы его побрал!

— громко жалел кто-то рядом.

Похоже, добавок здесь не полагалось. Возможности выскользнуть на улицу и снова встать в очередь тоже не было: подбоченившийся сержант зорко наблюдал за дверью. Более того, фактически из столовой нельзя было выйти вовсе!

Дверь, расположенная по диагонали от входа в противоположной стене, открылась, и в столовую вошел мужчина, недавно вступивший в возраст «средних лет», в форме. Он был в фуражке, чисто выбрит, наглажен, начищен, упакован в портупею с кобурой и имел три капитанских звезды. Его казенные очки в стальной оправе благосклонно поблескивали. За спиной капитана стоял плотный человек с двумя нашивками и держал под мышкой планшетку. Тристрам с удивлением и надеждой заметил, что, кроме звезд, у капитана еще было кое-что: в руке он нес серый инкассаторский мешок, в котором что-то тихонько позвякивало.

«Деньги? Боже, храни армию! И ныне, и присно, и во веки веков!» Капитан петлял между столами,

рассматривая и оценивая посетителей, капрал следовал за ним по пятам. У стола, за которым сидел Тристрам, капитан остановился.

— Вы, — сказал он чавкающему старику, заросшему диким волосом, — можете обойтись тошроном.

У капитана был акцент образованного человека. Он засунул руку в мешок и полупрезрительно бросил на стол блестящую монету. Старик сделал старинный жест, прикоснувшись кончиками пальцев к виску.

— А вы, — обратился капитан к молодому голодному человеку, который, по иронии судьбы, был очень толст, — вы, вероятно, можете получить заем. Это деньги Правительства, без процентов, выплачивать можно в течение шести месяцев. Ну, скажем, две гинеи устроят?

Капрал подсунул парню планшетку и сказал: «Распишитесь здесь». Молодой человек, страшно смущаясь, признался, что не умеет писать.

— Тогда поставьте крестик, — выручил его капрал. — И выходите. Вон в ту дверь.

Капрал подтолкнул его локтем к двери, через которую вошли они с капитаном.

— Ага! — проговорил капитан, поворачиваясь к Тристраму.

— Расскажите-ка мне о себе.

Лицо капитана было замечательно гладким; можно было подумать, что армия располагает неким секретным средством для разглаживания лиц; запах, исходивший от капитана, был необычайно пикантным. Тристрам рассказал о себе.

— Ах, школьный учитель? Что ж, вам не о чем беспокоиться. О какой сумме мы можем говорить? Четыре гинеи? Полагаю, что мне удастся уговорить вас остановиться на трех.

Капитан вытащил из мешка хрустящие бумажки. Капрал держал свою планшетку наперевес и, казалось, был готов воткнуть авторучку Тристраму в глаз.

— Распишитесь здесь, — сказал он. Тристрам расписался дрожащей рукой, в которой были одновременно зажаты и перо, и деньги.

— А теперь выходите через ту дверь, — подтолкнул его локтем капрал.

Оказалось, что дверь вовсе не была выходом на улицу. За ней находилось нечто вроде длинной и широкой приемной, побеленной известкой и сильно пахнущей клеем, где несколько одетых в лохмотья людей возмущенно наседали на молодого сержанта с несчастным лицом.

— По этому поводу требовать объяснений от ме-

ня бесполезно, — говорил он высоким придушенным голосом с акцентом северянина. — Который уж день мы их принимаем, и все они катят бочку на меня, как будто это я во всем виноват, а я им должен растолковывать, что я здесь ни пришей ни пристегни. Ни при чем то есть, — объяснил он, глядя на Тристрама. — Никто же не заставлял вас делать то, что вы только что сделали, — рассудительно говорил сержант, обращаясь ко всей честной компании. — Некоторые, то есть те, кто постарше, получили по небольшому подарку. А вы получили ссуду. Она будет погашена из вашего жалованья, по сколько-то там в неделю. Так что не нужно было брать денег у Короля, если они вам ни к чему, и не нужно было расписываться! Всё это вы сделали совершенно добровольно.

Последнее слово он произнес так, что его можно было срифмовать со словом «окно».

Сердце у Тристрама ухнуло вниз, а затем снова подпрыгнуло и застряло в горле, словно было подвешено на резиночке.

— Что все это значит? Что здесь происходит? — спросил он. К своему удивлению, Тристрам увидел здесь и леди с грязно-серыми волосами, прямую, как шомпол, и державшуюся с высокомерием знатной дамы.

— Это существо имело наглость заявить, что мы вступили в армию, — объяснила леди. — Большей чуши не слышала никогда в жизни. Я — в армии! Ф-ф-ф-ф-ф! Женщина моего возраста и положения…

— Осмелюсь доложить, вы вполне подойдете, — успокоил ее сержант. — Обычно берут дамочек чуть помоложе, но вам не иначе как доверят ответственную работу: присматривать за «подсобницами». Женщин-военнослужащих называют «подсобницами», — любезно объяснил он Тристраму, словно тот был самым несведущим из присутствующих. — Понимаете?

— Это правда? — спросил Тристрам, стараясь выглядеть спокойным.

Сержант, похоже, был славным парнем. Он уныло кивнул и сказал: — Я всегда всем говорю: «Не подписывайте ничего, не читая!» На той бумаге, что у капрала Ньюландза, наверху написано, что вы обязуетесь отслужить двенадцать месяцев на военной службе. Это напечатано очень мелким шрифтом, но вы могли бы прочитать, если бы захотели.

— Он закрыл это место большим пальцем, — ответил Тристрам.

— А я не умею читать, — проговорил молодой

толстяк.

— Ну, это уж ваша проблема, не так ли? — заметил сержант. — Ничего, читать вас научат.

— Это абсурд, — проговорила серая леди. — Это совершеннейший скандал и бесчестье. Я сейчас же вернусь туда и отдам им их грязные деньги и скажу им в глаза все, что я о них думаю!

— В аккурат то, что надо! — восхищенно проговорил сержант. — Так и вижу, как вы в канцелярии объясняете дамочкам, откуда ноги растут. Вы нам очень подойдете, очень! Из вас получится то, что называется «настоящий старый боевой топор»!

— Позор! — выпалила леди «старый боевой топор» и бросилась к двери.

— Что сделано, то сделано, — философически произнес сержант. — Что написано пером, того не вырубишь топором. Честно или нечестно — но вас подловили. И потом — двенадцать месяцев, это не так уж и долго, правда ведь? Меня они уговорили подписаться на семь лет. Я тогда был натуральный «чайник». Дурачок, — перевел он Тристраму. — Хотя, между нами говоря, — доверительно обратился сержант к присутствующим, — если вы доброволец, то у вас гораздо больше шансов на продвижение по

службе. Ага, вот она и завелась! — проговорил он и стал прислушиваться.

Из столовой явственно доносился голос серой женщины.

— Во дает! Молодец! — одобрительно проговорил сержант.

Затем он вернулся к своей теме.

— Капитан Тейлор говорит, что скоро будет введена Всеобщая Воинская Повинность. И волонтер окажется в совершенно отличном от любого призывника положении. Это уж как пить дать.

Тристрам захохотал. В дверном проеме стоял стул, и он опустился на него, изнемогая от смеха.

— Рядовой Фокс! — смеясь сквозь слезы, проговорил Тристрам.

— Вот и молодец! — одобрительно сказал сержант. — Вот это настоящий армейский дух! Улыбайтесь, всем советую. Лучше улыбаться, чем наоборот. Итак, — подводил итоги сержант, стоя в положении «вольно» и кивками приветствуя вновь прибывающих бродяг, — вы теперь служите в армии. Отныне вы должны мужественно переносить все тяготы армейской жизни. — Тристрам продолжал смеяться. — Вот как он.

ЧАСТЬ V
Глава 1

Ицли-пицли-бу-бу-бу! — сказал Дерек Фокс сначала одному из смеющихся и пускающих пузыри малышей, а потом другому. — Бу-бу-бу, гу-гу-гу! — побубукал Дерек сначала своему маленькому тезке, а затем, щепетильно с теми же звуками и выражением, маленькому Тристраму. Он всегда и все делал со скрупулезной справедливостью, это могли засвидетельствовать его подчиненные в Министерстве плодовитости. Даже Лузли, пониженный в звании настолько, насколько позволяла его чиновная должность, вряд ли мог кричать о несправедливости, хотя он теперь и пытался доказать, что Дерек — гомосексуалист.

— У-тю-тю-тю-тю! — сюсюкал Дерек, поочередно делая близнецам «козу». Братья, сидя в своем загончике, пускали пузыри, словно две рыбешки, и, ухватившись за прутья пухлыми ручонками, непрерывно приседали. Маленький Тристрам громко повторял, как заклинание: «Да! Да! Да!» — Да, — проговорил Дерек серьезно, — у нас должно быть больше, гораздо больше детей.

— Чтобы их забрали в армию и застрелили? — спросила Беатриса-Джоанна. — Это невозможно.

— О, это же…

Дерек, сцепив руки за спиной, прошелся по гостиной, словно по капитанскому мостику. Потом он допил свой кофе. Гостиная была просторной; да и все комнаты этой выходящей окнами на море квартиры были просторными. Теперь для людей калибра Дерека хватало места, так же как и для их жен, псевдожен и детей.

— Каждый должен испытать свою судьбу, — проговорил Дерек. — И каждая — тоже. Вот почему у нас должно быть больше детей.

— Чушь! — ответила на рассуждения Дерека Беатриса– Джоанна, раскинувшаяся на диванчике с толстой ворсистой обивкой цвета бордо. Диванчик был футов восьми длиной. Беатриса-Джоанна листала последний номер «Шика», журнала мод, который сплошь состоял из картинок. Турнюры, отметили ее глаза, рекомендовались Парижем для ношения днем; смелые декольте были de rigeur[12] вечером; гонконгские чонсамы были призваны возбуждать похоть своими четырьмя разрезами… Секс. Война и секс. Младенцы

---

[12] notes: 12
Обязательны (фр)

и пули.

— В былые времена мне бы сказали, что я превысила свою норму, — задумчиво проговорила Беатриса-Джоанна. — А теперь твое Министерство укоряет меня в том, что я не выполняю план. С ума сойти.

— Когда мы поженимся, по-настоящему поженимся, я имею в виду, ты, может быть, станешь относиться к этому по-другому.

Он обошел диванчик и поцеловал Беатрису-Джоанну сзади в шею, золотившуюся нежным пушком под слабыми лучами солнца. Один из близнецов, возможно маленький Тристрам, как бы в качестве юмористического звукового сопровождения, «пукнул» губами во время поцелуя.

— Тогда, — игриво продолжал Дерек, — я смогу по– настоящему начать говорить о супружеских обязанностях жены.

— Сколько еще осталось?

— Около шести месяцев. Тогда будет полных два года с тех пор, как ты видела его в последний раз.

Дерек снова поцеловал ее прелестную шею.

— Это установленный законом промежуток времени для пребывающих в бегах от семьи.

— Я все время думаю о нем, — призналась

Беатриса– Джоанна. — Я ничего не могу с этим поделать. Два дня назад я видела сон. Я видела Тристрама совершенно ясно. Он шел по улице и звал меня…

— Сны ничего не значат!

— И я все думаю о том, что сказал Шонни. Что он видел его. В Престоне.

— … как раз перед тем, как беднягу посадили в психушку!

— Бедный, бедный Шонни!

Беатриса-Джоанна бросила на близнецов взгляд, полный безумного обожания.

После потери детей и отступничества от своего Бога мозги у Шонни повернулись; теперь он распевал речитативом длиннейшие литургии собственного сочинения в одиночной палате госпиталя «Уинвик» под Уоррингтоном, что в графстве Ланкашир, и пытался жевать «святые покровы» с казенной кровати.

— Я не могу не думать об этом. Мне кажется, что Тристрам везде бродит, по всей стране, и ищет меня.

— Имелись пути и средства решения проблем, — проговорил Дерек. — Было ли это нравственным поступком бросить вас — тебя и двоих детей! — на произвол судьбы? Я уже говорил и

теперь повторяю снова, что наиболее милосердно — считать Тристрама давно погибшим и съеденным. С Тристрамом покончено, всё! Теперь есть ты и я.

И будущее.

Склонившись над ней, он улыбался улыбкой уверенного в себе человека. Ухоженный и гладкий, Дерек, казалось, олицетворял собой это будущее.

— О Боже! — произнес он вдруг без всякого волнения. — Время!

Часы на противоположной стене кротко напомнили ему о времени. Они представляли из себя стилизованное золотое солнце, пламенеющие лучи которого расходились в разные стороны наподобие торчащих пучков волос.

— Я должен лететь, — проговорил Дерек спокойно. Затем, еще более спокойно, он шепнул на ухо Беатрисе-Джоанне: — Ведь на самом-то деле ты же не хочешь, чтобы что-нибудь было по-другому, правда? Ты счастлива со мной, разве не так? Скажи, что ты счастлива.

— О, я счастлива, — проговорила Беатриса-Джоанна, но улыбка у нее получилась вымученной. — Просто… Это просто потому, что я люблю, чтобы все было как надо, вот и все.

— Все идет как надо. Все очень правильно.

Дерек поцеловал Беатрису-Джоанну в губы с таким смаком, что поцелуй получился совсем не похожим на прощальный. Тем не менее он сказал: — А теперь я действительно должен лететь. Мне предстоит трудный денек. Буду дома около шести.

Не забыв и о близнецах, он чмокнул каждого в шелковистые волосики на голове и прогудел им последние смешилки. Помахивая рукой, улыбаясь, с портфелем под мышкой, он вышел из гостиной: внизу его ждала машина из Министерства.

Минуты через три Беатриса-Джоанна как-то украдкой оглядела комнату, а потом на цыпочках подошла к выключателю «Диска Ежедневных Новостей», который чернел на своей ножке, как лакричный блин. Она никак не могла объяснить себе то чувство небольшой вины, которое возникало у нее от желания послушать дневные новости: ведь в конце концов «Диск» теперь был лишь одним из многих органов массовой коммуникации — аудиционных, аудиовизуальных и даже тактильных («Еженедельник Ощущений»), — основанных на принципах свободного предпринимательства, которые и предназна-

чались для того, чтобы их кто-то воспринимал. Любопытство Беатрисы– Джоанны возбуждалось ощущением того, что было в эти дни в новостях что-то неискреннее, что-то хитрое и неправдоподобное, о чем люди вроде Дерека хорошо знали, посмеиваясь втихомолку, но не хотели, чтобы об этом знали люди вроде нее. Ей хотелось посмотреть, сможет ли она найти какую-нибудь трещинку в этой слишком уж ровной штукатурке, которая теперь…

«Выход Китая из СОРГОСа и заявление, сделанное премьером По Сужэнем в Пекине, о намерении Китая основать независимую ассоциацию государств, которая будет называться «Да Чжунго"[13] на «гоюй», англизированное сокращение — СОКИТАС. Уже имеются сообщения о наличии у Китая агрессивных намерений как по отношению к СОРГОСу, так и к СОАНГСу, об этом свидетельствуют нападения на Култук и Борзю, а также сосредоточение пехотных частей на юге провинции Гуандун. Судя по многочисленным признакам, сообщает наш корреспондент с острова Мидуэй, готовится аннексия Японии. С оголением левого фланга СОАНГСа…» Беатриса-

---

[13] notes: 13
"Великий Китай» (кит.)

Джоанна, щелкнув выключателем, оборвала этот маниакально звучащий синтетический голос. «Чушь собачья чистейшей воды. Если бы мир действительно собирался затевать настоящую войну, наверняка уже велись бы разговоры о летающих где-то там самолетах и плывущих куда-то там кораблях, о марширующих туда-сюда армиях с этими их ружьями; наверняка раздавались бы угрозы возобновить производство какого-нибудь из тех древних, но весьма эффективных видов ядерного оружия, которым стирали с лица земли целые провинции. Но ведь ничего такого не говорят».

Британская Армия, которая была создана на скорую руку в прошлом году, теперь передавала свои функции поддержания общественного порядка рассудительным «бобби» в синей униформе. Армия эта была самой обыкновенной пехотой с минимальной поддержкой технических родов войск. На страницах журналов и в кинохронике можно было видеть солдатиков, поднимающихся по трапам военных транспортов. Одних, как говорили, отправляли на острова Аннекс для тренировки, других — для выполнения полицейских обязанностей в бунтующих буферных зонах. Перед камерами солдатики под-

нимали большие пальцы рук вверх и, открывая в улыбке рты, заполненные зубами лишь частично, демонстрировали подлинное британское мужество и оптимизм.

Беатриса-Джоанна почти убедила себя в том, что она уверена в одном: сидя как-то вечером перед стереотелевизором в этой самой квартире, она увидела в крупно поданном затемненном заднем плане веселого и тянущего вверх палец «томми» с очень знакомым лицом.

— Бред! — конечно же, сказал Дерек, казавшийся выше в своем лиловом халате. — Если бы Тристрам был в армии, его имя значилось бы в списках личного состава. Ты иногда забываешь, что я его брат и у меня есть определенные обязанности. Я запрашивал Управление кадров Армии — им ничего не известно. Я уже говорил раньше и повторяю сейчас: милосерднее всего думать, что Тристрам давно мертв и давно съеден!

И тем не менее…

Беатриса-Джоанна нажала кнопку электрического зуммера на стенной панели со множеством кнопок и выключателей. Почти сейчас же, порывисто кланяясь, бесшумно появилась веселая — такая же, как и тот «томми», — коричневая девушка, одетая в черное, из искусственного

шелка, платье прислуги. Она была прелестным маленьким сплавом рас по имени Джейн.

— Джейн, приготовь детей к дневной прогулке, — приказала Беатриса-Джоанна.

— Да-да, мадам, — ответила Джейн и покатила по ковру цвета морской волны детский манежик, в котором прыгали близнецы, строя им рожицы и хихикая.

Беатриса-Джоанна прошла в свой будуар, чтобы подготовить к дневной прогулке себя. На туалетном столике, в аккуратном порядке, стояли кремы и мази в таком количестве, которого хватило бы на целую аптеку; встроенные платяные шкафы были полны платьев и костюмов. У Беатрисы-Джоанны были слуги, дети, преуспевающий псевдомуж (Заместитель Министра по координации в Министерстве плодовитости, который, говорят, скоро будет Министром), у нее было все, что могла дать любовь и что можно было купить за деньги. Но она не считала себя по-настоящему счастливой. Время от времени в каком-то тайном уголке ее сознания начинал крутиться фильм с дрожащими размытыми кадрами, которые, один за другим, восстанавливали в памяти прошлое. Дерек часто называл ее «цветочком». Раньше так называл Беатрису-Джоанну Тристрам. Будь она

в самом деле цветком, она бы принадлежала к классу Diandria — двухтычинковых. Ей нужны были двое мужчин, ее жизнь должна быть приправлена неверностью.

Беатриса-Джоанна открыла резную шкатулку из камфорного дерева и вынула оттуда письмо, которое написала накануне. От бумаги исходил приятный смешанный аромат камфорного и сандалового дерева. Она перечитала письмо семь или восемь раз, прежде чем твердо решила, что пошлет его. Беатриса– Джоанна писала следующее: «Дорогой мой, дорогой мой Тристрам! В этом сумасшедшем мире произошли такие изменения, так много разных событий случилось с тех пор, как мы расстались так несчастливо, что я даже сказать ничего толком не могу, кроме того, что я без тебя скучаю, что я тебя люблю и очень хочу быть с тобой. Я сейчас живу с Дереком, но не нужно думать обо мне плохо из-за этого: должна же я иметь хоть какой-то дом, где бы я могла растить двух твоих сыновей. Да, я искренне верю, что они твои. Возможно, ты уже пробовал писать мне — а я твердо верю, так оно и было, — возможно, что ты пытался найти меня, но я знаю, как трудна сейчас жизнь. Твой брат очень добр ко мне, и я полагаю, что он по-настоящему любит

меня, но я не думаю, чтобы хоть одно письмо, написанное тобой мне и посланное через него, когда– нибудь дошло до меня. Ему приходится думать о своей драгоценной карьере. „У человека с детьми больше шансов получить пост Министра плодовитости, чем у человека бездетного“ — так он говорит. Ты помнишь, наверное, что, когда мы были вместе, я каждый день гуляла у моря, неподалеку от Здания Правительства. Я и теперь там гуляю вместе с сыночками (я катаю их в коляске) с трех до четырех. Глядя на море, я теперь каждый день молюсь, чтобы оно мне тебя вернуло. Вот на что я надеюсь. Я люблю тебя, и если я когда-нибудь причинила тебе боль, прости меня. Вернись, вернись к вечно любящей тебя Битти».

Беатриса-Джоанна сложила письмо и поместила его в конверт из хорошей бумаги, от которого исходил едва уловимый запах духов. Потом она взяла свою изящную авторучку и твердым мужским почерком написала адрес: «Тристраму Фоксу; эсквайру, бакалавру искусств, Британская Армия». Она посылала письмо наудачу; как бы там ни было, это единственный выход. Что касается списков армейского Управления кадров, то или Дерек был исключительно влиятелен,

или же был жутким лжецом… После того как Беатриса-Джоанна увидела по телевизору ту кинохронику, она, однажды днем, сама позвонила в военное Министерство (домашние телефоны имели выход на коммутатор Министерства) и, после бесконечного отфутболивания из отдела в отдел, услышала наконец тихий голос с шотландским акцентом, обладатель которого признался, что он действительно из Управления кадров, и холодно объяснил, что частным лицам сведения о местах расположения воинских частей не сообщаются. Что-то у них там связано с безопасностью. Беатриса-Джоанна сказала, что, во-первых, ее не интересуют такие сложные вещи, как сведения о местах расположения частей, а то, чем она интересуется, носит более общий, онтологический характер.

На другом конце провода послышался жесткий щелчок. Дерек вернулся домой в шесть и, улыбаясь, спросил, зачем она звонила в Управление кадров. Неужели она не верит ему, ее фактическому мужу, неужели она ему не верит?

В том-то и дело, что Беатриса-Джоанна не верила Дереку: можно простить ложь и ненадежность любовнику, но не мужу, хотя бы и псевдомужу. Однако этого она ему не сказала. В любви тем не

менее Дерек не был особенно щепетилен, и это льстило. Она предпочитала в любовнике любовь именно такого сорта.

Итак, Беатриса-Джоанна вышла с коляской, в которой сидели близнецы, на залитую зимним солнцем набережную у моря. Одетая в черное няня кудахтала и широко улыбалась двум пускавшим пузыри маленьким человечкам в теплых шерстяных костюмчиках.

Беатриса-Джоанна опустила письмо в заляпанный птичьим пометом почтовый ящик. Это было все равно, как если бы она положила письмо в бутылку и бросила ее в море, поручив доставку этому великому, но отнюдь не пунктуальному почтальону.

Глава 2

— Сэ-эрр! — прорычал батальонный старшина Бекха-уз, устрашающе выпятив челюсть.

— 7388026, сержант Фокс Т. Сэ-эрр! — отрапортовал Тристрам, прошкандыбав псевдостроевым шагом и без изящества отдав честь.

Сидевший за столом подполковник Уильяме поднял на него печальные глаза. Стоявший за его спиной смуглый адъютант страдальчески

поморщился.

— Сержант Фокс, так? — переспросил подполковник Уильяме.

Подполковник был усталым красивым седеющим мужчиной, на носу у которого в данный момент были нацеплены некрасивые очки для чтения. Аура старого служаки, исходившая от него, была, конечно, иллюзией: все солдаты этой новой армии были «салажатами». Но подполковник Уильяме, как и все старшие офицеры, все же пришел из той старой либеральной полиции, почти полностью вытесненной «серыми», где служил просвещенным начальником Специальной Службы.

— Фокс. Пишется так же, как фамилия автора «Книги мучеников», я вижу.

— Да, сэр.

— Итак, — начал подполковник Уильяме, — речь пойдет о вашей деятельности в качестве сержанта-инструктора.

— Да, сэр.

— Ваши обязанности, мне кажется, достаточно просты. Согласно отзывам сержанта-инструктора Бартлета, вы исполняете их должным образом. Хорошо поработали в классе для неграмотных, например. Кроме того, преподавали элементар-

ную арифметику, учили личный состав писать рапорты, пользоваться телефоном, а также преподавали военную географию и освещали текущие события.

— Да, сэр.

— Вот эти-то «текущие события» и вызывают беспокойство. Правильно, Уиллоуби?

Подполковник взглянул на своего адъютанта, который ковырял в носу. Прервав свое занятие, тот с готовностью кивнул.

— Итак, давайте разберемся. Вы, говорят, затевали какие-то дебаты с рядовыми? Что-то вроде того, «кто есть враг?» или «за что мы воюем?». И вы это признаете, я так понимаю.

— Да, сэр. По моему мнению, люди имеют полное право обсуждать, почему они в армии и что…

— Солдат, — устало проговорил подполковник Уильяме, — не имеет права на мнения. Ему это не положено, правильно это или неправильно. Я считаю — правильно, что не положено.

— Но, сэр, мы безусловно должны знать, куда мы вляпались, — возразил Тристрам. — Нам говорят, что идет война, но некоторые солдаты отказываются этому верить. И я склонен с ними согласиться, сэр.

— В самом деле? — холодно спросил подполковник. — Что ж, я вас просвещу, Фокс. Раз ведутся бои, значит, идет война. Может быть, это не такая война, какие бывали в старину, но война и боевые действия — организованные действия, я имею в виду, при участии армий — это почти синонимы.

— Но, сэр…

— Я еще не закончил, Фокс… Что касается вопросов «кто?» и «почему?», то — вам уж придется принять мои слова как нерушимую истину, — то это солдат не касается. Противник есть противник. А противник — это люди, с которыми мы сражаемся. Это мы должны оставить нашим правителям — решать, с какой конкретно частью человечества мы должны воевать. Это не касается ни меня, ни вас, ни рядового Снукса, ни младшего капрала Догзбоди. Вам все ясно?

— Но, сэр…

— Почему мы воюем? Мы воюем потому, что мы солдаты. Это же достаточно просто, не правда ли? За что мы воюем? Тоже просто: мы воюем, чтобы защитить нашу страну, а в более широком смысле — Союз Англоговорящих Стран. От кого? Это нас не касается. Где? Там, куда нас пошлют. Я надеюсь, Фокс, что теперь вам все совершенно

ясно.

— Да, сэр, но что я…

— Вы поступаете очень плохо, Фокс, когда вводите людей в соблазн, заставляя их думать и задавать вопросы.

Подполковник принялся изучать лежавший перед ним лист, продолжая бубнить себе под нос: — Надо полагать, что вас очень интересует противник, ведение боевых действий и все такое прочее, так, Фокс?

— Видите ли, сэр, на мой взгляд…

— Вот мы и собираемся предоставить вам возможность познакомиться со всем этим поближе. Как идея, Уиллоуби? Неплоха? Вы одобряете, старшина? С двенадцати ноль-ноль текущего дня я освобождаю вас, Фокс, от обязанностей инструктора. Из штабной роты вы будете переведены в одну из стрелковых рот. Я полагаю, Уиллоуби, это будет рота «Б», там не хватает взводного сержанта. Решено, Фокс! Это весьма пойдет вам на пользу, юноша.

— Но, сэр…

— Отдать честь! — рявкнул старшина Бекхауз, бывший сержант полиции. — Кругом! Шагом марш!

Тристрам, взбешенный и напуганный, строе-

вым шагом вышел из канцелярии.

— Вам лучше отправиться сейчас же, — проговорил старшина за дверью уже более дружеским тоном.

— А что он имел в виду, когда говорил о возможности какого-то более близкого знакомства? Куда он клонил?

— Я думаю, что он имел в виду именно то, что сказал, — ответил старшина. — Я так соображаю, что скоро некоторым придется собирать манатки. И некогда им будет азбуку учить, и некому их тетрадки проверять. Так-то вот, идите, сержант.

Тристрам, с видом не слишком бравым, потопал в канцелярию роты «Б», гремя ботинками по металлической палубе и высекая каблуками искры. Остров Аннекс Б6 был рукотворным сооружением ограниченных размеров, поставленным на якоря в восточной Атлантике. Первоначально остров предназначался для размещения на нем избыточного населения. Теперь здесь компактно разместилась армейская бригада. Окружающая остров природа состояла из холодного зимнего неба и плещущегося, со всех сторон отгороженного леерами, серого соленого моря. Это безразмерное, состоявшее всего из двух реальностей окружение заставляло человека обращаться

внутрь замкнутого леерами пространства, к пустой дисциплине, к напоминавшей детскую игру боевой подготовке, к душной казарме и ротной канцелярии.

Тристрам ступил на территорию роты «Б», доложил о прибытии старшине — глуповатому гиганту нордического типа со слабовольным ртом — и был удостоен чести предстать перед ротным командиром капитаном Беренсом, белокожим толстяком с иссиня-черными волосами и такими же усами: — Ваше прибытие доведет численность роты почти до полного состава. Так что идите и быстрее представьтесь мистеру Доллимору — это ваш командир взвода.

Тристрам отдал честь и, чуть не упав, выполняя поворот кругом, вышел из канцелярии. Он разыскал лейтенанта Доллимора, милого молодого человека в идиотских очках и розоватых прыщах, который проводил занятия со своим взводом, рассказывая об устройстве винтовки. Тристрам знал, что в древние времена доатомных войн существовало такое оружие. Организация, номенклатура, образ действий, вооружение этой новой Британской Армии — все, похоже, пришло из старых книг, старых фильмов. И винтовки, конечно.

— Курок, — показывал мистер Доллимор, — нет, простите, это боек. Затвор, ударник… А как это называется, капрал?

— Боевая пружина, сэр, — быстро ответил, взглянув на деталь, стоявший по стойке «смирно» приземистый капрал с двумя нашивками, всегда готовый прийти на помощь.

— Сержант Фокс прибыл для прохождения службы, сэр! Мистер Доллимор с кротким интересом полюбовался характерной манерой Тристрама отдавать честь и, спохватившись, ответил на приветствие не менее причудливым вариантом собственного изобретения — приставил к бровям растопыренную пятерню с мелко дрожавшими пальцами.

— Хорошо, очень хорошо, — проговорил он. Выражение вялого облегчения осветило его лицо. — Названия составных частей. Можете продолжать занятия.

Тристрам в замешательстве смотрел на взвод. Тридцать человек сидели в спальном помещении, скаля зубы и тараща на него глаза. Со многими из них Тристрам был знаком: они ходили к нему на занятия по начальной образовательной подготовке. Многие из солдат до сих пор не знали даже букв алфавита. Весь рядовой и унтер-офицерский

состав бригады «Восточная Атлантика» состоял из завербованных силой головорезов, бродяг, сексуальных извращенцев, заговаривающихся и слабоумных. Тем не менее на уровне знания названий частей винтовки Тристрам почти не отличался от них.

— Слушаюсь, сэр! — ответил Тристрам и, в свою очередь, сделал хитрый ход. — Капрал!

— Я!

— Можете продолжать занятия.

Тристрам скреб пол подошвами, стараясь попасть в ногу с мистером Доллимором, который шагал в направлении офицерской столовой.

— Чем вы сейчас занимаетесь с ними, сэр?

— Чем занимаемся? Ну, с ними не очень-то позанимаешься, так ведь?

Открыв рот, мистер Доллимор с подозрением посмотрел на Тристрама.

— Я хочу сказать, что все, чему они должны научиться, это стрелять из своих винтовок, не так ли? Да! И конечно же, быть чистыми — в меру своих способностей.

— Что же это творится, сэр? — несколько недипломатично спросил Тристрам.

— Что вы имеете в виду, когда спрашиваете, что творится? Что творится, то и творится, — вот

и все, что я могу сказать.

Гремя ботинками по металлу и высекая искры, они маршировали по открытой зимним ветрам Атлантики голой палубе рукотворного острова.

— Я имел в виду, что, может быть, вы что-нибудь слышали о нашем участии в боевых действиях? — спросил Тристрам уже более спокойно.

— В боевых действиях? Против кого? — Мистер Доллимор даже остановился, чтобы лучше рассмотреть Тристрама.

— Против врага — О! Понимаю.

Мистер Доллимор произнес это с такой интонацией, словно существовали какие-то другие формирования, кроме вражеских, против которых ведутся боевые действия. У Тристрама зашевелилось в голове подозрение, что мистер Доллимор… не более чем пушечное мясо Но если он — пушечное мясо, то что же говорить о его взводном сержанте?

Вдруг — был ровно полдень — из громкоговорителей послышался треск и шипение записи, и электронный горн пропел свои синтезированные сигналы. Мистер Доллимор продолжал разговор:
— Я как-то об этом не задумывался. Я полагал, что то, чем мы здесь занимаемся, и есть нечто вроде боевых

действий. Честно. Я думал, что мы здесь выполняем какую-то оборонительную задачу.

— Давайте пойдем взглянем на приказы по батальону, — предложил Тристрам. Писарь из канцелярии как раз прикалывал приказы, полоскавшиеся на ветру Атлантики, словно белые флаги капитуляции, в то время как Тристрам и Доллимор приближались к сборным баракам штаба батальона, из окон которого доносилось позвякивание звоночков пишущих машинок. Быстро читая приказы — быстрее своего командира, — Тристрам мрачно покачивал головой.

— Вот оно, — пробормотал он.

Доллимор читал, открыв рот и приговаривая: «Ага, ага, понятно. А это что за слово? Ага, понятно».

Вся их жизнь была на этом листе бумаги, холодном и хрустящем, как лист салата, хотя и гораздо менее съедобном. Это был приказ на перевозку: команде из шестисот солдат и офицеров — по две сотни от каждого батальона — предписывалось построиться в шесть тридцать утра на следующий день для погрузки на суда.

— Есть! Есть! — с энтузиазмом завопил мистер Доллимор.

— Мы в списке, смотрите!

Он с восторгом тыкал пальцем в приказ, словно увидел там собственное имя.

— Вот: «… рота „Б“ второго батальона».

Вдруг, к изумлению Тристрама, Доллимор неумело принял положение «смирно» и с пафосом проговорил: — Возблагодарим же Господа, который приобщил нас к своей благодати!

— Простите, не понял? — ошарашенно проговорил Тристрам.

— «Лишь это вспомните, узнав, что я убит…», — декламировал мистер Доллимор. Из него перли начальные строчки стихотворений, словно любимым чтением в школе у него был алфавитный указатель обязательной литературы. — «Ты грабил, говорил он, — завывал он, — ты убивал и так конец приблизил».

— Очень похоже, что так оно и будет, — пробормотал Тристрам, у которого голова шла кругом. — Очень похоже, что именно так оно и будет.

Глава 3

В полночь было слышно, как загудел подошедший транспорт.

Вечером солдат напоили какао и до отвала на-

кормили мясными консервами. Отбой сыграли в двадцать два ноль-ноль. Перед этим, правда, им пришлось пережить осмотр личного оружия и ног, получить недостающее обмундирование и вооружение. Было выдано много боевых патронов, но после того, как случайно были застрелены трое рядовых, а старшина штабной роты ранен в ягодицу, выдача боеприпасов была признана преждевременной, и их изъяли. Теперь патроны войскам было решено выдавать в базовом лагере в порту прибытия — для использования исключительно против неприятеля.

— Так кто же этот проклятый неприятель? — в тысячный раз спрашивал сержант Лайтбоди. Он лежал на койке второго яруса над Тристрамом лицом вверх, положив голову на сложенные руки. У Лайтбоди, красивого молодого человека, была сардоническая улыбка и челюсть Дракулы.

Тристрам сидел на койке с ногами, обернув их одеялами, и писал письмо жене. Он был уверен, что она это письмо не получит, как наверняка она не получила отправленные ей тридцать с лишним других, но писать Беатрисе-Джоанне — это было все равно что творить молитву, прося о лучшем будущем, о нормальной жизни, об обычном милом тепле дома и любви.

«Завтра идем в бой. Где — Бог знает. Но помни, что всегда и везде я думаю только о тебе. Скоро мы снова будем вместе, может быть, даже скорее, чем сами думаем Любящий тебя Тристрам».

Он написал ее имя на дешевом конверте, купленном в солдатской лавке, и запечатал письмо. Потом он нацарапал сопроводительную записку, текст которой был неизменен: «Ты, свинья, называющая себя моим братом, никого не любящий лицемерный ублюдок, передай это письмо моей жене! Вечно ненавидящий тебя Т. Ф.» Адрес на втором конверте, куда Тристрам вложил первый, гласил: «Д. Фоксу, Дом Правительства, Брайтон, Большой Лондон». Тристрам был абсолютно уверен, что Дерек, с его психологией приспособленца и беспринципного человека, и сейчас среди власть имущих, какая бы партия у этой власти ни находилась. Весьма вероятно, что Дерек был одним из зачинщиков этой войны, если война действительно велась. Так что определение слова «противник», данное командиром взвода, было неверным.

— Знаешь, что я думаю? — продолжал задавать вопросы сержант Лайтбоди. (Тристрам, к своему удовлетворению, уже нашел ответ на его первый вопрос, но не решался произнести его вслух.)

— Я думаю, что никакого врага нет. Я думаю, что, как только мы погрузимся на транспорт, они его просто потопят. Или сбросят на корабль несколько бомбочек и разнесут его вдребезги. Вот что я думаю.

— Никаких бомбардировщиков нет, — возразил Тристрам. — Бомбардировщиков больше не существует. Они исчезли много лет назад.

— А я видел их в кино, — сказал сержант Лайтбоди.

— В очень старых фильмах. В фильмах о войнах двадцатого века. Эти войны были очень сложны и тщательно подготовлены.

— Они разнесут нас торпедами.

— А это тоже оружие, вышедшее из употребления, — сказал Тристрам. — Вспомни-ка: боевых кораблей не существует.

— Хорошо, — не сдавался Лайтбоди. — Тогда отравляющий газ! Уж как-нибудь они нас прикончат. Мы не успеем сделать и выстрела!

— Может быть, и так, — согласился Тристрам. — Но они не захотят портить наше обмундирование, оружие да и сам корабль. — Вдруг он встрепенулся и спросил: — Черт побери. А кого мы имеем в виду, когда говорим «они»?

— Ясно кого. Под «ними» мы подразумеваем тех,

кто жиреет, производя форму, корабли и винтовки, — ответил сержант Лайтбоди. — Производят и уничтожают, производят и уничтожают и снова производят. И так — непрерывно. Вот эти– то люди и затевают войны. «Патриотизм», «честь», «слава», «защита свободы» — все это дерьмо собачье, вот что это такое! Окончание войны является способом ее ведения. А противник — это мы.

— Чей мы противник?

— Наш собственный. Помяни мое слово! Мы до этого не доживем, до конца войны то есть, потому что мы вступили в эпоху бесконечных войн. Бесконечных, потому что гражданское население не будет ими затронуто, так как войны будут вестись на приятном отдалении от центров цивилизации. Штатские любят войну.

— Но, вероятно, только до тех пор, пока они могут оставаться штатскими, — вставил Тристрам.

— Кое-кому из них это удается тем, кто управляет, и тем, кто делает деньги. И их бабам, конечно. Не то что бедным сучкам, вместе с которыми мы будем воевать. Если, конечно, они милостиво позволят нам жить до тех пор, пока мы куда-нибудь доплывем — Я не положил глаз ни на одну бабу из вспомогательных частей с самого момента поступления в армию,

— сказал Тристрам.

— А-а, «подсобницы»? Это тоже гнусная ложь. Женские батальоны, целые женские полки — вот что они придумали, черт бы их побрал! Я точно знаю — моя сестра призвана в одну из таких частей. Она мне пишет время от времени.

— Я не знал об этом, — признался Тристрам.

— По ее словам, они занимаются точно тем же, что и мы. Все то же самое, черт побери, кроме как в стрельбе не практикуются. Они выжидают момент, чтобы сбросить бомбу на бедных сучек.

— Тебе очень не нравится перспектива быть убитым? — спросил Тристрам.

— Да не то чтобы очень… Лучше всего, когда смерть приходит неожиданно. Я бы не хотел лежать в постели и дожидаться смерти.

Сержант Лайтбоди устроился в койке поудобнее. Как в гробу.

— Когда начинаешь подумывать об этом, то перспектива пасть на поле брани имеет много своих положительных сторон. Жизнь — это только процесс выбора момента смерти. Вся жизнь является непрерывной отсрочкой этого момента, потому что выбор так труден! Не делать выбора — огромное облегчение.

В отдалении, словно смеясь над этими избиты-

ми афоризмами, заревел морской транспорт.

— Я намерен жить, — проговорил Тристрам. — У меня так много того, ради чего стоит жить.

Транспорт снова заревел. Гудок не разбудил четырех других сержантов, находившихся в комнате. Это были неотесанные парни, зло подшучивавшие над Тристрамом из-за его акцента и попыток оставаться вежливым с солдатами во время занятий. Теперь они храпели, набравшись алка за ужином. Сержант Лайтбоди замолчал и скоро заснул приятным сном, словно приняв перед этим восхитительного эликсира забвения. Тристрам лежал в чужой постели, в чужой казарме… Раньше эта койка принадлежала сержанту Дэю, которого уволила вчистую смерть от ботулизма. Теперь его заменил Тристрам. Всю ночь напролет транспорт ревел, словно голодное чудовище, требуя своей порции пушечного мяса. Он не желал дожидаться, когда наступит время завтрака. Тристрам ворочался под грязными одеялами и слушал этот рев. «Бесконечная война». Эта мысль не давала ему покоя. Он не думал, что такая война возможна, если закон цикличности истории справедлив. Вполне может быть, те историографы, которые все эти годы не хотели признавать, что история развивается по

спирали, не делали этого потому, что спираль очень трудно описать. Гораздо легче сфотографировать спираль с верхнего конца или сжать спираль в катушку. В конце концов, была ли война кардинальным решением? Были ли правы те древние примитивные теоретики? Была ли война великим стимулятором половой активности, великим источником адреналина для всего мира, растворителем скуки, Angst[14], меланхолии, апатии, сплина? Является ли война сама по себе массированным сексуальным актом, достигающим высшей точки в детумесценции, где смерть является не просто метафорой? И наконец, является ли война контроллером, выравнивателем и иссекателем, регулятором плодовитости?

«Война-а!» — кричал транспорт в металлической гавани. «Война-х-х!» — захлебывался храпом сержант Беллами, ворочаясь в тяжелом сне. В эту самую минуту миллионы младенцев пробивались на белый свет и пищали: «Вой-на-а-а!» Тристрам зевнул, и в его зевке прозвучало: «Война!» Он ужасно устал, но заснуть не мог, несмотря на исполнявшуюся на многих инструментах колыбельную: «Война, война, война…» Ночь, од-

---

[14] notes: 14
Страха (нем)

нако, была не слишком долгой: в четыре часа утра заиграли побудку, и Тристрам возблагодарил судьбу за то, что ему не приходится испытывать тех мучений, которым подвергались его сослуживцы-сержанты, со стонами возвращавшиеся в реальный мир под звуки электронного горна и проклинавшие себя за то, что опять вчера напились.

Глава 4

В предрассветных сумерках, на дороге перед казармой, там, где строился первый взвод, вспыхивали искорки, а пятью футами выше искорок раздавался кашель, отхаркивание и ругательства. Капрал Хейзкелл направил тонкий луч своего фонарика на список личного состава, который держал сержант. Тристрам, в стальном шлеме и шинели-реглане старинного покроя, выкрикивал фамилии, тотчас уносимые ветром.

— Кристи!

— Я!

— Крамп!

— Нет козла!

— Гашен… Хоуэлл… Мэкей… Мьюэ… Талбот…

Кое-кто откликнулся, некоторые отвечали

непотребными звуками.

— Лучше пересчитайте их по головам, — приказал Тристрам капралу.

Капрал Хейзкелл поочередно направлял узкий луч своего фонарика в лица каждого трио стоявших в затылок друг другу солдат, высвечивая ряд безжизненных масок, ряд страшных видений в глубине ночной Атлантики.

— Двадцать девять, серж, — сообщил капрал. — О'Шон– несси застрелился вчера вечером.

— Взвод, смирно! — вполголоса скомандовал Тристрам. — Направо по три… быстрым шагом… левой… марш!

Этот сводный приказ был небрежно выполнен.

Высекая каблуками искры, взвод (левое плечо вперед… правое плечо вперед…) промаршировал до ротного плаца и, нестройно топоча, занял свое место. Под лай команд, волоча ноги и сверкая искрами из-под ботинок, подтянулись остальные взводы; командиры взводов заняли свои места в строю. Наконец появился и сам капитан Беренс — молочно-белое привидение в офицерском дождевике, — чтобы вывести роту на батальонный плац.

На плацу, ярко освещенном прожекторами, словно для праздничного представления, бата-

льонный капеллан, зевая и поеживаясь, служил мессу, отбивая поклоны перед балдахином алтаря. Хлеб, которому предстояло претвориться в тело Господне, имелся в неограниченном количестве (в прошлом году вырос небывалый урожай), но настоящего вина еще не было: в чаше плескался попахивающий черной смородиной алк. Капеллан

— долговязый человек с несчастным лицом — благословил воинов на дело их; некоторые из солдат издевательски вернули ему благословение.

Во время завтрака, перекрывая мощью громкоговорителей чавканье и сопенье, командир части произнес напутственную речь.

— Вы будете бороться со злобным и бессовестным врагом, защищая правое дело. Я знаю, вы покроете себя сла… сла… сла… хрррр… нетесь домой живыми, а поэтому я желаю вам счастливого пути и удачи во всем.

«Жаль, — подумал Тристрам, попивая эрзац-чай в сержантской столовой, — жаль, что поврежденная пластинка заставляет звучать столь цинично речь, быть может, вполне искреннего человека».

Сержант из Суонси, из Западной провинции, поднялся из– за стола, напевая приятным тено-

ром: «И покроетесь сла… и накроетесь сра… сра… сра-а-а-зу-у!» В шесть часов те солдаты из батальона, которые отправлялись на фронт, получив остатки дневного пайка, навьюченные ранцами, перетянутые ремнями, с полными флягами, в шлемах и с винтовками, но, на всякий случай, пустыми подсумками (патроны были выданы только офицерам и сержантам), промаршировали к причалу. Ожидавший их транспорт был едва освещен, но надраенные буквы его названия сияли: «Т-3 (АТЛ) В. Г. РОБИНСОН ЛОНДОН». Пахло морем, нефтью, грязным камбузом; торговые моряки в свитерах без воротников плевали в воду с верхней палубы; неожиданно появился распевающий во все горло поваренок и вылил за борт помои; заунывно и бессмысленно провыла сирена… Скрашивая ожидание, Тристрам наблюдал за происходящим. В спектакле, разыгрывавшемся почти в темноте, принимали участие тюки, краны, суетящиеся офицеры-транспортники, солдаты, стоявшие и сидевшие на корточках. Солдаты уже развернули свои «сух. пайки» — мясо, переложенное толстыми кусками хлеба. Мистер Доллимор, оторванный от своих товарищей-лейтенантов, время от времени таращил глаза на черное небо, словно ждал, что оттуда на него

свалится вечная слава.

Состоявшая из трех частей маршевая команда собралась полностью производя губами неприличные звуки, выкрикивая приветствия и показывая пальцами знак победы, подтянулся последний взвод. Одетый словно для урока верховой езды, появился начальник оперативного отдела бригады. Ему отдавали честь, он козырял в ответ. Около губ разговаривающих людей образовывались облачка пара, как у ведущих диалог персонажей карикатур. По трубе, впившейся в брюхо корабля, словно змея, равномерно закачивался мазут. Старшина роты из другого батальона снял шлем, чтобы почесать непристойно лысую голову. Двое солдатиков тузили друг друга в веселом шуточном бою, визгливо смеясь. Высокий капитан ожесточенно чесал у себя между ног. Прогудела корабельная сирена. У какого-то младшего капрала пошла носом кровь. Вдруг крытые сходни — осветились веселыми огоньками, словно новогодняя елка. Кое– где в толпе солдат раздался восторженный стон.

— Внимание! Внимание! — призвал насморочный приглушенный голос из громкоговорителя. — Бристубаем к босадке! Босадка производится побатальонно, в борядке номеров!

Офицеры, то выкрикивая команды, то прибегая к уговорам, принялись разгонять солдат по местам у покачивающегося корабля. Тристрам подозвал капрала Хейзкелла. Совместными усилиями они построили свой ругающийся и смеющийся взвод под прямым углом к борту транспорта. Мистер Доллимор, чьи мечты о далекой Англии и воинской славе были прерваны, пересчитывал солдат, шевеля губами и загибая пальцы.

Первыми на борт поднимались шесть взводов первого батальона. Один из солдат, ко всеобщему удовольствию, уронил в воду винтовку. Какой-то неуклюжий придурок споткнулся, чуть не заставив сыграть носом в сходни впереди идущих. В целом, однако, посадка проходила довольно гладко.

Настала очередь второго батальона; первый взвод поднялся наверх. Тристрам разместил своих людей в кубриках жилой палубы, где из переборок торчали голые крюки для подвесных коек — сами койки должны были подвесить позже, — а столы были наглухо привинчены к полу. В кубрики с шумом нагнетался холодный воздух, но по запотевшим переборкам текли струйки воды.

— Эй вы, козлы, не вздумайте спать в этих люльках, — порекомендовал Талбот. — Навернетесь на пол как пить дать.

Тристрам пошел искать свой кубрик.

— Держу пари, что они запрут эти люки, или как это там называется у моряков, — пророчествовал Лайтбоди, снимая ранец. — Вот увидите. Они не позволят нам выходить на палубу. Будем сидеть, как в мышеловке. Клянусь Богом. Или Гобом.

С таким видом, словно он испытывал глубокое удовлетворение от своих слов, Лайтбоди улегся в мелкое корытце нижней койки. Из кармана своих сшитых по старинной моде военных штанов он достал потрепанный томик.

— Рабле, — проговорил Лайтбоди. — Вы знаете об этом древнем писателе? «Je m'en vais chercher un grand peut– etre». Так он сказал на смертном одре. «Я иду искать великое „возможно“. Я тоже. И все мы. „Опустите занавес, комедия окончена“. Это тоже он сказал.

— Книга на французском, да?

— На французском. Это один из мертвых языков.

Вздохнув, Тристрам полез на верхнюю койку. Другие сержанты — люди попроще и, может быть, поглупее — уже резались в карты. В од-

ной компании даже успели поссориться — из-за неверной сдачи.

— Vogue la galere![15] — послышался голос сержанта Лайтбоди.

Корабль не сразу повиновался приказу. Только примерно через полчаса они услышали, как отдают швартовы; вскоре после этого ровно и мощно, как шестидесятичетырехрегистровый орган, загудел двигатель.

Как и предрекал Лайтбоди, на палубу никого не выпускали.

Глава 5

— Когда жрать дадут, серж?

— Сегодня жрать уже не будем, — спокойно проговорил Тристрам. — Вы на сегодня свой паек выбрали, понятно? Но можете послать кого-нибудь на камбуз за какао.

— А я съел все! — заявил Хоуэлл. — И ужин свой съел, пока мы там ждали посадки. Надувательство — вот это что, черт побери! Кормят впроголодь, сволочи, дрючат, гады, с утра до вечера, а потом посылают под пули, суки!

---

[15] notes: 15
Будь что будет! (досл.: «Вперед, галера!») (фр)

— Нас посылают сражаться с врагом, так что нам тоже удастся пострелять, не беспокойтесь, — заверил его Тристрам.

Большую часть утра, сидя в наглухо задраенном трюме, Тристрам провел за чисткой пистолета, этого по-своему красивого оружия. Вообще-то он собирался отслужить свой срок, преподавая сугубо мирные предметы, и совсем не предполагал, что когда-нибудь ему придется применять это оружие. Тристрам представил себе выражение лица человека, застреленного из этого пистолета, он представил себе его лицо, превращенное в месиво из сливового джема, соединение удивления с другими чувствами на этом лице, он представил себя — вместе со своими зубными протезами и контактными линзами и всем прочим — вдруг превратившимся в человека, исполняющего акт убийства человеком другого человека. Тристрам закрыл глаза и мысленно ощутил, как его указательный палец мягко нажимает на спусковой крючок. Удивленное лицо, стоявшее перед его взором, было лицом Дерека. Один меткий выстрел — и оно превратилось в пудинг с джемом, водруженный на модный пиджак.

Открывая глаза, Тристрам мгновенно понял, каким он должен выглядеть перед солдатами:

свирепым, с прищуренными глазами и улыбкой убийцы — примером для всех.

Но солдаты были людьми беспокойными, раздражительными, скучающими, склонными к фантазиям, но не расположенными мечтать о крови. Они сидели, уперев локти в колени и положив подбородки на ладони, глаза их остекленели от смутных видений. По кругу были пущены фотографии, кто-то наигрывал на самом меланхоличном из музыкальных инструментов — на губной гармошке. Солдаты пели:

Мы вернемся домой, Мы вернемся домой, Может, летом, может, летом, Ну а может, зимой, Может, утром, может, утром Иль во тьме ночной.

Тристрам лежал на спине, в голове его бродили грустные мысли, а по телу пробегали мурашки, когда он вслушивался в слова этой печальной короткой песни. Ему казалось, что он вдруг перенесся во времени и пространстве туда, где никогда не бывал: в несказанно древний мир, хранившийся в книгах и фильмах. «Фельдмаршал Китченер», «капут», «Боттомли», «бомбёры», «зенитки», «цеппелины», «братья Кросби» — слова ароматные и будящие мучительные воспоминания звучали в голове, переплетаясь со словами песни, словно подголоски.

Ты постой у ворот, Ты постой-подожди, Как корабль мой придет, Жди да жди, жди да жди!

Будем вместе мы Навсегда, Не уйду я больше Никогда…

Тристрам лежал, пронзенный каким-то ностальгическим чувством, тяжело дыша. То, что в нем происходило, не носило характера того явления, которое писатели-фантасты называют «свертыванием времени». Это был настоящий фильм, настоящий роман, и все крутом были втянуты в действие. Происходящее с ними было взято из романа, а сами они были действующими лицами чьего-то сна.

Мы все домой вернемся — И я, и он, и ты, Мы все домой вернемся, И сбудутся мечты.

Тристрам спрыгнул со своей койки и растолкал сержанта Лайтбоди.

— Мы должны выбраться отсюда! — взволнованно проговорил Тристрам. — Что-то здесь не так, есть во всем происходящем что-то зловещее.

— Именно это я и пытался втолковать вам с самого начала, — спокойно ответил Лайтбоди. — Но мы ничего не можем сделать.

— Эй, заткнитесь вы там, Бога ради! — прокричал сержант, который — хотя в море не было ни дня, ни ночи — пытался заснуть.

— Вы не понимаете, — настойчиво проговорил Тристрам, продолжая трясти Лайтбоди. — Происходящее зловеще вследствие своей ненужности. Если они хотят убить нас, то почему они не делают этого здесь и сейчас? Почему они не убили нас на острове Б6? Видимо, такие варианты им не подходят. Они хотят, чтобы у нас сохранилась иллюзия…

— Иллюзия выбора, — вставил сержант Лайтбоди. — Тут я склонен согласиться с вами. Мне кажется, они постараются поддерживать эту иллюзию довольно долго. Хотя, я надеюсь, не слишком долго.

— Но почему, почему?!

— Возможно, потому, что наше правительство полагает, будто каждый из нас обладает иллюзией свободы волеизъявления.

— Как вы думаете, корабль действительно плывет куда– нибудь?

Тристрам прислушался. Регистры корабельного двигателя– органа звучали, действуя на желудок успокаивающе, как теплый компресс, но невозможно было определить…

— Я не знаю. Мне все равно.

Вошел дежурный сержант — прыщавый молодой человек с лошадиными зубами и жилистой,

как канат, шеей. На голове его была фуражка, на рукаве повязка с буквами «ДС».

— Что там происходит, наверху? — спросил Тристрам.

— А мне почем знать? У меня работы по горло, а тут еще этим занимайся!

Сержант сунул руку в карман брюк.

— Это капрал-почтальон должен разносить. — Он перетасовал пачку писем.

— Письма?

— У меня и так работы до черта! Этот наш начальник Трупе — настоящий ублюдок, — продолжал разоряться сержант. — Хватайте! — Он бросил письма на середину стола, за которым сидели картежники. — Скорее бы смерть пришла да полететь бы к ангелам!

— Где вы их взяли? — спросил, нахмурившись, озадаченный Лайтбоди.

— В корабельной канцелярии. Там говорят, что письма сбросили с вертолета.

Началась общая свалка. Один из картежников заскулил: «Ну вот, и как раз, когда мне поперла приличная карта!» Есть! Одно письмо для него, для Тристрама. Первое, самое первое, буквально и абсолютно наипервейшее с тех пор, как он вступил в армию. Был ли это зловещий сюжетный

поворот, элемент сценария фильма? Он узнал почерк, сердце его бешено забилось. Исходя потом и дрожа, Тристрам лежал на своей койке, не в состоянии распечатать конверт трясущимися пальцами. Да! Да! Да! Это была она — его любовь: запах сандалового и камфорного дерева.

«Дорогой мой, дорогой мой Тристрам! В этом сумасшедшем мире произошли такие изменения, так много разных событий случилось с тех пор, как мы расстались с тобой так несчастливо, что я даже сказать ничего толком не могу, кроме того, что я без тебя скучаю, что я тебя люблю и очень хочу быть с тобой…» Тристрам прочитал письмо четыре раза и, кажется, потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил, что сжимает письмо мертвой хваткой.

«… Глядя на море, я теперь каждый день молюсь, чтобы оно мне тебя вернуло. Я люблю тебя, и если когда-нибудь я причинила тебе боль, прости меня. Вернись, вернись…» Да! Да! Да! Он будет жить. Им не удастся его прикончить.

Дрожа от слабости, Тристрам сполз со своей койки на палубу, сжимая в руке письмо, словно недельную получку. Не обращая внимания на окружающих, он опустился на колени, закрыл глаза и молитвенно сложил руки. Сержант Лайт-

боди в изумлении наблюдал за Тристрамом. Один из картежников проговорил: «Это он, козел, с начальником разговаривает», — и быстро и умело раздал карты.

Глава 6

Еще три дня в утробе корабля: постоянно горящий свет, стук двигателя, сырость на переборках, шум вентиляции… Яйца вкрутую на завтрак, толстые ломти хлеба и мясные консервы на обед, булочка к чаю, какао и сыр на ужин, запор

— новая забота на весь день — и мысли обо всем этом в солдатских головах.

И вдруг однажды, в сонное послеобеденное время, наверху раздался гудок, а откуда-то, очень издалека, послышался ответный гудок. Потом стало слышно, как долго с грохотом разматывается якорная цепь, а из громкоговорителей раздался голос корабельного старшины: «Высадка в семнадцать ноль– ноль, чай в шестнадцать ноль-ноль, построение в шестнадцать тридцать».

— Вы слышите этот странный звук? — спросил сержант Лайтбоди, усиленно скашивая глаза в направлении своего настороженного левого уха.

— Пушки?

— Во всяком случае, звук похож.

— Да.

В голове Тристрама, возникнув неизвестно откуда, зазвучали слова старинной песни: «Нас лупили под Лузом, а вы пили от пуза, а то пили вы от пуза, о чем не слышали под Лузом…» Где этот Луз и что они там делали? «Верните меня в старую добрую Блайти, посадите на поезд до…» («Блайти» — это ранение, обеспечивающее отправку на родину, не так ли? Такая рана была сияющей мечтой, как и Англия, поэтому слова «Англия» и «тяжелая рана» стали синонимами. Как трагична человеческая судьба!) С тоскливой монотонностью солдаты его взвода повторяли сентиментальный припев:

Будем мы вместе Навсегда, Не уйду я больше Никогда

Тристрам все жевал и жевал и никак не мог разжевать сухую булочку с тмином, которую им выдали к чаю: ему приходилось чуть ли не пальцем проталкивать кусочки булочки в желудок.

Напившись чаю, Тристрам надел шинель с рядом металлических пуговиц на груди, неглубокую стальную каску, похожую на перевернутую ванночку, в каких купаются птицы, и приобрел вид человечка с детского рисунка. Потом он взва-

лил на спину ранец, закинул на плечо полевую сумку, пристегнул подсумки и сухо щелкнул затвором пистолета. Скоро — образцовый солдат — он был готов предстать перед своим взводом и мистером Доллимором.

Войдя в столовую, Тристрам сразу же увидел мистера Доллимора, который уже был там и, обращаясь к солдатам, говорил: — Мы очень любим нашу добрую старую Англию. Всё для нее сделаем, что можем, так, ребята?

Его глаза сияли за стеклами очков, лоб был влажным, как стальная переборка. Смущенные солдаты отводили глаза. Тристрам вдруг понял, что очень их любит.

В трюм ворвался холодный морской воздух: открыли люки. Из громкоговорителей послышался равнодушный голос корабельного старшины, который начал объявлять порядок высадки. У Тристрама было время не спеша выбраться на палубу.

Темнота, редкие огоньки, леера, тросы, плюющиеся матросы в свитерах, обжигающий холод. На берегу — треск и глухие удары, вспышки разрывов.

— Где мы? — спросил Тристрам матроса с плоским лицом.

Матрос покрутил головой и сообщил, что не говорит по– английски: — Инго хуа, во бу дун.

«Китаец», — подумал Тристрам. Морской ветер шипел и свистел, это был язык чужого моря. «Чужого ли?» — задумался он.

Солдаты, взвод за взводом, быстро перебирая ногами в тяжелых ботинках, спускались по крутым сходням. Темный причал вонял мазутом. Фонарей было очень мало, словно было введено затемнение, но какое-то не совсем настоящее.

Офицеры-транспортники сновали взад и вперед, размахивая планшетками. Служащие военной полиции неторопливо прогуливались парами. Майор-штабник с красными петлицами и деланным акцентом аристократа орал на солдат, как погонщик скота, и подравнивал свой фланг с помощью плетеного кожаного стека. Мистер Доллимор, вместе с другими младшими офицерами, был вызван на короткое совещание неподалеку от какого-то сарая. В глубине суши слышались залпы тяжелых орудий и визг снарядов, виднелись огненные вспышки — в общем, все, как в кино про войну. Незнакомый капитан с торчащими, как У жука, усами, сильно жестикулируя, что-то объяснял мистеру Доллимору и его товарищам, которые стояли, разинув рот. «А

где же капитаны из нашей бригады? — Тристрам с беспокойством заметил, что среди офицеров их части нет ни одного званием выше лейтенанта. — Так-так. Значит, капитан Беренс просто сопровождал свою роту до корабля; значит, пушечное мясо — это от лейтенанта и ниже...» Мистер Доллимор вернулся назад и, запыхаясь, сообщил, что им предстоит совершить марш до базового лагеря, который находится в миле отсюда. Взвод за взводом батальон тронулся в путь, ведомый незнакомым капитаном. Солдаты тихо запели, прислушиваясь к ночи:

Мы вернемся домой, Мы вернемся домой, Может, летом, может, летом, Ну а может, зимой, Может, утром, может, утром Иль во тьме ночной.

Был безлунный вечер. Вспышки подсвечивали странные силуэты изуродованных деревьев по обе стороны шоссе. Кругом расстилалось пустынное, без единого деревенского дома, поле. Неожиданно капрал Хейзкелл сказал: — Я это место знаю. Клянусь. Есть тут что-то такое в воздухе... мягкое. Это Кэрри. Или Клэр. Или Голуэй. Я до войны объездил все западное побережье, — объяснил он почти извиняющимся тоном.

— Купить-продать, понимаете. Я эту часть Ирландии как свои пять пальцев знаю. Такая,

знаете, дождливая мягкость здесь.. . Значит, это мы с Маками идем воевать… Ну-ну. Дерутся они, как дьяволы. И никакие комплексы их не мучают. Отрежут вам башку и набьют опилками.

Приблизившись к базовому лагерю, подразделения перешли на строевой шаг. Их встретили забор из колючей проволоки, бетонные столбы ворот, болтающуюся створку которых придерживал часовой, и бараки с освещенными окнами. В лагере почти не наблюдалось движения. Какой-то солдат, напевая, нес кружки с чаем, стараясь не уронить лежавшие сверху булочки. Из сарая с вывеской «Сержантская столовая» доносилось меланхолическое позвякивание посуды на накрываемых столах, пахло не очень горячим жиром, в котором что-то жарилось.

Раздалась команда «Стой!». Солдатам приказали повзводно следовать в казармы под командой нестроевых младших капралов, обутых в парусиновые туфли. Рожи капралов светились довольством штабных крыс. Сержантов разместили в помещениях без всяких удобств: под потолком слабо горела красным светом однаединственная голая лампочка, на полу лежали пыльные засаленные ватные матрацы. Ни коек, ни запасных одеял не было. Грязная плита стояла

холодной. Проводником сержантов был мрачный старшина из хозчасти.

— Где мы находимся? — спросил Тристрам.

— В базовом лагере двести двадцать два.

— Это мы знаем. Где он находится? — В ответ старшина с чмоканьем втянул воздух через зубы и вышел.

— Прислушайтесь, — сказал сержант Лайтбоди Тристраму, когда они, сбросив ранцы, встали у двери. — Вы ничего странного не замечаете в звуках стрельбы?

— Тут так много всяких звуков…

— Я понимаю, но вы прислушайтесь. Звуки доносятся вон оттуда. «Дада-рам, дада-рам, дада-рам». Улавливаете?

— Вроде бы.

— «Дада-рам. Дада-рам». Это ни о чем вам не напоминает?

— Очень правильный ритм, да? Я понимаю, что вы имеете в виду: ритм слишком правильный!

— Совершенно верно! Не напоминает ли это вам прощальную речь командира части немного?

— Боже! Боже! — прошептал потрясенный открытием Тристрам. — Поцарапанная граммофонная пластинка! Не может быть!

— Очень даже может быть. Мощное усиление. Вспышки магния. Электронная война, граммофонная война. И противник, бедняга, видит и слышит то же самое.

— Мы должны вырваться отсюда!

Тристрама била дрожь.

— Невозможно. Мы здесь в такой же ловушке, как и на корабле. Забор под током, часовому приказано стрелять без предупреждения. Нам придется сидеть здесь до конца.

Но они все же дошли до проволочного забора, который был высотой футов в двенадцать Ограждение было сплетено на совесть. Тристрам осветил землю фонариком — Смотрите.

Узкий луч освещал обугленный трупик воробья Помахивая пустым котелком, к ним приближался похожий на кролика младший капрал. Он был без головного убора, воротник кителя расстегнут.

— Держитесь отсюда подальше, ребятки, — проговорил он с наглостью лагерного ветерана. — Это же электричество. И очень много вольт. Сгорите, к чертовой матери.

— Где именно мы находимся? — спросил его сержант Лайтбоди.

— В базовом лагере двести двадцать два.

— О! Ради всего святого, где он находится? —

воскликнул Тристрам.

— А это к делу не относится, — с проницательностью, свойственной его званию, ответил младший капрал — Это не имеет никакого значения. Есть такой кусочек земли, и все.

На дороге, проходившей рядом с лагерем, послышался усиливающийся рев моторов. Показался трехтонный грузовик с зажженными фарами, он направлялся к берегу моря. Вслед за ним проехал еще один грузовик, потом еще и еще… Это была целая колонна из десяти машин. Младший капрал стоял по стойке «смирно» до тех пор, пока не скрылся из глаз последний красный огонек.

— Покойнички, — сообщил он с тихим удовлетворением. — Полные грузовики трупов. А ведь подумать только, всего два дня назад они тоже были здесь, прогуливались, как и вы, перед ужином, а может, и со мной разговаривали, как и вы…

С деланной скорбью младший капрал покачал головой.

Далекий граммофон продолжал крутить пластинку: «Дада– рам, дада-рам…»

Глава 7

На следующее утро, сразу после мессы, им объявили, что вечером их отправят на фронт. Участие в каком-то шоу стало неизбежным. Мистер Доллимор сиял в его предвкушении.

— «Трубите трубы над морем тр-р-рупов!» — бестактно продекламировал он, стоя перед своим взводом.

— Похоже, что вы обуреваемы очень сильными позывами к смерти, — заметил Тристрам, чистивший свой пистолет.

— Что? Как? — Мистер Доллимор вернулся к реальности из своего цитатника. — Мы останемся живы. А боши получат свое, все, что им причитается!

— Боши?

— Да, враги. Это другое название противника, — объяснил Доллимор. — Когда я учился на офицерских курсах, нам каждый вечер кино показывали. Там всегда были боши. Нет, вру. Иногда там были фрицы. А иногда Джерри.

— Понятно. И вы, наверное, «проходили» стихи о войне?

— Да, утром в субботу. После перерыва. «Для

воспитания боевого духа», — говорил капитан Одэн-Ишервуд. Это были мои любимые занятия.

— Понятно.

День был сухим и холодным, ветер поднимал пыль. Перед глазами — колючая проволока под сильным током, надписи «МО»

— «Министерство обороны», перепаханное взрывами поле за забором, приводящее в уныние точно так же, как и неспокойные воды Атлантики вокруг острова Б6. Вдали все так же трещали разрывы и были слышны глухие удары. Представление было круглосуточным. Вполне возможно, что диск-жокеи в звании младших капралов работали в три смены, но в небе не было ни одной вспышки В полдень древний аэроплан — растяжки, распорки, открытая кабина, машущий рукой летчик в защитных очках — пролетел над лагерем туда и обратно.

— Один из наших, — объяснил взводу мистер Долли-мор. — Это наши доблестные Королевские военно-воздушные силы.

На обед были мясные консервы с гарниром из сушеных овощей, потом пара часов сна на раскладушке, потом чай с рыбным паштетом и Индивидуальным Фруктовым Пирогом Арбакля. Вечером, когда солнце утонуло в море, в этой

блестящей под луной кастрюле, полной звездной яичной скорлупы, пришло время получать со склада боеприпасы, а также мясные консервы, по банке на нос, и по краюхе серого хлеба. На этикетке консервной банки выделялись два крупных иероглифа: Тристрам усмехнулся: любой дурак, если у него сестра в Китае, может понять, что означает второй раздвоенный иероглиф (выходит, для китайцев сущность человека заключается в его раздвоенности?). Кстати, как-то она там поживает? И что с американским братом? За одиннадцать месяцев Тристрам получил одно письмо, всего одно, от близкого ему человека. И самого дорогого. Он похлопал себя по нагрудному карману, где письмо лежало в целости и сохранности.

«Шу жэнь», так? Транслитерация латиницей ясно виднелась на нижнем краю этикетки. Сочная, мягкая, готовая к употреблению человечина.

С наступлением сумерек их построили в походную колонну. Фляги были наполнены водой, штыки примкнуты, стальные каски обтянуты чехлами. Командование принял на себя мистер Солтер, офицер из другого батальона. Ему недавно присвоили звание капитана, и поэтому он чувствовал себя еще несколько не в своей тарел-

ке Похоже, на имевшейся у него бумажке был изображен маршрут следования. Провожать их никто не собирался. Капитан Солтер срывающимся на писк голосом скомандовал: «Направо по три шагом — марш!» — и Тристрам, выполняя команду, удивился ее несоответствию истории. Он был совершенно уверен, что во времена «тех» войн походные колонны строили «по четыре». Похоже, что в основе современной войны лежала эклектическая простота: «Не будем слишком педантичными».

Строевым шагом отряд промаршировал к выходу из лагеря. Кроме часового, которому по уставу полагалось отсалютовать им оружием, никто не помахал им рукой на прощанье. Они повернули направо и, пройдя с четверть мили, перешли на вольный шаг. Никто не запевал больше. Примкнутые штыки винтовок качались, как ветви Бирнамского леса. Между мощными взрывами, глухими ударами и трубными звуками, которые теперь были слышны на гораздо более широком пространстве, чем раньше (поцарапанную пластинку, по всей вероятности, «сняли с вооружения»), можно было слышать, как булькает вода в болтающихся флягах. Вспыхивали зарницы, по обеим сторонам дороги при

внезапных световых сполохах вырисовывались силуэты изуродованных деревьев. Отряд прошел через деревню, превращенную в невообразимую мешанину готических руин; в нескольких сотнях ярдов за окраиной деревни был отдан приказ остановиться.

— Можете оправиться! — выкрикнул капитан Солтер. — Разойдись!

Все разбрелись. Скоро даже самый глупый человек догадался бы, что значит команда «оправиться», у дороги стало уютно от приносящего облегчение теплого журчания. Всех снова построили.

— Сейчас мы находимся очень близко от линии фронта, — объявил капитан Солтер, — и враг может подвергнуть нас артиллерийскому обстрелу.

(«Чушь!» — подумал Тристрам.) — Дальше пойдем в колонну по одному, придерживаясь левой стороны дороги.

(«С „tre corde“ на «una corda"[16], как приглушенное пианино».) Отряд перестроился в одну длинную струну, и марш возобновился. Пройдя еще с милю, они увидели слева от дороги нечто похожее на разрушенный деревенский дом. При

---

[16] notes: 16
"Три струны», «одна струна» (ит)

свете зарницы капитан Солтер сверился со своей бумажкой, словно уточняя номер дома. Явно удовлетворенный, он смело направился ко входной двери. Длинная цепочка людей последовала за ним.

К своему удивлению, Тристрам обнаружил, что они попали в траншею.

— Странный домишко, — проворчал какой-то солдатик, словно действительно ожидал приглашения на званый ужин. «Домишко» был обыкновенной декорацией, какие сооружают для съемок фильмов. Тристрам осветил фонариком поверхность земли: какие-то ямы, мотки проволоки, бросившийся бежать маленький зверек с длинным хвостом — и немедленно услышал: «Выключите фонарь, черт вас дери!!» Тристрам повиновался: голос был властный. Вдоль бесконечной цепочки людей передавались слова предупреждений: «Яма,... ама,... ма. Провод,... овод,... вот». Слова изменялись согласно фонетике английского языка.

Тристрам, спотыкаясь, брел в голове первого отделения своего взвода. Он ясно различал мелькающие перед ним кадры, когда небо освещалось фейерверками. (А что же это еще могло быть? Эти вспышки должны быть фейерверками!) Несо-

мненно, здесь должны находиться и позиции, и вторая линия траншей, и часовые на стрелковых ступенях окопов, и дым, и вонь из землянок, но где это все? Лабиринт окопов казался совершенно необитаемым, никто не встретил их криками приветствий… Неожиданно траншея повернула направо. Шедшие впереди, спотыкаясь и тихо ругаясь, набивались в землянки.

— Противник, — с благоговейным страхом зашептал мистер Доллимор, — находится всего в ста ярдах отсюда. Вон там. — Красиво освещенный вспышкой, он указал в направлении полосы ничейной земли (или как она там называется). — Нам нужно выставить часовых. По одному через каждые сорок-пятьдесят ярдов.

— Послушайте, — обратился к лейтенанту Тристрам, — кто нами командует? И кто мы такие? В состав какой части мы входим?

— Дорогой мой, вы задаете слишком много вопросов, — кротко взглянул на Тристрама мистер Доллимор при новой вспышке фейерверка.

— Я хочу знать, — объяснил Тристрам, — мы что, подкрепление для какой-нибудь части, которая уже сидит в этих окопах, или же мы… Что мы такое?! Откуда мы получаем приказы? И какие приказы нам отданы?

— Послушайте, сержант, не ломайте голову над всеми этими заковыристыми вопросами, — по-отечески посоветовал ему мистер Доллимор. — Не беспокойтесь. Об этом есть кому подумать. Проверьте лучше, хорошо ли разместились люди. А потом распорядитесь насчет часовых, ладно?

Между тем безвредный шум продолжался. Проигрыватели надрывались, симулируя ожесточенную войну. Громкоговорители, должно быть, находились совсем рядом. Струи огня исключительной силы вырывались из земли, словно фантастические горящие нефтяные фонтаны.

— Красоти-и-ища! — проговорил солдат из Северной провинции, выглядывая из землянки.

— Какой смысл выставлять часовых? — наседал на Доллимора Тристрам. — Нет там никакого противника. А то все

— туфта! Очень скоро всю эту траншею взорвут, а взрывать будут с помощью дистанционного управления. И сделает это какой-нибудь проклятый паук-кровопийца, который сидит на базе. Вы что, не понимаете? Это же новый способ, современный способ избавиться от лишнего населения. Эти шумы — туфта! И вспышки — туфта. Где наша артиллерия? Видели вы хоть одну пушку у нас в тылу? Конечно, не видели! Видели

вы хоть один разрыв снаряда или шрапнели? Высуньте голову за бруствер. Что произойдет, как думаете?

Тристрам вскарабкался наверх по аккуратно уложенным, видимо каменщиком, мешкам с землей и выглянул наружу. Короткая вспышка осветила плоскую равнину и вереницу деревьев вдали, на фоне холмов.

— Видали? — спросил Тристрам, спускаясь вниз.

— У меня большое желание посадить вас под арест! — трясясь от злости, прошипел Доллимор. — У меня большое желание разжаловать вас немедленно! У меня большое желание..

— Вы не можете, — отрицательно покрутил головой Тристрам. — Вы только лейтенант. И ваш временно исполняющий обязанности кого-то там капитан тоже не может этого сделать. А вы вот ответьте мне еще на один вопрос: где старшие офицеры? Да здесь и днем с огнем не найдешь ни одного большого начальника! Где, например, штаб батальона? Возвращаюсь к моему предыдущему вопросу: кто отдает нам приказы?

— Это нарушение субординации! — трясся мистер Доллимор.

— А также измена!

— Э-э, что за бред! — оборвал его Тристрам без всякой субординации. — Ваш долг рассказать людям, что здесь творится. Ваш долг отвести людей обратно в базовый лагерь и предотвратить официально санкционированную бойню. И ваш долг

— начать задавать вопросы. Хоть бы иногда.

— Не растолковывайте мне мои обязанности! — завизжал мистер Доллимор, неожиданно для Тристрама вытаскивая пистолет. — У меня большое желание пристрелить вас! Мне дано такое право! За распространение паники и пораженческих настроений!

Пистолет в руке лейтенанта трясся так сильно, словно Доллимора била тропическая лихорадка.

— У вас пистолет на предохранителе, — спокойно проговорил Тристрам. — Так что заткнитесь. Кишка у вас тонка. Ну ладно, я отсюда сматываюсь. — И он повернулся кругом.

— О нет! Вы отсюда не смотаетесь!

И, к удивлению Тристрама, Доллимор, щелкнув предохранителем, нажал на спусковой крючок. Выстрел — и пуля, просвистев далеко мимо цели, застряла в мешке с песком. Кто-то из жующих солдат (а некоторые даже перестали жевать) высунулся из землянки, выпучив глаза в ту сторону, откуда раздался настоящий выстрел.

— Хорошо, — вздохнул Тристрам. — Подождите только, вот и все. И увидите, что я прав. Вы… идиот!

Глава 8

Тристрам был не совсем прав. Здравый смысл должен был бы подсказать ему, что в его эмоциональных рассуждениях есть слабое место.

Мистер Доллимор бросился разыскивать тот несчастный штаб, который был выдуман исполняющим обязанности начальствующего лица капитаном Солтером.

Тристрам отправился в расположение своего взвода. Капрал Хейзкелл сообщил ему: — Знаете, что я нашел, серж? Трилистник. Это доказывает, что тогда мы были совершенно правы.

— А вы не можете объяснить, почему мы здесь находимся?

— спросил Тристрам.

Капрал Хейзкелл растянул рот до ушей и ответил: — Чтобы воевать с Маками, как я и говорил. Хотя почему мы должны с ними воевать — одному Богу известно. Мы ведь до сих пор не знаем и половины того, что должны знать о происходящем, так ведь? Судя по тому, что я слышал в

новостях пару недель назад, мне казалось, что это должны быть китайцы. Может быть, ирландцы и китайцы сговорились?

У Тристрама мелькнула мысль: «Может быть, следует рассказать все капралу Хейзкеллу? На вид вполне добропорядочный отец семейства. Но они же мне никогда не поверят!» Было слышно, как всего в нескольких ярдах от них, в той же траншее, что-то напевает один из новоиспеченных офицеров. Может быть, там у них, на офицерских курсах, есть специальные занятия по изучению старинных военных песен?

Тристрам соображал, может ли он попытаться как-нибудь потихоньку смыться:"Если рассматривать всю эту затею как ловушку, как изуверскую выдумку, тогда пути назад, за линию окопов, нет. Если и есть какой-нибудь выход отсюда, то только вперед, через бруствер, а уж там — как повезет».

Он спросил Хейзкелла: — Вы совершенно уверены, что это западное побережье Ирландии?

— Уж если я в чем уверен, так именно в этом.

— Но вы не можете сказать, где точно?

— Нет, — ответил капрал Хейзкелл. — Но определенно могу сказать, что мы не севернее Коннаута. Это или графство Голуэй, или Клэр,

или Керри.

— Понятно. Ну а если кому-нибудь захотелось добраться до противоположного берега?

— Вам бы сначала пришлось найти железную дорогу, так ведь? У них тут в Ирландии сплошь старые паровозы, во всяком случае, так было, когда я здесь разъезжал. Дайте подумать… Если это Керри, тогда вам нужно добираться от Килларни до Дангарвана. А если мы дальше к северу, то от Листоуэла через Лимерик, Типперэри и Килкени до Уэксфорда. Или, если мы, предположим, в графстве Клэр…

— Благодарю вас, капрал.

— Но это дело безнадежное, конечно, если мы в состоянии войны с Маками. Они перережут вам горло сразу же, как только услышат ваш выговор.

— Понятно. Все равно спасибо.

— Уж не собираетесь ли вы дать деру, серж, а?

— Нет-нет, что вы, конечно, нет!

Тристрам выбрался из тесной вонючей землянки, набитой сидящими и лежащими вповалку людьми, и направился к ближайшему часовому перекинуться парой слов.

Часовой, прыщеватый парень по фамилии Бёрден, сообщил ему: — Они там занимают по-

зиции, серж.

— Где? Кто?

— Ну, там.

Часовой мотнул головой в каске в сторону окопов противника.

Тристрам прислушался. Китайцы?

Был слышен невнятный говор довольно высоких голосов. Записанные на пластинку шумы боя значительно ослабли.

«Вот оно!» Сердце у Тристрама упало: он оказался не прав, совершенно не прав! Противник существовал. Тристрам стал прислушиваться к звукам еще более внимательно.

— Похоже, что они занимают окопы очень быстро и почти без шума. По-видимому, очень дисциплинированный народ.

— Ну, теперь нам не долго ждать, — произнес Тристрам. Словно в подтверждение его слов, к ним, спотыкаясь о дно окопа, приблизился мистер Доллимор. Увидев Тристрама, он сказал: — Это вы? Капитан Солтер говорит, что вас нужно посадить под строгий арест. Правда, он сказал также, что теперь слишком поздно. В двадцать два ноль-ноль мы атакуем. Сверим часы!

— Атакуем? Как атакуем?!

— Вот опять вы с вашими глупыми вопросами!

Ровно в двадцать два ноль-ноль мы поднимаемся из окопов. А сейчас…

— Доллимор посмотрел на часы, — точно двадцать один тридцать четыре. Штыки примкнуть. Нам приказано захватить вражескую траншею.

Лейтенант был весел и возбужден.

— Кто отдал приказ?

— Не ваше дело, кто отдал приказ! Поднимайте взвод по тревоге. Винтовки снарядить, да пусть не забудут дослать патрон в патронник!

Теперь Доллимор стоял прямо, со значительной миной на лице.

— Англия! — неожиданно произнес он, гнусавя от слез. Тристрам, которому уже нечего было сказать в данной ситуации, отдал честь.

В двадцать один сорок внезапно наступила полная тишина. Ощущение было, как от пощечины.

— О Господи! — вырвалось у солдат, лишившихся привычного шума. Вспышек света больше не было. В этой странной настороженной темноте кашель и шепот солдат противника был слышен более ясно — это были голоса щуплых жителей Востока.

В двадцать один сорок пять солдаты выстроились вдоль траншеи; открыв рты и тяжело дыша. Мистер Доллимор, держа в трясущейся руке пи-

столет, неотрывно следил за стрелкой часов. Он был готов повести за собой тридцать человек в смелую атаку («стал некий уголок, средь поля, на чужбине»), чтобы отдать Богу душу («навеки Англией»).

Двадцать один пятьдесят. Казалось, слышно, как бьются сердца.

Тристрам знал, какая роль предназначена ему в предстоящем самоубийстве: если мистер Доллимор должен был повести за собой солдат, то он должен был подгонять их. («Поднимайтесь и лезьте наверх, вы, скоты, не то сейчас всех вас, трусов, перестреляю!!!») Двадцать один пятьдесят пять.

— О бог войны, — шептал мистер Доллимор, — укрепи мое солдатское сердце. Двадцать один пятьдесят шесть.

— Я хочу к мамочке! — кривляясь, всхлипнул какой-то юморист-кокни.

Двадцать один пятьдесят семь.

— Или же, — проговорил капрал Хейзкелл, — если бы мы находились значительно ниже, вам можно было бы добраться из Бентри до Корка.

Двадцать один пятьдесят восемь. Штыки колебались. Кто– то начал икать, произнося каждый раз: «Пардон!» Двадцать один пятьдесят девять.

— Аxx… — выдохнул мистер Доллимор, вглядываясь в циферблат своих часов так пристально, словно это была арена блошиного цирка. — Сейчас пойдем, сейчас пойдем…

Двадцать два ноль-ноль.

Оглушительно звонко завизжали беспощадные свистки вдоль всей линии окопов, и немедленно загремела сводящая с ума фонографическая бомбардировка. При свете слабых спазматических вспышек было видно, как мистер Доллимор, размахивая пистолетом и распялив рот в неслышном боевом кличе выпускника офицерских курсов, лезет через бруствер.

— Вперед, вы, бараны! — заорал Тристрам. Рассыпая угрозы, он совал пистолет под ребра солдатам, награждал их пинками и выталкивал наверх. Солдаты карабкались через бруствер, некоторые делали это довольно проворно.

— Нет! Нет! — кричал маленький невзрачный солдатик. — Ради Бога, не заставляйте меня!

— Лезь наверх, чтоб тебя разорвало! — рычал Тристрам сквозь зубы.

Сверху послышался вопль капрала Хейзкелла: — Господи, они прут на нас!

Затрещали и захлопали винтовочные выстрелы, холодный воздух наполнился сильным

запахом копченого бекона. Почему– то казалось, что разом зажгли тысячу спичек. Тоскливо засвистели пули. Стали слышны жуткие ругательства и крики. Тристрам, выглянув из окопа, увидел резко очерченные фигуры людей, сошедшихся в рукопашной схватке: они неуклюже падали, стреляли, кололи штыками. Все было, как в старых фильмах «про войну». Тристрам отчетливо увидел, что мистер Доллимор начинает падать на спину (как всегда, здесь был и элемент абсурда: казалось, что он исполняет танец и старается удержаться на ногах, чтобы этот танец продолжить) и затем падает с открытым ртом. Капрал Хейзкелл был тяжело ранен в ногу. Валясь на землю, он продолжал стрелять. Хейзкелл открыл свой рот для пули, как для причастия. Пуля разнесла ему лицо. Тристрам, опершись коленом на верхний мешок с песком, в бешенстве разрядил свой пистолет в неровную цепь набегавших на него солдат противника. Это была бойня, это было взаимное истребление, промахнуться было невозможно. Запоздало заразившись лихорадочным ознобом от мертвого бедняги Доллимора, Тристрам перезарядил пистолет и задом сполз в траншею, всаживая носки ботинок в щели между мешками с песком. Теперь из-за бруствера были

видны только его глаза, каска и рука со стреляющим пистолетом.

И Тристрам разглядел врага. Это были люди странного телосложения, низкорослые, с объемистой грудью и бедрами, кричащие высокими, как у женщин, голосами. Люди падали один за другим, воздух был полон вкусного дыма и звенел от пуль. Тристрам смотрел, а какой-то не затронутый эмоциями участок мозга рассортировывал происходящее по своим местам: все это было предопределено Священной Игрой Пелагианской Эпохи. Он почувствовал тошноту, и его вырвало кислым полупереваренным мясом. Один из солдат его взвода, бросив винтовку и хватая руками воздух, повернул назад, к окопу.

— О, Господи Иисусе! — причитал солдат. Вдруг из его груди вырвался стон — это пули впились ему в спину. Солдат падал, словно опрокинутый стакан, прямо на Тристрама, увлекая его за собой и обнимая своими слабеющими руками и ногами; это был человеческий остов, в котором происходило отделение духа от тела. Тристрам грохнулся на колеблющийся дощатый настил, стараясь освободиться от объятий инкубуса, который с хрипом выплевывал последние остатки жизни. Вдруг он услышал, как на флангах, словно

за кулисами театра, застучал сухой дождь пулеметной стрельбы — несомненно, подлинный звук на фоне бутафорской артиллерийской канонады. «Добивают, — понял Тристрам, — это их добивают».

Скоро грохот оборвался, не было слышно звуков, которые издают человеческие создания, раздавались только животные хрипы последних умирающих.

Одинокая вспышка позволила разглядеть циферблат часов: двадцать два ноль-три.

Три минуты от начала до конца.

С большим трудом Тристрам свалил придавившее его тело на доски настила. Из легких убитого вырвался последний стон. Потрясенный Тристрам с трудом отполз в сторону, чтобы похныкать в одиночестве. Запах чудовищной трапезы из копченого бекона еще носился в воздухе.

Тристрам не мог сдержать нахлынувших на него рыданий, он выл от отчаяния и ужаса. В темноте, словно в зеркале, он видел свое жалкое искаженное лицо, язык, слизывающий слезы, выпяченную нижнюю губу, дрожащую от страха и безнадежности..

Когда этот приступ ужаса кончился, Тристраму

показалось, что он слышит, как наверху возобновился бой, однако раздавались отдельные пистолетные выстрелы с неравными промежутками между ними. Выглянув из окопа, Тристрам со страхом заметил мечущиеся лучи фонариков, словно кто-то что-то искал. Ужас снова сковал его.

— Старый добрый «куп де грэйси"[17], — произнес хриплый голос. — Бедная маленькая сучка!

Послышались хлопки двух неотвратимых выстрелов Луч все рыскал и рыскал. Вот он перебежал через край окопа и подобрался к нему. Тристрам лежал неподвижно, на лице его была новая гримаса — это было лицо человека, претерпевшего насильственную смерть.

— Бедный старый педик, — произнес хриплый голос, и пуля звонко щелкнула о кость.

— Здесь сержант! — послышался другой голос. — Но с ним все в порядке.

— Лучше, чтоб наверняка, — посоветовал первый.

— О, черт! — выругался второй. — Меня тошнит от этой работы! Натурально тошнит. Это грязно, мерзко!

---

[17] notes: 17

"Куп де грэйси» (искаж. фр coup de grace) — «удар милосердия», которым приканчивали смертельно раненного

Тристрам почувствовал, как луч фонарика скользит по его закрытым глазам и… и идет дальше.

— Хорошо, — проговорил первый голос. — Бросай это дело. Еели тебе позволят. Ты! — окликнул он кого-то, находившегося в отдалении. — Оставь карманы в покое! Никакого мародерства! Имей хоть каплю уважения к покойникам, чтоб ты сдох!

Звуки шагов стали удаляться дальше в поле, время от времени раздавались выстрелы. Тристрам продолжал лежать совершенно неподвижно, как мертвый. Он не пошевелился даже тогда, когда по нему деловито пробежало какое-то маленькое животное, обнюхав лицо и пощекотав усиками. Настала тишина, не нарушаемая людьми, но Тристрам еще долго лежал, не шевелясь и медленно замерзая.

Глава 9

В мертвой, но безопасной тишине, подсвечивая себе фонариком, Тристрам добрался наконец до той землянки, где капрал Хейзкелл преподавал ему географию Ирландии, а солдаты первого отделения его взвода, лежа вповалку, распевая песни

и нервничая, ожидали боя. Вход в землянку был завешен одеялом, и внутри еще стоял спертый воздух. Это был запах жизни.

Кругом валялись ранцы и фляги, здесь же, вероятно, лежали и вещи Тристрама, который сбросил этот ненужный груз в землянке одного из отделений, когда занимали окопы. Аккумуляторная лампочка была погашена перед атакой, и Тристрам не стал ее зажигать. Под лучом фонарика на столе заблестели лежавшие кучкой монеты: гинеи, септы, тошроны, кроны, таннеры, квиды, флорины. Тристрам знал, что это была взводная «черная касса». Бесполезная для мертвых, она была наградой уцелевшим. Древняя традиция. Тристрам — единственный оставшийся в живых — низко опустил голову, рассовывая деньги по карманам. Потом он набил первый попавшийся под руку ранец мясными консервами, прицепил к поясу полную флягу с водой и зарядил пистолет. Закончив, он тяжело вздохнул: ему предстоял новый анабасис.

Тристрам выбрался из окопа и, спотыкаясь о трупы, побрел через узкую полосу ничейной земли. Пользоваться фонариком на открытом пространстве он не решался.

Ощупью Тристрам спустился во вражескую

траншею, оказавшуюся очень мелкой, так же ощупью выбрался из нее и пошел дальше, морщась от боли в спине, ушибленной при падении с бруствера на дощатый настил, и настороженно ожидая выстрелов возможно притаившихся где-нибудь стрелков.

Только звезды освещали расстилавшуюся перед ним голую землю.

Пройдя, по его расчетам, примерно с милю, Тристрам увидел на горизонте слабые, далеко расположенные друг от друга огоньки. Вынув пистолет, тяжело переставляя ноги, он осторожно продвигался вперед. Огни увеличивались в размерах, и скоро уже стали похожи на фрукты, а не на их семена. Скоро Тристрам, к своему ужасу, увидел высокий проволочный забор, бесконечно растянувшийся в обе стороны. Это было местами освещенное, местами затемненное плотное стальное кружево. Забор, вероятно, под электрическим током, как в базовом лагере. Не оставалось ничего другого, как не таясь идти вдоль ограждения (кругом не было ни кустов, ни деревьев) и, будучи готовым блефовать, угрожать, применять силу, прорываться в открытую, если будет такая возможность.

Через некоторое время Тристрам наконец уви-

дел в этом бесконечном заборе что-то вроде КПП. Он осторожно приблизился: перед ним были прочные металлические ворота, украшенные наверху колючей проволокой Перед воротами торчала маленькая деревянная будка с одним подслеповатым окошком, а перед дверью будки стоя дремал часовой в шинели и каске. Будка, ворота, проволока, темнота, часовой — и ничего больше.

Испуганно вздрогнув, часовой ожил и, вытаращив глаза, направил на Тристрама винтовку.

— Пропустить! — скомандовал Тристрам.

— Откуда вы взялись?! — Довольно тупое лицо часового выражало тревогу.

— Вы что, не видите моего звания? — взорвался Тристрам.

— Дайте мне пройти! Проведите меня к начальнику караула!

— Простите, сержант. Я вроде как обалдел. Первый раз вижу, чтобы кто-нибудь пришел с этой стороны!

Пока все шло хорошо.

Часовой приоткрыл створку ворот, провизжавшую колесиками по земле.

— Сюда, пожалуйста, — проговорил он, хотя никакого другого выхода здесь и не было, — сер-

жант.

Часовой провел Тристрама к домику караульного помещения, открыл дверь и пропустил его внутрь.

С потолка караулки свисала желтая, как апельсин, маломощная лампочка, на стене висели инструкции в рамочках и карта. Нос капрала Хейзкелла сработал удивительно точно: это была карта Ирландии.

За столом, положив ноги на стул, сидел капрал и чистил ногти. Прической и выражением лица он смахивал на Шарля Бодлера.

— Встать, капрал! — рявкнул Тристрам.

Капрал вскочил, в панике уронив стул. Он был напуган офицерским акцентом Тристрама больше, чем его нашивками.

— Хорошо, — проговорил Тристрам. — Садитесь. Вы начальник караула?

— Сержант Форестер. Он спит, сержант. Я его разбужу!

— Не беспокойте его. — Тристрам решил врать напропалую.

— Мне нужен транспорт. Где я могу добыть какой-нибудь транспорт?

Капрал выпучил глаза в точности так, как пучит их сам Шарль Бодлер на своем дагерротипе.

— Ближайший автопарк находится в Дингле… Смотря куда вы хотите ехать.

— Мне нужно доложить об этом последнем шоу, — ответил Тристрам. — Можно взглянуть на карту?

Он подошел к карте, на которой был изображен разноцветный неуклюжий зверь, называвшийся Ирландией.

Дингль находился, само собой, на берегу залива Дингль. Заливы Дингль и Трали вгрызались в территорию графства Керри, образуя полуостров. Глядя на карту, Тристрам все понял: на многих островках и выступах западного побережья красовались флажки Министерства обороны. По всей видимости, Правительство Единой и Неделимой Ирландии сдало эти территории в аренду британскому Министерству обороны для организации псевдотренировочных лагерей.

— Угу, угу, — гмыкал Тристрам, разглядывая карту.

— А где находится то место, куда вы хотите добраться? — спросил капрал.

— Вам бы следовало подумать, прежде чем задавать такой вопрос, — укоризненно проговорил Тристрам. — Есть такая вещь, как военная тайна, слыхали?

— Простите, сержант. Сержант… а что там действительно происходит? — смущенно спросил капрал и ткнул пальцем в направлении огромного огороженного полигона.

— Вы хотите сказать, что вам ничего не известно?

— Никто не имеет права заходить туда, серж. Туда ни разу не пропустили ни одного человека. Мы слышим только шум, и всё. Но, судя по звукам, условия, в которых проходят тренировки, очень приближены к боевым. Но никому и никогда еще не разрешили посмотреть на это, серж. Так предписывают инструкции.

— А обратно людей выпускают?

— Ну, этого тоже не бывает, понимаете… Никто не выходит через эти ворота, вот почему я так думаю. Вы первый, кого я вижу, а я здесь служу уже девять месяцев. Не стоило здесь и ворота городить, правда ведь?

— Ну, не знаю, — проговорил Тристрам. — Сегодня ведь они сослужили свою службу?

— Ваша правда! — ответил капрал, испытывая благоговейное восхищение предусмотрительностью все предвидящего Провидения. — Это действительно совершеннейшая правда!

Полный желания помочь Тристраму, он доба-

вил: — Но, конечно же, вы всегда можете сесть на поезд и поехать туда, куда вам нужно, сержант.

— Где станция?

— О, всего в одной или двух милях отсюда прямо по дороге. Железнодорожная ветка до Трали. Там ходит рабочий поезд до Килларни, часа в два ночи. Вы легко доберетесь, если этот вариант вас устраивает.

(«Думать надо, думать!») Эта ночь еще не кончилась, и тем не менее казалось, что целый пласт какого-то другого времени отделяет его от того момента, когда раздался визг свистков. Сержант Лайтбоди, которого Тристрам вдруг вспомнил, говорил о том, что собирается найти «великое возможно». Странно подумать, но он уже давно нашел его. Которое больше уже не «возможно», конечно. Тристрам поежился.

— Вы не очень хорошо выглядите, сержант. Вы уверены, что сможете туда добраться?

— Я смогу, — ответил Тристрам. — Я должен смочь.

ЭПИЛОГ
Глава 1

Маршрут: Трали — Килларни — Мэллоу. Большую часть пути Тристраму снились плохие сны. Подняв воротник шинели, он прикорнул в углу купе. Во сне ему слышался какой-то противный высокий голос, который, перекрывая рев паровоза, вел подсчеты: «Предположим, что сегодня ночью мы проводили двенадцать сотен людей. Предположим, что каждый в среднем весит десять стоунов (женщины легче мужчин), и получим двенадцать тысяч стоунов брутто. Умножаем на тысячу — получаем двенадцать миллионов стоунов мяса (живьем, на своих двоих) на одну ночь хорошей работы в мировом масштабе. Желающие на досуге могут пересчитать в тонны». Взвод Тристрама стоял в строю, и все с печальными лицами показывали на него пальцами: он был еще жив. Встрепенувшись, Тристрам проснулся в холодном поту, когда поезд подходил к Мэллоу. Рабочий-ирландец положил ему руку на плечо и успокоил его, сказав: «Все в порядке, парень».

За день Тристрам добрался от Мэллоу до Россле-

ра. Ночь он провел в гостинице, а утром, заметив, что вокруг бродит военная полиция, купил костюм, плащ, рубашку и ботинки. Свою военную форму он запихал в ранец, вынув оттуда мясные консервы. Тристрам подарил их нищей старухе, которая благодарно запричитала: «Да благословит тебя Христос, Дева Мария и святой Иосиф, сынок!» Пистолет он сунул в карман.

На борт пакетбота, следовавшего до Фишгарда, Тристрам взошел гражданским человеком.

Переход был тяжелым — февраль. Пролив Святого Георгия вставал на дыбы и храпел, как дракон. В Фишгарде Тристрам почувствовал себя совсем больным и провел там ночь. Следующий день был солнечным, а воздух прохладно-бодрящим, как рейнвейн. Тристрам отправился на юго-восток, в Брайтон. Во всяком случае, билет, который он купил, был до Брайтона.

После того как поезд миновал Солсбери, у Тристрама вдруг возникло непреодолимое желание пересчитать деньги. Взводные деньги. Их оказалось тридцать девять гиней, три септа и один таннер.

Тристрама непрерывно бил озноб, да так, что соседи по купе бросали на него любопытные взгляды. К тому времени, когда доехали до Саут-

гемптона, Тристрам понял, что по– настоящему болен, хотя, возможно, у него еще хватит сил сойти с поезда и найти убежище, чтобы оправиться от болезни. Имелось множество веских причин для того, чтобы не появляться в Брайтоне, шатаясь и теряя сознание от слабости, а значит, и не имея возможности овладеть ситуацией.

В Саутгемптоне, неподалеку от Центрального вокзала, Тристрам нашел военную гостиницу, занимавшую пять нижних этажей какого-то небоскреба Войдя в гостиницу, он показал свою расчетную книжку и заплатил за пять дней вперед. Старый служитель в вытертой синей куртке привел его в маленькую, холодную, помонастырски меблированную комнату, где — о счастье! — на кровати лежала целая куча одеял.

— Как вы себя чувствуете? — спросил старик — Нормально,

— ответил Тристрам.

Как только старик вышел, он запер дверь, быстро разделся и заполз под одеяла. В постели Тристрам позволил себе расслабиться и разрешил лихорадке — словно дьяволу или любовнице — полностью овладеть им.

Бесконечный потный озноб оказался сильнее времени, пространства и ощущений Исходя из

естественного чередования света и тьмы, Тристрам прикинул, что он лежит в постели уже часов тридцать шесть. Болезнь терзала и грызла его тело, как собака кость. Потливость была такой сильной, что мочевой пузырь совершенно не беспокоил Тристрама. Он чувствовал, как ощутимо худеет и становится легче. К кризису он приблизился с убеждением, что тело его стало прозрачным, что каждый внутренний орган у него фосфоресцирует в темноте, а отсутствие медсестры-инструктора, которая могла бы привести своих студентов-анатомов полюбоваться на него, — скандальное недоразумение.

Наконец Тристрам провалился в окоп забытья, столь глубокий, что до него не могло дотянуться ни одно сновидение, ни одна галлюцинация.

Он проснулся утром с таким ощущением, словно проспал целую зиму, как медведь или черепаха, потому что солнце, освещавшее комнату, сияло совсем по-весеннему. Тристрам с болью выдернул ощущение времени из того места, где оно пряталось, и вычислил, что сейчас должен быть еще февраль, еще зима.

Сильнейшая жажда выгнала его из постели. Пошатываясь, Тристрам подошел к умывальнику, вынул из стакана ледяные на ощупь зубные про-

тезы и, раз за разом наполняя его жесткой южной известковой водой, стал жадно глотать ее, громко булькая. Он пил до тех пор, пока, задыхаясь, не свалился на кровать. Знобить его перестало, но он все еще чувствовал себя легким, как листочек папиросной бумаги.

Тристрам завернулся в одеяла и снова заснул.

На этот раз его разбудил переполненный мочевой пузырь, и, говоря по секрету, Тристрам опорожнил его в раковину умывальника. Теперь он чувствовал, что может держаться на ногах, хотя ему и было очень холодно.

Это потому, что он ничего не ел.

Солнце садилось, наступал промозглый вечер. Тристрам оделся и, немытый и небритый, спустился в столовую. Кругом сидели солдаты, пили чай, хвастались и жаловались на жизнь, хотя были еще совсем «салаги». Тристрам попросил куриных яиц и натурального молока. О мясе он не мог и подумать.

Ел он очень медленно и чувствовал, как к нему вроде бы возвращаются силы. Тристрам был удивлен, заметив, что воскрешен древний обычай, введение которого в Англии приписывается легендарному мореплавателю по имени Джон Плейер: некоторые солдаты давились от кашля,

держа во рту свернутые трубочкой бумажки, подожженные с одного конца.

«И покроете себя ела… ела… дада-рам, дада-рам…» Из груди Тристрама вырвалось рыдание.

Лучше ему вернуться в постель.

Тристрам крепко проспал еще какой-то промежуток времени, не измеренный сменой света и тьмы. Когда он проснулся — это произошло внезапно, — он обнаружил, что перенесся в мир совершенной духовной ясности.

— Что ты намерен делать? — спросила спинка кровати.

— Не дать себя поймать! — вслух ответил Тристрам.

Его насильно завербовали в армию двадцать седьмого марта прошлого года, в день праздника Пасхи, и должны были демобилизовать ровно через год. До этой даты — еще больше месяца! — он не мог чувствовать себя в безопасности. Он не выполнил приказа умереть. Вполне возможно, что военное ведомство будет охотиться за ним до тех пор, пока он не искупит вину, выполнив свой долг. «А правда, захотят ли они возиться?» Подумав, Тристрам решил, что захотят, потому что вопросительный знак вместо галочки против одного из имен в списке личного состава не будет

давать им покоя, означая пропажу расчетной. книжки. Возможно, что даже здесь, в этой армейской гостинице, его поджидает опасность. Тристрам подумал, что чувствует себя уже достаточно хорошо, чтобы уйти отсюда.

Он помылся, тщательно побрился и, внимательно следя за собой, переоделся в гражданское.

Легкий, как остриженная овца, почти спорхнул он вниз по лестнице: болезнь принесла благо, очистив от тяжких мыслей.

Патруля военной полиции в вестибюле не было.

Тристрам думал, что выйдет навстречу утру, но, нырнув с головой в этот приморский город, он обнаружил, что уже середина дня. Он отведал жареной рыбы в каком-то окраинном ресторанчике, а потом, неподалеку от него, нашел неряшливо выглядевший дом с меблированными комнатами, который его вполне устраивал: никаких вопросов, никакого любопытства. Тристрам заплатил за неделю вперед. «Денег хватит как раз до дембеля», — подумал он.

Глава 2

Следующие четыре недели Тристрам провел с большой пользой. Он вспомнил о своем призвании преподавателя истории и связанных с ней дисциплин, а потому, финансируемый своим бедным мертвым взводом, прописал себе краткий курс реабилитации. Целые дни он проводил в Центральной библиотеке, читая работы великих историков и историографов своей эпохи: «Борьбу идеологий в двадцатом веке» Скотта, «Principien der Rassensgeschichte"[18] Цукмайера и Фельдфебеля, «Историю ядерной войны» Стеббинга-Брауна, «Гунчаньчжуи"[19] Жу Ансюна, «Суррогаты религий в прототехническую эпоху» Спарроу, «Учение о Колесе» Радзиновича. Это все были тоненькие книжечки, написанные логограммами, их урезанная орфография служила целям экономии печатной площади. Похоже, что теперь этой площади было достаточно. По вечерам, для того чтобы расслабиться, Тристрам

---

[18] notes: 18
"История как борьба рас» (нем)

[19] notes: 19
Гунчаньчжуи — коммунизм (кит.)

читал современных поэтов и романистов. Ему казалось, что писатели Пелфазы дискредитировали себя: никто из них, похоже, не мог (а жаль, что ни говори!) создать настоящее произведение искусства, исходя из принципов доброго старого либерализма. Новые книги были полны секса и смерти — тем, вероятно, единственно достойных писателя.

Двадцать седьмого марта, в понедельник, прекрасным весенним утром Тристрам на поезде отправился в Лондон.

Министерство обороны находилось в Фулхэме. Оно оказалось рядом офисов в небоскребе умеренной высоты (тридцать этажей), который назывался «Джунипер-билдинг».

— Вам нельзя сюда, сэр, — сообщил ему швейцар– отставник.

— Почему это?

— Нельзя, если не назначено.

— Прочь с дороги! — зарычал Тристрам. — Вы, похоже, не знаете, кто я такой?

Оттолкнув швейцара в сторону, он решительно прошел в первый попавшийся офис, где множество упитанных блондинок трещали электрическими аудиофонами.

— Я хочу видеть кого-нибудь из начальства, —

объявил Тристрам.

— Вы никого не можете видеть, если вам не назначено! — огрызнулась одна из молодых женщин.

Тристрам прошел офис насквозь и открыл какую-то дверь с застекленной верхней половиной. Он увидел лейтенанта, который, тяжело задумавшись, сидел между двумя пустыми корытцами для «входящих-исходящих» — Вас кто пропустил? — спросил лейтенант.

На носу у лейтенанта сидели большие очки в черной оправе, цвет кожи был, как у сладкоежки, ногти обгрызены до мяса, а на плохо выбритой шее красовался клок волос.

— Глупый вопрос, вам не кажется? Меня зовут Т Фокс. Сержант Фокс. Докладываю вам, что я единственный, кто остался в живых после одного из тех славно придуманных миниатюрных побоищ на западном побережье Ирландии Я бы хотел поговорить с кем-нибудь поважнее вас.

— Оставшийся в живых?! — переспросил пораженный лейтенант. — Лучше вам, наверное, пойти и представиться майору Беркли.

Лейтенант встал из-за стола, показав брюшко канцелярского служащего, и вышел в другую дверь. В дверь, через которую ворвался Тристрам,

постучали.

— Войдите! — крикнул он.

Это был швейцар.

— Простите, что я позволил ему пройти мимо меня, сэр…

— начал он и охнул: Тристрам держал в руке пистолет.

Если они хотят играть в солдатики — Бог в помощь.

— Псих! — взвизгнул швейцар и быстро захлопнул дверь. Через стекло можно было рассмотреть его быстро удаляющийся силуэт.

Вернулся лейтенант.

— Следуйте за мной, — пригласил он.

Тристрам пошел за лейтенантом по коридору, который был освещен только светом из других застекленных дверей. Пистолет он сунул в карман.

— Сержант Фокс, сэр! — доложил лейтенант, вытаращивая глаза на офицера, который делал вид, что ужасно занят составлением какой-то срочной депеши. Офицер был майором с очень красивыми темно-рыжими волосами. Склонившись над столом, он представил Тристраму на обозрение маленькую лысинку величиной с просфору. На стенах были развешаны групповые фотографии каких-то людей, одетых большей

частью в шорты.

— Одну минутку, — сурово проговорил майор, продолжая усердно писать.

— Ах, да бросьте вы! — раздраженно сказал Тристрам.

— Простите, не понял?

Майор поднял голову. Глаза у него были подслеповатые, цвета устричной раковины.

— Почему вы не в форме?

— Потому что, по условиям контракта, записанным в моей расчетной книжке, я закончил свою службу сегодня ровно в двенадцать часов дня.

— Понятно. Оставьте нас наедине, Ральф, — приказал майор лейтенанту. Тот ответил поклоном официанта и вышел.

— Итак, — обратился майор к Тристраму, — что это вы там говорили насчет того, что вы единственный уцелевший?

Похоже было, что он не ждал немедленного ответа, так как попросил у Тристрама расчетную книжку, чтобы взглянуть на нее.

Тристрам протянул документ. Сесть ему не предложили, поэтому он сел сам.

— Угу, — буркнул майор, открыл книжку и принялся ее изучать. Щелкнув тумблером, он проговорил в микрофон: «7388026, сержант Т.

Фокс. Личное дело немедленно, прошу вас». Затем, обращаясь к Тристраму, майор спросил:
— Так зачем же вы к нам пожаловали?

— Заявить протест! — ответил Тристрам. — И предупредить, что я собираюсь взорвать весь этот дешевый театр!

Вид у майора был озадаченный. В задумчивости он принялся тереть свой длинный нос. Из щели в стене выскочила кожаная папка и упала в проволочную корзину. Майор открыл папку и начал внимательно читать.

— Так-так, понятно, — вскоре проговорил он. — Похоже, что все вас ищут! Строго говоря, вы должны быть мертвы, разве нет? Вы должны были умереть вместе, со своими товарищами. Должно быть, вы быстро бежали! Вы знаете, я еще могу арестовать вас как дезертира. Наверстать упущенное.

— Ерунда это! — вспылил Тристрам. — Будучи единственным оставшимся в живых, я превратился в командира этого несчастного убитого взвода. Именно я должен был принимать решения! И я решил предоставить себе месячный отпуск. К тому же я был болен, что неудивительно.

— Это нечестно, понимаете?

— Вот уж не вам и вашей организации кровожадных убийц говорить о честности! Шайка вонючих свиней-душегубов, вот вы кто!

— Так-так, — проговорил майор. — А вы себя с нашей организацией никак не связываете? Осмелюсь предположить, что вы убили людей гораздо больше, чем, скажем, я. Вы действительно принимали участие в М. И.?

— Что такое М. И.?

— Мероприятие по истреблению. Так теперь называются эти новые сражения, понимаете? Осмелюсь предположить, что вы приняли в такой акции посильное участие. Ну, скажем, защищая себя. В противном случае, я не понимаю, как вам удалось остаться в живых?

— Нам дали приказ!

— Конечно, дали. Приказ стрелять. И это всего лишь справедливо — стрелять, когда в тебя стреляют. Не правда ли?

— И все равно это было убийство! — горячо возражал Тристрам. — Убийство бедных, несчастных, беззащитных…

— О-о-о, послушайте-ка, они ведь были не такими уж беззащитными, не правда ли? Берегитесь банальностей, Фокс! Одна банальность тащит за собой другую, и знаете, серия банальностей все-

гда кончается абсурдом. Солдаты были хорошо обучены и хорошо вооружены, и они умерли с честью, веря в то, что отдают жизни за великое дело. И вы знаете — так оно и есть! А вот вы сохранили себе жизнь, исходя, безусловно, из совершенно бесчестных побуждений. Вы оставили себя в живых, потому что не верите в то, за что боремся мы, за что мы всегда будем бороться. Понятно — вас загребли в самом начале, когда система была крайне несовершенна. Сейчас же призыв в армию осуществляется очень избирательно. Мы больше не берем подозрительных личностей вроде вас.

— Вы просто используете бедняг, которые находятся в безвыходном положении, так?

— Конечно. Без дураков и энтузиастов как-то лучше жить. А также без бродяг и уголовников. Если говорить о женщинах — без кретинок-производительниц. Знаете, это очень здраво в смысле генетики!

— О Боже, Боже! — простонал Тристрам. — Это же явное безумие!

— Ничуть. Вспомните — вы выполняли приказ. Мы все выполняем приказы. В конечном счете приказы Министерства обороны — это приказы УОНЗ.

— Убийцы они, как бы их ни называли!

— О нет! УОНЗ — это Управление по Ограничению Населения Земли. Конечно же, военных приказов в буквальном смысле оно не отдает. УОНЗ просто делает официальные сообщения о численности населения, соотнося эту численность с запасами продовольствия (всегда с прикидкой на будущее, конечно). И их концепция обеспечения продовольствием — это не та старая примитивная идея минимального рационирования. Их цель — высокие стандарты, подразумевающие наличие запасов. Я не экономист, между прочим, так что какие такие запасы — меня можете не спрашивать.

— Я об этом все знаю, я историк, — заметил Тристрам.

— Что вы говорите! Тогда, я полагаю, вас или нужно было оставить инструктором, а рано или поздно кто-нибудь получит нагоняй за ваш перевод в боевую часть, или… о чем бишь я говорил? Да! Или вас не нужно было брать в армию совсем.

— Я понимаю, к чему вы клоните, — проговорил Тристрам.

— Я слишком много знаю. Так? А ведь я еще собираюсь и написать, и рассказать — ученикам

тоже! — о вашей организации циничных убийц. Полицейского государства больше нет! Нет шпионов, нет цензуры. Я расскажу всю правду. Я заставлю Правительство действовать!

Майор был невозмутим. Медленными движениями он тер свой нос.

— Несмотря на свое название, — заговорил майор, — Министерство обороны на самом деле не является правительственным учреждением. Это корпорация. А название — Министерство обороны — просто дань прошлому. Это корпорация, работающая по договору с Государством. Договор должен возобновляться каждые три года, если я не ошибаюсь. Не думаю, чтобы существовала какая-нибудь вероятность того, что договор не будет продлен. Действительно, а каким другим способом сдержать рост населения? В прошлом году рождаемость подскочила феноменально и продолжает расти. Не то чтобы в такой ситуации было что-то ненормальное, нет, конечно. Контрацепция — вещь жестокая и неестественная: каждый имеет право появиться на свет. Так же как каждый должен умереть, рано или поздно. Мы будем поднимать порог призывного возраста все выше и выше — в той степени, конечно, насколько это касается физически здоровой и

умственно нормальной части населения: дрянь должна исчезать сразу по достижении половой зрелости. Умереть должен каждый, а история, похоже, говорит о том (вы как историк со мной согласитесь), история говорит о том, что смерть солдата — лучшая из смертей. «Перед лицом судьбы ужасной…» — как говорит поэт. «За предков прах, за храмы и богов…» — и так далее, и тому подобное. Я не думаю, чтобы вам удалось отыскать хоть кого-нибудь, кто возражал бы против существующей системы. Деятельность Министерства обороны несколько напоминает проституцию: она очищает общество. Если бы нас не существовало, много бы всякой мерзости булькало на поверхности Государства. Мы как раковины-жемчужницы, понимаете? Хулиганы, извращенцы, искатели смерти… вы же не хотите, чтобы они существовали в гражданском обществе? До тех пор пока существует армия — не будет полицейского государства, не будет «серых», и резиновых дубинок, и зверских пыток, и расстрелов в обременительно ранние часы. Основные проблемы Государства решены. Теперь у нас свободная страна: порядок без заорганизованности, что означает — порядок без насилия. Безопасное общество, в котором есть место для

каждого. Чистый дом, населенный счастливыми людьми. Но в каждом доме должна быть канализационная система. Это мы и есть.

— Это неправильно, — заявил Тристрам. — Все, все неправильно!

— Что вы говорите! Что ж, когда придумаете что-нибудь получше, приходите и расскажите нам.

С крошечным остатком надежды Тристрам спросил: — Считаете ли вы, что люди по сути своей добропорядочны?

— Ну, теперь у них есть шанс стать добропорядочными гражданами.

— Все точно. Это означает, что возврата либерализма ждать недолго. Не думаю, чтобы Пелагианское государство возобновило с вами договор.

— Не думаете? — как-то безразлично переспросил майор.

— Вы подписали себе смертный приговор самим фактом своего существования.

— Мне кажется, вы выражаетесь излишне афористично, — проговорил майор. — Знаете… мне было приятно с вами побеседовать, но я действительно очень занят. Понимаете, строго говоря, раз уж речь идет о вашей демобилизации, вам бы

нужно пройтись по соответствующим инстанциям. Но я подпишу вашу отставку, если уж вам так невтерпеж, и дам вам квиточек для бухгалтерии.

Майор принялся скрести пером.

— Вознаграждение — по двадцать гиней за каждый месяц службы. Месяц официального отпуска по случаю демобилизации будет полностью оплачен. Так… Ну а детали вы там с ними обговорите. Принимая во внимание, что человек вы очень недоверчивый, вам заплатят наличными.

Майор улыбнулся и добавил: — И не забудьте сдать пистолет. — Тристрам с удивлением заметил, что держит в руке пистолет, направив его на майора.

— Отдайте-ка его лучше мне. Мы не так уж любим насилие, знаете ли. Стрельба — это для армии, а вы теперь вне армии, мистер Фокс.

Тристрам покорно положил пистолет на майорский стол. Сейчас он понял, что стрелять в Дерека было бы дуростью.

— Есть еще вопросы? — поинтересовался майор.

— Только один. Что происходит с убитыми?

— С убитыми? А… Понимаю, что вы хотите спросить. Когда солдата вычеркивают из списков личного состава по случаю смерти, то у него за-

бирают расчетную книжку и посылают письмо с выражением соболезнований его — или ее — близким. На этом заботы военного департамента кончаются. Дальше уже подключаются гражданские подрядчики. Вы знаете, мы извлекли кое-какие уроки из прошлого мотовство до добра не доводит. А уж что там делают гражданские подрядчики — это их забота. Деньги всегда кстати. Деньги поддерживают корпорацию в рабочем состоянии. Понимаете, мы полностью независимы от Казначейства. Мне кажется, этим можно гордиться. Есть еще вопросы?

Тристрам молчал.

— Вот и хорошо. Ну, лучшие пожелания, старина. Полагаю, сейчас вы начнете подыскивать себе работу? С вашей квалификацией у вас не должно быть больших трудностей.

— И с моим жизненным опытом.

— Вот именно.

Улыбаясь, как родному, майор встал, чтобы пожать Тристраму руку.

Глава 3

Тристрам сел на ближайший поезд подземки, идущий до Брайтона. Прислушиваясь к стуку

колес, он повторял про себя: «Терпение, терпение, терпение…» Это слово заключало в себе очень много: терпеть, может быть, придется долго и тяжко, а ожидания могут сбыться не скоро. Когда его обступили громады зданий Брайтона, душа содрогнулась от воспоминаний и надежд. «Терпение. Держись от моря подальше, хотя бы недолго. Делай все правильно».

Тристрам нашел Министерство образования там, где оно всегда и находилось: на Эдкинс-стрит, сразу за Ростронплейс. В отделе кадров сидел все тот же Фрэнк Госпорт. Он даже узнал Тристрама.

— Вы хорошо выглядите, — приветствовал Тристрама Госпорт. — В самом деле хорошо. Так, словно побывали в длительном отпуске. Чем могу служить?

Госпорт был приятным упитанным человеком с широкой улыбкой и мягкими, как утиный пух, волосами.

— Работой, — ответил Тристрам. — Хорошей работой.

— Хм. История, не так ли? Основы гражданственности и все такое?

— У вас хорошая память.

— Не такая уж и хорошая. Я не могу припомнить вашего имени. Дерек, кажется? Нет, какая же я

бестолковщина! Дерек Фокс — секретарь-координатор Министерства плодовитости. Конечно, конечно, это же ваш брат! Сейчас вспомню… Ваше имя на «Т»!

Госпорт нажал какие-то кнопки на стене. На противоположной стене мягким светом загорелись буквы, появились подробные сведения о вакансиях. Рамочки учетных карточек сменяли друг друга, мягко светясь горящими буквами.

— У вас есть что-нибудь на примете?

— Четвертое отделение Единой мужской школы, Южный Лондон, район Канала, — ответил Тристрам. — Кто там сейчас директором?

— Как и раньше — Джослин. Он женился, знаете, на настоящей бой-бабе! Умный мужик, нечего сказать… Держит нос по ветру, знаете ли.

— Вроде моего брата Дерека.

— Похоже, что так. Хотите посмотреть чего-нибудь там?

— Да не особенно… Слишком много тяжелых воспоминаний. Я бы хотел прочитать курс лекций в Техническом колледже. «История войн». Думаю, что справлюсь.

— Эт-то что-то новенькое… Вряд ли будут желающие. Так вас записать ведущим этот курс?

— Да, пожалуй.

— Можете приступать с началом этого летнего семестра. А вы что-нибудь знаете о войне? Мой сын только что получил повестку.

— Он рад?

— Ну… Он молодой лоботряс. В армии ему вправят мозги. Вы бы как-нибудь пошли и посмотрели на этот колледж. Очень красивое здание, мне кажется. И директор молодец. Его зовут Мэзер. Я думаю, вы там хорошо устроитесь.

— Прекрасно. Спасибо.

На Рострон-плейс Тристрам отыскал контору квартирного маклера. Тот предложил ему шикарную квартиру в «Уинтроп– мэншнз» — две спальни, гостиная, большая кухня с холодильником, стереотелевизор, розетка для «Диска Ежедневных Новостей» или любого другого радиоприбора. Осмотрев квартиру, Тристрам снял ее, подписав обычной формы договор, и заплатил за месяц вперед. Потом он сделал кое– какие приобретения: накупил кухонной посуды, продовольствия (в новых частных магазинах был очень хороший выбор), кое– какого белья, пижаму и халат.

«Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас!» Сердце его громко билось и трепетало, как птица в бумажном пакете. Стараясь идти медленно, Тристрам

направился к берегу моря. Он шел в толпе людей, обдуваемый свежим морским ветром; чайки кричали, как испорченные мегафоны, кругом царило каменное величие правительственных зданий.

Фронтон Министерства плодовитости украшал барельеф, изображавший расколотое яйцо, из которого показывались крылышки новой жизни. На доске у входа было написано: «Департаменты Продовольствия, Сельского хозяйства, Изучения проблем плодовитости, Религий, Обрядов и Народной культуры». Девиз — «Вся жизнь едина».

Глядя на доску и нервно улыбаясь, Тристрам решил, что ему, в конце-то концов, вовсе не хочется входить в это здание и что ему нечего толком сказать своему брату или чего-то ждать от него. Он круто повернул кругом, сделав свой последний в жизни поворот, и стал быстро спускаться по ступеням, сдерживаясь, чтобы не побежать. Потому что победа была уже за ним, за Тристрамом, и сегодня днем это станет совершенно ясно, потому что через девяносто минут или даже раньше он снова обретет ту, что дороже всех для него. Окончательно. Насовсем. Эта победа была единственной, только ее он и хотел добиться.

Высоко над Домом Правительства одетая в свободную мантию бронзовая фигура с барочной

бородой и складками одежды тоже в стиле барокко смотрела на солнце. По фантазии скульптора, даже в этот безветренный день волосы и одежду изваяния шевелил барочный ветер. Кто это был? Августин? Пелагий? Христос? Сатана? Тристраму показалось, что он различает сияние небольших рожек в развевающейся массе каменных волос.

Придется немного подождать. Всем им придется немного подождать. Но Тристрам был почти совершенно уверен, что колесо должно закрутиться снова, что изваяние молится солнцу и облакам над морем о том, чтобы человеку была дарована способность достойно устроить свою жизнь, о нехватке в душе его стремления к милосердию и наличии всего лишь смутного понятия о Боге. Пелагий, Морган, Старый Человек Моря…

Тристрам ждал.

Глава 4

— Море, — шептала Беатриса-Джоанна. — Вразуми нас всех.

Она стояла у перил набережной. Тепло одетые розовые близнецы, визжа, тузили друг друга в коляске.

Вот оно, море, наделенное исступлением, рас-

кинулось перед ней. Море — шкура пантеры, мантия, пронизанная тысячами тысяч солнечных идолов, гидра абсолюта, пьяная от своей собственной голубой плоти, кусающая свой сверкающий хвост в молчаливом смятении.

— Море, море, море…

А там, за морем, Роберт Старлинг, бывший Премьер– министр Великобритании и бывший Председатель Совета Премьер– министров Союза Англоговорящих Стран, сидя на средиземноморской вилле, окруженный прелестными мальчиками, вкусно ел, попивал фруктовый сок, читал классиков, задрав ноги вверх, и осторожно подсчитывал, когда закончится его ссылка.

На других берегах этого моря океанографы готовились к дальнейшим исследованиям его зеленых богатств и отлаживали свои новые двигатели и хитроумные приборы.

Нетронутая жизнь притаилась внизу, на огромной глубине.

— Море, море…

Беатриса-Джоанна молилась о ком-то, мольба ее была тотчас услышана, но ответило ей не море. Ответ пришел с теплой земли у нее за спиной. Нежная рука опустилась на ее руку. Вздрогнув, она обернулась. После мгновения безмолвного

шока из глаз ее хлынули слезы. Слов не было.

Она прильнула к нему. Огромное небо, животворящее море с будущей историей человечества в его глубинах, город из башен, бородатый человек на куполе здания — все исчезло в тепле его объятий, в близости его тела. Он стал морем, солнцем, башней…

Близнецы что-то лепетали.

Слов так и не было.

Поднимается ветер… Мы должны попробовать жить…

Огромное небо открывает и закрывает мою книгу. Волна, хоть и рассыпается в водяную пыль, но со скал падает уже струями воды и дождем брызг. Улетайте, пораженные, ослепленные страницы. Разбивайтесь, волны, вырывайтесь из умиротворенных в своей радости вод…